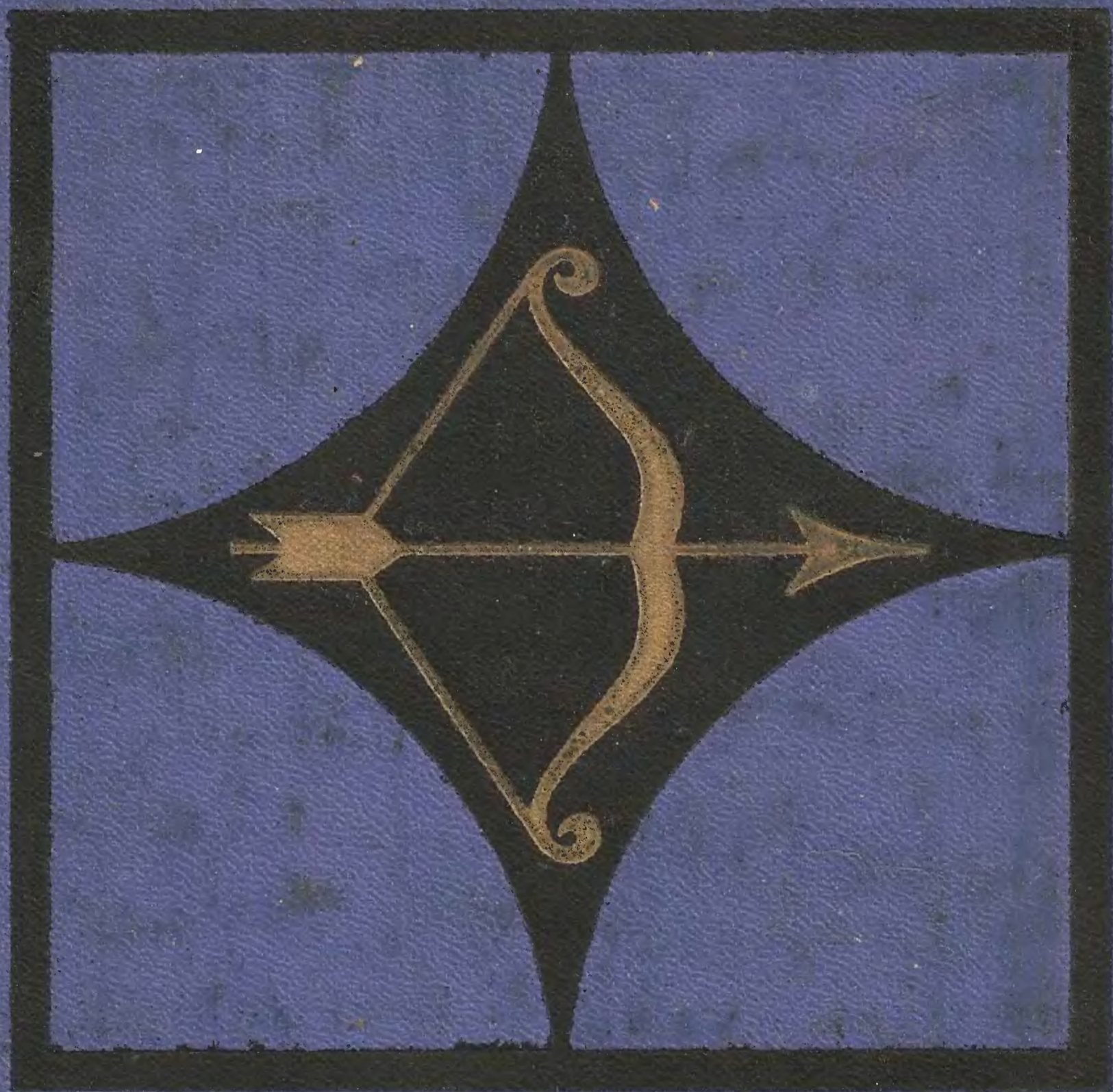


1975

ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1975

Scan Kreyder - 10.07.2017
STERLITAMAK

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1975



**ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ**

Сборник

МОСКВА, „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“, 1975

**P2
П78**

Составитель Г. ЕРЕМИН

**Рисунки художника
В. КАРАБУТА**

П $\frac{70302-130}{078(02)-75}$ 171-75

© Издательство «Молодая гвардия», 1975 г.



ПОВЕСТИ



Пять зорь войны

Страшное это дело для пограничника, если нарушитель уходит. Но совсем невыносимо видеть, когда уходит из-под носа. Вот он — рукой подать, а не возьмешь. потому что линия бакенов посреди реки — это граница, и пересекать ее пограничному катеру запрещено. И нарушитель знает: советские пограничники не нарушат приказа. И он уже не спешит на веслах, ухмыляется, понимая, что, пока катер подойдет, пока сманеврирует, легкий рыбачий каюк будет уже по ту сторону черты.

Пограничная «каэмка» мичмана Протасова давно охотилась за этим «любопытствующим» рыбаком. И теперь пограничники еще издали заметили лодку нарушителя возле нашего берега. Но треск мотора в рассветной тишине далеко слышен. Нарушитель успел выгрести на струю, которая и вынесла его к фарватеру.

— Товарищ мичман, а может, подхватим? На ходу? — говорит старший матрос Суржиков.

— Давай!

Катер, резко вильнув, наискось пересекает реку, делает крутой разворот и, взвывая моторами, несется поперек течения наперерез нарушителю. Суржиков с багром стоит у борта, готовый на ходу достать черный каюк, оттащить его от невидимой запретной черты.

Но то ли Протасов на миг запаздывает положить руль вправо, то ли течение в этом месте оказывается слишком сильным, только катер на повороте вдруг несет по неожиданно широкой дуге, он задевает бакен и пенит воду за ним крутым разворотом. И вдруг раздается треск: словно кто палкой бьет по деревянному борту. И, несмотря на рев двигателей, Протасов ясно слышит короткую пулеметную очередь с чужого берега.

— Назад! — кричит Протасов. Хотя повернуть может только он сам, стоящий у руля.

Катер проскакивает в пяти метрах от лодки. Нарушитель валится на бок, блеснув в воздухе босыми

пятками, но тотчас ловко вскакивает и грозит кулаком, и что-то кричит вслед катеру, на предельной скорости уходящему за острова.

Когда теряются вдали и тот мыс и лодка, Протасов перегибается через борт, дотягивается до пробоины у ватерлинии, вынимает щепочку, минуту держит ее на ладони и, сдунув, идет в каюту писать рапорт о случившемся. Над Дунаем еще стелется редкий туман. Из-за дальних тополей на нашем берегу выкатывается большое бронзовое солнце.

Писать рапорта для Протасова всегда было мукой. А тут еще это раздражение на себя, не сумевшего взять нарушителя, на запреты, которыми, как вешками, огорожена служба. Вместо так необходимых теперь ясных и спокойных формулировок в голову лезут раздражающие обвинения, которые говорят только об одном — о желании оправдаться. И все время звучат в ушах сто раз слышанные назидания командира группы катеров капитан-лейтенанта Седельцева: «Больше инициативы! Больше смелости, решительности, смекалки!..»

Протасов откладывает карандаш, выходит в рубку. Катер все еще идет протокой. Волны качают камыши у близких берегов. Впереди виднеются ряды корявых верб у воды. Под ними у деревянных мостков темнеют высоконосые лодки рыбаков. На мостках стоят люди, много людей, во все глаза глядят на приближающийся катер.

— Чего они уставились? — недоуменно спрашивает механик Пардин, вылезая из люка и причмокивая мундштуком своей неизменной трубки.

— Смотрят, как мы ковыляем, обстрелянные.

— Откуда они знают?

— Бабское радио, — говорит Протасов словами деда Ивана — хозяина дома, где мичман снимает комнату.

— Полундра! Вижу белое платье!

Суржиков, стоящий у руля, высовывается из рубки, показывает рукой. Но Протасов и сам замечает свою Даяну на корме одной из лодок. Он выходит на палубу, машет рукой. Белое платье там, на корме лодки, начинает порхать мотыльком, и от бортов по зеркальной глади протоки бегут частые волны.

— Когда свадьба, товарищ мичман?

— Когда будет, тогда узнаешь...

За вербами проглядывают окраинные мазанки с розовыми под утренним солнцем стенами. И мичману думается, что, вероятно, таким вот ясным утром и родилось это странное название села — Лазоревка.

Село было большое и древнее. Говорили, что существует оно чуть ли не со времен киевских князей. Во все века селились тут вольнолюбивые русские да украинские мужики, предпочитавшие комариное царство придунайских болотин панским да боярским милостям. Приходили сюда и греки, и болгары, и молдаване. Из смешения кровей складывалась порода крепких добродушных мужиков и черноколых красавиц, умевших глядеть на парней, не опуская глаз.

Когда Протасов впервые приехал сюда на Дунай, он не знал об этой способности местных женщин. И первая же уставившая ему глаза в глаза так поразила мичмана, что он три дня ходил сам не свой. Это была Даяна. Теперь она каждый раз ждет его у причала.

— Чего тебе не спится? — говорит мичман, спрыгивая с мостков на землю. Девушка пожимает плечами.

— Извини, у меня срочное дело.

Он направляется к заставе, но на углу сворачивает и идет домой. Живет мичман на окраине села в небольшой хатенке старого рыбака деда Ивана. Дед Иван одинок. Единственный сын его прежде состоял в подпольной комсомольской организации и сгинул в застенках сигуранцы. Жена после того захирела, да так и не оправилась, померла за год до освобождения Бессарабии. Старик привязался к мичману, как к сыну.

Каждый раз он шумно радуется его приходу и лезет в погребок за своим ароматным розовым вином. А потом непременно достает газету и донимает мичмана вопросами. На этот раз старик встречает его у калитки. Молча идет за ним в дом, спрашивает шепотом:

— Колупнули-таки?

— А ты откуда знаешь?

— Аист летал, он и видал.

— Стало быть, все знают? Что ж ты шепотом говоришь?

— Так ведь военная тайна, — искренне удивляется дед. И, смутившись под насмешливым взглядом мичмана, лезет в карман за газетой.

— Что на свете делается! — вздыхает он. — Пять пароходов потопили за день. Один германский пароход так сильно взорвался, что осколком подбило английский самолет, который его бомбил. Не читал?

Мичман молчит, царапает щеку бритвой.

— Пишут, будто в Финляндии дело плохо: голодает народ... А наши соседи чего-то полошатся. Вас, должно, боятся.

— Чего нас бояться?

— Вон вы какие, с пулеметами.

— Мы не кусаемся.

— Да уж палец в рот не клади.

— Да уж лучше не надо.

— А может, не зря говорят, что соседи будут отвоевывать Бессарабию?

— Может, и не зря.

— Что ты все повторяешь? Поговорить как следует не можешь? — сердится дед.

— Ну давай поговорим.

— Ну и поговорим давай. Как человек с человеком. Будет война-то ай нет?

— А я откуда знаю?

— Знаешь небось...

Оба замолкают. Протасов вытирает лицо жгучим тройным одеколоном, косится на запотевший графин, полный красного дедова вина.

— Из погреба?

— А отколь же?

Прежде, у себя на Волге, он любое вино считал выпивкой. И, приехав сюда, вначале очень удивлялся вину, которым местные жители просто утоляют жажду. Скоро он и сам убедился: во влажном мареве дунайских проток водой не напьешься, только изойдешь потом. Ему почти не приходилось пользоваться этим «лекарством от жары» — на катере запрещено, а на берегу не хватает времени даже для сна. Граница последние недели напоминает человека, затаившего дыхание в засаде.

Протасов потягивается, борясь с дремотной ломотой во всем теле, надевает фуражку. И, чтобы на прощание доставить деду удовольствие, спрашивает:

— Так о чем в газете пишут?

— Что войны не будет, — быстро отвечает дед.

— Так и пишут? Где?

Он нетерпеливо берет газету, шарит глазами по по-

лосе. Попадаются другие заголовки: «Готовимся к уборке урожая», «Использовать лето для отдыха», «Севообороты в Омской области»... Наконец в правом верхнем углу находит сообщение ТАСС, опровергающее слухи, что Германия намеревается напасть на СССР.

— Что же это получается? Одни говорят: готовься, мол, к войне, другие пишут: спите спокойно, никакой войны не предвидится?..

Протасов не знает, что ответить. Он привык верить газетам, как самому себе. Но это сообщение противоречило тому, что он сам видел и слышал здесь, на границе. С той стороны стреляли, на той стороне чуть ли не открыто к чему-то готовились. И ползли по селам слухи, один другого фантастичнее. Конечно, ему, пограничнику, следует опровергать слухи. Но хорошо это делать там, вдали от границы, где люди не слышат стрельбы, не просыпаются от гула моторов на том берегу, не видят чужих офицеров, подолгу разглядывающих в бинокли наш берег. Здесь для опровержения слухов нужны факты.

— Наверно, сверху дальше видно, — рассеянно говорит он.

И вдруг его осеняет.

— Ты, дед, между строчек читать умеешь?

— Ну.

— Вот те и «ну» — баранки гну. Раньше ведь ничего не писали. Шла где-то война, нас не касалась. А теперь дают понять, что и нас может коснуться. Гляди, что написано: «Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР...», «Переброска германских войск в восточные районы Германии...»

— Ну?

— Не «ну», а «но». Дальше говорится, что проводятся летние сборы запасных частей Красной Армии, что предстоят маневры, что проверяется работа железнодорожного аппарата... Вот что главное. А остальное — дипломатия. Понял?

Дед снова принимается читать сообщение ТАСС, а мичман тихонько прикрывает дверь, сбегает с крыльца и идет вдоль плетня, взволнованный только что прочитанным. Ему кажется убедительным то, что он экспромтом выложил деду Ивану. Он часто сталкивался с похожим дипломатичаньем здесь, на границе.

«Дипломатией пусть занимаются дипломаты, — думает он. — Дело пограничников охранять границу бескомпромиссно. Нарушитель — всегда нарушитель, он должен быть задержан живым или мертвым. Безнаказанность нарушений прибавляет врагам наглости и ослабляет бдительность пограничников. Тишина на границе достигается строгостью, а не уступками...»

Сердитый, он приходит на заставу, сердито разговаривает по телефону с командиром группы катеров капитан-лейтенантом Седельцевым. И потому выслушивает особенно долгие нравоучения о необходимости быть бдительным, инициативным и находчивым.

Дежурный по заставе сержант Хайрулин во время всего этого разговора стоит рядом, и на его скуластом лице, как в зеркале, отражается сопереживание.

Забавный этот Хайрулин, пунктуальный до невозможности. Теперь-то уж пообтерся, а вначале, как прибыл, был прямо-таки ходячим анекдотом. Как-то на полевых занятиях отпросился на минуту в кусты, а потом возвращается и докладывает, что все исполнил. Смеху было!.. Даже банальные армейские розыгрыши, вроде вопросов о количестве нарезков в миномете или мифической задержке у пулемета, при которой спусковая тяга наматывается на надульник, с появлением Хайрулина зазвучали, как новые. А он все терпеливо сносил и служил так, как дай бог каждому. И вот дослужился до младшего командира.

— Товарищ мичман, — говорит Хайрулин сразу же, как только Протасов кладет трубку. — Вас товарищ лейтенант спрашивали.

— Разве приехал?

— Ночью прибыли. Теперь он на плацу строевую сдает.

— Кому сдает?

— Проверяющий приехал.

Протасов выходит на крыльцо, зажмуривается от ослепительного солнца, но слышит знакомые шаги рядом и оборачивается.

— Кого я вижу!

Начальник заставы лейтенант Грач стоит перед ним, красивый, молодой, наутюженный, словно только что с магазинной витрины.

— Тише, — говорит он. — Проверяющий на плацу.

— Ну как? Женатый небось, — шепотом спрашивает мичман.

— Вроде бы.

— Ты не юли. Женитьба — шаг серьезный.

— Штамп в удостоверении есть.

— А жены нет, что ли?

— Пока нет...

И не выдерживает дурашливого тона, обнимает мичмана, тащит его на скамью под вишнями.

— История вышла прямо, как у Ромео и Джульетты. Увидел — и в лепешку. Ну, думаю, была не была. Подхожу и говорю: я, говорю, человек военный, рассусоливать мне некогда, пошли в сельсовет.

— Так и сказал?

— Ну... почти.

Мичман трет шею, усмехается чему-то своему.

— Ладно, трави дальше.

— Точно говорю. Уломали в сельсовете. В пять нас расписали, а в семь я уехал. Вот гляди: Грач Мария Ивановна.

— Пстой. Ты что же — в свадебную ночь уехал?

— Не в, а до. Я же говорю: отпуск кончился.

— Ну, даешь! Не дай бог, наши моряки узнают.

— Смотри не болтай, — серьезно говорит Грач. — Она же скоро приедет.

— А ты знаешь, какая обстановка на границе?

— Да ну тебя. Вся жизнь у нас такая. Тишины ждать — холостяком останешься.

Они молчат, обмахиваясь фуражками. Солнце палит из-за реденькой облачной вуальки, сушит полынь у дороги. С вишни падают в пыль мохнатые гусеницы, торопливо уползают в тень под лавку.

— Давай сегодня ко мне, — говорит мичман. — Поговорим за жизнь. Политрука тоже прихвати, пусть отдышится после инспекторской.

— Она еще не кончилась.

— Вечер же свободный. Приходите. Графинчик найдется. Дедов, правда.

— Зеленым фуражкам красные носы не идут.

— Так они только от белой краснеют.

— Не выйдет, — говорит Грач. — Тебе, возможно, сегодня снова в секрет. Ориентировка получена...

Но вечером они все же встречаются. Сидят втроем на скрипучей койке в тесной канцелярии, покуривают,

говорят «за жизнь». Политрук Ищенко сосет папиросу, пускает дым в открытое окно, устало жалуется на придирчивого майора, принимавшего строевую. Грач больше помалкивает, только все улыбается чему-то своему. А мичман, еще не остывший от утренней стычки, гнет свое:

— Не поддавайся на провокацию! — говорит он так, словно кого передразнивает. — Все в реверансики играем! Ах, бонжур, мадам! Ах, простите!.. Не доиграться бы... Сегодня они мне на фарватере пробоину вляпали, а завтра, может, и в наших водах обстреляют. Опять утираться? Они привыкают к наглости, а мы к робости. Нет уж, боец есть боец. Наше дело не в дипломатию играть — давать сдачи. Иначе, глядишь, и драться разучимся...

— Не расходись. Не те это разговоры, какие сейчас нужны, — перебивает его Ищенко. Он аккуратно тушит окурок и встает. — Бойцу нужна вера, а не сомнения.

— Вот рубанут они нас, послушаешь тогда, что бойцы скажут.

— Тогда они будут воевать, а не разговаривать. И может, еще злее будут, потому что все знают, сколько терпели.

Грач недовольно морщится.

— Бросьте вы. «Будут воевать...» Мне еще жену надо дожидаться...

Они втроем выходят на крыльцо, вместе отправляются к причалу. Еще издали мичман замечает на мостках белое платье Даяны. На палубе катера, живописно облокотившись на зачехленный пулемет, стоит старший матрос Суржиков и что-то говорит девушке, показывая в улыбке все свои великолепные зубы.

— Ну я ему! — тихо говорит Протасов.

Ищенко громко кашляет. Мичман сердито взглядывает на него, а когда снова поворачивается к катеру, то видит одну только Даяну. Суржиков сгинул, словно его и не было. Политрук смеется, поощрительно хлопает мичмана по плечу.

— Чувствуется выучка...

Протасов тяжело прыгает на мостки, отчего стонут пересохшие доски, и Даяна едва удерживается на ногах, цепляется за невысокий борт.

— Все по местам! — командует он. На ходу берет

Даяну за подбородок, быстро целует ее в испуганно сжавшиеся губы. И перешагивает на катер.

Даяна стоит не шелохнувшись, не опуская глаз, и ее лицо рдеет, то ли от смущения, то ли от вечернего солнца.

...Ох уж эти вечера! Утро с его бодростью и надеждами — это как корзина Даяны, идущей на виноградник. Пустая корзина, которую предстоит наполнить. А вечер! О, вечер это тоже вроде корзины, только не пустой, а уже опустевшей. Когда тело гудит радостью исполненного, когда позади заботы и можно уже не спешить, не тревожиться, а просто радоваться удачному дню и предстоящей ночи. Вечер — это когда из светлых глубин усталости всплывает второе дыхание и хочется петь, и любить, и глядеть, как великая художница — заря перемешивает краски на небе, на зеркале Дуная, на лицах людей.

Для всех вечер — окончание дня, для пограничников это — начало ночи. Вот и он, мичман Протасов, вместо того чтобы в этот час быть рядом с Даяной, стоит у окна рубки, глядит на неподвижные камыши, на красный шар солнца, скачущий, словно мяч, по гребенке дальнего леса. Вместо того чтобы сидеть у любимой вербы на околице и сгонять комаров с податливых плеч девушки, он, Протасов, уходит на свой ночной пост, где тишина будет тревожной, неподвижность — напряженной, затаенной, опасной...

— Товарищ мичман! Может, поднимемся повыше точки? — Голос у Суржикова подчеркнуто равнодушный, с зевотцей. — ...Поднимемся, а ночью поплывем по течению без мотора, тихо, как в секрете. А?..

— Светлая у тебя голова, — усмехается мичман. — Вот только нос ей иногда мешает.

— Папины недоделки в карточку взысканий-поощрений не заносятся, — весело отзывается Суржиков и широченной ладонью, вспотевшей на штурвале, трет свой большой нос.

— Я не о папе. Я говорю, что нос у тебя, как компас, все время на девок поворачивается...

Катер, монотонно гудя, выходит из протоки. Солнце быстро тонет в камышовых плавнях, вскидывая высокую зарю. Дунай полыхает расплавленным металлом. По-над чужим берегом в серой тени лежат белесые хвосты ночного тумана...

Ближе к рассвету, когда тонюсенький серпик ущербной луны выкарабкивается из-под тучи, «каэмка» снимается с якоря и бесшумно плывет по струе вдоль берега. Течение разворачивает катер, покачивает его, словно податливый плот на стремнине. Тускло поблескивает палуба. Шевелит длинным стволom расчехленный ДШК на носу. В люке, у ног Протасова, шумно дышит механик Пардин.

— Покурить бы, — с хрипотцой в голосе говорит он.

Мичман не откликается. Он стоит по-боевому — за рулем, смотрит не отрываясь, как разворачиваются в окне рубки призрачные полосы берегов. И вдруг видит: что-то черное медленно вырисовывается из тьмы.

— Товарищ мичман!..

— Прожектор! — тихо командует Протасов.

Узкий луч ослепительно вспыхивает на камышах, вонзается в низкий борт лодки. Две маленькие фигурки в лодке разом пригибаются, серебром вспыхивают брызги под веслами.

— Механик! — сердито кричит мичман.

Двигатель несколько раз кашляет, словно сам Пардин, накурившийся до отвала, и наконец взрывается могучим гулом. Этой минутной заминки оказывается достаточно, чтобы нарушители ушли на те лишние метры, которые их спасут. «Каэмка» прыгает вперед, несется наперерез лодке, выжимая все свои двенадцать узлов. Но Протасов уже понимает: повторяется вчерашнее. И он делает то, чего еще секунду назад не собирался делать: резко кладет руль вправо и со всего хода врезается в лодку. Сухая хрясь дерева, как треск костей. И сразу умолкают двигатели и неожиданная тишина распластывается по воде, розовеющей первыми отблесками зари.

— Механик! Что ты!..

Мичман протискивается в узкий лаз машинного отделения. Он ждет выстрелов с того берега. Но выстрелов нет. И Протасов начинает мучить себя раскаяниями. Теперь ему кажется, что нарушителей можно было взять, оттащив от фарватера.

«Но их наверняка ждали и, стало быть, без свидетелей бы не обошлось, — говорит он сам себе. И возражает раздраженно: — А мы разве не свидетели?»

«Они заявят протест. Тогда иди доказывай, что ты не верблюд.

И мы заявим протест...»

Но он понимает, что никто у него протеста не примет, что капитан-лейтенант Седельцев только продекламирует ему свои пятьдесят четыре прописные истины, а потом целый год будет рассказывать на всех совещаниях веселую историю о том, как мичман Протасов протест заявлял...

— Товарищ мичман, смотрите!

Протасов всматривается в сизую муть под чужим берегом и видит силуэты двух людей, торопливо выбирающихся на отмель.

— Опять упустили!

В сердцах он хлопает рукой по штурвалу и думает о том, что на этот раз ему не оправдаться, что капитан-лейтенант не упустит случая «показать власть».

* * *

Протасов глядит издали на «каэмку», и душа его зудит: скверное дело, когда нет своей палубы. Получилось даже хуже, чем он ожидал: Седельцев приказал сдать катер Пардину и утром в понедельник явиться для личных объяснений. Мичман раздвигает тальник, собираясь прыгнуть на тропу, ведущую к причалу, но передумывает. Поколебавшись, он медленно идет обратно на заставу и в нерешительности останавливается у ворот. На заставе такой шурум-бурум по случаю субботы, что ему не хочется заходить.

Некуда, совсем некуда приткнуться человеку, у которого отобрали дело. Крутится вокруг да около занятых людей, словно судно, потерявшее управление. Солнце опускается за тополя, тонет в кровавой бахrome тучи. Неподалеку занудливо, на одной ноте, воет дворняга. Откуда-то из-за крыш, с другого конца села, слышится грустная бабья песня.

Он неторопливо идет по улице к себе домой, и возле хаты замечает маленькую фигурку, прижавшуюся к дереву.

— Даяна? Ты чего?

Он говорит, как всегда, грубовато-снисходительно. Но душа его замирает в ожидании.

— Я к тебе, — говорит Даяна.

Мичман подходит вплотную, целует ее пухлые полудетские губы. И получается это само собой, ну точно так, как мечталось в одиноких ночных дежурствах. Потом он берет ее за руку и ведет через улицу в дом, в свою холостяцкую комнатку, где пахнет сырой штукатуркой и одеколоном «Тэ Жэ».

— Хозяин бы не увидел, — говорит Протасов в калитке. Не для себя говорит, для Даяны...

Когда светлеет маленькое оконце, Даяна осторожно прижимается к нему пухлыми зацелованными губами, тихо шепчет:

— Ну, я пойду.

— Куда? Ты останешься у меня.

— Останусь, — соглашается она. — Только сначала ты должен зайти к маме.

Он идет ее провожать по пустынной в этот час улице. На лугах лежат полосы тумана. Над тополями в полнеба висит туча, заслоняет звезды.

— Ну, иди, — вздыхает Даяна. — Теперь я сама.

Но он доводит ее до дома, подсаживает на подоконник. А когда поворачивается, чтобы уйти, видит перед собой тетку Марылю — мать Даяны.

— А, вот он кто! — кричит тетка Марыля так, словно хочет разбудить все село. — Ну я задам этой мерзавке, уж я ей задам!

— Я хочу жениться на Даяне, — бормочет Протасов.

— Жених! Явился среди ночи. А ну убирайся, пока цел!

В руках у нее появляется палка. Но она не успевает замахнуться. Мичман быстро кладет руку на палку и чмокает тетку Марылю в щеку.

— Не сердитесь, мама, — говорит он. Перепрыгивает через грядку и исчезает в зарослях у дороги.

Протасову легко в этот рассветный час, будто и не было недавних неприятностей. Он размашисто шагает по узкой тропе через поле, к причалу, сшибая росу широкими клешами. Теперь все равно не заснуть. Тихая радость переполняет его. Он останавливается, с удовольствием вдыхает влажную свежесть луга. И вдруг задерживает вздох: замечает темный силуэт человека, прицепившегося к самой верхушке столба.

— Эй! — Ему подумалось, что это кто-то из пограничников чинит линию связи.

Человек кубарем сваливается со столба и бросается

к кустам. Стремительным прыжком, усиленным еще не остывшей радостью, мичман догоняет его, хватая за руку.

— Кто такой?

В нем еще нет злости, и действует он скорее по привычке, приобретенной здесь, на границе. Но тут мичман видит, что человек другой рукой пытается выдернуть из кармана зацепившийся там пистолет.

— Ах, вон ты как? — Он перехватывает руку и, не размахиваясь, хрясает незнакомца ребром ладони по шее. И когда поднимает его с земли за ворот старой крестьянской свитки, то, к изумлению своему, узнает в человеке того самого «рыбака», который удрал от него недавно и из-за которого все его теперешние служебные неприятности.

— Попался, «рыбачок»! — Мичман представляет себе удивленную физиономию капитан-лейтенанта Седельцева и улыбается. — Ну-ка, пошли на заставу.

— А я не пойду, — неожиданно заявляет нарушитель.

— А я тебя пристрелю.

— Стрелять побоишься. У вас приказ...

Нарушитель нахально ухмыляется, и это окончательно выводит Протасова из себя. Он берет его за плечо, рывком разворачивает и дает такого пинка, что тот бежит по тропе, покачиваясь и приседая от боли.

Они уже подходят к окраинным хатам села, когда вдалеке над Дунаем трепещущей птицей взлетает красная ракета.

* * *

Лейтенанту Грачу не спится. То ли предчувствия мучают, то ли настороженность, что растет изо дня в день. Расстегнув ворот и ослабив ремень, он садится на свою скрипучую койку, кладет голову на стол и думает о Маше.

В половине второго ночи, проинструктировав очередную смену, снова уходит в канцелярию и опять думает о своей будущей женатой жизни, о заставе, о мичмане Протасове.

Один за другим возвращаются с границы наряды, докладывают одно и то же: на границе необычная тишина.

— Не к добру тишина, — говорит кто-то из пограничников, громыхая винтовкой у пирамиды.

Эта случайно оброненная фраза гвоздем вонзается в сознание. Тишина на границе. О чем еще может мечтать начальник заставы? Но неожиданная тишина!.. Ведь все последние ночи на том, чужом, берегу что-то происходило: из глухой темени доносились крики, плач женщин, скрип подвод, погромыхивание железа...

Грач решительно встает, застегивает ворот.

— Горохов, пойдете со мной, — говорит он в дежурке.

— В полном?

Он хочет сказать, что по границе налегке не гуляют, но вспоминает, что уже говорил это Горохову, и молча выходит на крыльцо.

Тихая ночь лежит над селом. Восток уже начинает светлеть: в той стороне вырисовываются тополя, трубы деревенских хат. Запад черен, как всегда перед рассветом. Оттуда наползает туча, гасит звезды.

Они выходят на дозорную тропу, неслышно идут вдоль плотной стены камыша. Полы брезентового плаща сразу тяжелеют от росы, липнут к голенищам. Грач чувствует, как стынут от сырости колени, останавливается на минуту. И тотчас ему на пятку наступает идущий следом Горохов.

— Когда вы станете пограничником? — сердито говорит Грач.

— Есть держать дистанцию.

Глухая тишина висит над округой. Еле слышно вздыхают камыши под слабым ветром. На луговине серым одеялом лежит туман.

В том месте, где тропа поворачивает в заросли камыша, их окликают:

— Стой, кто идет?

Лейтенант узнает голос Хайрулина и, невольно подражая его неисправимому акценту, тихо отвечает:

— Своя!

— Кто своя? Пароль!

— Мушка.

— Нэ-эт, нэ мушка.

— Приклад.

— Нэ-эт, нэ приклад.

— Хайрулин, своих не узнаешь?

— А вы, товарищ лейтенант, пароля забыли?

— Я-то не забыл, да ведь ты не часовой в деревне. Здесь граница. А по границе ночью ходят или свои, или совсем чужие. Своих надо по шагам узнавать, а чужим сразу командовать: «Руки вверх!» Иначе вместо пароля можно получить пулю... Ну, как дела?

— Тихо, товарищ лейтенант.

— То-то и оно. Где остальные?

— Здесь. — Хайрулин дважды сдвоенно клацает прицельной планкой — условный сигнал «все ко мне».

— Отставить, — говорит Грач. — Продолжайте нести службу.

Он шагает на тропу, но тут сзади из камышей слышится сдавленный волнением голос Горохова:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!..

Так зовут, когда случается что-то чрезвычайное. Горохов стоит глубоко в воде, едва не черпая голенищами, и показывает куда-то вдаль, в просвет меж камышами. Этот просвет был вырезан специально для наблюдения неделю назад, и Грач, с удовольствием подметив эту свою предусмотрительность, входит в воду, вглядывается в серую вуаль тумана.

— Плывет кто-то. Там, правее.

В густых сумерках, временами сливаясь с противоположным берегом, двигалось что-то массивное.

— Гребут. Я слышу.

Теперь и сам Грач слышит всплески весел и понимает: кто-то подгребает к нашему берегу, используя сильное прибивное течение. Это не удивляет: за последние месяцы пограничники привыкли к частым «ошибкам» чужих «рыбаков». Через минуту лейтенант разглядел в сумерках три лодки с солдатами.

— Перепились они, что ли? Или заблудились?

Ему вспоминается фраза, трижды повторенная на недавнем совещании начальником отряда подполковником Карачевым: «Не поддаваться на провокации!» И он успокаивается.

— На дамбу все! И ни звука!

Он прячется за невысокий куст на дамбе и, не шевелясь, смотрит на темные силуэты лодок, плывущих по середине реки.

«Выдержка, — уговаривает он сам себя. — Выдержка и дисциплина!»

Дисциплина для Грача всегда была превыше всего. С первых дней службы он принимал ее не как неизбеж-

ное зло — как благо, на котором все стоит в армейской жизни, а теперь и в нем самом.

— Ты исполнительный, далеко пойдешь, — не раз говорили ему еще в училище.

Но в последнее время все трудней становилось быть пунктуально-исполнительным. Он чуть ли не ежедневно получал новые приказы, инструкции, указания и дополнения к указаниям. Одни предписывали отменить усиленную охрану границы, другие — повышать бдительность. Одни требовали решительно пресекать какие-либо нарушения границы, другие указывали на необходимость максимальной выдержки. Стремясь исполнить все в точности, Грач искал и находил «золотую середину», которая, ему казалось, отвечала строгим параграфам и удовлетворяла его самого, своими глазами видевшего положение на границе.

Отмену усиленной охраны он понимал как указание скрыть от соседей эту усиленную охрану. И он увеличивал количество секретов, приказывал по ночам скрытно копать стрелковые и пулеметные ячейки, расчищать секторы обстрела так, чтобы их ось была направлена вдоль нашего берега и обеспечивала внезапный отсекающий огонь.

Днем Грач не таил жизнь заставы: вот мы занимаемся строевой подготовкой, поем песни, шутим с девушками — смотрите соседи, добрые вы там или недобрые, — мы мирные люди. По вечерам на заставе шумно игрался отбой, и пограничники шли спать. Чтобы через час тихо уйти в ночь, в шепчущиеся заросли камышей на границе.

Так Грач понимал и так исполнял приказы и распоряжения последних недель; он искал и находил в них не противоречие, а скрытую логику...

— Сорок шесть человек. С пулеметами, — шепчет Горохов.

— А у нас четыре винтовки. И только восемь гранат.

— И восемь гранат не пустяк...

Над противоположным берегом взлетает красная ракета, высвечивает кровью речной туман, долго трепещет в вышине и падает, волоча за собой дымный хвост. И сразу лодки стали круто разворачиваться к нашему берегу. И на той стороне вдруг забухал крупнокалиберный пулемет. Пули захлестали по дамбе, застонали рикошетами.

— Стреляют! — удивленно говорит Хайрулин.

Лейтенант понимает его. Он ловит себя на том, что и сам с любопытством прислушивается к этим новым звукам, даже по-мальчишески радуется им: вот и он теперь может сказать, что обстрелян.

Но, заглушая это ощущение, стремительной волной поднимается тревога, неясная и бесформенная, как призрак.

«Что это? — думает он. — Провоцируют? Но ведь это же нападение. Это же...»

И вдруг рядом гремит выстрел.

— Не стрелять! — негодуя кричит Грач. И тотчас падает, потому что тихие лодки вдруг ощериваются огненными всплесками.

Где-то рядом взвизгивает пуля, бьет по щеке тугой волной воздуха, будто кто-то хлещет мимо ивовым прутом.

— Огонь!

И ему сразу становится легко от этой своей решимости.

Торопливо заухали трехлинейки. На лодках чаще замахали весла, кто-то упал в воду, кто-то перевесился через борт. Но вот лодки уже подошли к берегу, скрылись за высокой стеной камыша.

— За мной! — командует Грач.

Он сползает вниз и бежит по-за дамбой в сторону.

— Приготовиться к бою!

Грач выглядывает и видит посреди реки нивесть откуда взявшийся пустой баркас, подгоняемый течением к нашему берегу.

— Сорвало, видать, — говорит Хайрулин.

— Для пустого слишком глубоко сидит.

— Давайте я его пулей пощупаю?

— Отставить! Как думаешь, где он пристанет?

Они прикидывают глазами течение.

— Как раз к тому тальнику будет.

— Давай туда. Если подойдут — сразу гранатами, понял?

Пулеметы с того берега бьют и бьют по тому месту, где только что были пограничники.

— Приготовить гранаты!

Грач не сомневается, что дело дойдет до гранат, а может, и до рукопашной. Ибо от камышей до дамбы какая-нибудь сотня метров, а враги не могут не понимать,

что дамба для них — не только успех, но и единственное спасение.

Темные фигурки разом выскакивают из камышей, неуклюже, прыжками бегут по болотистой луговине. У пяти или шести перед грудью вспыхивают частые огоньки автоматных очередей.

— По офицерам и автоматчикам! — командует Грач. И стреляет из пистолета, целясь в прыгающие головы, рассчитывая, что пули на 50—70-метровом излете должны попадать в грудь. Но те, в кого он целится, почему-то не падают. Это удивляет и пугает его, ибо и в училище, и здесь, на стрельбище, всегда было, что мишени после его выстрелов переворачивались.

— Гранатами — огонь!

Он видит, как пограничники дружно взмахивают руками, успевает даже заметить эти кувыркающиеся в воздухе черные бутылочки. Но еще до того как вскидываются взрывы, откуда-то со стороны знакомыми длинными очередями начинает бить наш «максим».

И сразу гаснут вспышки выстрелов на темном фоне бегущих фигур, и до Грача как-то вдруг доходит, что перед ним спины врагов и что атака отбита.

Слева, от тальника, доносится сдвоенный взрыв. Краем глаза Грач успевает увидеть разлетающиеся доски и темные изломанные силуэты падающих в воду людей.

— Хайрула дает! — кричит Горохов. Он машет свободной левой рукой. И вдруг, ойкнув, сползает вниз, с удивлением разглядывает залитую кровью ладонь...

Через полчаса они возвращаются по-за дамбой в село, ведя перед штыками пятерых уцелевших солдат. С того берега с запоздалым остервенением бьют пулеметы, косят камыши, режут ветки прибрежного тальника.

— Ай да снайперы! — смеются пограничники. — До чего метки: с такого расстояния Горохову в палец попали!

Всем весело. Грач тоже едва сдерживает улыбку. Еще бы: никогда прежде не видавший настоящего боя, он так блестяще отбил хорошо организованную вооруженную провокацию. Думая об этом, он невольно сбивается на предполагаемый разбор операции в штабе отряда. И единственная потеря — палец пограничника Го-

рохова, кажется ему хорошим поводом для шуток, которые на серьезных совещаниях так сближают людей независимо от рангов.

На заставе обычная тишина. В помещении сидит дежурный, непрерывно вызывает «Грушу».

— Где Ищенко?

— На правом фланге. Как только вы ушли, он и явился. Не спится, говорит, пойду наряды проверить, — подробно докладывает дежурный. И тихо, будто кто чужой мог услышать, добавляет: — На правом фланге тоже бой был.

— Что там?

— Неизвестно.

— Связного послали?

— Послали. Еще не вернулся.

— Где катер Протасова?

— Ушел на правый. Там бой был, — повторяет дежурный.

— Телефон — в блиндаж. Сержанта Голубева с отделением ко мне! — приказывает Грач.

— Товарищ лейтенант! Политрука убило!

Грач резко оборачивается. В распахнутых настежь дверях стоит связной — пограничник Чучкалов — бледный, с испуганными, незнакомо большими глазами...

Они бегут напрямик, срезая повороты извилистой дозорной тропы. Местами вламываются в камыши, пересекают протоки, черпая воду голенищами, шлепают по топкому илу. И, выбравшись на сухое, каждый раз слышат позади глухой шум камышей: следом бежит отделение Голубева.

Из отрывочных фраз вконец запыхавшегося связного Грач наконец понимает, что произошло на правом фланге.

Там началось еще до ракет. Около сорока нарушителей высадились на наш берег. Четверо вышли из камышей и спокойно, словно по своей территории, зашагали вглубь, к озеру, которое в том месте близко подступает к реке.

— Стой! — окликнул их Ищенко. Он поднялся и шагнул навстречу. — Вы находитесь на территории Союза Советских Социалистических Республик. Требую немедленно...

Его слова оборвала автоматная очередь. Тогда пограничники открыли ответный огонь. Трудно сказать, чем

кончился бы неравный бой, если бы не подоспела «каэмка» Протасова...

У одинокого осоколя лейтенант останавливается так резко, что связной с разбегу налетает на него. Но Грач даже не оглядывается, он смотрит вперед, туда, где двое пограничников волокут на мокром плаще что-то большое и тяжелое.

По измятой окровавленной гимнастерке политрука трудно понять, куда попали пули. Но одна оставила ясную отметину: она вмяла правую щеку, сделала лицо неузнаваемым.

Грач разрывает на нем ворот, прижимается ухом к окровавленной груди и отшатывается, ощутив холодную липкую сырость неживого. И тогда ему впервые приходит мысль, что все ночью случившееся — не простая провокация, что это, может быть, война.

За дальними осоколями всходит солнце, трудно выкарабкивается из цепкой тучи на горизонте. На луговинах тают последние ошметья тумана. Вдали, над камышами, зеркалом сверкает река.

— Несите, — устало говорит Грач. И тут же резко вскрикивает: — Отставить!

Из-за недалежного мыса на безупречную чистоту дунайских вод выползал черный вражеский монитор...

* * *

Втолкнув задержанного в дежурку, Протасов бросается к берегу. Испуганные, бледные в сером рассвете лица светлеют в каждой калитке. Кто-то кричит вслед тревожным голосом, что-то спрашивает.

Его радует, что «каэмка» уже на ходу, рокочет моторами, пускает по гладкой воде зябкую рябь.

— По местам! Боевая тревога!

— Погодите!..

Из кустов выбегает группа пограничников вместе со старшиной заставы. Они втаскивают на катер станковый пулемет, быстро и ловко, словно не впервые, пристраивают его на корме.

«Каэмка» резко берет с места, вылетает из-за изгиба протоки на широкую, дымящуюся слабым туманом гладь реки. Встает рассвет, окрашивает воду розовым отблеском зари. Вдали ухают выстрелы, и там, на восходе, и там, где еще лежит серый сумрак уходящей ночи.

— Право руля! — командует Протасов. И тут же отбирает руль у Суржикова. — Готовь пулемет.

— Красотища какая! — спокойно говорит Суржиков. — В такую погоду не стрелять бы, а целоваться.

Это спокойствие матроса вдруг словно что-то останавливает в мичмане, и он говорит успокоенно-ворчливо:

— Погоди, еще поцелуют. С того берега.

— В наших-то водах?

— Пули о границу не спотыкаются...

И в тот же момент в темной стене правого берега вдруг вспыхивает дрожащий огонек и над рубкой коротко взвизгивают пули.

— Вот суки! — ругается Суржиков. — Товарищ мичман, дайте я его...

— Еще успеешь.

Протасов переводит рычаг на «малый», и катер сразу оседает. На том берегу снова вспыхивает огонек пулеметной очереди, но свиста пуль уже не слышно, только бухающий звук гудит по реке.

— Крупнокалиберный лупит! Это они от пикета.

Катер снова переходит на «полный» и в следующий миг с ходу влетает в узкую протоку, поросшую тальником. Но едва он выскакивает из-за острова, как над ним снова начинают свистеть пули.

— Товарищ мичман! — голос у Суржикова просительный, незнакомый.

— Отставить! — зло кричит Протасов и добавляет раздраженно: — Ты что, обалдел? Приказа не знаешь?

Он круто кладет руль вправо, по-снайперски вводит «каэмку» в узкий просвет в камышах.

— Прыгай! — кричит пограничникам. — Вода не кровь — высохнет!..

Перестрелка на нашем берегу гремит совсем рядом. Раскатисто ухают трехлинейки, незнакомо трещат автоматные очереди, словно кто-то сильный рывками рвет сухой брезент.

«Где там кто? — с беспокойством думает Протасов, выводя катер из камышей. — Как бы по своим не рубануть». И вдруг видит черные лодки, вдвинутые в камыши. И сразу же от лодок выплескиваются навстречу вспышки выстрелов. Пули бьют по борту, звенит стекло.

— Огонь! — зычно кричит Протасов.

Сразу вскипает вода возле лодок. Камыши шевелят-

ся, словно по ним идет шквал. И тотчас откуда-то сбоку начинает стучать наш «максим».

— Вот и прижали! Теперь им хана!

Стрельба в камышах затихает. С той стороны Дуная, уже не опасаясь попасть по своим, запоздало бьют по низкому берегу крупнокалиберные пулеметы.

Протасов уводит катер за остров, вплотную притирает его к стене камышей.

— Мы их и отсюда достанем. Суржиков, гляди, чтоб ни один не уплыл.

Суржиков не отвечает. Он перевязывает себе руку выше локтя, держа в зубах конец бинта.

— Стрелять можешь?

— Да пустяки, — говорит Суржиков. Роняет бинт, быстро подхватывает его и торопливо кивает.

Протасов обходит катер, сокрушенно качает головой, считая пробоины, заглядывает в машинное отделение.

— Эй, дымокур, как там?

— Порядок! — отвечает снизу глухой голос.

Необычная односложность заставляет Протасова протиснуться вниз, в густой промасленный жар машины. Он видит черные смоляные бока двигателя, словно бы забинтованные, белые в асбесте трубы, и на одном из этих бинтов-трубопроводов — четкий кровавой отпечаток ладони.

— Пардин!

Механик сгорбленно идет навстречу по узкому проходу, и Протасов холодеет, увидев не знакомое, всегда улыбающееся лицо, а сплошную черно-кровавую маску. Он кидается к нему, бьется головой о плафон. И в клубящемся сизым дымом косом солнечном луче под иллюминатором вдруг видит, что механик улыбается.

— Стеклом порезало. Только что окровянило, а так — ничего...

Снова мирная тишина лежит на реке. Раннее солнце поигрывает на легкой ряби Дуная. Ветер шевелит камыши, шумит ими однотонно, успокаивающе.

— Может, выключить? — спрашивает Пардин, высунув из люка свою перебинтованную голову.

— Погоди, — говорит Протасов. Его беспокоит эта тишина и неподвижность. Ни разу прежде не знавший настоящего боя с его особыми хитростями, Протасов все же чувствует, что это неспроста — такое гробовое молчание. Он ждет, когда пограничники, прочесывая при-

брежные заросли, покажутся по эту сторону камышей. Тогда можно будет связаться с политруком Ищенко, который находится где-то здесь.

Но он увидел совсем не то, что ожидал: из-за мыса, лежащего темным конусом на солнечной ряби, медленно выплывал монитор, прикрывая бронированным бортом с десятков десантных лодок...

...Не странны ли мы, люди? Жаждем решительного и бескомпромиссного, а когда приходит это желаемое, мы начинаем мечтать об обратном и где-то в глубине своего разума непроизвольно включаем защитный рефлекс великой утешительницы — надежды, что все обойдется. И даже когда не обходится, мы не теряем надежды на чудо. До конца не теряем, даже когда и надежды не остается.

Вот так и мичман Протасов, ярый сторонник решительных действий, мечтавший прежде отваживать нарушителей не долготерпением, а внезапным огнем, сейчас, наблюдая в бинокль за приближающимся монитором, больше всего желает, чтобы тот тихо прошел мимо.

«Может, это все же случайность? — с надеждой думает он. И понимает нелепость своих надежд. — С извинениями не ходят, держа оружие наизготовку. Это новый десант...»

Но что должен делать он, мичман Протасов? Открывать огонь, когда десант начнет высаживаться? Но тогда будет поздно. Его, неподвижно стоящего в протоке, вмиг расстреляют пушки монитора. А враги подойдут к камышам, и пограничники на берегу потеряют их из виду, не смогут вести прицельный огонь...

Протасов оглядывается: две пары глаз внимательно и строго смотрят на него, ждут.

— Ну, братцы!.. — говорит он. И сразу командует: — По местам! Бить по лодкам, только по лодкам!

Вылетев из протоки, катер круто разворачивается на быстрине и идет прямо на монитор. Пули высекают огоньки из темных бронированных бортов. На лодках суета, вспышки выстрелов. Кто-то пытается залезть на высоко поднятую палубу, кто-то падает в воду. Монитор сбавляет ход, оставляя за кормой на белесой поверхности Дуная весла, доски, круглые поплавки человеческих голов.

Слева от «каэмки» вырастает куст разрыва, вскиды-

вается белый фонтан, и брызги хлещут по рубке, жесткие, как осколки. Следующий снаряд прошивает оба борта и взрывается по другую сторону катера.

— Бронебойными бьют! Они думают: у нас — броня!

— Пусть думают...

И вдруг вспыхивает разрыв прямо под форштевнем. Визжат осколки, Протасов больно бьется о переборку, но удерживается на ногах, уцепившись за штурвал, трясет вдруг отяжелевшей головой, непонимающе глядит на Суржикова, ползущего по накренившейся палубе.

— Меняй галсы! — кричит он сам себе, наваливаясь грудью на штурвал. И еще послушный катер круто уходит в сторону, к острову.

Пулемет снова бьет, длинно, нетерпеливо. Протасов видит, что лодки отваливают от монитора, рассеиваются по реке. На них уже не так тесно, как было в начале, и стреляют оттуда уже не по катеру — по берегу.

«Догадались наши, по лодкам бьют!» — радуется он.

А катер все больше сносит течением. Он уже плохо слушается руля, пенит воду разбитым форштевнем. Двигатель чихает простуженно и вдруг совсем умолкает. И снова рядом взметываются разрывы: артиллеристам на мониторе не терпится расстрелять неподвижную мишень.

Протасов выходит из рубки на изуродованную, неузнаваемую палубу. Он перехватывает у Суржикова горячие ручки пулемета, успевает ударить по лодкам широким веером пуль, прежде чем перед ним вспыхивает белый ослепляющий шар...

Тихий вибрирующий звон плывет в вышине, о чем-то напоминая, увлекая куда-то. Протасов знает, что надо проснуться, и не может. Но вдруг как-то сразу вспоминает все: и ночь, и утро, и черный монитор на блескучей глади реки. И стонет от навалившегося вдруг тяжелого звона в голове.

— Товарищ мичман! Товарищ мичман!

Протасов видит небо, узкие листья тальника и близкие встревоженные глаза Суржикова.

— Где мы?

— На острове.

— А катер?

— Да там...

— А мы почему здесь?

— Так он, товарищ мичман, потонул.

Подробности боя проходят перед ним, словно кадры кино, которое крутят назад.

— А Пардин где? — упавшим голосом говорит он.

Суржиков отворачивается и молча лезет в заросли, волоча перевязанную тельняшкой ногу. Скоро он возвращается, тяжело садится на траву, рядом с расстеленным мокрым бушлатом.

— Тихо вроде.

Только теперь, сквозь звон в голове, Протасов слышит тишину. Ни выстрелов, ни криков. Ветер шевелится в чащобе тальника. Где-то совсем рядом, за кустами, шумит вода, и комар зудит над самым ухом.

— Где монитор?

— Ушел, наверное.

— А может, десант высаживает?

— Высаживать-то некого.

Протасов обессиленно роняет тяжеленную голову, спрашивает, снова закрывая глаза:

— Как это вышло?

— Попали, заразы! Прямо по ватерлинии. А у нас и без того дырок хватало.

— А может, выплыл Пардин?

Снова Суржиков не отвечает. Протасов разлепляет глаза, видит, что матрос отрешенно качает головой, как женщина, опустошенная безнадежностью. Комары вьются над его голой спиной, пикируют со своей высоты.

— Накинь... бушлат... сожрут ведь.

Суржиков здоровой рукой хлопает себя по спине и долго с удивлением смотрит на окровавленную ладонь.

* * *

— Товарищ лейтенант, связь наладили!

Пятнистый от пота и пыли, с бровью, рассеченной отскочившей стреляной гильзой, начальник заставы спешит к блиндажу, на ходу отдавая распоряжения о нарядах, боеприпасах, подводах, которые нужно доставить в селе. Он выхватывает трубку, горячо кричит в нее:

— Комендатура? Кто у телефона? Срочно коменданта. Коменданта мне!

— Его нет, — тихо журчит в трубке.

— На нас совершено нападение. Погиб политрук

Ищенко. Катер потоплен. Вы слышите меня? Передайте это коменданту. Да побыстрей.

— А ты думаешь, он на рыбалку уехал?

— Кто это говорит?

— Дежурный по комендатуре лейтенант Голованов.

— Сашка! — радостно кричит Грач. — Что ты мне голову морочишь!

Голованов был его приятелем по училищу. Вместе сапоги изнашивали на одном и том же плацу, вместе в увольнение ходили.

— Сашка, тут такое было! Рассказать — не поверишь!

— Поверю, — с безнадежной уверенностью говорит Голованов. — Ты давай без эмоций. Слушай приказ. Десанты уничтожать, по сопредельной стороне без крайней нужды не стрелять. Все ясно?

— Нет, не все...

— Остальное сообразишь. Хорошо служить — значит сметь рисковать, брать на себя ответственность. А? Чьи это слова?.. Ну вот и действуй. Докладывай обстановку...

Минуту Грач стоит у телефона, покачивая в руке трубку, словно прикидывая ее на вес. И быстро поворачивается к дежурному.

— Собрать сельчан! Мужиков, конечно...

Через полчаса возле заставы уже сидят человек пятнадцать рыбаков. Грача радует такая оперативность: прежде, чтобы собрать всех, требовались часы.

— Что скажешь, лейтенант?

— Соседи сегодня трижды пытались высадиться на наш берег. Не исключено, что еще полезут.

Из табачного облачка слышится удивленный смешок:

— Никак, воевать с нами вздумали?

И сникает, тонет в общем молчании. За рекой короткими всплесками татакает пулемет. Солнце жжет во всю силу, выкатываясь в зенит.

Грач оглядывает молчаливо покуривающих рыбаков, говорит сухо:

— Нам потребуется ваша помощь...

И умолкает, увидев у блиндажа дежурного по заставе.

— Товарищ лейтенант, срочно к телефону!

Он нетерпеливо хватается трубку, слышит раздраженный голос Голованова:

— Дежурный! Куда ты пропал? Передай начальнику, пусть включит радио. Срочно включайте Москву!

— Понял! — кричит Грач. — Что еще?

— Москву слушайте!

Он вбегает в канцелярию, торопливо крутит ручки своего старенького приемника. В угасающем мерцании звуков ловит строгий размеренный голос:

— Граждане и гражданки Советского Союза!.. Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...

— Германские?! — ахают рыбаки.

— ...Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины... Сокрушительный удар агрессору... Наше дело правое. Враг будет разбит.

Казалось, что это не все, что радио сообщит еще что-то важное. Но после минутной паузы из приемника вырывается громкая музыка.

Грач резко убавляет звук, строго говорит в окно:

— Не прошу, приказываю: сбор через полчаса! Одеться, как на ночную рыбалку!

Рыбаки расходятся медленно, словно ждут еще каких-то наиважнейших указаний. Последней мелькает в окне седая борода деда Ивана. Он глядит на приемник, потом на начальника заставы и говорит утешающе:

— Не горюй, Петрович. Наше дело правое, хоть мы и на левом берегу...

Грач глядит в опустевшее окно на густую зелень вишен, за которой — поля, плавни, граница. Туда ведет желтая посыпанная песком дорожка, чистая и ясная, как лунный след на ночной глади Дуная.

Вдруг на этой дорожке, как раз посередине, вспыхивает ослепительно и темным кустом стремительно вырастает взрыв...

* * *

Под вечер по запутанным заозерным тропам прискакал на коне старший лейтенант Сенько, привез инструкции о переходе к активным действиям.

— Ударим на рассвете, чтобы час в час, — радостно говорил Сенько. — Чтобы поняли, что это возмездие.

Грач усмехнулся.

— Красивый жест. Стоит ли ради впечатления рисковать людьми?

— Войн без потерь не бывает.

— Планировать потери мы не будем. Пикет разгромим без жертв.

— Интересно, как это получится?

— Получится. Этот пикет вот где у меня. Я на него столько гляжу, что, кажется, всех солдат в лицо знаю.

— И можете рассказать о вашем бескровном плане?

— Могу даже показать на местности...

В сопровождении двух пограничников они идут на фланг, туда, где этим утром начальник заставы встретил первых десантников. Убитые нарушители, сложенные в рядок до указаний, все еще тут, лежат в неестественных, странных для людей позах. Грач уже нагляделся на них, а Сенько впервые так близко видит убитых, может быть, впервые в жизни. Правда, и ему утром пришлось участвовать в бою. Но там был огневой бой, убитые оставались в лодках или тонули в Дунае. Бой на расстоянии — это все же не тот бой, когда сходишься грудь на грудь, когда перед тобой белые от страха глаза, когда слышишь, как хлещут пули по тугим мундирам и видишь обычную человеческую боль на лицах

— В камышах не осталось?

— Мы прочесывали.

Сенько подходит к убитым, переворачивает одного.

— Не буржуй вроде. Чего он пошел против нас?

Грач не раз задавал себе этот вопрос. И теперь, глядя на простоватого парня с застывшим на лице удивлением, он думает, что, может, ради таких вот не слишком разбирающихся в политике деревенских парней Москва и приказывала избегать конфликтов.

— Погнали. Вы на другого поглядите, явный немец, фашист. Из простого народа веревки вьют, сволочи!

— Простой, не простой — как отличишь?

— В том и беда.

Грач ждет упреков в неуместной жалости, но Сенько молчит, то ли не желая начинать опасного разговора, то ли понимая его. Война только началась. И хоть сознание уже отдает себе отчет, что мирные разглагольство-

вания на фронте не только не уместны — вредны, душа еще не ожесточилась.

— Сейчас я вам покажу, как можно бить врага без потерь, — говорит он, словно оправдываясь, придавая суровость голосу. И идет уверенно через густые заросли тальника.

Они находят секрет, затаившийся с ручным пулеметом за кустом, ложатся в траву рядом с пограничниками, выслушивают доклад о том, что на участке пока все спокойно, что солдаты на том берегу, как всегда, роют траншеи и что у берега замечено восемь замаскированных лодок.

— Ясно же — десант готовят, — горячится Сенько.

Грач кладет ему руку на плечо и зовет вперед. Они ползут один за другим, оба втискиваются в маленький шалашик, хитроумно сплетенный из живых стеблей тальника. В трех метрах от шалаша светлеет вода, поживается прибрежными водоворотами. Отсюда до брустверов вражеского пикета не больше пятисот метров. Там, меж осокопей, высвеченных закатным солнцем, виднеются серые глинобитные стены казармы и двор, по которому спокойно, словно и нет никакой войны, расхаживают солдаты.

— Они привыкли, что мы не стреляем. Теперь отучим, — говорит Грач и, не оборачиваясь, зовет тихо: — Говорухин! Видишь того голого, что умывается? Сними его. Смотри не промахнись. Нужно, чтобы с первого выстрела.

Затем Грач подзывает пулеметчика, берет у него ручной пулемет и сильно ударяет сошниками в плотный зеленый бруствер.

Булькает вода под берегом. Зудят комары. Солнце сбоку подсвечивает правый берег, брустверы окопов, осокори, сухие камышовые крыши сараев.

Выстрел обрушивается, как гром. Солдат у колодца на том берегу падает лицом в бадейку, заваливается набок. К колодцу подбегают другие солдаты, собираются крикливой толпой.

И тогда Грач нажимает на спусковой крючок и бьет по этой толпе непрерывной длинной очередью. Потом вскакивает, кричит в заросли:

— Отходить! Всем отходить!

Когда они, запыхавшиеся, падают в траву за дам-

бой, от пикета по камышам запоздало начинают бить пулеметы.

Растянувшейся колонной пограничники быстро идут по-за дамбой. Где-то высоко коротко всвистывают пули, косят ветки кустарника. Сумерки ползут по лугам, густеют с каждой минутой.

Позади вдруг ярко вспыхивает, и сухой треск взрыва раскатывается над Дунаем.

— Бегом! — командует Грач.

— Где эта батарея? — на бегу спрашивает Сенько.

— Трудно понять. Где-то в глубине.

— Надо засечь. Не сегодня-завтра наша артиллерия подойдет...

Они подбегают к селу уже в темноте. Стены хат белесыми призраками светлеют меж осокорей. Возле них то там, то тут вспыхивают сигарки: старики пережевывают события дня.

— Стой, кто идет?

— Кто это? — удивленно спрашивает Грач.

— То я — Гнатюк.

— Ты что, за часового?

— Ага. Вроде полевого караула.

Дед Иван подходит вплотную, вскидывает бороденку, говорит доверительным шепотом:

— Пока вы бой воевали, мы радиву слушали. Сводку Главного командования Красной Армии передавали. Бьют врагов. Нигде их не пустили, только, кажись, в двух местах. Сбили шестьдесят германских самолетов. А? Никаких самолетов у них не хватит.

— А еще что передавали?

— Законы всякие. О военном положении, о мобилизации... Много всего. Народ поднимается... Вот и я сторожу тоже.

Грач поощрительно хлопает его по плечу, проходит мимо. Но вдруг останавливается, говорит в темноту:

— Дед Иван, зайдите-ка на минутку...

Несмотря на бои, на артобстрел, застава живет по-прежнему. Все так же повар хлопочет на кухне, и часовой стоит у ворот, и дежурный с красной повязкой на рукаве четко встречает начальника. Грач запретил личному составу только отдыхать в казарме. Да и некому отдыхать. Немногие свободные от нарядов пограничники подостлав шинели, спят в саду у брустверов окопа.

В мазанке-казарме тихо и пустынно. Грач пропус-

кает деда вперед, садится рядом с ним на скрипучую койку.

— Иван Семенович, — говорит он, необычно называя деда по имени-отчеству. — Скажите, кто вы по национальности?

— Папа — рус, мама — рус, а Иван — молдаван, — усмехается дед.

— Вы давно здесь живете?

— Да ведь сколько живу, столько и здесь.

— Места на том берегу знаете?

— Лучше чем свою старуху, бывало. Места они всегда одинаковые. А старуха у меня была капризней Дуная, никогда не знал, в какую сторону кинется...

— Как вы думаете, где можно спрятать целую батарею, да так, чтобы ее и не видно было и не слышно?

— Мудреная задача, — говорит дед. — Считай, с той войны пушек не видал. В Измаил тогда ездил...

— Если мы не засечем эту батарею, она нам все село разгромит.

У Грача ясная идея относительно деда Ивана, но ему хочется, чтобы он сам о ней догадался.

— Как ее засечешь издаля-то? Надо поближе поглядеть.

— Верно, дед, светлая у вас голова, стратегическая. Да кого ж послать?

Старик обидчиво сопит:

— А мне, значит, нет доверия?

— Это дело опасное и трудное.

— А и не больно-то. Я в тамошних протоках каждую лягушку знаю. А опасно-то, теперь везде опасно. Давеча снаряд малость в хату не угодил, гуся в огороде убил, да стекла повышиб. Соседка и посейчас икает на лавке...

— Это дело, дед, очень серьезное. Надо, чтобы вас никто не заметил. И надо, чтоб вы поскорей вернулись. На том берегу весла спрячете и пойдете тихо на одном шесте. Мы тут пошумим маленько, так вы покуда уходите подальше. А днем сидите в камышах и слушайте, откуда будут пушки стрелять...

Тишина кажется густой и сжатой, как в запертой на ночь школе. Подмаргивает лампа на столе. Жужжит муха под потолком. Где-то за стеной с подвыванием тявкает собака.

— Ударим на рассвете, в тот самый час, — мечтательно говорит Сенько.

— Не надо на рассвете. Переправимся ночью, тихо снимем часовых — и малой кровью, могучим ударом. Как в песне.

— Какой же это удар, когда тихо?

— Разве не все равно?

— Не эффектно.

— Пусть эффектно враги умирают, — сердится Грач. Ему вспоминается фотограф, недавно приехавший на заставу. Тот тоже все искал красивостей. Чтобы был хмурый взгляд, устремленный вдаль, чтобы пограничники шли в атаку подтянутыми, застегнутыми на все пуговицы, в ровненькой шеренге. И чтобы не пригибались перед пулеметами.

Они умолкают, обиженные друг на друга.

— Что там на других заставах? В комендатуре-то больше известно, — спрашивает Грач, чтобы переменить разговор.

— Везде одно и то же — десанты, бои. В устье наши бронекатера пикет разгромили, расстреляли из пушек. Измаилу досталось: в первый же час — артналет. На первой заставе начальник погиб, а политрук чуть в плен не попал.

— Фесенко?

— Кажется. Там немцы еще ночью высадились.

— Немцы?

— Чему вы удивляетесь? Они везде, и у вас тоже, только в румынской форме. А под Рени их особенно много: город, мост, сами понимаете. Заставу-то взять не сумели: часовой тревогу поднял. А политрук дома спал, так его прямо сонного и схватили, поволокли к реке — и в лодку. Чтобы к себе увезти. А он, не будь дурак, когда очнулся, перевернул лодку и под водой поплыл к своему берегу. Течение там быстрое — унесло. Хоть и раненый, а выплыл, добрался до заставы и еще боем руководил...

Грач слушает, глядя на вздрагивающее пламя лампы, и его горделивая самоуверенность прямо-таки ошутимо опадает, съеживается, как проткнутый мяч. Утром, в первые минуты, его мучило опасение: не поторопился ли стрелять? Потом, когда десант был уничтожен, вместе с радостью победы пришла гордость, что именно на его заставе случилась эта крупная провокация, которую

он так блестяще отбил. По привычке всех, на ком лежит необходимость вспоминать героическое, он прикидывал, как повыразительней доложить о стойкости заставы. Тогда он еще не думал о наградах и славе, но теперь, когда стали известны масштабы случившегося, точно знал: в иной обстановке эти думы все равно бы пришли. Теперь самолюбивое сознание собственной исключительности спускало его с небес на землю. Будто он только что стоял один на сцене, вынужденный напряженно следить за каждым своим жестом, каждым словом, и вот теперь сходил в зал, растворялся в толпе...

* * *

Старая полуторка, дребезжа, как пустая жестянка, прыгает по неровной грунтовой дороге. Пыль дымовой завесой тянется над серыми кустами за обочиной, над светлыми полями хлебов и темными пятнами сырых низин. Солнце падает к горизонту, насыщая воздух розовым светом. Мичман смотрит на скользящие по горизонту осокори дальних сел и перебирает в памяти пережитое. Тупо ноет голова, и, может от этого, мысли его мрачны. Ему все кажется, что он один виноват в гибели механика Пардина и катера, что можно было действовать как-то иначе.

Время от времени Протасов поднимает голову, взглядывает на низкие звезды и снова уходит в дремоту. Чудится ему Даяна, одиноко бредущая вдоль дороги по колону в полыни, слышится глухое пулеметное татакание...

Будит его тишина. Машина стоит возле мазанки со стенами, розовыми от рассветного солнца. В дверях хаты — молодая женщина, улыбаясь, глядит, как Суржииков неторопливо пьет из высокой кринки.

— Где мы?

— Да в Килии ж, — весело говорит молодайка.

Суржииков сладко чмокает, нехотя отрываясь от кринки.

Потом они вдвоем идут по тропе вдоль домов, спрятанных в садах. С каждым кварталом дома все смелее выглядывают из-за ветвей и наконец ближе к центру города выставляются к самому тротуару дремотно обвисшими занавесками окон.

В просветах улиц виден Дунай. Он лежит вдали темной полосой, и светлые блики скользят по его поверхности. На той стороне, за леском, виднеются дома и высокая колокольня Килии-Веке, той заречной Старой Килии.

Протасов уже был наслышан о судьбе этих двух городов с одинаковыми названиями, разгороженных Дунаем. Говорили, что впервые люди поселились здесь двадцать три века назад. Будто еще Александр Македонский построил тут храм Ахилла, возле которого и возникло поселение Ахиллия — Акилия — Килия. Будто было это место стратегическим пунктом Древней Руси на Дунае, и киевские князья останавливались тут с дружинами на пути в Византию. И левобережная Килия тоже немолода, упоминалась в списке «Всем градам русским, дальним и ближним», составленном еще в XIV веке...

Город живет бессонной и беспокойной жизнью. На улицах не по времени людно. Кто-то спешит, ходят патрули попарно — один военный, один гражданский.

Гремя и пыля, как боевые колесницы, промчались несколько подвод. Мальчишки топчутся возле угла кирпичного дома, развороченного бомбой, с удивлением разглядывают в пролом железную кровать с никелированными шарами и пестрый домашний коврик на стене.

Неровным строем шагает взвод пестро одетых гражданских, и какая-то бабуся ехидно отзывается из-под калитки:

— Истребители пошли...

Увидев рядом военных моряков, охотно поясняет:

— Истребительный батальон собирают. Из наших-то мужиков...

— Не волнуйся, бабуся, в обиду не дадим, — говорит Протасов, решив, что ему, как военному, положено внушать населению уверенность.

— Да уж как же. Видела я сегодня ваше войско. Чуть что не бегом уходили. Всю ночь гремели под окнами.

— Это, бабушка, маневр, стратегия такая, — говорит мичман, думая, однако, совсем о другом, о том, что, должно быть, не везде крепка граница, если полк, стояв-

ший в Килии, действительно переброшен на другой участок...

Капитан-лейтенант Седельцев, осунувшийся после двух бессонных ночей, встречает Протасова невесело.

— Где катер? Почему погубили людей? — сердито говорит он своим обычным назидательным тоном.

— Война, — оправдывается Протасов.

— Война не война, а все должно быть цело!

— Нельзя ли без крика? — тихо просит Протасов, чувствуя, как снова наливается голова тяжелой болью.

— Что?! — Седельцев багровеет, опираясь на кулаки, медленно поднимается из-за стола. — Угробил людей, технику и еще оправдывается. Да мы тебя судить будем!

У Протасова холодеет лицо. Он чувствует, что вот сейчас, сию минуту может не выдержать, стыдно упасть на земляной пол.

— Разрешите выйти? — хрипло говорит он. И не дожидаясь разрешения, идет к двери.

Суржиков сидит на крыльце, покуривает, подставив лицо солнцу. Протасов тяжело опускается рядом, откидывается к стене.

— Что с вами?

— Ничего. Дай курнуть...

Когда отступает от глаз темная тяжесть и остается только медленно затухающий звон, Протасов встает, устало отряхнув китель.

— Посиди тут, — говорит он. — Если меня хватятся, скажи — сейчас буду. Я прогуляюсь чуток, курица куплю на рынке.

— Какой теперь рынок?

— Все равно. Надо пройтись...

Еще издали он видит — рынок есть. Человек пятьдесят толкуются у лотков, что-то покупают, что-то продают. Протасов медленно идет к этой толпе, понемногу успокаиваясь, удивляясь неизменности человеческих привычек. И вдруг замечает в небе звено самолетов, идущих к Килии с севера. Судя по курсу, самолеты должны были пройти стороной. Но они разворачиваются и летят прямо на центр города. Где-то в улицах, за домами, сдвоенным эхом стучат винтовочные выстрелы.

— Расходитесь!

Протасов бежит к первой подводе, вскакивает в мягкую солому и, полуобернувшись, взмахивает рукой,

чтобы показать людям самолеты. И замирает на миг, поймав взглядом выпуклую надпись над тяжелой дверью соседнего магазина — «РЕТРО» — «керосин». И кричит совсем неистово, срываясь на фальцет.

— Разбегайтесь! Во-оздух!

Но происходит непонятное: люди не бегут врассыпную, а любопытной толпой подаются к телеге.

— Чего вин гуторить?

— Бомбить будут!

Передние догадываются, бегут в соседние дворы, лезут под телеги. Паника катится по толпе, как волна. Толпа тает, рассыпается по площади. Но тут из-за крыш обрушивается рев самолета и сразу же — раскатистый треск бомбы. Сбитая на землю лошадь сухо бьет копытом по передку телеги. Молодая крестьянка застывает в недоумении от неожиданной и непонятной боли. Падает старик, резко, словно его ударили под коленки. Маленькая девочка в цветастом сарафанчике вдруг распластывается на камнях. И кто-то кричит, кричит на одной высокой, отчаянной ноте. И сыплются с лотков вишни, застывают на истоптанной земле, словно капли крови.

Второй взрыв сбрасывает его с телеги. Он больно падает боком на колесо, тут же вскакивает, бросается к девочке, лежащей на камнях. Не понимая случившегося, девочка болезненно улыбается. Из ее широко распахнутых испуганных глаз часто-часто выкатываются слезинки, смешиваются с кровью на подбородке и падают на серый от пыли китель мичмана.

— До-оча!

К нему подбегает женщина, грубо вырывает девочку и, припадая от тяжести, быстро идет, почти бежит по улице и все говорит, говорит что-то, вскрикивая и всхлипывая...

Через полчаса санитары увозят раненых и убитых, и Протасов с удивлением замечает, что базар все тот же. Кто-то снова торгует вишней с воза, на деревянных лотках лежит пирамида абрикосов, женщины, как и полчаса назад, трясут на толкучке своим немудреным барахлишком.

Протасов покупает мешочек своего любимого мелко нарезанного крепкого, как спирт, местного табака, стараясь унять дрожь в руках, набивает трубку, затягивается и закрывает глаза.

«Черт с ним, — думает он о Седельцеве, — пусть судит. И в штрафбате можно воевать...»

Но капитан-лейтенант Седельцев встречает Протасова неожиданно ласково.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает он, улыбаясь. И обиженно складывает губы. — Что же вы меня подводите, товарищ мичман? Почему сразу не рассказали, что героической схваткой с вражеским монитором сорвали высадку десанта?

— Я докладывал.

— Что вы докладывали? Что пошли в открытую против монитора? Что погубили катер и людей? Как прикажете реагировать на такой доклад? А ваш подчиненный, матрос Суржиков, рассказывает, что был героический бой, были и мужество и самопожертвование. Я звонил на заставу — все подтверждается... О героизме надо в трубы трубить, а не просто докладывать.

— Ну трубить нам еще рано. Сначала надо фашистов отбить.

— Нет, не рано. Примеры героизма сейчас вот так нужны!..

Седельцев, словно обидевшись, отворачивается и долго молчит.

— Как вы себя чувствуете? — опять спрашивает он.

— Как можно себя чувствовать? На базаре баб да детей бомбили. Фашистам глотки рвать надо, а мы тут рассусоливаем!

— Товарищ мичман!

— Мы по вооруженным нарушителям не стреляли, а они по безоружным...

Снова почувствовав тяжелую боль в голове, он судорожно сглатывает воздух и добавляет торопливо:

— Товарищ капитан-лейтенант. Отправьте меня на катер. Кем угодно, лишь бы к пулемету...

— Зачем же — кем угодно. Нам смелые командиры нужны. Принимайте другой катер. Вопросы есть?

— Никак нет! — радостно чеканит Протасов. — Разрешите выполнять?

И он щелкает каблуками, как не щелкал с курсантских времен.

Лейтенант Грач разглаживает ладонями лицо, смятое дремотной бессонницей, застегивает ворот и выходит на крыльцо. Звенят цикады. Шумят осоки под ветром. Млечный Путь лежит над головой широкой живой дорогой. Где-то далеко одна за другой взлетают ракеты и теряются в звездной каше.

— Тишина-то какая! — говорит из дверей старший лейтенант Сенько.

— Бывало, ничего так не желали, как тишины. А теперь она тревожит.

— А вы что бродите?

— Звонили, дед вернулся. Ведут сюда...

Бойкий говорок деда Ивана они слышат еще издали.

— ...Давай все говори, как где воют.

— Обыкновенно воют.

— Ты радику слушал?

— Некогда было. — Голос у сопровождающего пограничника усталый, почти сонный.

— Некогда, — передразнивает дед. — Небось пообедать успел...

Он умолкает, увидев командиров, торопливо идет к крыльцу.

— Товарищ начальник заставы! Твое приказание выполнил!

Обнимая старика, Грач чувствует через гимнастерку холодную мокроту его пиджака. Он ласково ведет его в свою канцелярию, наливает водки в солдатскую кружку.

— Согрейтесь, дедушка.

И только тут, в желтом свете лампы, замечает под запавшим глазом деда Ивана темный кровоподтек.

— Где это вы?

— Звезданул, аж светло стало.

— Кто?

— Да сигуранца ж, солдат ихний. Пошел я лодки глядеть, а он мне и заехал.

— Какие лодки?

— Всякие, их там в камышах штук сорок.

— Вы не ошиблись?

— Что я, в лодках не понимаю? — обижается дед. — Потому и торопился, что понял: десант собирают.

— А как с батареей?

— Да в Тульче она, прямо в городском парке стоит. Это мне рыбак знакомый сказал. Почитай, два года не виделись...

Когда за дедом закрылась дверь, Грач принялся раскладывать на столе карту, всю в синих жилках проток.

— «Язык» нужен. Этой же ночью.

И решительно поднял телефонную трубку:

— Хайрулина ко мне! Быстро!..

Час спустя, он стоит в камышах, едва не черпая голенищами воду, и смотрит, как растворяется в темноте силуэт маленького рыбацкого каюка. Грач знает, что в сорока метрах от берега тихая река свивается в струю и стремительно мчится к невидимой в этот час одинокой вербе на том берегу. За вербой струя бьет в дернину чужого берега. Но если загодя сойти со струи, то можно вплотную прижаться к камышам, а потом, прикрываясь ими, пройти против течения те полтора метра, которые оставались до заросшего камышом устья ерика, что дугой уходит в чужие болотины. Ериком надо было проплыть полкилометра, спрятать лодку, перебраться плавни по колено в воде, затем проползти лугом и подобраться к одинокому шалашу, где, как засекли наши наблюдатели, находится вражеский пост.

— Слишком мудрено, — говорил Сенько, когда Грач излагал ему этот план. — Заблудятся в темноте.

Он и сам знает, что нелегко. Зато этот болотистый берег фашисты считают безопасным, здесь не свербят ракеты, нет ни пулеметных гнезд, ни частых постов. Здесь по ночам всегда тихо, а днем лишь один раз проплывает ериком лодка, сменяя солдат...

Грач лежит на влажном от росы плаще возле пулемета, выдвинутого сюда на случай прикрытия, глядит неотрывно в черноту под звездами.

— Вы бы поспали, товарищ лейтенант, — говорит пограничник Горохов, бывший за второго номера. — Я разбужу, если что.

Грач и сам понимает, что теперь самое время вздремнуть, но гонит эту мысль. Ему кажется чуть ли не преступлением спать в такой момент, когда его подчиненные выполняют ответственную задачу. Он еще не знает, что очень скоро война научит спать и под бомбежками, что придет время, когда подчиненные станут

для него не просто людьми, которыми нужно командовать, а еще и товарищами по войне, по крови, по общему делу, способными и побеждать и умирать без команды...

— Товарищ лейтенант, слышите?

Из монотонного шороха камышей выделяется какой-то булькающий глухой стук.

— Катер идет, — говорит Горохов. И торопливо объясняет, радуясь своей сообразительности: — У него выхлоп в воду, вот он и стучит тихо, и булькает...

Звук приближается. И растет тревога. Ибо ясно, что катер этот чужой и что идет он сюда, к протоке, куда вот-вот должны выйти разведчики. Скоро Грач различает на темном фоне того берега маленькое движущееся пятно.

— Разрешите, а, товарищ лейтенант? Нельзя их к протоке пускать.

— Давай!

Пологая огненная арка трасс повисает над водой. Оттуда, из сумерек, тоже частит пулемет, пули шлепают по дамбе, ноют в рассветном небе.

И еще до того, как катер ушел, растворился в серых сумерках, Грач услышал частые, странно ритмичные, выстрелы в той стороне, где были разведчики.

— Наши бьются!

Горохов вскакивает, с недоумением оглядываясь на лейтенанта.

— Ложись! — приказывает Грач. И добавляет спокойно: — Разве это бой? Лупят раз за разом. Так стреляют только с перепугу. В белый свет, как в копеечку...

Вскоре на выбеленную рассветом водную гладь вылетает лодка и мчится по стремнине наискосок реки. Она вонзается в камыши, скрывается из глаз, невидимая, шуршит днищем.

Грач бросается навстречу, хлюпая сапогами по илистому топкому мелководью, и в камышах почти натывается на разведчиков, мокрых, осунувшихся, незнакомо ершистых от травы и водорослей.

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено! — докладывает Хайрулин, вытянувшись по-строевому. И кивает на лодку, в которой, перевесившись через скамью, лежит пленный.

— А он живой?

— Был живой... Счас мы его водичкой, — засуетился Хайрулин. Он брызгает илистой мутью, отчего на лице пленного появляются темные пятна и полосы.

— Он все удирать хотел, лодку чуть не опрокинул, пришлось его маленько стукнуть...

Пленный открывает глаза и вдруг начинает дрожать, оглаживая непослушными руками мокрый мундир. И тут Грач замечает на его плечах узкие офицерские погоны.

— Офицер?

— Так точно! Он по своим делам в кусты пошел, мы его и взяли.

— Ну, молодцы! — говорит он радостно и ласково.

— Служу Советскому Союзу! — громко, как на плацу, чеканит Хайрулин. И опасливо оглядывается на посветлевшую реку.

* * *

Весь день с того берега гремят выстрелы. Малокалиберные снаряды вгрызаются в белые стены домов на килийской окраине, с сухим, кашляющим звуком рвутся на мостовой. Килия не отвечает. Лишь когда над городом появляются самолеты, улицы и дворы горохом рассыпают винтовочные залпы. Самолеты бросают по несколько бомб и поспешно улетают за Дунай.

Ничего этого Протасов не слышит: он спит, выполняя строжайшее предписание доктора. Накануне доктор потребовал госпитализации. Мичман, уже испытавший бой, стыдился оказаться на больничной койке без ран. Они крепко поспорили. Порешили на том, что Протасов, не спавший до этого двое суток, прежде хорошенько выспится и завтра снова покажется врачу.

А Суржикову отвертеться не удалось. И у него тоже не оказалось серьезных ранений, но вид окровавленных бинтов привел еще не обстрелянного доктора в состояние невменяемости.

— А если в царапины попадет инфекция? — говорил он. — А психические травмы?..

Суржиков стал доказывать, что «психические травмы» теперь только на пользу, что к ним все равно надо привыкать, но доктор был непреклонен...

Мичмана разбудили ночью. Прибежал связной, передал приказ капитан-лейтенанта Седельцева срочно

явиться в штаб. Пошатываясь от тяжести в голове, Протасов выходит на палубу своей новой «каэмки», точно такой же, как та, что стала могилой механику Пардину и его, мичмана, неусыпной болью. Он гладит шероховатую стену рубки, ровную, без царапинки, трогает жесткий новый чехол на пулемете, сходит на скрипучий дощатый причал и оглядывается. Небо над Килией светится крупными немигающими звездами. Ночь стонет разноголосым лягушечьим хором. Перекликаются птицы в прибрежных камышах, громко и безбоязненно, как до войны.

Потом он идет вслед за связным по темной парковой дорожке, стараясь справиться с зябкой дрожью во всем теле.

— Что сказал доктор? — с улыбкой спрашивает Седельцев, едва мичман переступает порог.

— Велел выспаться.

— Значит, все в порядке. Я его знаю, он бы не выпустил.

Мичман молчит, боясь расспросов.

— Дорогу в Лазоревку не забыли?

— Никак нет!

— Получены сведения, что там снова готовится десант. Выходить надо немедленно, пока темно. Пойдете протоками. Если обстреляют, не отвечайте, пусть думают, что рыбацкий катер. Ясно? Вопросы есть?

— Так точно! Никак нет! — И Протасов расплывается в широкой улыбке...

На рассвете новая «каэмка» Протасова входит в темень под вербами, прижимается к зыбким мосткам Лазоревки. Задыхаясь от нетерпения, мичман бежит по тропе сквозь влажные заросли лозняка. Но ожидаемой «бурной» встречи с лейтенантом Грачем не получается: начальник заставы спит за столом, положив голову на руки. В окно косым пробивным лучиком заглядывает солнце, высвечивает трещинки на белой стене мазанки. Но вот лучик гаснет, мичман оборачивается и видит в окне деда Ивана. Старик улыбается всем своим щербатым ртом и манит пальцем.

— Что, дед, не спится? — спрашивает Протасов, выходя на крыльцо.

— Откуда ты взялся? — дед легонько толкает мичмана в грудь, поджимает губы, стараясь посерьезнеть, и не может справиться с улыбкой.

— Оттуда. — Протасов показывает в сторону солнца.

— А я в разведку ходил, — хвастает дед. И начинает рассказывать о своем путешествии на тот берег, о вылазке сержанта Хайрулина, о плененном офицере, о лодках, заготовленных в задунайских протоках.

— Милый мой дед, — говорит Протасов, обнимая старика. — Я всегда знал, что ты молодец.

— Что я! Да разве я... Вот про тебя все говорят. Даянке прямо проходу нет...

— Где она сейчас?

— Где ей быть? У ворот дожидается.

— Что же сюда не идет?

— Стесняется.

— Прежде я этого не замечал.

— Прежде она была девка, а теперь — баба.

— Ты откуда знаешь?

— Все говорят. Народ говорит — зря не скажет. Ты б женился на ней, а?..

Протасов идет к воротам, но там уже никого нет. И понимает — ушла. Услышала разговор и ушла от стыда.

Незнакомая печаль давит ему горло, сковывает ноги. Он смотрит на залитые ранним солнцем плетни, переминается в мягкой, словно пудра, дорожной пыли, не решаясь бежать за Даяной. И чем дольше стоит, тем сильнее опутывает его странная нерешительность...

— Товарищ мичман! Вас лейтенант Грач вызывает!..

Они обнимаются, как и подобает старым друзьям, перешагнувшим через разлуку.

— Отдышался?

— Только голова побаливает. Доктор говорит — контузия.

— Правильно говорит доктор.

— Может быть. — Протасов отводит глаза. — Я действительно стал каким-то контуженным, нерешительным стал.

— В госпиталь почему не лег?

Протасов молчит. Лейтенант продолжает:

— Ну и ладно... Давай ближе к делу. Что «языка» взяли, знаешь? А о готовящемся десанте? Пленный показывает: в протоках сосредоточено до семидесяти лодок. Если на каждой пойдет только по пять человек, это уже триста пятьдесят десантников.

— Отобьемся.

— Пленный показывает, что десантники еще не прибыли и лодки охраняются небольшими силами.

— Ну! — Протасов смотрит в глаза Грачу, напряженно ждет.

— Мы решили сделать вылазку этой ночью, разгромить пост, увести лодки или подорвать их.

Протасов закуривает, пуская дым в низкий потолок.

— А начальство как, одобряет?

— К нам выехал военный комиссар отряда товарищ Бабин...

Полуторка из отряда появляется только к десяти. В кузове на ящиках с гранатами и патронами сидят восемь пограничников — отделение из маневренной группы — с одним станковым пулеметом.

— Это не просто отделение, — говорит комиссар, выслушав рапорт. — Это те ребята, которые участвовали в вылазке Гореватого. Слышали? Так вот, это они увели у врага две пушки со снарядами...

Батальонный комиссар Бабин — плотно сбитый человек с широкими рабочими руками и уверенными манерами хозяина — быстро шагает к заставе, кидая через плечо вопросы:

— Что местное население? Сколько раненых? Как сегодня противник?..

— Противник ведет себя тихо, — отвечает Грач, радуясь словам Бабина. Прибытие отделения может означать только одно — одобрение плана вылазки.

Бабин быстро входит в канцелярию заставы, садится на койку, с любопытством пробует ее скрипучую упругость.

— Докладывайте, только по порядку...

Через четверть часа он удовлетворенно откидывает-

ся от карты и говорит то, что больше всего хотели услышать от него и лейтенант Грач и мичман Протасов.

— Первые атаки мы отбили. Но будут и вторые, и десятые будут. Пока не отобьем у противника самую охоту к атакам. Прежде мы боролись за тишину на границе с помощью выдержки. Теперь отвадить противника мы можем только решительными мерами. Пусть он боится наших десантов. За око — два ока! Так нас учили?..

Комиссар говорит медленно, уверенно, с назидательными нотками в голосе:

— Начальник отряда подполковник Карачев просил передать, что он в вас уверен, не подведете. Пограничники всегда начеку, для пограничников тишина полна звуков. Уж как тиха была ночь на двадцать второе, а не обманула. Все десанты были сброшены в Дунай, врагу не удалось захватить ни пяди советской земли...

Он с упоением вспоминает о последней мирной ночи, о первой победе. Обостренным чутьем человека, привыкшего предвидеть смутные движения людских душ, он понимает, что воспоминания о расстрелянной тишине станут всеобщей горечью, на которой вызреет так необходимая на войне беспощадная ненависть к врагу, что воспоминания о первой победе поддержат моральный дух в случае поражения.

Теперь мичман Протасов слушает и не слушает комиссара. Из головы не выходят Даяна и слова деда Ивана. Наконец он не выдерживает, и, спросив у Бабина разрешения, выходит и решительно направляется к мальчишкам, что плещутся у колодца.

— А скажите-ка, воины, кто знает Даяну?

Мальчишки переглядываются, хихикают. И от этого их смеха сжимается в нем все, и он понимает, каково ей теперь — не девке, не бабе, не мужней жене.

— А ну, кто самый быстрый? Чтоб сейчас же Даяна была тут.

Он с удовольствием ополаскивается у колодца и неторопливо идет к заставе. И уже у ворот слышит за спиной задыхающийся голосок:

— Дядь, Даянка не идет...

— Как это не идет? Где она?

— Вон за плетнем.

Даяна, опустив голову, исподлобья глядит на мичмана.

— Прежде ты сам меня искал, — обиженно говорит она.

— Прежде не было войны. И вообще ты эти дамские штучки брось. Ты мне жена, запомни и всем скажи.

— Пожалел?

— Дура ты! — сердито говорит он. И прижимает ее голову к своему кителю. И слышит частые, безутешные, почти детские всхлипывания.

— Не до меня... тебе.

— Ты погоди, я отпрошусь...

Он отстраняет ее, быстро идет, почти бежит вдоль плетня. У ворот заставы едва не сбивает с ног нивесть откуда вынырнувшего деда Ивана.

— Ну как?

— Десять.

— Чего — десять?

— Поговорка такая, — улыбается Протасов. — Ты, дед, погляди за Даяной, чтоб не ушла.

— А кто ты ей? Родня — хвост загня? Ты — по закону, тогда она куда хошь за тобой.

— Не до свадеб теперь.

— Бог с ней, со свадьбой. В другой раз на свадьбе погуляем. А ты распишись пока, чтоб поверила девка. И чтоб документа у нее была. Вдруг дитё, а?..

Расписываться Протасову кажется не менее важным и долгим делом, чем играть свадьбу. И дед понимает его сомнения.

— Расписаться — дело нехитрое, — говорит он. — Я тебе враз председателя сельсовета доставлю, с книгами и печатями. В пять минут оженим.

— Доставай! — радостно кричит Протасов. — Золотой ты мой дед, давай председателя, тащи его сюда...

Но отлучиться ему больше не удастся. Батальонный комиссар Бабин пожелал сам осмотреть местность. В сопровождении Грача и Протасова он ходил от одного НП до другого. Когда солнце стало тонуть в закатной дымке, Бабин пошел на катер, осмотрел крупнокалиберный ДШК на палубе и «максим» на корме, при-

строенный на самодельной деревянной раме, похвалил за находчивость. Потом протиснулся в каюту, разложил карту и снова начал обсуждать план операции. Было решено: как стемнеет, бечевой — чтоб тихо — протаскать катер повыше, откуда струя течения сама уносила к другому берегу. А в три часа, когда ночь перед рассветом особенно темна, а сон особенно крепок, ударить по вражескому пикету всеми огневыми средствами и быстро форсировать реку.

— Пора отвадить фашистов от десантов, — говорил на прощание комиссар, пожимая всем руки. — И связь, связь постоянно. Если увязнете, поможем бронекатерами...

Никто не знает своей судьбы на войне — ни солдат, ни генерал. Кажется, все расписывается как по нотам, продумывается каждый шаг — и свой, и противника. Но можно ли все предусмотреть? Когда всходит кроваво-первая ракета, когда первая трасса перечеркивает ночь и первый взрыв огненным вздохом раскидывает кусты, с этого момента зачастую начинает осуществляться другой, непредусмотренный план, успех которого зависит не только от замыслов сторон, но и от множества случайностей, и от меры солдатской злости, от гибкости командиров, от того, насколько быстро они оценивают обстановку, насколько смело вносят поправки в свои собственные расчеты.

Ни лейтенант Грач, ни мичман Протасов еще не знали этой истины войны. Они еще жили в счастливом сознании незыблемости, неизменности военной теории. Но, может, это голос пращуров, столько раз вызволявших русскую землю из беды, звал их к рассудительности, пока она была возможна, и требовал при необходимости, не рассуждая, кидаться навстречу смертельной опасности. Так было два дня назад, когда фанерный катер ринулся на бронированные борта монитора. Так вышло и теперь, когда к полуночи стало ясно, что враг в своем стремлении усыпить бдительность пограничников сам потерял осторожность. Ракеты, которые еще вчера то и дело чертили небо, сегодня взлетали лишь изредка, ненадолго тормоша ночь.

И тогда родился новый план...

Лейтенант Грач лежит на пологом склоне, чувствуя сквозь гимнастерку холод чужой земли. Он знает этот берег не хуже, чем свой: тысячу раз ощупывал его в бинокль. Знает, что за тем кустом, темнеющим впереди, берег круто поднимается и упирается в задерненный бруствер пикета. Очень неудобно и беспокойно лежать тут, рядом с вражескими часовыми. В голову приходят фантастические предположения: а вдруг рассветет раньше времени? Хотя реальнее были ракеты, которые могли в любой момент зачасить, выхватить из темноты и берег, и эти кусты, за которыми теперь лежат пограничники, и лодки посреди реки. Тогда уж внезапности не будет. Тогда будет бой, тот самый, предусмотренный первым планом, которого теперь так не хотелось.

Ему вдруг приходит старая мысль, что путь к безопасности и его лично, и людей, за которых он отвечает, лежит через этот вражеский пикет. Вспоминается афоризм: «Чтобы уйти от опасности, надо идти к ней». И сразу становится нестерпимым это бездеятельное ожидание. Он протягивает руку, трогает лежащего рядом Хайрулина. Тот переваливается бесшумно, и его скуластое лицо оказывается так близко, как лейтенанту еще не приходилось видеть.

— Давай! — одним дыханием говорит Грач. — Смотри только...

Он не договаривает, уверенный, что Хайрулин и так знает, о чем речь — о тишине, от которой зависит все. Часовой должен рухнуть, как в кинофильмах об индейцах — без крика, без хрипа, без стука о землю. Для такой ювелирной работы нужен опыт, которого ни у кого нет. И это беспокоит лейтенанта, заставляет нервно прислушиваться, мысленно торопить время.

От реки доносится слабый чавкающий звук, в темноте, как условлено, дважды скрипит лягушка. Лейтенант ползет вперед, осторожно ощупывая руками землю. Он не оглядывается, знает, что там, за его спиной, так же осторожно ползут пограничники, каждый к своему месту.

Возле самого бруствера он натывается на Хайрулина. Тот стоит на четвереньках, брезгливо шаркает ладонями, вытирая их о траву.

— Ваше приказание выполнено! — шепчет он со странным чужим придыхом.

Лейтенант поднимается в рост, перепрыгивает через окоп, мельком заметив на голой утоптанной земле распластанное тело часового с неестественно откинутой головой. Он подбегает к серой стене казармы и вдруг видит, что навстречу ему медленно открывается дверь. В дверях стоит сонно чмокающий солдат без ремня. Грач делает выпад, как на плацу по команде «длинным — коли», и, взмахнув рукой, бьет солдата гранатой по голове. И в тот же момент рядом гремит выстрел. Так сначала думает Грач. Но сразу же соображает, что это не выстрел, а капсюль гранатный хлопнул от взмаха и через четыре секунды будет взрыв.

— Гранатами — огонь! — торопливо кричит он, бросая свою гранату в светлый провал двери. Отскакивает к окну, швыряет туда сорванную с пояса лимонку и, уже падая на землю, слышит звон стекол с другой стороны казармы.

Треск разрывов забивает уши, придавливает тяжестью. И сразу оживает ночь криками, оглашается резкими, как удары хлыста, винтовочными выстрелами. Гудит на реке катер, кто-то нетерпеливый кричит «ура», плюхаясь в мелкую воду у берега...

Все совершается удивительно быстро. Несколько пленных жмутся к стене, вытянув вверх руки, призрачно серые в первых бликах рассвета. Вокруг толпятся пограничники, смеются, вспоминая детали боя, с дружеским любопытством разглядывают таких не опасных теперь вражеских солдат...

Заря расплывается над вербами опаловым веером. Грач внимательно смотрит на нее, словно впервые видит, и решительно командует отход. Через минуту десятки лодок шумно, как на мирных соревнованиях, наискок несутся по реке. Начальник заставы сидит между гребцами, пожимает ушибленным где-то плечом и с удовольствием гладит холодный влажный ствол трофейного пулемета. Позади дымит, догорает вражеский пикет.

На восходе появляются два фашистских самолета, проносятся над притихшей рекой, сбрасывают бомбы на остатки пикета.

— Давай, давай! — кричат пограничники.

— Прилетайте еще! А то головешки целы!..

Через час, замаскировав катер в глухом ерике, мичман Протасов отправляется на заставу.

— Прикажете отдыхать? — весело спрашивает он с порога.

Грач поднимается ему навстречу, говорит без улыбки:

— Не придется тебе отдыхать. Приказано срочно возвращаться в Килию. Возьмешь на борт десантную группу и валяй...

Протасов шагает по гулким дощатым мосткам и с грустью думает о Даяне. И вдруг видит деда Ивана, похаживающего с решимостью малость хватившего человека.

— Я слов на ветер не бросаю, — хвастливо говорит дед и кивает на дремлющего на скамье возле калитки председателя сельсовета. И Протасов догадывается, что хитрый старик не пожалел своих погребов и с помощью большой оплетенной бутылки продержал председателя возле себя.

— Спасибо. Но я снова уйду.

— Я тебе уйду, — сердится дед. — Ты меня не позорь. Женись сначала.

— Так Даяны ж нет.

— Как нет? — Он с треском распахивает калитку и кричит во весь голос: — Ма-арья-а! Давай невесту!

Уснувший после целого дня деловой беготни председатель испуганно вскакивает, снова садится, растерянно улыбаясь. В дверях хаты появляется известная своей настырностью вдова рыбака, утонувшего два года назад.

— Иди, девка, не упрямясь. Век благодарить будешь, — приговаривает она, подталкивая Даяну.

— Что ты удумал? — говорит девушка, оказавшись перед мичманом.

— Уйду я, Даянка. Кто знает, когда в другой раз увидимся.

— Слышишь — уходит, — вмешивается дед. — Уезжает, стало быть. Проводи его не как шалопая, как мужа.

— Свидетели нужны, — говорит председатель, раскрывая книгу.

— А я чем не свидетель? А с ее стороны — тетка Марья. Заспал, что ли?

Протасов с веселым недоумением смотрит на председателя, который, держа документ на широкой ладони, ловко шлепает по нему темным затертым штемпелем.

— Вот теперь целуйтесь, — радостно говорит дед. И подталкивает Даяну. Девушка послушно прижимается к мокрому заляпанному илом кителю Протасова и вдруг начинает рыдать, взхлеб, безутешно...

«Каэмка» стремительно вырывается на ослепленную солнцем ширь Дуная, и сразу все теряется за кормой — и мостки, и белое пятнышко платья Даяны исчезают за плотными корявыми вербами.

Протасов стоит у руля, как полагается, в положении «по-боевому» и смеется, смущенно оглядываясь на пограничников на палубе. Он снова и снова вспоминает и удачный ночной бой, и забавную настырность деда Ивана. И все трогает рукой левый карман, где лежит удостоверение личности с фиолетовым штампом на шестой странице.

* * *

Для начальника погранотряда подполковника Карачева первой школой и службы и жизни была Первая Конная армия. С юношеским азартом принимал он стремительность переходов, лихость атак. Глухой гул летящей конницы, мышинные спины бегущих врагов, песни девчат в тихом отвоеванном селе были для него уроками тактики и стратегии, на которых познавались главные премудрости войны — активность, быстрота, решительность.

И как бы потом ни поворачивалась армейская служба, та первая уверенность, что враг бежит, когда мы наступаем, определяла все его командирские замыслы и поступки.

И в эти трудные первые часы июня, когда телефоны в отряде зазуммерили от лавины тревожных сообщений, когда, казалось бы, нет другой заботы, как выстоять, и когда еще действовали строжайшие приказы, предписывающие ни в коем случае не поддаваться на

провокацию, уже в те часы подполковник Карачев думал о возмездии, о смелых вылазках, которые парализовали бы волю противника к атакам.

Карачев поощрял активность начальников застав, но мечтал не просто о вылазках — о настоящем десанте, который посеял бы панику в стане врагов, о плацдарме для будущего наступательного удара. Он не оставил мысли о десанте даже тогда, когда узнал то, что в тот час еще не знал никто из его подчиненных, — о серьезных прорывах врага на других участках огромного фронта, когда многие воинские части, стоявшие по Дунаю, ускоренным маршем ушли на север.

— Тем более мы должны атаковать, — говорил он. — Чтобы не дать противнику ударить еще и с юга.

Некоторые штабники возражали ему, ссылаясь на то, что пограничные подразделения, дескать, не предназначены для наступательных операций.

Тогда подполковник сердился:

— А гражданские, те, что идут теперь в истребительные батальоны, они разве предназначены? Мы, военные, даже особо подготовленные военные, и должны уметь выполнять любые задачи...

Кроме того, становилось все очевидней, что Дунай приобретает особое значение как единственный выход в Черное море, как восточные «ворота Европы». У кого ключ от этих «ворот», тот контролирует левый фланг всего фронта...

Удар решено было нанести на Килию-Веке. Небольшой городок этот разбросал свои одноэтажные домики в километре ниже нашей левобережной Килии. Судоводная протока подходила к нему из глубины румынской территории, и там, у небольшой пристани, каждую ночь гремели мостки: прибывали новые и новые подразделения. По данным разведки, к 25 июня в Килии-Веке было до тысячи солдат и офицеров противника, крупнокалиберные пулеметы, пушки.

Карачев мог выделить для десанта лишь мелкие подразделения 3-й пограничной комендатуры численностью до батальона. Вместе с оставленным в Килии батальоном ушедшего на север стрелкового полка это было уже кое-что. И все же очень мало для форсирования такой водной преграды, как Дунай, для наступления на численно превосходящего противника.

Но начальник отряда был уверен в успехе. Ибо катера Дунайской флотилии обеспечивали господство на реке. И еще потому, что верил в своих пограничников, знал: каждый может и должен драться за двоих.

...И вот пришла эта ночь, ночь первого в Великую Отечественную войну десанта.

Мичман Протасов стоит на палубе своей «каэмки», искусно спрятанной в узкой протоке со странным названием — Степовый рукав, и слушает, как замирает ночная Килия в ожидании неизвестного. Вот гроыхает по булыжнику батарея сорокапятков, выходя на позицию против Килии-Веке. Вот шагают по мосткам десантники, заполняют лодки, палубы катеров. Люди идут молча. Неожиданно мичману слышится незлобивая, шепотком, ругань.

— Да отстань ты. Что я, враг?

— Кто тебя знает. Давай документы.

— Врагов на том берегу ищи.

— На этом тоже попадаются.

— Моряк я, не видишь? Свой катер ищу.

— В самоволке был?..

Протасов соскакивает на мостки и видит перевязанную физиономию старшего матроса Суржикова.

— Ты почему здесь?

— Товарищ мичман! — радостно шепчет Суржиков. И спохватывается, говорит сердито: — Да вот, больно бдительный попался, на свой катер не пускает. Полчаса мне голову морочит.

— Марш на судно! — говорит Протасов. И хлопает часового по плечу: «Ничего, мол, сами разберемся».

Он перешагивает на палубу, подталкивает Суржикова в рубку.

— Ну? Как прикажешь понять?

— Они меня завтра эвакуировать собрались. Что я им, больной, что ли? Ну я сам взял и эвакуировался сегодня...

— Раз решили, значит, надо.

— Кому надо? Вы в десант, а я в тыл?..

Протасов морщится. Кто-кто, а Суржиков спорить горазд. Сколько было у него взысканий — все за язык.

— Ладно, — говорит мичман. — После боя разберемся. Если что, эвакуируешься как миленький...

Из темноты доносятся всплески шестов, и темное пятно соседнего катера начинает медленно смещаться.

— Пошли! Пошли!..

Десантники наваливаются на шесты, и «каэмка» тоже отходит от берега и плывет по течению, покачиваясь, поворачиваясь на водоворотах.

Тихая ночь лежит над рекой. Сонно всхрапывает волна под бортом. В прибрежных камышах стонут мириады лягушек, и птицы перекликаются торопливо и страстно.

Протасов поеживается: то ли холод пробирает, то ли нервы. Он знает, что в этот момент по ту сторону Дуная тайно пробираются чужими заросшими ериками наши катера, и завидует морякам, кому выпало участвовать в том рисковом рейде. Он знает, что катера идут на тихом подводном выхлопе, стремясь подойти к Килии-Веке с тыла и ударить внезапно. Но в узких извилистых протоках легко можно сесть на мель, да и фашисты могут обнаружить катера на подходе, и тогда неминуем бой в невыгодных условиях, бой, в котором десантникам придется пробиваться к городу через насквозь простреливаемые открытые сырые луга.

«Вот это да! — завистливо думает он. — Не то что тут — всем кагалом». И вдруг напрягается. Там, в далекой глубине чужих плавней, ясно, знакомо зарокотали двигатели катеров. Тотчас вскинулись в небо два прожекторных луча, зашарили по редким тучам. От едва различимого на фоне неба сдвоенного конуса колокольни ударил пулемет. Сразу откликнулись ДШК наших катеров. Лучи прожекторов вмиг опали. Через темень зачастили светящиеся ниточки трасс, вонзаясь в конус колокольни, высекая яркие магниевые вспышки.

И тотчас кроваво засвечивается водная гладь: над рекой огненной птицей взвивается красная ракета — сигнал общей атаки. И взрывается тишина треском моторов, командами, частыми выстрелами. Десятки пулеметов, установленных на десантных катерах и лодках, вонзают в темный вражеский берег огненные полудуги трасс.

Какой-то миг Протасов любуется живым сверкающим серпантинном, связавшим невидимые в предрассветной темени пулеметы и едва различимый чужой берег. И спохватывается, сбрасывает с себя это мирное праздное любопытство.

— Десанту приготовиться! — кричит он сквозь глухой треск пулеметных очередей.

И вдруг чувствует, как толкнулась, поднялась палуба, а потом пошла, пошла из-под ног. Близкий разрыв окатывает десантников штормовой волной. Двигатель затихает, и сразу становится слышным шум воды под бортами: катер еще движется по инерции к близкой теперь отмели.

На берегу снова ослепительно вспыхивает. Кажется, что пушка стреляет прямо по ним.

— Бей по вспышкам! — командует Протасов.

Казалось, его услышали все: огненные трассы заскользили по берегу, конусом сходясь к тому месту, где была пушка.

— Бей же! — снова кричит он, не слыша своего ДШК.

— Заело!..

Пулеметчик зло ругается и звонко шлепает ладонью по металлу. Возле него появляется перевязанная голова Суржикова, и пулемет, сердито клацнув, сразу оживает и бьет торопливо и долго, словно стремится наверстать упущенное.

И вдруг все вокруг озаряется ярким трепещущим светом: над рекой запоздало вспыхивают ракеты, выхватывают из тьмы катера, лодки, согнутые спины десантников.

— В воду! Прыгай! — кричит Протасов, как только катер врезается в отмель.

Бой сразу уходит от берега. То выстрелы гремели вблизи и эхо скакало в соседних улицах, рокотало над низким берегом, облепленным лодками, а то все затихает здесь, и выстрелы ухают уже где-то вдали, в плавнях.

Серый рассвет медленно расползается по воде, высвечивает окраинные дома города. Оттуда из-за домов вдруг появляются белые, как привидения, фигуры, торопливо идут к берегу, и Протасов скорее догадывается, чем узнает, — пленные. Глядя на это шествие призраков, он ощущает необыкновенную легкость. Словно вдруг отваливает давнее напряжение, оставив облегчающую радость свершенного.

«Ловко мы их, — удовлетворенно думает он о пленных, только что бывших опасными врагами, а теперь

ставших такими безобидными и жалкими. — Ловко мы их. Даже штаны надеть не успели...»

Поминутно оглядываясь на длинные штыки конвоиров, пленные подходят к воде, переминаются босыми ногами на сыром песке, равнодушно озираются. И в этой их отрешенности чувствуется мужицкое безразличие к этой непонятной им войне — воевать так воевать, в плен так в плен. Но по некоторым видно и другое — угрюмую настороженность, растерянность, чванливую злобу. Протасов уже знает — это немцы, отпетые гитлеровцы, приставленные к инертной солдатской массе в качестве погонял.

На затихший берег обрушивается гул: откуда-то выныривают самолеты, нестройным треугольником проносятся над берегом, сбрасывают бомбы на песчаную отмель. Одна бомба падает неподалеку от «каэмки», взметнув выше мачты белопенный куст. Суржиков, ревниво не отходивший от пулемета, присев на корточки, пускает в небо длинную очередь. Но самолеты уже скрываются за рощицей на другом берегу неширокой протоки, и низкий рев их замирает вдали. И тотчас в плавнях за городом снова вспыхивает винтовочная пальба. Толпа пленных оживает. Некоторые вскакивают на ноги, что-то кричат, то ли зовут, то ли командуют. Конвоиры беспокойно сбрасывают с ремней винтовки.

— Сидеть! Сидеть!

Протасов стоит на палубе, вглядывается в просветы между домами. Ему кажется, что стрельба то удаляется, то снова подступает к городу.

Из лодки выглядывает моторист, до неузнаваемости вымазанный маслом, равнодушно любопытствует:

— Что там?

— Как мотор? — сердито спрашивает Протасов.

— Счас будет. А что там?

— Должно, контратака. Теперь им Килия как кость в горле.

— Ну-ну, — говорит моторист, будто речь о чем-то обыденном.

А пленные все идут и идут из-за домов, одинаково белые — в исподнем, словно это их униформа. Красноармейцы сдают пленных конвоирам, шумно удивляются позору врагов, и в этом их веселье чувствуется радость минувшей опасности, быстрой победы. Шумит бе-

рег громкими шутками, шлепаньем босых ног, сдержанным разноязыким говором толпы, сухим стуком сваливаемого в кучи трофейного оружия...

— Какое сегодня число?

— Двадцать шестое. А что?

— Пятый день воюем.

— Только пятый?

Протасова поражает эта простая мысль. Бывало, месяц пройдет, и вспомнить нечего. А тут!.. Он перебирает в памяти час за часом трагичное и радостное, что было в эти дни: черный монитор на блескучей глади Дуная, последний всплеск взрыва перед форштевнем, рев самолетов над притихшим базаром, короткий перехлест выстрелов у вражеского пикета, сверкающий серпантин трасс над темной водой. Он вспоминает лица павших и живых и вдруг замирает от нового для себя чувства тоски и нежности. «Даяна!» Протасов достает удостоверение личности, долго разглядывает чернильный штамп и прикидывает, когда сможет снова увидеть ее. Завтра? Или придется мучиться несколько дней?..

Он еще не знает, что разлука эта — на годы. Что на пути к Даяне будут Одесса, Севастополь, Новороссийск — сотни боев, тысячи километров фронтовых дорог.

Он не знает, что эти первые победы будут вспоминаться ему в самые трудные минуты, что они не заслонятся лавиной грозových дней, а в точности, как говорил комиссар Бабин, станут не гаснущим факелом, поддерживающим уверенность в окончательной победе. (Ведь здесь, на Дунае, несмотря на непрерывные контратаки, они так и не сдадут своих позиций, а лишь много дней спустя отойдут сами, подчинившись приказу, учитывающему интересы всего огромного фронта...)

— Шурануть бы вверх по Дунаю. До самой Германии.

Суржиков потягивается, хлопает ладонью по гулким доскам рубки. Протасов будто все это время говорил со старшим матросом, вдруг обращается к нему:

— Так же шуранем и по Германии...

— Когда?

— В свое время.

Он говорит это не в утешение матросу, в совершенной уверенности, что так и будет, что такое не может остаться без возмездия. Не знает он только, что тогда станет уже бравым командиром дивизиона тяжелых бронекатеров и бросок вверх по Дунаю будет не просто контрударом защитников Родины, а большим стремительным наступлением освободителей народов. В то время перед ним откроются совсем другие горизонты, и, утюжа мутные дунайские волны, он будет понимать одно: дорога в его Лазоревку лежит через всю Европу...

Ничего этого еще не знает мичман Протасов. Он стоит на палубе, переполненный предчувствиями чего-то грозного и большого. А над далекими вербами левого берега встает заря, пятая заря войны. Она разливается во всю ширь, багровым огнем заливает живое зеркало Дуная...

«Завещание» Петра Великого

Штаб полка со всеми своими службами разместился неподалеку от передовой. В эти первые дни декабря 1941 года ему уже дважды приходилось менять место. Оборона уплотнялась, штабы дивизий занимали землянки полковых, а те перебирались в батальоны.

Мороз мешал думать, он забирал у Платонова все силы. «Только бы не раскашляться, только бы не раскашляться», — Платонов знал за собой этот недуг отчаянного курильщика — на сильном морозе у него начинался кашель и потом целый час не мог угомониться. Платонов направился к землянке Особого отдела, куда его так неожиданно вызвали утром. Зачем понадобился особистам лейтенант Платонов, в прошлом доцент-историк, специалист по вспомогательным историческим дисциплинам?

В Особом отделе капитан попросил минутку обождать, куда-то позвонил.

— Товарищ лейтенант, сейчас пойдет машина, забросит вас в штаб армии. Явитесь к подполковнику Воронову... — И не договорил, с удивлением уставившись на Платонова, сдерживая кашель. Потом широко улыбнулся. — Владимир Алексеевич, да что это вы? Успокойтесь. Вас в армию вызывают как специалиста по Смоленску...

Платонов все же раскашлялся. И кашлял долго, сухим, дерущим горло кашлем.

— Товарищ капитан... что я смолянин — это действительно так, но что означает — специалист по Смоленску?

— А это уж, лейтенант, мне знать не дано. Там, в армии, все и объяснят. Хотите мятных конфет? Право, помогает. Я вот уж неделю жую, мечтаю бросить курить...

Платонов наконец отдышался, вытер слезы. И невольно рассмеялся. Теперь он вспомнил, что вместе с этим капитаном чуть не погиб на Соловьевой переправе. Но тогда было лето, и капитан носил бороду.

— Простите, товарищ капитан, из-за этого кашля я вас не узнал...

— И бороды нет. Ничего не попишешь, начальство у меня строгое — каждый день бреется. Приказал бороду того-с... А жаль!

— Товарищ капитан! Можно ехать. Едва отогрел на морозе...

Платонов не заметил, как в блиндаж просунулась ушанка, из-под которой виднелся один только красный нос.

— Закрой дверь, идол! Привык там у себя, в Сибири, избы от тараканов вымораживать...

— Так точно, товарищ капитан, вернейшее средство. Только к лету они опять оживают.

— Спасибо, утешил, «оживают»! А мы-то, что ж, потвоему, тараканы? Захватишь лейтенанта, да смотри, не заморозь по дороге. Довезешь до штаба армии и мигом обратно.

— Есть доставить лейтенанта в штаб армии!

В машине было тепло, и Платонов окончательно успокоился. Все-таки приятный этот капитан. И смелый. Это он помог тогда выгрести в водоворотях Днепра. Самому бы Платонову не выплыть. Плавал он так себе, а вернее, просто умел держаться на воде, да и то недолго.

Специалист по Смоленску? Это что-то новое. Конечно, историю родного города он знает отменно. Свою «ученую карьеру» начинал экскурсоводом, подрабатывал на каникулах в студенческие годы. Но зачем особистам понадобились его знания сейчас? Тем более что Смоленск захвачен фашистами?

А что, если его хотят забросить в Смоленск с каким-либо заданием? Но это предположение тут же отпало. Во-первых, для выполнения особых заданий существуют и специально подготовленные люди. Во-вторых, в Смоленске его слишком хорошо знают, и не только в, так сказать, академических кругах. Ну и вообще — какой из него разведчик, связной, тем более — диверсант? Глупости!

И вновь мысли о прошлом...

Его прошлое — это архивы, лекционные аудитории, библиотеки. Кажется, самые яркие воспоминания юности связаны у него не с таинственными ночными свиданиями или студенческими шкодами, а со встречами в архивах. Он как бы со стороны увидел того 18-летнего юнца, который робко поднимается по лестнице старого особняка на Большой Пироговской улице в Москве. Здесь помещается архив древних актов. Тогда он назывался еще архивом феодальной эпохи или даже сохранял старое название Главного архива министерства иностранных дел. Здесь все в диковинку. Документы длиной в несколько десятков метров — столбцы, склеенные из сотен и тысяч бумажных полос, испещренных записями, которые он не может прочесть, хотя написано и по-русски. Но в XVI—XVII веках писали скорописью, ее еще предстояло изучить, привыкнуть к различным почеркам. Здесь же лежат какие-то грамоты с печатями, подвешенными к ним на шелковых шнурах. Не печати, а что-то вроде амбарных пломб, но некоторые пломбы сделаны из золота. Впрочем, больше свинцовых, мастичных, сургучных. Золоченые ковчежки, в которых хранятся международные договоры, уложения, гербовники, книги-уродцы, у которых толщина превосходит ширину, евангелия, четьи-минеи. Здесь не считают за находку гусиное перо, забытое переписчиком, и даже высохшее человеческое ухо, ухо какого-то жулика, отрубленное за воровство и приколотое к судебному постановлению, — вещь обычная.

А юнец с благоговением трогает стол, за которым тридцать лет просидел замечательный ученый-историк Сергей Соловьев. Робко разворачивает жалованную грамоту на дворянство, полученную каким-то незадачливым господином «из канцелярии Правительствующего Сената октября в 25-ый день 1917 года». Последний дворянин России...

Это самые яркие воспоминания юности. Потом будут другие архивы и иные реликвии. Он научится разбирать скоропись и узнавать почерки ставших знакомыми, писцов из различных приказов...

— Сигайте, лейтенант!.. Прыгайте!

Платонов почувствовал, как чьи-то сильные руки очень непочтительно ухватили его за ворот полушубка

и выволокли из машины. Услышал рев мотора, пулеметный перестук...

Водитель опомнился первым.

— И мороз ему нипочем. Чуть не продырявил!

Платонов не мог сразу прийти в себя, его мысли были еще в тиши архивных хранилищ, а сам он лежал, вжавшись в снежную траншею, вдоль которой проходила фронтовая дорога. И ответил невпопад.

— А что ему мороз! Летом на высоте три тысячи метров уже холодно, как зимой на земле. — Сообразил, что сказал глупость, и только теперь вспомнил, что едет в штаб армии, что только минуту назад тощий «мессер» чуть было не изрешетил машину и его вместе с ней. И появилось чувство досады на самого себя, на свою ненужность, бесполезность в деле, которое называется войной.

— Улетел, кажись. Надо посмотреть машину.

Водитель, с опаской оглядываясь на западный край неба, нависшего блекло-голубой дымкой над близким лесом, побежал к машине.

— Вот гад! Смотри, лейтенант, через эту вон щелочку на тебя глядела костлявая старуха...

Платонов сразу не понял, что хотел сказать водитель, указывая на пробитое пулей стекло против того места, на котором он только что сидел рядом с шофером.

В деревенской хатке, засыпанной под самую крышу снегом, Платонова принял пожилой подполковник. Он, видимо, уже много суток не высыпался, был хмур, набрякшие под глазами мешки старили его еще больше.

— Садись, лейтенант! — помолчал, словно ему было трудно говорить, оглядел далеко не гвардейскую фигуру Платонова, хмыкнул. — Вы ведь коренной житель Смоленска?

— Так точно, товарищ подполковник, коренной.

— Человек вы, как вижу, немолодой, небось мы с вами одногодки?

— Я — 1901-го...

— Ну, а я — девятисотого. А с какого года проживали в Смоленске?

— Да всю жизнь, если не считать пяти лет учебы в Московском университете.

— Это что ж, во времена гражданской?

— Так точно!

— А я свои университеты проходил на фронте против Колчака.

Это звучало почти как упрек. И Платонов покраснел. Неужели нужно объяснять, что он все время браковался медицинскими комиссиями, так как с детства был близорук.

— Товарищ лейтенант, я все это выясняю не из праздного любопытства, — голос у подполковника был хриплый, прокуренный, но Платонов расслышал, что он говорит с какими-то уже новыми, быть может, доверительными интонациями. Подполковник продолжал: — Так вот, Владимир Алексеевич, кажется, так?

— Так точно!

— Вчера наши люди переправили с той стороны одного человека. Сведения у него настолько интересные и важные, что, признаться, мы пока плохо верим этому... как его... Лукашевичу. Он говорит, что всю жизнь прожил в Смоленске. Между тем, не может толком рассказать о боях под Смоленском летом этого года. Уверяет, что отсиживался в каком-то Серебряном бору у родных. И, главное, настораживает то, что сей гражданин добрался из Смоленска до линии фронта за девять дней, и говорит, что никто ему не помогал. И только позавчера наткнулся на наших разведчиков, которые и привели его к нам. Вот мы и хотим прежде всего проверить — житель ли Смоленска этот господин? Кстати, тут, в штабе армии, в 7-м отделении служит ваш старый однокашник — подполковник Богданов.

— Господи, Гарик! Вот уж неожиданность!

— А подполковник знал, что вы тоже в нашей армии, и все сетовал, что ему недосуг повидаться со старым товарищем... Он и надоумил послать за вами.

— Я бы с радостью...

— Увидитесь, увидите. А пока давайте пройдем к «перебежчику». Его там допрашивает мой заместитель.

Подполковник тяжело поднялся с лавки, накинул на плечи полушубок.

— Собачий холод сегодня. Вы как в дороге — не замерзли?

— Да нет...

За избой, среди белых скелетов яблоневых деревьев, Платонов увидел бугор снега и дверь. Сначала он подумал, что это просто погреб — обязательная принадлежность каждого деревенского жилья. Но когда они, низко пригнувшись, вошли, то понял, что ошибся. Они очутились в просторном блиндаже. Здесь не было привычных нар, на столе не стояли прокопченные котелки и горел свет от аккумуляторной лампочки.

За столом сидел майор. Напротив него зябко кутался в демисезонное пальто мужчина лет тридцати — тридцати пяти. Он давно не брился, и рыжеватая борода торчала слипшимися от пота, а может быть, и от грязи клоками. Несмотря на эту неопрятную бороду, лицо человека казалось интеллигентным, он близоруко щурился, видимо, привык к очкам, но очков у него не было.

— Садитесь, лейтенант! И побеседуйте вот с этим гражданином.

Платонов только сейчас сообразил, что у него нет плана беседы, а вести допросы ему не приходилось. Но задача была ясна — узнать, действительно ли этот человек из Смоленска?

— Скажите, где вы в Смоленске работали?

— Я был преподавателем литературы в школе.

— Какой номер школы?

— Тринадцатая.

— А где она помещалась?

— На Советской улице, как раз напротив городской библиотеки.

Платонов вспомнил, что действительно напротив библиотеки была какая-то школа, но номера он или не знал, а может быть, и забыл. Какой же вопрос задать еще? И машинально, словно продолжая череду дорожных воспоминаний, спросил:

— Скажите, вы бывали в Смоленском областном архиве? А если бывали, то сколько этажей в здании архива?

Учитель удивленно посмотрел на Платонова.

— Вы, конечно, меня не знаете, а я вот вас узнал. Вы были доцентом пединститута, преподавали на историческом факультете. А Смоленский архив находится в соборе.

— Товарищ подполковник, все точно.

— Продолжайте.

— Вы не помните, какой трамвай ходил через Молоховские ворота?

— Кажется, четвертый. Но ворота перед войной снесли.

— Тоже верно.

— Продолжайте беседу, мы не будем вам мешать. — Подполковник говорил, обращаясь уже к майору. — Только передайте мне бумаги, которые отобрали у гражданина... э...

— Лукашевича.

— Идемте, лейтенант.

И снова та же изба. Но теперь в ней стоял полумрак. Тучи затянули небо, повалил снег. И почему-то только теперь Платонов услышал, что совсем недалеко, на передовой, бухают пушки. Снег глушил звуки.

— Владимир Алексеевич, скажите, под Смоленском действительно есть Серебряный бор?

— Есть Красный бор, товарищ подполковник, но старые смоляне по привычке именуют его Серебряным.

— Значит, вы уверены, что Лукашевич не врет, он смолянин?

— Думаю, что не врет. Тем более и меня узнал. Вряд ли можно было заранее подготовиться к такой встрече.

— Верно. Ну спасибо, лейтенант.

— Разрешите вернуться в свою часть?

— Нет, не разрешаю. Сейчас вас ждет подполковник Богданов. Идите-ка сюда.

Платонов подошел к окну.

— Вот видите, стоит автофургон?

— Вижу.

— Ну а рядом, в такой же, как и эта, хатке, находится 7-е отделение. Идите, идите, там для вас тоже найдется работа.

Подполковник Богданов собрался уже звонить в Особый — больно там копаются, но, посмотрев в окно, увидел в сумерках короткого декабрьского дня, как к его хатке чуть ли не бегом, закрыв рот рукавицей, приближается офицер. Что-то знакомое было в этой полусогнутой фигуре. «Ужели Володька? Не ждал бы, не узнал. Но и то правда, лет ведь с десятков не встреча-

лись, а может, и больше. Ну и видик! Никак на бравого командира не похож. Скорее обозник».

Потом они долго стояли друг против друга, немного смущенные, не зная, о чем говорить, и в то же время каждому хотелось расспросить другого о тех годах, что они не виделись. Но их сдерживало сознание того, что теперь, на войне, прежняя мирная жизнь кажется уже нереальной, прожитой кем-то другим, и не важно, что там у тебя было или не было в той жизни. И все же Платонов не утерпел, спросил:

— Так ты что, кадровый теперь?

— Почему теперь? Я еще в 36-м ушел на политработу в армию. А вот теперь, как видишь, пригодилось знание немецкого.

Платонов промолчал, когда подполковник из Особого сказал, что Богданов служит в 7-м отделении. Он попросту не знал, чем это отделение занимается. «Знание немецкого? Когда это Гарька преуспел? Помнится, в университете Богданов прыгал с факультета на факультет, и в конце концов осел на юридическом». Жили они в одной комнате общежития, поэтому он знал, что Игорь не очень-то утруждал себя изучением языков.

Платонов был сыном учителя и учительницы. Отец преподавал историю, мать — немецкий язык. В годы его студенчества в университеты и институты принимали только людей рабоче-крестьянского происхождения и детей учителей. Он с детства знал немецкий, позже, в университете, выучил французский. Ну и, конечно, латынь, старославянский, древнерусский. Игорь же не ладил даже с русской грамматикой, и вообще язык давался ему туго.

— Володя, ты, наверное, голоден? Так вот, диспозиция будет такая. Сейчас сходим поужинать, а потом, брат, придется тебе попотеть во славу 7-го отделения. Ты, я вижу, плохо представляешь, что это за учреждение? Если грубо, то мы ведем пропаганду и контрпропаганду среди немецких солдат. Предприятие новое. Во время отступления этим не очень-то занимались. Теперь развертываемся. Я ведь как о тебе узнал — проглядывал в кадрах дела командиров в поисках знающих немецкий, гляжу — Платонов, 1901 года рождения, Владимир Алексеевич, образование высшее. Ну, думаю, не может быть такого совпадения, навер-

няка ты. Только вот звание твоё смутило — лейтенант. А ты и правда лейтенант. Днями собрался тебя отзывать, а вчера встретил подполковника Воронова, тот знал, что я копаюсь в офицерских делах, спрашивает, нет ли у меня на примете офицера-смолянина. Ну думаю, и Магомет к горе и гора к Магомету.

— Подожди, а какое дело ждёт меня во славу?

— У того «перебежчика»... кстати, он действительно смолянин?

— Безусловно, даже меня знает.

— Так вот, притащил он кусок немецкой газеты. Свеженькая, между прочим, от 25 ноября. «Фолькише беобахтер». Говорит, что в избе какой-то, куда его пустили переночевать, немцы на стол вместо скатерти постелили и оставили. Хозяин избы край скурил. Этот перебежчик язык знает, пока картошку уминал, заглянул в газетку, потом выпросил её у хозяина...

— Ничего не понимаю.

— Ладно, пошли ужинать.

— Нет, Игорь, честное слово, у меня сегодня такой денек выдался — никакого аппетита. Давай твою газету.

— Хорошо. Я тебе дам газету, сам пойду поужинаю, да и тебе что-нибудь прихвачу. Ночью проголодаешься. А что тебе предстоит просидеть ночку — не сомневайся.

Богданов вытащил из стола довольно измятую газету. Край её был аккуратно оторван, на первой полосе расплылось жирное пятно, а на последней виднелся след сажи, от чугушка, наверное.

— Вот почитай, почитай, а я пойду. Приду, поделишься соображениями.

С этими словами Игорь вышел из избы.

Газета как газета. Ага! Совещание в ставке Гитлера. После совещания доктор Геббельс провёл пресс-конференцию для немецких и иностранных журналистов. Что такое?

«Доктор Геббельс зачитал на пресс-конференции текст Завещания Императора Всероссийского Петра Алексеевича I...»

Чушь какая-то! Платонов не поверил своим глазам. Завещание Петра I? Но ведь именно Петр издал указ о престолонаследии и сам же не успел им воспользоваться — завещания не оставил.

И сразу куда-то в сторону отодвинулся фронт, изба... Последний год жизни первого русского императора... Многолетняя практика лектора вбила в память факты, и даже потрясения войны не могли их стереть.

Указ о престолонаследии был издан... да, да, в 1722 году, даже число вспомнилось — 5 февраля. Согласно этому указу император сам выбирал своего преемника.

А через два года...

В конце сентября 1724 Петр едет в Сестрорецк на барке, водою. По пути наткнулись на шлюпку, она плотно засела на песчаной банке. Петр по пояс в холодной воде помог снять со шлюпки перепуганных солдат. И в ту же ночь лихорадка, жар. Потом как будто полегчало. Император еще танцует на свадьбе у немецкого булочника и успевает казнить Монса. Да, Петр верен себе, он еще веселится на выборах нового князь-папы и... сваливается совсем. И никто толком не успел осознать угрозу — Петр болел нередко. Прямо у постели больного поставили алтарь. И вовремя. В четверть шестого утра 28 января 1725 года Петр испустил дух.

Да, все верно, память цепко хранит даже детали. Кстати, он несколько раз собирался посмотреть в фондах Петра ту бумагу, которую, как уверяют современники, в последний момент подсунули императору, чтобы он распорядился престолом. Но бумаги он так и не посмотрел — не добрался. А на ней должно быть написано: «Оставляю все...» Потом рука Петра сорвалась...

Значит, никакого завещания русский император не оставил. Между тем Геббельс уверяет... Вот черт! Оторвано начало... «...архиве русских императоров хранятся секретные записки, написанные собственноручно Петром I, где откровенно изложены планы этого государя, которые он поручает вниманию своих преемников и которым многие из них действительно следовали с твердостью, можно сказать, религиозной».

Чушь какая-то! Доктору Геббельсу известно завещание русского императора, а вот русские историки за 215 лет так об этом ничего и не узнали! Ну хорошо, положим он, Платонов, специально историей Петра не занимался. Но он чуть ли не наизусть знает знаменитые Соловьевские чтения о Петре. Да и не только! А блестящие главы, посвященные Петру Ключевским.

Наконец, вся советская историческая литература о Петре создавалась, что называется, на его глазах, а уж он-то следил внимательно.

Доктор Геббельс темнит, конечно, у него нет ни слова о том, как в его руки попало сие «завещание». Из секретного архива русских императоров? Интересно, что это за архивы такие?

Платонов потянулся за махоркой, табак всегда помогал думать. Надо припомнить историю создания архивов в России. ...Все дела, касавшиеся лиц императорской фамилии, — бумаги, найденные в кабинете Екатерины II, в портфелях Александра I, кабинетские дела последующих царствований были сданы в Государственный архив в Петербурге. Там же хранились и бумаги Петра. Точно! И что верно, то верно — допуск лиц посторонних в этот архив был только с высочайшего разрешения. Но после Октябрьской революции уже не существует секретов этого архива. И даже секретные международные договоры, как известно, были немедленно опубликованы Советским правительством... Ну ладно! Посмотрим, что же «завещал» Петр I?

«Во имя святой и нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на престоле и правительству русской нации и проч. и проч.

Пункт I

Поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха; оставлять его в покое только для улучшения финансов государства, для переустройства армии и для того, чтобы выждать удобное для нападения время. Таким образом, пользоваться миром для войны и войной для мира, в интересах расширения пределов и возрастающего благоденствия России.

Пункт II

Вызывать всевозможными средствами из наиболее просвещенных стран военачальников во время войны и ученых во время мира для того, чтобы русский народ мог воспользоваться выгодами других стран, ничего не теряя из собственных.

Пункт III

При всяком случае вмешиваться в дела и распри Европы, особенно Германии, которая, как ближайшая, представляет более непосредственный интерес...

Пункт IV

Поддерживать в Англии, Дании и Бранденбурге недоброжелательство к Швеции, через что эти державы будут сквозь пальцы смотреть на захваты, какие можно будет делать в этой стране, и на окончательное ее покорение.

Пункт V

В супруги к русским великим князьям всегда избирать германских принцесс для того, чтобы умножать родственные союзы, сближать интересы и, увеличивая в Германии наше влияние, тем самым привязать ее к нашему делу.

Пункт VI

Заключить тесный союз с Англией и поддерживать с нею прямые отношения посредством хорошего торгового договора; позволить ей даже пользоваться некоторого рода монополией внутри страны, что незаметным образом послужит к сближению между торговцами и моряками, англичанами и русскими, которые, со своей стороны, всеми мерами станут благоприятствовать усовершенствованию и увеличению русского флота, при помощи которого надлежит тотчас же добиться господства над Балтийским и Черным морями — это существенное условие для успешного и скорого выполнения этого плана.

Пункт VII

Неустанно расширять свои пределы к северу и к югу, вдоль Черного моря...

Пункт VIII

Заискивать и старательно поддерживать союз с Австрией, поощрять для виду ее замыслы о будущем господстве над Германией, а втайне возбуждать против нее недоброжелательство в государях. Стараться, чтобы те или другие обращались за помощью к России и установить над страной нечто вроде покровительства с целью приготовления будущего господства над нею.

Пункт IX

Заинтересовать Австрийский дом в изгнание турок из Европы; под этим предлогом содержать постоянные армии и основывать по берегам Черного моря верфи, постоянно подвигаясь вперед к Константинополю.

Пункт X

Пользоваться религиозным влиянием на греко-восточных отщепенцев или схизматиков (*gres désunis*), распространенных в Венгрии, Турции и южн. частях Польши, привлекать их к себе всевозможными прельщениями (*partoutes les voces captienses*), называться их покровителями и добиваться духовного над ними главенства. Под этим предлогом и этим путем Турция будет покорена...

Пункт XI

Когда Швеция будет раздроблена, Персия побеждена, Турция завоевана, армии соединены, Черное и Балтийское моря охраняемы нашими кораблями, тогда надлежит под великою тайной предложить сперва Версальскому двору, а потом и Венскому разделить власть над вселенной. Если который либо из них, обольщаемый честолюбием и самолюбием, примет это предложение — что неминуемо и случится, то употребить его на погибель другого, а потом уничтожить и уцелевшего, начав с ним борьбу, в исходе которой сомневаться уже будет нельзя, ибо Россия в то время уже будет обладать всем Востоком и большей частью Европы.

Пункт XII

Среди этого всеобщего ожесточения, к России будут обращаться за помощью то та, то другая из воюющих держав, и после долгого колебания — дабы они успели обессилить друг друга — и собравшись сама с силами, она для виду должна будет наконец высказаться за Австрийский дом. Пока ее линейные войска будут подвигаться к Рейну, она вслед за тем вышлет свои несметные азиатские орды. И лишь только последние углубятся в Германию, как из Азовского моря и Архангельского порта выйдут с такими же ордами два значительных флота, под прикрытием вооруженных флотов — черноморского и балтийского. Они внезапно появятся в Средиземном море и Океане для высадки этих кочевых свирепых и жадных до добычи народов, которые наводнят Италию, Испанию и Францию; одну часть их жителей истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность к свержению ига. Все эти диверсии дадут тогда полный простор регулярной армии действовать со всей силой, в полнейшей уверенности в победе и в покорении остальной Европы».

Страшный «документ»!

Платонов задумался. А ведь он когда-то слышал о его существовании и помнит по сей день о пресловутом «лжезавещании».

Нет, господин Геббельс, липа все это! Липа! Фальшивка!..

Дверь открылась, и вместе с клубами морозного пара в хату ввалился Богданов.

— Ну как, архивная крыса? Ничего себе документик?

— Знаешь, я только-только дочитал до конца и силюсь припомнить, из каких это «секретных архивов» сия липа могла быть извлечена?

— Вот и я думаю, что липа. Но ты представляешь, как она работает против нас? Не говоря уж о немецком обывателе — тот привык верить тем, кто отдает приказы. Да, да, не спорь, эти средненемецкие Фрицы, Гансы, Гретхен и даже Лореляй успели уверовать в высшую миссию Гитлера, в тысячелетний рейх. Но газета с завещанием пришла в Чехословакию, Болгарию, Турцию, Венгрию. И там кто-то поверит... Хотя не то я говорю. Шут в ними, кто поверит там.

Богданов не договорил, сорвался с места, споткнулся о лавку, хотел в сердцах пихнуть ее ногой, но в последнее мгновение сообразил — лавка-то дубовая.

— Послушай, Володя, я очень на тебя рассчитываю. Ну поломай мозги, докажи, понимаешь, докажи, что это фальсификация, очередной подлог. Ведь ты же занимался когда-то историческими подделками, я-то помню!

— Занимался, Гарик, занимался. Но вся беда в том, что я имел дело с подлогами и подделками русского изготовления. И при этом в руках у меня были, так сказать, «подлинники» подделок.

— А может, и эта русская? Может быть, колченогий доктор ее только выудил откуда-нибудь?

— Нет, Игорь. Не русская. Это я уже и сейчас могу сказать. Если бы была русской, да еще петровской поры, то даже в переводе на немецкий чувствовался бы довольно тяжелый стиль Руси восемнадцатого века. А тут высокопарность, напыщенность. Петр писал — чеканил. Ни одного лишнего слова. И вообще в восем-

надцатом веке писали по-иному, другим стилем и другими оборотами.

— Знаешь, Володя, не буду тебе мешать. Мой «кабинет» в полном твоем распоряжении на всю ночь. Боюсь только, поторопился я. Сейчас встретил члена Военного совета, тот интересуется, как дела с «завещанием», ну я и брякнул, что так, мол, и так — над ним уже корпит крупнейший знаток таких штучек, и к утру мы сможем кое-что передать через фронт. Сможешь все распутать к утру?

— Эх, Игорь, ни черта ты не изменился, торопыга!

Платонов оглядел «кабинет». Какие-то словари на полочке, а там, где, наверное, раньше стояла икона — кипа газет, брошюрки.

— Ведь у меня под рукой ни одного справочника...

— То-то и оно! Будь я в Москве, в Ленинке, сам бы разобрался...

— Кстати, в Москву доложили?

— Доложить-то доложили, но сам знаешь, какое сейчас положение... Я вот о Ленинке вспомнил, а она, наверное, частично эвакуирована или законсервирована... Профессора выехали в тыл вместе со студентами. Пока-то там специалистов разыщут... А мы оперативники, нам поспешить надобно!

— Вот-вот, поспешишь...

— А ты не смейся, доцентиузус, не смейся! Тебя что, зря учили на народные деньги?

— Может быть, в штабе фронта знают об этой газете и у них найдется целый, а не скуренный экземпляр?

— Звонили уже, да там все в разгоне, заместитель начальника отделения сам хотел приехать и нашу газету прочитать, да я заверил, что своими силами справимся.

— М-да, положеньице!

— Володя, а может быть, мне остаться?

Платонов не ответил, он вновь перечитывал «завещание».

«Пусть себе вчитывается, он действительно не любит торопиться». Богданов отошел к окну, прислушался к глухому грому артиллерийской дуэли. На душе было скверно. Докатились до самой Москвы. Их участок фронта, пожалуй, самый отдаленный от столицы, он клином врезался в фашистские расположения. И все од-

но — до Москвы рукой подать. Два дня назад Богданов ездил в столицу — за полтора часа «эмка» доскакала...

Сводки нерадостные. От Калинина фашист жмет и жмет. На юге обложил Тулу. Москва поразила своей суровостью, никогда не видел такой столицу, даже в годы гражданской. Болью отозвались баррикады у застав — значит, будут драться тут, на улицах города...

Нет! Этого не будет! Не будет никогда!

Невеселые мысли подполковника нарушил отчаянный визг тормозов закамуфлированной «эмки». Богданов пригляделся. Ого, генерал прибыл, а с ним полковник. Наверное, подошло новое соединение и командир с начальником штаба явились представиться по начальству. Да, уплотняются, уплотняются фронтовые порядки. Солдатский телеграф уже давно вещает о наступлении. Похоже, очень похоже... Да нет, он знает, конечно, что ведется подготовка к наступлению. Вот только когда оно начнется?

— Гарик!

Богданов оглянулся. Фу-ты, так задумался, что и о Володьке забыл.

— Слушай, Гарик, а ты, юрист, ничего не кумекал насчет этого документика? Ведь он тоже «юридический»?

Богданов прошелся по тесной избе.

— Знаешь, Володя, в истории я не очень-то силен, все больше на юриспруденцию нажимал. Но вот когда прочел это «завещание», вдруг припомнил рассказы отца, вернее, нечто вроде семейного предания, что ли. В детстве не раз слышал и запомнил, не особо даже вдаваясь в смысл, потом и не вспоминал, а теперь всплыло. — Богданов помолчал, словно собирался с мыслями. — Не знаю, говорил ли я тебе прежде, что батяка мой из семинаристов?

— Постой, он же старый большевик?

— Ну и что? Разве мало большевиков получили образование в духовных семинариях? Не в том дело. И мой дед, и прадед были священниками. И фамилия наша не Богдановы, это отец сменил в подполье, а Преображенские. Сестра прадеда моего вышла замуж за Мурзакевича. Теперь, правда, Мурзакевичи приходятся нам дальней родней — десятая вода на киселе, но именно с одним из Мурзакевичей и произошла та история, которой так гордился мой отец.

— А ну, я ведь кое-что знаю об одном Мурзакевиче, священнике, кстати, из моего родного города Смоленска.

— Да, да, только теперь я вспомнил, что и у меня в Смоленске тоже проживали предки. А произошло все это во время Отечественной войны двенадцатого года...

— Ах, значит, этот Мурзакевич — священник церкви Одигитриевской божьей матери?

— Он самый. Но ты послушай, послушай...

— Погоди. Ну при чем тут «завещание»?

— Да слушай, тебе говорят!

...Два дня гудят орудия, отдельных выстрелов не слышно. И над Смоленском, над угрюмыми еловыми лесами стоит неумолчный гул. Ночью от пожаров светло, как днем. А днем солнце не может пробиться сквозь плотный занавес дыма.

В церкви Одигитриевской божьей матери и день и ночь теплятся свечи, день и ночь усталый священник Мурзакевич читает проповеди, вершит богослужения. Он уходит с амвона только для того, чтобы наскоро пообедать, полчаса-часок подремать тут же, в ризнице. И снова перед воспаленными глазами мерцают, постреливают, слегка коптят свечи, и голову дурманит сладкий запах ладана и пригоревшего воска.

Бог пока миловал, в церковь не попало ни одного ядра. И звонница стоит целой, и глухой Васька-пономарь уже второй день не спускается с колокольни. Там же и спит. Он забыл о колоколах, да и кто услышит их всполошный перезвон в этом грохоте? Глухой же Васька даже не слышит, как колокола сами откликаются на пушечные выстрелы, на близкие разрывы бомб. Глухому заменили уши глаза. С колокольни ему видно на десятки верст и к восходу, и к закату. Его кошачий взор различает зарево над городом Красным — там тоже пожары. Это оттуда отступали, сдерживая «шаромыжников», львы Неверовского. В узком дефиле лесного проселка Ней не мог развернуть против недоукомплектованной дивизии свою многотысячную армию. Но до Смоленска дошла лишь сводная рота, дивизия осталась лежать на дороге.

Ваське хорошо видно, как с Королевского бастиона палят пушки. И как от могучей каменной груди бастио-

на отскакивают французские ядра. Второй день французы пытаются пробиться к Смоленску в лоб. Васька стратег невеликий, но и ему понятно, что в лоб «ключи государства Московского» не возьмешь. А вот отец Алексей, видно, думает иначе. Ходит хмурый и все о чем-то думает, думает... Поэтому пономарь решил на случай обзавестись пистолетом. Этого добра сейчас в Смоленске сколько угодно. Раненые меняют на хлеб и ружья и пистолы, им они ни к чему, не пригодятся более, а хлебушек — он каждодневно нужен. Пистолет Васька и заряды к нему выменял на черствые просвирки. Спрятал в ризнице — отец Алексей не найдет...

Василий уважал и боялся отца Алексея, он был уверен, что во всем Смоленске не сыскать второго такого ученого священника. Раньше, до беды этой, день и ночь сидел над книгами, писал что-то. И Ваську грамоте обучил. Теперь, ежели что, враз ему грамматицу в нос сунет и, пожалуйста, исполняй! Да Васька с радостью... Эх, прошла бы глухота! Ведь еще намеренный год он слышал, когда грамоте-то обучался, а как узнал, что узурпатор на Россию войной пошел, так с того дня ровно кто затычки в уши заколотил. Пушки палят, а он только дым да пламя видит... Отец Алексей Василия в город не пускает, со двора ни шагу. В писульке написал, что, ежели бомба будет в Васькину сторону лететь, он не услышит, ну и...

Пальба со стороны Заднепровья вдруг внезапно прекратилась. Разгоряченные пушкари на Королевском бастионе еще два-три раза ухнули в белый свет и тоже угомонились, знай, банниками шуруют. Отец Алексей обеспокоился. Кое-как закончив службу, он торопливо прошел в Царские ворота и выбрался из церкви

Что бы это означало? Неужели Наполеон понял, что, штурмуя Смоленск в лоб, он только теряет солдат? А почему, собственно, Наполеону этого не понять? И уж если священник, столь далекий от ратных дел, понимает, что, обойди французы Смоленск с юго-востока, переправься через Днепр выше города да встань на Московской дороге, вот и в капкане окажутся обе русские армии. А Барклай только об одном и печется — как бы сохранить армию. От самой Вильны сюда, в Смоленск, прибежал, так и не подумав о генеральном сражении. Начнет Наполеон обходный маневр, Барклай Смоленск бросит, выведет войска на Московскую дорогу...

И хотя Мурзакевич хорошо понимал, что у русского командующего нет иного выхода, все человеческие чувства восставали против такого исхода.

Смоленские улицы встретили священника клубами едкого дыма. К августовской теплыни прибавился нестерпимый жар пожара. Ветер гнал вдоль улиц черные шлейфы пепла, подхватывал, забрасывал в тлеющие головешки от бывших домов чудом не сгоревшие книги. Несмотря на ветер, на угарный запах, в нос ударило зловонье гниющих трупов. Если убитых людей еще подбирали, хоронили, то на конские вздувшиеся туши никто не обращал внимания.

Мурзакевич оказался не единственным, кого всполошили умолкшие пушки. В приемной губернатора, забыв о чинопочитании и, наверное, даже не замечая друг друга, плотно стояли люди. Стояли молча. Стояли терпеливо, обращенные в слух. Собравшиеся пытались разобратся в неясном шуме голосов за дверью губернаторского кабинета, ловили обрывки фраз, которые решали и их участь.

Еще неделю назад, когда в Смоленске наконец соединились две русские армии, губернатор созвал в дворянском собрании сливки городского общества и торжественно, ссылаясь на Барклая, заверил, что отступление русских армий закончилось, а посему Смоленск не будет сдан узурпатору. Мурзакевич тоже присутствовал на этом сборище, и, может быть, не он один обратил внимание и был покороблен тем, что губернатор говорил по-французски, хотя не мог не знать, что в мраморном зале собрались не только дворяне и что смоленское купечество, недовольное его довоенным самоуправством, с начала войны открыто поговаривает о «шаромыжном корне» губернатора. Но тогда всем хотелось верить, что, да, кончилось отступление, что русские солдаты, промаршировавшие на запад от Смоленска к Рудне, встретят там и, конечно же, разобьют, раздерут багинетами «двунадесятиязычную армию». И словам губернатора поверили, ему простили французский. Теперь же эти люди вслушивались в обрывки фраз, долетающие сквозь неплотно прикрытые двери губернаторского кабинета, — у него сидит генерал Ермолов.

Мурзакевич не мог да и не хотел дожидаться окончания аудиенции. Интуиция подсказала ему — Смоленск будет оставлен русскими. И каждый должен решать,

что ему делать, — уходить вслед за армией или затаиться в городе, уповая на господа бога. На этот вопрос каждый должен ответить в одиночестве, а не в толпе, которой правят стадные инстинкты. Мурзакевич повернулся, чтобы покинуть губернаторский дом, и вдруг обнаружил, что он со всех сторон окружен и путь к двери отрезан. Мурзакевич колебался... Пробиваться? Просить? Это означает нарушить напряженную тишину.

И вдруг грубый окрик, хриплый голос, в котором чувствуется отголосок еще не остывшего раздражения, повернул головы собравшихся к парадной лестнице. В дверях приемной стоял высоченный мужчина. Встрепанная шевелюра и рыжие бакенбарды, неопрятными лохмами торчащие чуть ли не из ушей, говорили о поспешности сборов, панике. В бесцветной глубине глаз застыл гнев. Это был младший из клана Энгельгартов — богатейших смоленских помещиков.

— Сторонись! Прочь с дороги! Я вам, вам говорю!..

За спиной великана тушевались два гайдука. Они крепко держали за руки двух пожилых сельчан. Дранные армяки ржавого цвета, неизменные и летом и зимой заячьи треухи, грязные лапти, на которых светлыми пятнами белело свежее лыко, — все это так не вязалось с безвкусным великолепием губернаторской приемной, мрамором и молчаливо-почтительным благолепием собравшихся, что Мурзакевич от неожиданности и нелепости этой сцены чуть было не расхохотался, забыв о тревогах и о своем сане.

— Где губернатор?

Никто не ответил Энгельгарту, но тот и сам понял неуместность вопроса.

— Коспода, простите за столь энергичный вторжений. Но судите сами. Эти фот негодяи... как это по-русски? Тати, да, да, тати, не далее как вчера пожигайт мой дом. Управляющий... э... схватил их на месте. Та-с! На месте! И что б ви думайт? Как это сказать по-русски... Бидло, да, да, бидло утверждайт, что дом поджигаль французский фуражир! О, французский маркентинер действительно бил в имений. Но, коспода, я подчиняюсь сила. Маркентинер остафиль мне... как это по-русски? Фексель? Нет, нет, толговой токумент...

Энгельгарт внезапно умолк. Никто еще не проронил

ни слова, и тишина была прежней. Но уже никто не прислушивался к словам, доносящимся из губернаторского кабинета.

— Господин барон, а вам не кажется, что французские пушкари забыли вложить в свои бомбы... векселя?

— Но, коспода! Я путу трепофайт фозмещений убитка! И примерный наказаний этих... как это по-русски? Шишей. Да, да, шишей!

— Господин барон, извольте немедля выйти вон вместе со своими гайдуками! И, если позволит Буонапарт, я всегда к вашим услугам! Боюсь только, что ваши холопы меня опередят!

— Я пуду шаловаться на фас, косподин Глинка!

Дверь кабинета распахнулась. На пороге выросла медвежья фигура Ермолова.

— Господа! В такой час!... Что здесь происходит?

И собравшихся прорвало. Они забыли о бароне. Каждый перебивал каждого. Угрозы и мольбы, недоуменные вопросы, просьбы, проклятья обрушились на Ермолова. Мурзакевич, улучив момент, выбрался на улицу. Сомнений нет, русская армия оставляет Смоленск...

Мурзакевич не замечал, куда идет. Инстинктивно сторонился пожара, огибал воронки, вырытые бомбами, спотыкаясь о ядра, во множестве валяющиеся на мостовых. Еще неделю назад, усталый, он заснул после очередной проповеди, а когда проснулся, ему показалось, что кто-то свыше внушил ему идею спасения Отечества. И эта мысль уже не покидала его ни на минуту. Через несколько дней она созрела, когда он случайно в ризнице нашел пистолет, Васькин, конечно же. Но в тайниках души теплилась и не угасала надежда на то, что ему не придется идти на Голгофу. Что русские войска от Смоленска победоносно двинутся на запад. И тогда Васька забросит свой пистолет в Днепр. А он, Мурзакевич, наложит на себя эпитемию. Теперь и эта надежда рухнула. Страх и отчаяние сжали сердце...

Всю ночь по улицам догоравшего города шли войска, скрипели фурманки, громыхали пушки. В темноте не было видно солдатских лиц, не слышно было разговоров. Ведь когда отступают — молчат. Солдаты открывали рот только для того, чтобы крепким словом помянуть разбитую мостовую и неподъемную тяжесть пушек. Из чудом уцелевших домов в грязь развороченных тя-

желыми колесами улиц выползали раненые. Их были тысячи. И они не молчали. Они заклинали забрать их или пристрелить.

Для тех, кто еще не потерял рассудка, нестерпимой была мысль, что уже завтра по этим улицам пойдут французские гренадеры, загромыхают пушки, отлитые марсельскими пушкарями. И в окружении свиты своих маршалов прогарцует торжествующий Наполеон. А может быть, они об этом и не задумывались. Может быть, просто отчаяние обессилевших вытолкнуло их на улицу, ведь вслед за последним русским солдатом исчезала и последняя надежда на жизнь? Разве им не говорили, что свирепые конники Мюрата никого не щадят? И они слышали, что в Смоленске сгорели склады хлеба. Вчерашние крестьяне, знавшие, что такое голод, страшились его больше, чем французских мародеров.

Мурзакевич одиноко стоял в опустевшей церкви — сегодня его прихожане сиротливо тянутся в хвосте отступавших войск. Сколько раз с этого вот места он обращался к богу с мольбой — даровать победу христолюбивому русскому воинству! Но бог отвернулся от России...

Тускло пробеливаются в полутьме церкви серебряные оклады икон. Такие знакомые лики святых вдруг стали чужими. А ведь среди них и Александр Невский — канонизированный не за смирение — за рати. И Димитрий Донской... Для Мурзакевича в эту страшную ночь многие из ареопага угодников потеряли свой облик святости, словно погасли нимбы над их головами. Но иные святые обрели плоть. Плоть бойцов! Мурзакевич долго вглядывается в икону. Нет, это не Александр! Иконы врут, иконы, как болванки мастера шляпных дел. Когда-то эти болванки выточили в Византии, но и по сей день на них натягивают кожу, только под ней не пульсирует кровь. Наверное, поэтому так долго и, может быть, вечно живут и будут жить болванки. Господи, эта ночь кого угодно сведет с ума...

Наполеон был мрачен. Дурные предчувствия не покидали его уже с самого Витебска. Именно там он впервые задумался о судьбе русской кампании. Именно в этом городе он решил, что нужно зазимовать. А о Мо-

скве он вообще не хотел думать. Несчастливая кампания! Но разве он может противостоять року?

С этими невеселыми мыслями император неторопливо скакал мимо своих войск, шпалерами выстроившихся от смоленских Молоховских ворот по обе стороны Киевского большака. Было солнечно, но ветрено, а Наполеон терпеть не мог ветра. Сегодня его раздражало буквально все. И ободренный вид императорской гвардии, хотя она так и не принимала участия в сражениях, и восторженные «vive, vive!». И даже курящийся дымом Смоленск, в который он сейчас вступит как триумфатор. Но более всего его раздражала русская армия. Она опять ускользнула от генерального сражения. И невольно вспомнились скифы, их коварный прием — завлекать неприятеля в глубь своей территории, а потом наваливаться на него со всех сторон. Скопом, лавой, ордой — и заставляя неприятеля отступать, да что там отступать: бежать со всех ног. Воистину потомки скифов! Они предают огню свои жалкие хибарки, жгут хлеба, стоящие на корню, и уходят следом за войсками. Его армия голодает, так как фуражиры не могут добыть продовольствие. И все меньше и меньше находится охотников отправляться в фуражировки. Фуражиры исчезают бесследно. Но зато он на каждом шагу замечает следы действий русских гверильясов — партизан.

И просвещенная часть русского общества не желает иметь с его администрацией ничего общего, и они очень опасны, эти просвещенные дикари...

— Ваше императорское величество, из часовни крепостных ворот вышел русский священник. У него в руках икона.

Наполеон умел мгновенно отрешаться от мыслей и настроений, которые ему мешали. Теперь он и сам видит священника.

А ведь, право, было бы совсем не лишне, если бы сей кюре благословил его! Помнится, у этих дикарей есть какие-то чудотворные иконы? И снова, в который уж раз, Наполеон упрекнул себя за то, что он так плохо знает нравы и обычаи русских. А ведь сколько лет он лелеял надежду на союз с Россией! Но русские задают ему загадку за загадкой. И он еще ни одной из них не разгадал.

Пономарь Васька скатился с колокольни, чем немало напугал Мурзакевича. С колокольни он разглядел, как строятся шпалеры французских солдат. Значит, ждут своего предводителя... Мурзакевич опустился на колени перед чудотворным ликом Одигитриевской божьей матери. Васька, неотступно следовавший за священником, от удивления вытаращил глаза. Он никогда не видел, чтобы отец Алексей молился, как самый обыкновенный прихожанин.

Мурзакевич покончил разговор с богом накоротке и только теперь заметил застывшего у амвона Василия. Улыбнулся, поманил пальцем, показал на чудотворную икону... Василий в растерянности — отец Алексей велит снять икону?

Мурзакевич, не обращая внимания на пономаря, скрылся в ризнице, но вскоре вышел из нее, на ходу оправляя полы рясы. Заметив, что Василий все еще топчется перед иконой, легонько отодвинул его плечом, снял икону с крюка, накинул на нее какую-то старую паневу и решительно направился к выходу.

Василий ничего не понимал. Как можно выносить из церкви икону, если не предполагается крестного хода? А уж какой тут крестный ход! Светопреставление! В уме ли батюшка? А может быть, отец Алексей хочет спрятать от поганых врагов чудотворную божью мать? Ну конечно!.. Пономарь бросился следом за священником.

Дым кое-где еще курился над пепелищами, но уже свежий ветер продул город, и не такими резкими стали запахи тлена. Мурзакевич шел по пустынным, черным улицам. Жители или покинули свои дома, или попрятались в подвалах. Удивительно, прихожане Мурзакевича в церковь так и не пожаловали. Впрочем, в его приходе проживают отчаянные головы — отставные солдаты, мастеровые, вольноотпущенные, записавшиеся в сословие мещан...

Мурзакевич старался не думать о том, что произойдет через несколько минут. Когда он уже подходил к Молоховским воротам, кто-то вдруг сзади ухватился за икону. Мурзакевич прижал икону крепче и оглянулся. Василий смотрел на него не отрываясь.

Мурзакевич остановился.

— Стой тут, Василий! Дальше не ходи!..

Священник хотел что-то добавить, но вспомнил: ничего-то Василий не слышит и вряд ли сейчас поймет по шевелению губ.

Наполеон не сводил глаз со священника.

Не молод. Это можно заметить даже издалека, хотя лица его почти и не видно из-за иконы. А может быть, борода так его старит? Французские кюре бреются, поэтому они и моложавы до преклонных лет.

Солнце отскакивает веселыми бликами от хорошо начищенного серебряного оклада. Наполеон придержал коня. Конечно, было бы куда помпезнее, если бы весь смоленский синклит вышел бы навстречу победителю. А в церквах бы не умолкал торжественный благовест... Вспомнились Вена, Варшава, итальянские города... Вспомнил Наполеон и Берлин. Скверный город, ведь в 1760 году эти пивные бюргеры и надутые прусские юнкеры всю звонили в колокола, когда русский отряд Чернышева занял столицу Пруссии.

Василий ничего не понимал.

Отец Алексей идет навстречу узурпатору! С чудотворной иконой? И вдруг пономаря осенило — отец Алексей иуда! Отец Алексей христопродавец!

Василий рванулся, чтобы броситься вдогонку, ударить, вырвать икону, своими руками задушить! Он что-то закричал, затрясся, словно его хватил приступ падучей. К нему подбежали два здоровенных французских гренадера, схватили за руки, поволокли в часовню. Пономарь отбивался с отчаянием обреченного. И ему удалось вырваться.

Но поздно...

Он увидел, как Наполеон остановился, освободил ногу из стремени.

И вдруг...

Сопровождавший Наполеона адъютант буквально свалился с лошади! Никто из наблюдавших эту сцену не успел опомниться, что-либо понять, а священник уже лежал в пыли незамощенной площади Малаховских ворот. Икона выпала из рук. Адъютант набросился на поверженного, распахнул рясу...

Василий охнул, почувствовал, что ноги ему отказывают, обмяк, повис на руках французских солдат. А те так и застыли, увидев, как адъютант выхватил из-под рясы двуствольный пистолет и навел его на священника.

Василий заплакал. Как он смел подумать об отце Алексее что-либо дурное! Пономарь не мог услышать короткого возгласа Наполеона, но увидел сквозь слезы, как французский император пригнулся к шее лошади, взявшей с места в карьер, и пролетел арку Малаховских ворот, сшибая на скаку своих солдат, офицеров, зевак...

— Стой, Игорь, погоди! Все это очень интересно. Но, во-первых, я читал о покушении Мурзакевича в записках его сына. Во-вторых, я вновь хочу тебя спросить, какое отношение имеет Мурзакевич к «завещанию»? Не забывай, сейчас уже поздний вечер, а мы ни на йоту не продвинулись.

— Володя, не торопись. Мне осталось досказать самую малость. И тогда я уйду, не буду тебе мешать.

— Ты не мешаешь...

— Нет, брат, кроме того, что я сегодня вспомнил, ничем тебе не могу помочь... Но позволь я продолжу. Если ты знаешь всю эту удивительную историю с Мурзакевичем, то, наверное, знаешь и ее финал?

— Да, припоминаю. Наполеон так и не успел расправиться со священником. Он остался жив.

— Ну, это еще не все. Забегая вперед, скажу тебе, что уже после войны Святейший синод учинил над Мурзакевичем суд и лишил его сана.

— Ну и прохиндеи! А за что?

— За то, что «встречал» императора чудотворной иконой.

— А пистолет?

— Бог с тобой! О пистолете и не вспоминали.

— Ну и ну!

— Так вот, Мурзакевича французы засадили в какое-то узилище. Ты Смоленск лучше меня знаешь.

— Не суть...

— Стражем и надзирателем в этой тюрьме был француз. Но самое удивительное — этот надзиратель оказался чрезвычайно образованным и словоохотливым человеком. Он и по-русски немного болтал. Кажется, во

времена суворовских походов угодил к нашим чудо-богатырям в плен. Ну а Мурзакевич прилично знал французский. Он ведь не простой священник, изучал историю Смоленского княжества, кажется, даже написал ее.

— Написал, Гарик, написал. Тебе бы следовало почитать труды своего предка.

— Не перебивай! Так вот. Разговорились они с Мурзакевичем, благо, сидел он один, а французика, видно, скучно было. Надзиратель и спрашивает священника: «А скажите, правда, что русские эту войну начали, чтобы всю Европу захватить, как им завещал Петр I?» Ну родственничек мой, конечно, возмутился. «Не мы, — говорит, — начали, а ваш император. Это он всю Европу, кроме России, под себя подмял. Мы войны не хотели. И, кстати, Петр никакого завещания на этот счет не оставлял». Французик в амбицию. «Как так, — говорит, — ваш Петр завещания не оставлял? Оставлял. Невежды, — говорит, — вы, русские. Это завещание наш известный ученый Лезюр опубликовал. Я сам, — говорит, — читал, собственными глазами...»

— Стой, Гарик! Вот с этого и надо было начинать. Лезюр... Лезюр...

Сегодня, 20 марта 1811 года, на улицах Парижа особенно многолюдно. Но нет былого оживления. Люди часто останавливаются, прислушиваются к чему-то, потом опять бредут с озабоченными лицами, собираются небольшими группами, вяло перебрасываются словами. И снова прислушиваются. На город уже напоззли синеватые сумерки, когда раздалась канонада. Париж замер. Париж считал выстрелы. Один, два, три... восемь... шестнадцать... двадцать один. Пушки смолкли. Молчали и парижане. Мрачные. Насупившиеся.

Метр Лезюр стоял у раскрытого окна и тоже считал выстрелы, зябко поеживаясь от вечерней прохлады.

— Святая мадонна! Двадцать один! Значит, мой труд не пропал даром. Императору придется воевать до тех пор, пока у него не родится наследник. Во всяком случае, он изволил так сказать в разговоре со мной.

Двадцать один выстрел означал, что родилась дочь... Но в это время вновь грохнули пушки.

И уже никто в Париже больше не считал залпов — все знали, что пушки выпалят еще семьдесят раз.

101 залпом столица Франции оповещала империю о рождении наследника престола — сына императора Наполеона I.

Тюильрийский дворец полыхает огнями. Свет тысячи жирандолей многократно отдается в тысячах причудливых, упоительных переливов бриллиантовых коле, брошей, браслетов, подвесок. Словно время обратилось вспять, и воскресли неповторимые костюмированные балы беззаботной Марии-Антуанетты.

Торжественно звучит кадрили. В первой паре Бертье, князь Невштальский и Ваграмский с императрицей, вторая пара — обер-гофмаршал Дюрок, герцог Фриумский с королевой Гортензией, маршалы, князья, генералы.

Лезюр был несказанно удивлен, обрадован и в то же время напуган неожиданным приглашением на торжественный прием. Нет, ему не отведено место в кадрили, он только зритель из задних рядов. Зато ему хорошо виден император. Он тоже стоит у стены. Но куда девалась его былая живость? Хмурый, насупившийся. Каждая пара, проплывая мимо Наполеона, на мгновение замирает в глубоком поклоне, потом долго не может попасть в торжественный ритм музыки.

Лезюр давно не видел Наполеона. Император располнел, стал монументален. И холоден, как монумент. Вокруг императора — пустота, магический круг, очерченный его насупленным взором, круг, в который никто не рискует войти. Лезюр дальнозорок, поэтому он может разглядеть каждую черту лица Наполеона. Сегодня император выглядит невыспавшимся. Значит, это не только шепотливые слухи, что Наполеон потерял сон. Боже мой, а ведь так недавно в битве под Ваграмом Буонапарт вдруг передал командование Бертье, улегся на медвежью полсть и заявил, что он поспит десять минут... И это под грохот орудий, под крики! Через десять минут Наполеон проснулся и снова принял командование.

Слухи о неизбежной войне с Россией родились не во Франции. Они приползли из Зимнего дворца. Кто их привез, кто их распространял в Париже — на этот вопрос не мог бы ответить даже министр полиции, если бы Наполеон не упразднил этот пост. Но то были слухи. Наполеон же еще в конце 1810-го или самом начале 1811 го-

да стал укрепляться в мысли о необходимости новой войны, на сей раз войны против России.

По мере того как эта убежденность крепла, росло и беспокойство. Франция еще не отдышалась от предыдущих войн. Денежные курсы, ценные бумаги пали так низко, как не падали никогда. Страна голодала, во Франции столько вдов, столько матерей, оставшихся без сыновей, что кажется — страну заселили монахини. Черный цвет платьев сейчас — самый распространенный в стране. Наполеон знал, что Франция не хочет новой войны. Но не знал, желает ли он сам воевать? Зато он прекрасно сознавал, что и внутри страны и вне ее он царствует лишь благодаря внушаемому всем страху. И когда наступит для него час действительной опасности, его все покинут. А ведь он понимал опасность, навстречу которой шел, ибо еще год назад как-то сказал Коленкуру: «Я не хочу завершения своей судьбы в песках пустыни России». Но это было в прошлом. А теперь?

Сегодня, когда во дворце гремит оркестр, император назначил аудиенцию бывшему министру полиции Фуше. Наполеон никогда не заблуждался насчет этого человека и никогда ему не доверял. Но вот еще одно противоречие — он не приказал засадить Фуше в тюрьму, хотя тот подавал к этому бесчисленное количество поводов.

Когда Фуше открыл дверь огромного кабинета, Наполеон вышел из-за стола и остался стоять. Фуше понял — император не намерен ни спорить, ни беседовать, он только выслушает своего бывшего министра.

— Государь, я вас умоляю во имя Франции, во имя вашей славы, во имя вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны, вспомните о Карле XII!

Наполеон словно и не заметил Фуше, уставившись неподвижным взором в вычурный рисунок паркета. Молчание становилось тягостным, но Фуше уже не смел больше произнести ни слова, ему показалось, что Наполеон даже не слышал, о чем он говорил.

— Со времени моего брака все решили, что лев дремал, — голос у императора звучал глухо, и спокойный тон так не соответствовал цветистым словам, — пусть узнают, дремлет ли он... Через шесть или восемь месяцев вы увидите, чего может достичь глубокий замысел, соединенный с силою, приведенной в действие.

Мне понадобилось восемьсот тысяч человек, и я их имею, я поведу за собой всю Европу...

Наполеон замолк на полуслове.

Фуше понял: аудиенция окончена. Когда он выходил из кабинета Наполеона, ему в спину донеслось:

— Пусть войдет господин Лезюр!

Метр Лезюр ни жив ни мертв. Вот уже более получаса император молча листает пухлый, в 500 страниц памфлет: «Возрастание русского могущества с самого начала его и до XIX века». Более полутора лет кропотливого труда, поисков в архивах. Памфлет написан по заказу императора, идея тоже подсказана Наполеоном. Но за эти полтора года император ни разу не вспомнил о своем заказе.

Рождение наследника престола и вовсе повергло Лезюра в уныние. Отныне Наполеону не о чем больше мечтать, он добился всего. А ведь еще год назад Лезюр был уверен, что он правильно понял своего повелителя — Наполеону нужен труд, который бы с очевидностью, на фактах, документах доказывал бы, что Россия, именно Россия испокон веков и поныне стремилась и стремится к завоеванию не только Европы — всего мира. И пока эта полуазиатская громада не будет сокрушена, нет спокойствия и мира для Европы. А кто может совладать с этим колоссом? Только Наполеон. Только гений императора способен предначертать путь к всеобщему миру. Но путь этот трудный, долгий, это тропа войны, в конце которой откроется цветущая долина мира...

— Господин историк, вам не кажется, что вы напрасно истратили время, силы и деньги?

Лезюр вздрогнул от неожиданности, от резкого, злого голоса. Это приговор. Беспощадный, жестокий. Отчаяние иногда делает слабых людей смелыми. В отчаянии Лезюр совершил дерзость — посмел противоречить императору.

— Ваше величество, умоляю, откройте страницу двести четвертую...

Наполеон, листая, разрывал бумагу...

«Завещание императора Российского Петра I...»

И снова водворилась напряженная тишина. Историк ни жив ни мертв. Если и «завещание» не произведет вле-

чатления на Наполеона, то... О том, что произойдет, Лезюру и подумать страшно.

Наполеон откинулся на спинку кресла. Улыбнулся.

— Господин Лезюр, кто автор этого завещания?

Лезюр возликовал. Император улыбается! Как жаль, что никто из придворных не видит этого. Он, историограф Лезюр, вызвал улыбку на лице Наполеона! Но как ответить на вопрос? Если назвать имя того, кто уверяет, что снял «точную копию» с завещания, император может и не поверить. И вместо улыбки он прикажет схватить обманщика и...

— Ваше величество, этот документ написан императором всероссийским — Петром Алексеевичем I.

Наполеон рассмеялся. Лезюр, конечно, видный ученый, но пройдоха. Что ж, пусть думает, что император ему верит. Это «завещание» наделает шума в Европе. Впрочем, и он, Наполеон, может поверить в его подлинность. А если поверить, то все сомнения прочь. Разве не он, повелитель почти всей Европы, обязан охранять ее от «азиатской жадности» российских царей?

Так тому и быть!

— Я прикажу опубликовать ваш памфлет на всех европейских языках. Я доволен вами, господин Лезюр. Уже близок великий час, и пусть все народы Европы знают, от какой опасности их спасает Франция.

...Платоновым овладело нетерпение. Война на одну ночь вернула его к привычной, мирной работе. Такого подарка он от нее не ожидал! Нет, голова должна быть холодной, трезвой. Ему не с кем из коллег посоветоваться, негде навести справки. Он один на один с противником и должен разгадать его маневр.

Опять в голову лезут сравнения, подсказанные военной действительностью. Ладно, пусть это будет ночь «полководца». Вот так, лейтенант Платонов, Владимир Алексеевич! «Завещание» — подделка, и он догадывается о том, кто ее сочинил. Но не это сейчас главное. Подделки, фальсификации всегда преследовали совершенно определенные и, по большей части, политические цели...

Итак, доктор Геббельс что-то проямлил насчет точной копии «завещания». А ведь точная копия предполагает дословность. Ерунда! Вот, извольте видеть:

пункт XII — «Пользоваться религиозным влиянием на греко-восточных отщепенцев или схизматиков (gres désunis), распространенных в Венгрии, Турции и южной Польше...»

«Греко-восточные отщепенцы», «схизматики»? Что ж, выходит, православный русский царь именует православных же, живущих в Венгрии, Турции и южной Польше — «отщепенцами», «схизматиками»? Nonsens! Такое словоупотребление имеет место только в римско-католической терминологии. «Схизма» — слово греческое и означает «раскол». С точки зрения папства — схизматиками были восточные христиане, то есть православные.

Но разве Петр назвал бы так своих единоверцев? Да никогда! Если же имеются в виду раскольники, то это чисто русское слово и в копии оно должно быть русским. «Схизматиками» старообрядцев Петр никак обозвать не мог, он скорее назвал бы их староверами, хлыстами, духоборцами, самосожженцами, дырниками, наконец! Но «схизматиками»? Бред! Неудачная подделка с негодным лингвистическим исполнением или, попросту говоря, невежественная.

Платонов удовлетворенно хмыкнул. Пожалуй, он нашел подход к разрешению хотя бы некоторых загадок этого документа, вернее, «липы». Подход чисто лингвистический. Так, дальше... В той же фразе написано «южная Польша». Эти два слова прямо-таки с головой выдают фальсификатора. Только в дипломатической практике Франции и Англии употреблялось слово «Польша». В России же в начале XVIII столетия, да и позже, никому в голову, и прежде всего Петру, не пришло бы Польшу назвать Польшей. Речь Посполитая — и никак иначе. (Сколько забавных ответов Платонов выслушал от студентов на вопрос, что означает это название. А ведь всего-то искаженное латинское слово — Respublicum, то бишь государство.)

Платонов заторопился. Теперь его подгоняло нетерпение. Вот еще одно подтверждение того, что это не перевод с русского, а какое-то самостоятельное литературное творчество: «И лишь только последние углубятся в Германию...» Порол горячку незадачливый фальсификаторишко! Можно с уверенностью сказать, что он попросту не знал русского языка и никогда не видел в глаза ни одного документа, написанного русскими, не говоря уж о документах Петра.

В XVIII веке Польшу на Руси именовали Речью Посполитой, а всевозможные немецкие княжества, курфюрства, герцогства и королевства так и называли королевствами, курфюрствами, герцогствами, но не Германией. В русском дипломатическом обиходе «Германия» появилась только с момента образования Германской империи в 1871 году... Платонов еще раз просмотрел «завещание», и снова его внимание привлек высокопарный слог, каким оно написано. Но разве бы Петр написал: «несметные азиатские орды» или «свирепые кочующие народы», «все эти диверсии» и т. д.? Эти выражения Петру не были свойственны. Петр и говорил и писал исключительно по-русски, сухо, четко и частенько настолько «выразительно», что и читать-то конфузно.

Платонов вспомнил, что ему предстоит все эти доводы изложить командованию, а посему нужно вести что-то вроде протокола следователя. Взял лист бумаги, и рука сама непроизвольно вывела слова Горького: «Историк смотрит в даль прошлого с высоты достижений своей эпохи, он рассказывает о процессах законченных, как судья о преступниках или защитник преступника». Да, для того чтобы вынести окончательный приговор, у него еще очень мало фактов... Лампа на столе вдруг стрельнула сгустком копоти, потом часто-часто замигала. Платонов почувствовал, как задрожали стены домика, и тут же в уши ворвался раскатистый, басовитый взрыв. И хотя по ночам фашисты редко обстреливали, «дежурная батарея» могла пальнуть и сюда, просто так, по площадям или со страху. Но когда отгремело эхо, приглушенное снегом, Платонов различил, как где-то невдалеке жалобно звякнул колокол, ему отозвался потревоженный гудом второй. И еще долго в морозном воздухе, едва уже слышно, вздыхали колокола какой-то сельской церквушки.

Платонов встал с лавки, подошел к окну, прислушался. Этот шальной снаряд, эти колокола воскресили фразу: «...эти колокола, как голос божий, предупреждали безумствующих чело­ве­цей о каре, которая им уготовлена за кровавую вакханалию, длящуюся вот уже столько столетий». Это слово из дневника Мурзакевича-младшего. Странно ведь, не попадись это «завещание» на глаза того смоленского учителя, не знай тот немецкого, сидел бы сейчас раб божий Володимир в своем окопе или дрых в блиндаже. И Гарик не вспомнил бы о своем

забытом предке, да вряд ли они с Гариком и встретились бы... А не вспомни Гарик о Мурзакевиче и Лезюре, вряд ли он, доцент Платонов, догадался, что автор этого «завещания» не кто иной, как кавалер д'Эон...

Платонов отошел от окна. Война подарила ему только одну ночь. А мысли разбредаются. «Завещание», Мурзакевич, взятие Берлина, д'Эон... Так нельзя. И Гарик куда-то запропастился...

Подполковник был легок на помине.

— Ну как?

— Послушай, Игорь, а Мурзакевичи не служили, часом, в армии, и один из них не был ли участником Семилетней войны 1756—1763 годов?

Богданов с удивлением посмотрел на приятеля. Все-таки здорово у Владимира скроена голова. Вот он, потомок этих Мурзакевичей, вспомнил лишь о священнике, да и то только потому, что в руки попало «завещание», а Платонов тут же восстановил и родословную Мурзакевичей. Действительно, был какой-то предок офицером, и именно в восемнадцатом веке. Большого подполковник просто не знал.

— Володя, а зачем тебе тот Мурзакевич, ну, который военный?

— Видишь ли, я сейчас перебираю в памяти все факты, чтобы утвердиться в догадке. Мурзакевича-офицера я припомнил только потому, что он жил одновременно с автором «завещания» и, чем черт не шутит, быть может, даже и встречался с ним.

— Так ты знаешь автора?

— Знаю, Гарик, знаю и все тебе расскажу, а пока не мешай.

Платонов замолчал. Машинально свернул огромную самокрутку, раскурил огненную ташаузскую махорку, поговаривают, что ее делают из коры саксаула и она просто прожигает горло.

Академик Лихачев как-то пошутил: если источник-вед сам читал текст документа — он никогда его не забудет, а если только читал о документе, обязательно не вспомнит. А ведь текста «завещания» он раньше не читал, вот почему и вспомнил с трудом. Значит, нужно сейчас вспомнить все, буквально все, что он читал о «завещании» и кавалере д'Эоне...

Значит, так. Бергхольц еще в 60-х годах прошлого

века опубликовал работу... как же она называется? Кажется, «Наполеон I — автор завещания Петра Великого». Да, да, точно! Бергхольц приводит целый ряд высказываний французского императора, которые почти текстуально совпадают со статьями завещания. Стоп! Не нужно вспоминать заблуждений историка, они потом были опровергнуты. Важно то, что Бергхольц полемизировал с кем-то из французов. Вот ведь беда, забылись имена этих французов. Их книги читать не довелось, потому они и в памяти не отложились. Платонов сердито воткнул недокуренную самокрутку в какую-то жестяную крышку, уже полную окурков...

Бергхольц, конечно, ошибался, приписывая авторство завещания Наполеону. Но как убедительно он доказывал, почему пронырливый кавалер д'Эон не мог снять точной копии с завещания Петра I. Нужно припомнить его доводы...

Платонов давно уже убедился в том, что у него наиболее развита память ассоциативная. И только когда ассоциации начисто отсутствуют, вступает в строй логика. Но логика свидетельствует только о том, что если Бергхольц отрицал авторство д'Эона, значит, кто-то его утверждал. Но кто? Пока он не может припомнить, с кем полемизировал Бергхольц.

Зато логика подсказала и еще один, бесспорный вывод. Маститый историк спорил со своим современником, а не просто ополчился на историческую традицию. Платонову вдруг захотелось набросить на плечи полушубок, натянуть ушанку до ушей и выбраться на мороз. Ладно, завтра он им надышится вдоволь...

Новая козья ножка — новый ход мыслей.

Оставим французов. Вернемся к рассуждениям Бергхольца относительно того, что д'Эон не мог снять «точной копии».

Во-первых... во-первых...

Ура! Все-таки вспомнил фамилию того французского автора, с которым полемизирует Бергхольц! Его звали Гальярден, или Галльярдэ. Тот самый Гальярден, который вместе с Александром Дюма состряпал роман «Тайна Нельской башни»... Эх, и досталось бы Платонову от литераторов за это «состряпал» по отношению к Александру Дюма! Но здесь его никто не слышит... Итак, у Гальярдена есть какое-то сочинение о жизни кавалера д'Эона. Неужели этот романист отказал себе в удоволь-

ствии насочинить с полсотни небылиц об удивительной способности д'Эона с одинаковым успехом выступать под личиной как мужчины, так и женщины? Наверное, присочинил три короба!

Кавалер чем-то прогневал Людовика XV, и тот изгнал его из Франции, запретив впредь появляться в оной в мужском костюме. Пока кавалер был молод, этот запрет мало его трогал, д'Эон превосходно себя чувствовал и в кринолинах. Но когда годы взяли свое, кавалер уже не переодевался — он ненавидел старух. И посему безвыездно жил в Англии, где и умер в глубокой старости.

...Гальярден, кажется, утверждал, что д'Эон под личиной Луизы де Бомон втерся в доверие к русской императрице Елизавете и даже стал ее чтицей, что и позволило ему получить доступ к секретным архивам русских царей. Бергхольц же справедливо замечает, что такая близость д'Эона к Елизавете не подтверждается никакими источниками.

Платонов удовлетворенно потянулся. Уж что-что, а документы и в основном мемуары XVIII века он знает неплохо. И не только опубликованные, но и рукописи, ждущие своих публикаторов. Кстати, даже такой историк и любитель всяческих пикантностей, как Валишевский, тоже отвергает близость д'Эона к русской императрице. Валишевский высмеивает тех любителей анекдотов, которые утверждают, что кавалер вечерами, в облике девицы, читал Елизавете французские романы.

Вот и припомнилось второе, очень существенное возражение Бергхольца — д'Эон русского языка не знал. Тогда, спрашивается, как он снял «точную копию» с завещания, которое Петр I мог написать только по-русски? Платонов самодовольно ухмыльнулся.

Ну а то, что автор «завещания» — Наполеон, это чушь. Наполеон просто использовал эту фальшивку, чтобы оправдать свой поход на Россию. Но Гальярден? Ему-то зачем понадобилось «завещание»? Вот бы сейчас оказаться в Ленинке! Мечта!..

Но ведь Гальярден в своем романе о д'Эоне приводит все «завещание», пункт за пунктом... Платонов почувствовал, что снова забрался в тупик. Конечно, можно обойтись и без французского романиста. У него под рукой достаточно доказательств в пользу того, что «завещание» — подделка, плод злобной фантазии французского проходимца. Но... Но еще есть время подумать, на-

прячь память. Только не нужно искать лазейки в тупике. Иными словами — к шутам Гальярдена! Романист свое дело сделал, да и Бергхольц, пожалуй, тоже.

Платонов знал, что сейчас ему нужно отвлечься, не думать о завещании, дать мыслям иной ход, причем любой, самый произвольный. Потом он сумеет снова вернуться к своим рассуждениям. Но, отдохнув, начнет их уже с другого конца. В этой убогой избе глазу не за что зацепиться. Платонов еще раз оглядел полку с брошюрами, подшивку газет, и взгляд его застрял на плащ-палатке. Она закрывала простенок, ведущий в другую часть избы, где спал Игорь. Платонов отвернул край плащ-палатки.

— Игорь!

Богданов между тем не спал. Он стоял у окна, зашторенного школьной картой. «Приспособил карту вместо маскировочной занавески», — подумал Платонов, но ничего не сказал. Карта его заинтересовала. Приглядевшись, он понял, что карта-то историческая. Гарик, наверное, нашел ее в той же школе, в которой стояла и парта.

Разглядывая карту, Платонов невольно вспоминал славные походы русских войск в XIX веке. Взгляд его остановился на Крымском полуострове. Севастополь, Инкерман, Черная речка, Балаклава... Легко школьникам отвечать по такой карте. К примеру, забыли сражения Крымской войны, а на карте, пожалуйста, все обозначены, и даже с датами. Вон чьей-то еще нетвердой рукой подписаны фамилии — Нахимов, Корнилов, Истомин, Хрулев. «Ишь, шпаргалщики — неистребимое племя». Великая вещь, шпаргалка! Платонов всегда рекомендовал своим студентам, готовясь к экзаменам, писать шпаргалки, но в день экзамена... «забывать» их дома.

Крымская война? 1853—1856 годы. А Бергхольц свою работу опубликовал в начале 60-х годов. А что, если?.. Платонова даже пот прошиб. Ну конечно же, Бергхольц полемизировал не столько с Гальярденом, сколько с... картой. Правда, у составителя этой карты было имя... Эта карта рассказывала о территориальных приобретениях России со времен Петра I, а пояснением к карте служило «завещание» Петра. Бог ты мой, оказывается, он знает об этом «завещании» не так уж мало, но, чтобы все вспомнить, привести в систему, разложить по полочкам, потребовалось столько припомнить...

Платонов вернулся к столу. Теперь он был уверен, что вспомнит все, относящееся к «завещанию», и ему не потребуются «шпаргалки». Значит, состряпанное д'Эоном «завещание Петра Великого» всплывало наружу каждый раз, как только европейские государства затевали войну против России. Эта фальшивка была нужна им, чтобы оправдывать свои агрессии, свои захватнические цели. Так сказать, свалить вину с больной головы на здоровую, обвинив Россию, «документально» утверждая, что она извечно старается завоевать Европу, а мы-де только обороняемся. Да, да, именно так!

Платонов перебрал в уме все войны XIX века, вспомнил и век XX. Теперь его память работала, как хорошо отлаженный механизм, и ей не требовалось подсказок. Вспомнил и рассказ отца, прослужившего всю мировую войну 1914—1918 годов на турецком фронте. Отец тоже упоминал о пресловутом «завещании». Немцы опубликовали его в иранских газетах, чтобы подтолкнуть Персию на войну против России. Да, господа геббельсы и тут оказались эпигонами. Наверное, кто-то из окружения хромого доктора вспомнил о «завещании», а может быть, этот «кто-то» еще в 1915 году сам его опубликовал. Геббельс и ухватился...

Ничего себе, фальшивка! 130 лет работает против России! Да, молодец Гарик и его сотрудники, что обратили внимание на эту газетенку. Да и тот смолянин — умница, сразу сообразил, что сей «документик» нельзя оставлять безответным.

— Игорь, я готов рассказать тебе все об этом «завещании» и его авторе, кавалере д'Эоне, он же девица Луиза де Бомон де'Эон. Только прошу тебя, сиди спокойно, не перебивай, если тебе вдруг покажется, что я домыслил кое-какие детали. Приводя их, мне легче представить весь процесс создания фальшивки.

— Слушай, лейтенант, член Военного совета тебе так «домыслит»...

— Ты не понял, все, что касается разоблачения фальшивки, я изложу по пунктам, без домыслов. Помолчи!..

— ...Швейцарцы, караульные Версаля, отличались от мраморных изваяний, украшавших дворец, лишь тем, что не были мраморными. Но у статуй были вырази-

тельные позы и слепые глаза. Швейцарцы походили на истуканов, но видели все. И ничему не удивлялись. Этого требовал неписанный устав караульной службы. Да и не было ничего удивительного в том, что в этот поздний час из опочивальни принца Конти вышел сам принц, а за ним показалась изящная белокурая девица с нежным цветом лица, оттененным легким пушком над верхней губой. Но разве из этих покоев не выпархивали и более очаровательные создания? Странно только, что эта пара направилась к королевским апартаментам. С тех пор как в них воцарилась маркиза де Помпадур, ни одна женщина не приближалась в такое время к королевской спальне. Стражи молча посочувствовали — ведь участь этой очаровательной девицы предрешена: маркиза не терпит соперниц...

Перед дверью королевской спальни принц остановился и, лукаво улыбаясь, стал поправлять на своей спутнице роскошное бархатное платье. Тоже ничего удивительного. При дворе Людовика XV хорошо знали эту причуду принца. Из него, наверное, получился бы превосходный портной, родился он не во дворце, а где-нибудь в предместье...

И только дежурный лейтенант широко открыл рот от изумления. Ему-то, конечно, было чему удивляться. Не далее, как вчера вечером, возвращаясь от приятелей несколько навеселе, он услышал, как в глухом переулке недалеко от Лувра кто-то вскрикнул, потом раздался такой знакомый и такой характерный звон скрестившихся клинков... Лейтенант бросился в переулок. Он не был завзятым дуэлянтом, да и вообще не отличался излишней храбростью, зато его отличало служебное рвение. Недавно король вновь запретил дуэли. Но французские дворяне чуть что — хватаются за шпаги. Министр полиции жалуется: у него в тюрьмах не хватает камер, чтобы содержать всех дуэлянтов.

Когда лейтенант добежал до конца переулка, звон шпаг уже больше не слышался, зато было слышно, как кто-то поспешно убегает. Видимо, шум драки потревожил обитателей переулка. Где-то распахнулось окно, фонарь высветил во тьме небольшой кусок мостовой. Загораживаясь от света, перед лейтенантом стоял изящный молодой человек в полувоенном платье. Он только что вложил в ножны шпагу, но еще не отдышался.

— Месье, вы дрались на дуэли?

— Нет, господин офицер! Я только отбивался от грабителей. Но, право, если у них есть пистолеты, то этот фонарь окажет нам дурную услугу...

Лейтенант разглядел своего собеседника. О, он его знал. В Париже вообще многие знали кавалера д'Эона! Среди задир-дуэлянтов он слыл за самого отчаянного. Его знали и в литературных кругах столицы как автора «Политических соображений об управлении древних и новых народов». Этого сочинения лейтенант не читал, зато просмотрел в долгие часы дежурств у королевских покоев другой трактат д'Эона — «Исторический опыт о разных положениях Франции в отношении финансов». Боже правый, разве есть во Франции хоть один человек, который не испытал на себе финансовые неурядицы, порожденные несчастными войнами за польское и австрийское наследство и правлением этого идиота, кардинала Флери?!

— Но, кавалер, я вынужден буду арестовать вас по указу короля.

— Лейтенант, не лучше ли нам поспешить немного и сначала выбраться из этого проклятого местечка?..

...Лейтенант даже привстал со своего кресла. Вполне возможно, что вчера он хватил лишнего, тем более, что угощал кавалер, но... тысяча чертей, он готов прозаложить голову, что сия барышня, как это ни фантастично... но нет сомнений — перед ним вчерашний кавалер, только в женском платье...

Двери королевских апартаментов открылись, пропускающая принца и его спутницу.

Кавалер д'Эон сще никогда не покидал Франции. И уж никак не предполагал, что его первое путешествие будет в Россию! Но повеление короля и тайная инструкция требовали его незамедлительного отъезда. Там, в далеком, холодном и загадочном Санкт-Петербурге, его ожидает французский посланник при дворе русской императрицы Елизаветы Петровны — кавалер Дуглас Маккензи. Правда, посланник еще не признан и посему выдает себя за коммерсанта, путешественника и черт его знает за кого еще. Д'Эон повезет ему письма для Елизаветы и останется в России.

Придется ехать. Ведь он сам добивался чести быть представленным королю, сам напросился на выполнение любого королевского поручения. Хитрая бестия принц Конти тут же ухватился за него. Конти спит и видит себя на польском престоле, и если король дал кавалеру тайные инструкции для передачи их Дугласу, то принц, этот «иезуит» и еще недавно глава тайной дипломатии Людовика XV, чуть ли не целый час наставлял относительно всего, что нужно разнюхать при русском дворе про польские дела.

Принц спешил. Ныне он уже не пользуется былым доверием короля, его звезда явно клонится к закату и может вновь взойти только на Востоке. Конти настоял, чтобы кавалер явился на аудиенцию к Людовику в женском платье. Трюк! Любовь к эффектам! А может быть, и желание немного рассеять меланхолию скучающего монарха.

Принц познакомил д'Эона с некоторыми письмами Дугласа. Кавалер читал и морщился. Русский двор, по словам Дугласа, — «масса роскоши, но мало вкуса и еще менее изящества». А женщины, женщины? «Они превосходно одеты, увешаны бриллиантами, но и только. В огромной зале, более короткой, чем Версальская галерея, но гораздо более широкой, обшитой деревом, выкрашенной в зеленый цвет, прекрасно позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко освещенной множеством люстр и жирандолей, среди потока золота, серебра и света — они выстраиваются, как в церкви, все с одной стороны, а кавалеры с другой. Они обмениваются глубокими реверансами и не разговаривают даже между собой. Это идола».

Боже правый, какая невообразимая скука! Слава богу, Дуглас пишет, что при дворе есть «несколько нимф — фрейлин», они превосходно говорят по-французски. Д'Эон не представляет, каким путем, помимо женщин, их осведомленности и врожденной болтливости, можно добыть сведения, которые помечены в королевской инструкции? Инструкцию надлежит выучить и уничтожить.

Кавалер отвык уже от зубрежки, но что поделаешь... Сведения о политическом, военном и финансовом состоянии России, ее настоящих и будущих видах на Польшу, о ее намерениях относительно Турции и Швеции, о рас-

положении императрицы и ее министров к Франции, Англии, Германии, о склонности русского правительства к войне или миру, о том, преданы ли малороссийские казаки русскому правительству, о партиях петербургского двора... Дьявольщина — 14 пунктов! Даже о Персии не забыли.

Д'Эон не в восторге от предстоящей миссии. Иное дело, если бы он сумел как-нибудь скомпрометировать Дугласа... и сам занял бы его место. «Посланник Франции при Петербургском императорском дворе»... в 29 лет! Что ж, это ли не карьера? Но Дуглас шотландец. Этим многое сказано — он непокорный подданный английского короля. Поддерживал Стюартов, а когда они проиграли, бежал во Францию «со шпагой и шапкой». Но, видимо, умен, ловок, если сумел стать доверенным человеком Конти. Поговаривают, что у посланника одна слабость — женщины. В прошлом году по дороге в Петербург он в Дрездене увлекся некой спутницей, которая чуть-чуть не увезла его в Берлин вместе с секретными письмами Людовика к Елизавете.

Что ж, коли так, то еще не все потеряно. Ах, если бы король разрешил отправиться в Россию в женском одеянии! Тогда бы он больше знал об амурных авантюрах посланника — ведь Луиза де Бомон д'Эон была бы равноправным членом петербургской «школы злословия». Но увы, даже в том случае, если Дугласа отзовут, то на его место не назначат Луизу де Бомон д'Эон. Обидно!

Маккензи Дуглас не имел чести встречаться в Париже с кавалером д'Эоном, но кое-что слышал о нем. Последние сведения пришли только вчера из Берлина. Французский посол предупредил Дугласа о приезде «чрезвычайного курьера», приписав от себя, что сей курьер «птица, видимо, важная, и его следует встретить».

Когда корабль отшвартовался, Дуглас увидел какого-то франта со шпагой на боку, в белых чулках, шляпой под мышкой, в густо напудренном парике — ни дать ни взять щеголь, только что прикативший из Сен-Клу.

Кавалер д'Эон вступил на русскую землю.

...Посланник Австрии при дворе Елизаветы Петровны — граф Цинцендорф был любезен, но на д'Эона внимания не обращал. Он добыл для Дугласа приглашение на прием императрицы. Конечно, если Дуглас считает полезным, то он может захватить с собой и курьера...

Д'Эон хотел ответить дерзостью, но Дуглас его опередил, рассыпавшись в благодарностях. Граф снисходительно добавил на прощание:

— Дорогой коммерсант, должен вас предупредить — прием состоится в Царском Селе. Почему в Царском? Императорская прихоть или каприз женщины. Последний раз я был в этом дворце в апреле. Вы себе не представляете, какая это скука... И холод. Да, да, я просто почувствовал себя в Сибири. Дворец отапливается... свечами и дыханием придворных.

...Кавалер д'Эон на приеме у императрицы в царско-сельском дворце. О... о, сколько позолоты! Затейливая резьба — не дворец, а ослепительный блеск! Дуглас — и тот зажмурился и прошептал:

— Наверное, так выглядели шатры Золотой Орды.

Дородные дворецкие, а их здесь почему-то несколько, усаживают гостей на стеганные диваны. Едва кавалер устроился и успел принять подобающую позу, как вдруг диваны, словно ковры-самолеты, взмыли кверху. Дуглас, примостившийся рядом, осенил себя крестным знаменем, шепча молитву. «Полет» был непродолжительным. Диван замер на втором этаже. И снова золото, хрусталь.

Граф доверительно рассказал Дугласу о волшебном столе, на котором без всякой прислуги, лакеев появляются блюда, бокалы, соусницы, солонки. А в парке, и это им тоже еще предстоит увидеть, плавают самодвижущиеся лодки, бегут экипажи без лошадей.

— Ах, милый Дуглас, все эти чудеса не что иное, как фокусы со всевозможными пружинами, вроде часовых. Но, право, иногда хочется поверить в сказку...

Прием прошел благополучно. Дуглас передал Елизавете письмо Людовика XV, письмо, которое д'Эон привез зашитым в полу своего камзола. Людовик предлагал русской императрице возобновить между обеими

странами дипломатические отношения, но бестактно намекал на необходимость устранить канцлера Бестужева.

Какое-то время Дуглас не знал, к чему приспособить кавалера. Когда Россия и Франция официально обменяются дипломатическими миссиями, д'Эону можно будет предложить пост секретаря. А пока? Но сам д'Эон хорошо помнил о секретной инструкции короля. Он быстро перезнакомился с елизаветинскими вельможами — Разумовскими, Нарышкиными, Голицыными, Шереметьевыми. Однако кавалер понял: от них он многого не узнает. Все тайны русской дипломатии, все бразды правления — в руках канцлера Бестужева. А Бестужев и слышать не хочет о сближении с Францией. Дуглас считает, что виной тому пенсия, которую получает Бестужев от Англии, а Англия ныне не в ладах с Францией и поддерживает ее врага — Пруссию.

Д'Эон был поражен набожностью высшей русской знати. Он привык, что в Париже в божьих храмах назначают свидания, передают любовные записочки, даже составляют заговоры под благочестивые бормотанья аббатов и кюре.

...У Бестужева была очаровательная племянница. Кавалеру даже называли ее имя, но эти варварские имена не запомнить. Племянница неукоснительно посещала все службы, и д'Эон решил, что это самое подходящее время для того, чтобы завести с ней шашни и... чем черт не шутит — быть представленным дядюшке. А может быть, очаровательная и сама кое-что знает? Ведь во Франции политику делают женщины, а петербургский двор так тщится прослыть за малый Версаль.

Воскресная служба тянется бесконечно. В церкви холодно, но православные к холоду привыкли, не то что французы. Д'Эон пристроился рядом с племянницей Бестужева и терпеливо дожидается случая, чтобы заговорить. Племянница, конечно, заметила фатоватого кавалера. Скашивает на него глаза, даже улыбнулась. Или это только так ему кажется? Д'Эон решился.

— Мадемуазель, господь бог не простит вам столь утомительное стояние в церкви, он не любит бледных щечек и потухших от усталости глаз...

Кавалер не договорил, заметив, что «потухшие от усталости» буквально выползли на лоб, племянница с ужасом посмотрела на д'Эона. В церкви тоже было заметно замешательство, хотя никто из молящихся не

произнес ни слова. Когда служба закончилась, д'Эон поспешил к выходу, чтобы встретить свою очаровательную соседку и проводить ее до кареты. Но племянница как в воду канула, зато прихожане обходили кавалера стороной.

Вернувшись в гостиницу, где кавалер снял номер по соседству с Дугласом, д'Эон пожаловался шотландцу на свою неудачу.

— Как, месье, вы осмелились заговорить с мадемуазель Бестужевой в церкви?

— А почему бы и нет?

— Несчастный! Вы понимаете, что вам угрожает?

— Угрожает?

— Боже мой, ведь императрица возобновила обычай, существовавший при ее покойном отце. Она приказала сажать на цепь всякого, кто осмелится разговаривать в церкви! Это касается даже высших сановников, только для них цепи сделаны из золоченой бронзы.

— Но ведь я француз!

— Это вас не спасет. Не далее как в прошлом году ваша соотечественница мадемуазель Тардьё угодила в тюрьму за то же преступление.

— Мадемуазель Тардьё? Я слышал, что ее посадили за то, что она не показала императрице последние моды Парижа, припрятав их для иных клиентов...

Кавалер не на шутку струсил.

— Месье, умоляю вас, сделайте что-нибудь, я должен остаться в Петербурге...

Дуглас посмотрел на незадачливого кавалера с подозрением и решил, что ничего делать не будет, и если кавалера засадят куда-нибудь в русскую Бастилию, то оно и к лучшему.

— Хорошо, месье, я постараюсь, чтобы вас не посадили в тюрьму, а только выслали во Францию.

...Наконец-то можно поздравить себя с успехом. Несомненным и тем более приятным, что он пришел в тот день, когда ему казалось, что наступил полный крах его карьеры, его дерзаний, и о Франции он будет мечтать где-нибудь в застенках русской темницы. Но прошел день, неделя, Дуглас молчал, а д'Эону надоело отсиживаться в номере. Он рискнул заглянуть к Разумовским.

Славянские вельможи страшно скрытны, скупы на слова и ловко притворяются незнайками, лишь только

речь заходит о щекотливых вопросах политики. Дуглас утверждает, что вельмож к этой скрытности приучили бесконечные дворцовые перевороты. Просыпаясь утром, они не знают, кого сегодня днем узреют на престоле.

А светские львицы просто толстые, жеманные дуры. Конечно, и среди них есть немало прехорошеньких, но, боже, как они изъясняются по-французски! Этак недолго попасть и впросак, не разобрав речей прелестниц...

Еще по приезде в Петербург д'Эон решил, что следовало бы выучить русский. Но вскоре убедился — в одиночку его не одолеть, а нанять учителя — об этом сразу станет известно клеветам канцлера Бестужева и, конечно же, насторожит их. Но тогда, спрашивается, как он сумеет получить необходимые сведения? Бумагу с королевской инструкцией он давно сжег, но весь этот год она как кошмар отравляет его сновидения, его жизнь. А жизнь могла бы быть приятной и здесь, в Санкт-Петербурге. Впрочем, теперь, после случая в церкви, он не хотел бы задерживаться надолго в России, ведь Россия владеет Сибирью... Как это он ловко ответил Ивану Шувалову: «Я всегда предпочитаю быть спиной к Сибири». Потом пожалел о дерзкой фразе, узнав, что один из Шуваловых — Александр — начальствует над тайной канцелярией. Но он не собрал сведений о политических планах двора Елизаветы, и во Францию пока лучше не возвращаться. Людовик XV мелочен, подозрителен, коварен. Принц Конти ныне уже не щит — сам впал в немилость.

Но, право, ему чертовски повезло у Разумовских с этой мадам... как ее русская фамилия? Тысяча чертей, уже успел забыть! Но очаровательницу зовут Мадлен. И она, бесспорно, француженка. Как ей удалось сохраниться при этом варварском дворе после падения Лестока? Того самого лейб-медика Елизаветы, который столько сделал для ее вступления на престол и низвержения Браунгшейской династии? Но ведь Лесток и сам стал жертвой этого несносного канцлера Бестужева, у которого так и не поймешь — то ли он ориентируется на Вену, то ли на Лондон, но, во всяком случае, не на Версаль.

Мадлен кокетлива, как бывают кокетливы женщины в пору последнего цветения молодости. Она стосковалась по французской галантности, а он еще не забыл о ней в этой медвежьей берлоге.

...Д'Эон лежал на каком-то подобие софы, старой, скрипучей, но сработанной французскими мастерами. Напротив стояло большое трюмо, так не гармонирующее с убогим убранством комнаты. Но без зеркала он просто не смог бы жить. Коварное это зеркало! Оно все время напоминает о королевском запрете и соблазняет, подталкивает к огромному баулу, на дне которого уложены чудесные дамские туалеты — здесь они бы выглядели как последний шик моды...

Д'Эон проворно вскочил с софы, торопливо расстегнул ремни баула. Камзолы, парики, кружевные сорочки небрежно сброшены прямо на истертый ковер. Вот оно — то бархатное платье, в котором он был на королевской аудиенции!

Кавалер долго прихорашивается перед зеркалом, примеряет парики, пудрится, накладывает румяна...

Ну разве могут с ним сравниться самые записные русские красавицы? Им не хватает грации. Говорят, что Натали Лопухина была первой красавицей при дворе, он видел ее портрет — ничего особенного. Но Елизавета, по тем же слухам, не могла простить жене генерал-поручика ее красоты. Натали была вместе с мужем обвинена в заговоре, ей, ее мужу и их сыну вырезали языки и публично выпороли кнутами... Бр! Этак, появившись он при дворе в женском облике, чего доброго, императрица повелит сдать в тайную канцелярию нивесть откуда взявшуюся «красавицу»...

Но Мадлен, Мадлен! Она намекнула, что вхожа к императрице и состоит при ней чем-то вроде чтицы французских романов. А что, если открыться проказнице и через нее, под видом ее подруги, только что приехавшей из Франции, как-нибудь вечером у изголовья царицы вместо романов пересказать ей парижские сплетни? Не важно, что они годичной давности — сойдут за самые свежие. Впрочем, он может сочинить и такие, что они по «свежести» превзойдут не только нынешние, но и, так сказать, грядущие.

Д'Эон, сидя перед зеркалом, быстро вошел в роль. И ему уже казалось, что рядом с трюмо стоит не жалкая софа, а роскошное императорское ложе под балдахинном, расшитым царскими вензелями. И на высоких подушках возлежит пышнотелая Елизавета. А он... хотя нет, она — Луиза де Бомон — примостилась у изголовья на плюшевом пуфе. Горит золотой ночник, чуть

подсвечивая книгу и роскошный шифоньер, уставленный инкрустированными ларцами. В этих ларцах — все секреты Елизаветы Петровны. В одном — письма поручика Шубина, первой любви русской принцессы, в другом... о, в другом, может быть, спрятаны документы, свидетельствующие о тайном браке Елизаветы с Алексеем Разумовским, казачьим сыном, и, говорят, бывшим певчим, а ныне графом. Да, да, в этих ларцах полно тайн, как полна тайн и императорская спальня...

В дверь номера кто-то постучал осторожно-осторожно. Д'Эон отрешенно огляделся. Лицо исказила гримасса брезгливости, и он уже не походил на «писаную красавицу». Вскочил, заученным движением выхватил из ножен шпагу, всегда стоявшую у изголовья, сделал шаг к двери и чуть не упал, запутавшись в юбках. Сто тысяч чертей! Он же не может предстать перед поздним посетителем в дамском одеянии и со шпагой!

Д'Эон притаился. Закрыта ли дверь на засов? И, вполне вероятно, в этих дверях такие щели... а у него горит лампа... Прошло несколько минут. Стук больше не повторился. Не слышно было и шагов в коридоре. «Послышалось», — с облегчением подумал кавалер. Но еще добрых минут пять простоял неподвижно, боясь шелохнуться.

Как скверно бывает на душе каждый раз, когда он возвращается из-за облачных высот фантазии на эту скучную, грешную землю. Ларцы императрицы... Да есть ли они в действительности? Шетарди — бывший посол Франции еще при Анне Леопольдовне — утверждал, что существует какой-то тайный архив, чуть ли не в Царском Селе, там и хранятся те вожделенные документы, знакомство с которыми открыло бы ему, д'Эону, дорогу к блестящей карьере. А если тот архив такой же плод фантазии Шетарди, как ларцы, пригрезившиеся ему час назад? Ах, как вольготно было тем иноземцам, которые посещали Московию в прошлые века! Чего-чего они только не насочиняли в своих «сказаниях»!

Д'Эон развалился на софе, закинул за голову оголенные руки. Это его любимая поза — можно ничего не делать, не двигаться и в то же время остро переживать события, которые в мельчайших деталях порож-

дает богатая фантазия. Еще в детстве отец заметил, что будущего кавалера погубят женщины и мечты. Мать предпочитала «гибель от мечтательности», отец — от женщин.

...Несчастливая привычка — только открыл рот, сразу же забыл о слушателях, забыл, где он и что можно говорить, а о чем лучше бы и помолчать. Кавалер упивался собственными речами, вслушивался в музыку слов и, что самое удивительное, верил сам всему, о чем рассказывал.

Мадлен почувствовала себя маленькой и жалкой перед величием, самоотверженностью д'Эона. И могла ли она отказать кавалеру в такой сущей безделице — провести его в женском одеянии в спальню русской императрицы и спрятать в ожидании благоприятного момента?

Д'Эон был полон радужных надежд.

Правда, через несколько дней эти надежды немного померкли. Ну хорошо, он проберется в спальню, а что потом? Даже если Елизавета быстро уснет и не обнаружит кавалера, то сумеет ли он открыть заветные ларцы, да и существуют ли они в действительности? Может быть, это просто плод его воображения, и он только уверил самого себя в его реальности? Очарованная Мадлен даже не спросила, зачем кавалеру понадобилось проникать в спальню императрицы. Ну а если спросит? Он не знает, что ответить...

С такими, далеко не радужными, мыслями д'Эон пробирался к дому, в котором жила Мадлен. Сегодня ее муж занят в дворцовом карауле, они поужинают вдвоем, а потом пойдут во дворец... Мадлен сама открыла двери — горничную она заранее отпустила.

Полутемная передняя, за ней небольшая зала и... камин. Д'Эон никак не ожидал встретить в России камин, тут преобладают голландские печи. Камин создавал уют. Отблески огня отражались на эфесах сабель, гардах шпаг, развешанных по стенам. Маленький столик, на нем два прибора и шандал со свечами.

— Проходите, проходите... Луиза. В доме, кроме нас, никого нет. Но, право, вы очаровательны. И эта мушка... Ах, узнаю своих соотечественников!

— Но, Мадлен, я надеюсь, наш ужин не затянется?

— Спешить нам некуда. Императрица сейчас играет в карты. Она обожает карты и очень любит выигрывать. Часам к девяти-десяти Елизавета утомится и начнет проигрывать, это испортит ей настроение. Вот тогда-то мне и нужно быть наготове. Вы знаете, я придумала. Вам не придется прятаться — это ведь так трудно. На вас такое чудесное платье, что, уверяю вас — Елизавета придет в восторг, будет рассматривать, а завтра прикажет сшить еще одно к тем нескольким тысячам, которые пылятся в ее гардеробной.

— Нескольким тысячам?

— Да, да, я не знаю, шесть или десять, а может быть, и больше тысяч платьев занимают целых три комнаты в покоях императрицы. Она обожает по утрам полуодетой бродить среди этих платьев. Но бедняжке так трудно решиться выбрать одно, которое нужно надеть. Иногда она по пять-шесть раз на дню переодевается.

«Положение осложняется. Императрица будет рассматривать платье, может быть, мило пощечечет, а когда захочет спать, просто выгонит...»

— Дорогой мой кавалер, может быть, пока мы вдвоем, вы снимете этот парик, я, право, предпочту ужинать в компании мужчины.

— Я не захватил другого...

— О, это будет забавно. Мужественная голова и очаровательный девичий стан! — Мадлен от удовольствия захлопала в ладони, подскочила к д'Эону и сорвала с него парик.

— Ах вы проказница!

Д'Эон хотел броситься вдогонку за резвящейся Мадлен, но запутался в юбке, оступился и во весь рост растянулся на полу. Мадлен от смеха тоже не удержалась на ногах и упала на диван.

— Тысяча чертей! — Д'Эон забыл о своем женском лице, голос его, еще минуту назад звучавший мелодичным контральто, вдруг раскатился полковой трубой.

В это время открылась дверь и в залу вошел офицер. Он остановился на пороге, недоуменно наблюдая за тем, как на полу барахтается какое-то странное существо. На нем длинное бархатное платье с целомуд-

ренным вырезом, но и голос, и черты лица — весь облик — свидетельствуют о том, что это мужчина.

— А, сударь, вам не поможет маскарад! Сейчас я вас проучу. А вы, сударыня, убирайтесь отсюда немедленно, с вами мы поговорим потом!

Д'Эон обернулся на голос. Мадлен поперхнулась, выпустила парик и с ужасом уставилась на мужа. Почему он не во дворце?

Между тем офицер выхватил шпагу.

— Защищайтесь, или, видит бог, я вас прикончу!..

Д'Эон вскочил. У него нет шпаги!..

Удар ногой... и стол со свечами, тарелками, соусницами покатился под ноги офицеру. Схватив левой рукой юбки, д'Эон подбежал к стене и сорвал с нее шпагу.

— Что ж, мсье, теперь я к вашим услугам. Но, право, вы рискуете не выбраться из этой комнаты живым, вам нужно немного — убить меня! Но предупреждаю — во Франции не нашлось еще ни одного дворянина, который бы это сделал. А пытались многие...

Офицер сделал выпад, д'Эон легко его парировал и хотел нанести ответный удар, но ему помешал опрокинутый стол. Мадлен замерла на диване. Горящий камин, красноватые отблески огня на стене, битая посуда, валяющийся посреди комнаты стол, а вокруг него движутся два человека, обмениваясь время от времени ударами. Особенно нелепо, дико выглядел д'Эон в женском одеянии, но со шпагой. Каждый выпад он сопровождал каким-то нечленораздельным рычанием. Наконец Мадлен очнулась от наваждения и сковывающего ее страха.

— Господа, господа, немедленно прекратите! Василь, Василь, я умоляю тебя! Мсье!.. — Мадлен решительно бросилась между сражающимися. — Василь! Будь же благоразумен! Кавалер д'Эон переоделся только для того, чтобы позабавить императрицу, и я должна была доставить его во дворец. Теперь же я не знаю, что и делать.

Офицер отскочил к стене.

— Сударь, я готов прекратить поединок здесь, с тем чтобы назначить встречу в ином месте.

— Я к вашим услугам, мсье!

Д'Эон бросил шпагу на диван и, не прощаясь, ушел.

— Володя, остановись, пожалуйста. Честное слово, все это очень занимательно, но, право, мне сейчас не до альковных похждений твоего кавалера.

— Ты, пожалуй, прав, Игорь, я несколько увлекся, а вернее, просто дал разрядку уставшей голове. Но уверяю тебя, что пронырливый кавалер сделал еще не одну попытку подобраться к «государевым секретам». В конце концов он был принят при дворе, но и тут не преуспел в своей тайной миссии. А слухи о дуэли и рассказы о «бесчинии» в церкви не прекращались, создавая д'Эону незавидную репутацию в среде русских вельмож. Зато дамы были от него без ума.

...Д'Эон был явным графоманом. В России он ухитрился написать объемистое сочинение «Исторические и статистические заметки о русском государстве». Здесь были и небылицы так тесно переплелись, что распутать этот клубок при жизни д'Эона не брался ни один издатель, и только впоследствии сочинение это было опубликовано.

— Ваше счастье, кавалер, союзный договор с Россией подписан. Война против Пруссии решена. Императрица завтра выезжает в Москву, чтобы потом пешком проследовать в Троицко-Сергиевскую лавру, молить заступничества всевышнего русскому воинству. Послезавтра вы отправитесь в Париж с текстом договора. Кстати, вице-канцлер Воронцов вчера сказал мне: «Дуэли и кощунственного поведения в церкви более чем достаточно, чтобы навечно упрянуть вашего любезного кавалера в Сибирь. Советую поспешить с его отъездом в Париж».

И д'Эон понял — рухнули все его надежды, его карьера. В Париж он прибудет все тем же курьером. А как держать ответ перед королем? Ведь ни на один пункт тайной инструкции он не может дать сколько-нибудь вразумительного ответа.

Дуглас догадывался о шпионском задании д'Эона и видел растерянность кавалера. Ну что ж, тем лучше, тем лучше... Д'Эон ему порядком надоел. Пусть возвращается в Париж!

...Лошади встали.

— Что случилось? Почему мы стоим?

Д'Эон высунулся из кареты, она стояла у почтового яма. Ямщик очень непочтительно пререкался со станционным смотрителем, что-то требовал, но тот только руками разводил и сплевывал сквозь зубы. Д'Эон, бормоча проклятья, выбрался из кареты. Все ясно — нужно сменить лошадей, а у смотрителя нет ни одной свежей. Д'Эон ни слова не понимал по-русски, но смотритель упомянул имя императрицы. «Император» — на всех языках император. И Елизавета — тоже понятно.

Кавалер забеспокоился. Этот скупердяй Дуглас не нашел нужным дать ему в провожатые толмача!..

— Извините, не знаю вашего звания, но вижу — вы в затруднении...

Д'Эон поспешно обернулся. Он не заметил, как к карете подошел молодой человек. На нем дорожный парик, богатый камзол, шпага. Его французская речь не блещет изяществом и выговор ужасный, но кавалер обрадовался.

— Я просто счастлив встретить вас...

— Называйте меня месье Мишель, русские фамилии очень трудны для тех, кто не привык к их произношению.

— Благодарю вас! Но скажите, где здесь можно раздобыть лошадей? Я, право, очень спешу.

— Я тоже. Но боюсь, что ни сегодня, ни завтра нам не тронуться с места. Два дня назад по этой дороге проехал кортеж императрицы.

— Вот как! Но при чем тут лошади?

— О, сударь, сразу видно, что вы нерусский. Ее императорское величество очень любит путешествовать. И особенно часто выезжает в Москву. Ныне она отправилась туда на богомолье, дабы помолиться за российское воинство. А ведь мы с вами находимся у начала московского тракта.

Д'Эон все еще ничего не понимал.

— Простите, сударь, но какое отношение имеет проезд царицы к почтовым лошадям?

— Видите ли, когда императрица путешествует — это напоминает переселение народов. Да, да, не удивляйтесь. Вместе с ее величеством из Петербурга уезжает девять десятых жителей столицы. Сенат, синод,

иностранные коллегии, военное казначейство, придворная канцелярия, почта, все службы дворца и конюшен следуют за императрицей. По самым скромным подсчетам, это восемьдесят тысяч человек и около двадцати тысяч лошадей. Ее величество обожает быструю езду. В экипажи императрицы запрягают 12 специально натренированных лошадей. Ее величество приказало оборудовать свою карету приспособлением для топки, за экипажем всегда следует полная смена упряжки. И кортеж императрицы за сутки пробегает более сотни верст. Конечно, чтобы угнаться за ним, придворные разбирают лошадей со всех попутных почтовых станций.

— Мой бог, ужели нам придется несколько ночей провести в этой берлоге?

Так кавалер д'Эон встретился с Михаилом Станкевичем, поручиком, который направлялся к месту службы в город Смоленск. Не рискуя остаться без переводчика, кавалер решил ехать тоже через этот город.

Станкевич оказался веселым, остроумным собеседником. Он преклонялся перед памятью Петра I и его деяниями. К французам относился с симпатией. Д'Эон всю дорогу был молчалив, рассеянно слушал своего попутчика и ни на минуту не забывал, что, каким бы кружным путем он ни ехал, Париж приближается, и однажды он окажется в столице Франции. О дальнейшем не хотелось и думать.

Когда они прибыли в Смоленск, д'Эон почувствовал себя знатоком Петровской эпохи — так много и красочно рассказал ему о ней Станкевич. А тут еще этот древний город, его могучие стены, построенные в XVI веке... И, проснувшись однажды утром, д'Эон вдруг радостно засмеялся. «Черт возьми, если эта мысль пришла во сне, то да здравствует сон!» Теперь он знает, как ответить на 14 пунктов королевской инструкции. Для этого, правда, нужно свободное время — примерно неделя. Ну ничего, поближе к Парижу он «сломает ногу» и неделю полежит в гостинице.

Смоленск, Станкевич, Россия остались позади.

— Стоп, Володя, стоп! Времени больше нет. Откуда же взялось «завещание»?

— Согласен, Игорь, теперь можно действительно распрощаться с окружением кавалера д'Эона. Ведь по

дороге в Париж, не помню уж где, кажется, в Австрии, он-таки «сломал ногу» и недели две отлеживался в какой-то гостинице. Вот за эти две недели французский авантюрист и сочинил свое злополучное «завещание».

— Ты уверен, что «завещание» чистейший плод литературных упражнений проходимца?

— Уверен. Заметь при этом, какой злобой дышит сия фальшивка по отношению к России. Но это понятно — в России был поставлен крест на карьере пройдохи. Знаешь, когда д'Эон прибыл в Париж и вручил «завещание» министру иностранных дел барону Бернесу, тот обозвал его сочинение химерой! Д'Эон обиделся, он, помнится, заявил, что «на мое открытие не было обращено серьезного внимания потому, конечно, что оно было сделано молодым человеком».

— Слушай, а как Людовик XV отнесся к своему неудачливому агенту?

— Как отнесся? Я бы сказал, по-королевски. Не знаю уж, что послужило предлогом, но, думаю, неудача д'Эона в России — Людовик выслал кавалера из Франции, запретив ему впредь появляться на ее территории в мужском одеянии, в женском же — пожалуйста. Ну, пока д'Эон был сравнительно молод, он посещал Францию, потом обосновался в Лондоне, где и умер в 1810 году, пережив и Людовика и Конти.

— Итак, значит, как только Европа начинала войну против России, она вспоминала о «завещании»?

— Выходит, так. Наполеон в 1812 году, Гальярден в 1853-м во время Крымской войны, немцы в 1915-м и гитлеровцы сейчас.

— Володя, закончи, пожалуйста, свою докладную, а я пойду погляжу, как мои орлы готовятся к операции.

Но Платонов решил дать себе маленький отдых и вышел из избы. После бессонной ночи и задымленной комнаты даже декабрьское, красное, без лучей, словно оно их отморозило, солнце и слепит, и режет глаза. А может быть, это снег, выпавший за ночь? Такого белого, такого сахарно-искрящегося, такого чистого Платонов и не помнит.

Подполковник Богданов давно убежал, захватив листы, исписанные Платоновым. На прощание буркнул:

— Опаздываем, скоро музыка начнется, ни черта не перекричишь!

Платонов завершил свои записки, «ночь полководца» кончилась. И лейтенант знал, что победил, победил в единоборстве с теми, кто хочет влить яд в душу, посеять страх, ненависть к народу великой страны.

...Платонов зашел в Особый отдел. Какой-то незнакомый капитан, видимо дежурный, сказал, что подполковника Воронова нет и он не отдавал никаких распоряжений относительно лейтенанта. Платонов оставил дежурному свои записки. Что ж, пора и честь знать, иными словами, в часть возвращаться. Сюда его доставили на машине, отсюда надо искать попутный транспорт.

Платонову повезло — его подобрала полковая полуторка. Водитель гнал, справедливо опасаясь немецкой авиации, которая не пропустит такого ясного утра. Они уже подъезжали к фронту, когда до них донеслась бешеная артиллерийская и минометная канонада. Причем стреляли явно из противотанковых пушек, а минометы были всех калибров.

Платонов беспокойно высунулся из кабины.

— Чего это они всполошились?

— Так, товарищ лейтенант, немцы небось стреляют по граммофону. Я сегодня утром, когда в штаб ездил, видел, как он в ту сторону подался. Не первый раз. Как только наши начинают фрицам мозги вправлять, те словно психи — лупят по граммофону из всех видов оружия!

— Это что ж за граммофон такой?

— Да передвижной радиофургон. Мы его граммофоном прозвали за здоровенную трубу — рупор. Эта машина, значит, даже на нейтральную выезжала, и ну чесать по-немецки!

«Значит, это тот самый фургон, который виден был из избушки, где прошла сегодняшняя ночь. И вполне возможно, что сейчас из его рупоров долетает до фашистских окопов правда о геббельсовской лжи. Может быть, Гарик тоже там? Но как стреляют, как стреляют!»

Через много лет после окончания Отечественной войны профессор Владимир Алексеевич Платонов побывал в Париже. Разыскал он и памфлет Лезюра и сочинение Гальярдена, нашел карту, изданную военным писателем Корреадором с «завещанием» вместо пояснений. Обнаружил он и иллюстрированное издание по польской

истории Леонарда Ходзько, где тоже приводится эта пресловутая фальшивка.

А в газете «Русское слово» от 12 мая 1915 года нашел заметку: «Завещание Петра Великого». Русский журналист писал: «Под таким заголовком в одной из персидских газет было напечатано очередное немецкое измышление. Оно свидетельствует о немецкой фантазии и упорстве. В борьбе с нами наши враги воспользовались даже легендой о «завещании Петра Великого». И смастерили документ, вполне годный для воздействия на пылкое воображение персов...»

Ничего не помогло немецким фальсификаторам. Но Платонов и по сей день считает, что не следует забывать о «завещании». Кто знает, может быть, иные фальсификаторы истории еще вспомнят о нем.

Крыло тайфуна*

I

В ночи на солонцовой поляне искрилась грязь, а круг нее серебристые под луной листья, словно чеканка, очерчивали купины кустов. Прямые стволы поодаль отбивались жестким светом, будто одним ударом.

Тягуче пахло черемухой. Ее заросли маячили впереди, на той стороне распадка. Место, где росла черемуха, Антон Комолов помнил точно, как и то, что слева от поляны поднимался стройный кедр. Лунные лучи, если присмотреться, обозначали все до единой хвоинки. Только нельзя приглядываться. Надо беречь глаза, надо лежать тихо, и лучше на время смежить веки. Да не уснуть ненароком, поддавшись омутной тишине.

«Зенки устают скорее, чем уши... — еще прошлой осенью поучал Антона человек, знающий охотничье дело, — Гришуня. — И еще: когда смотришь, голову-то надо держать. Так шея задубеет. И тогда уж терпежу никакого не хватит — хоть как-никак шевельнешься. Отдых шее дашь. А нельзя! Так ты по-собачьи лежи, будто растаял весь. Чтоб всякая жилка в тебе свободной себя чужала. А умом ты на взводе. Чтоб раз — и готов: стреляй, бей!»

Лежать вот так, по-собачьи, было действительно очень покойно, даже на деревянной платформе, прочно поставленной меж ветвей крепкого маньчжурского ореха, метрах в пяти над землей. И этот лабаз, как говорят охотники, построил и подарил ему Гришуня. Так и сказал: дарю. Нашлось у него несколько дней, свободных от научных занятий в промхозовском заказнике.

Если открыть глаза, то не сразу разберешься, где поблескивают листья кустов и где посверкивает грязь. Вроде бы они поменялись местами. Странно, но оно так.

Четвертая ночь настала. Но вот придет ли сегодня

* Сокращенный вариант.

сюда, на этот солонец, изюбр? В самую первую полночь явилась полакомиться солью телка с теленком. Раз, ну два хрупнули ветки у нее под копытами. А вторая ночь пришла неходовой темной словно ватой заткнула уши, такой глухой была тьма, теплой и влажной. В третью тоже не пофартило.

Под ветровым потягом чуть слышно забились листья над головой Антона. Он не спеша разомкнул веки и увидел переливчатые очертания кустов и легкую рябь на солонцовых лужах. Защемило от холода кончики ушей. Резко вскрикнула косуля. Совсем неподалеку. Ей откликнулась откуда-то снизу другая, столь же неожиданно, будто кто кольнул животное.

«Идет?» — Антон задержал дыхание.

Но солонец был пуст.

Истошно, по-кошачьи, прокричал филин. Еж, топоча лапами по слежавшейся прошлогодней листве, пробрался куда-то.

«От не спится полуночнику...» — вздохнул Антон. Он прикрыл веки и снова начал напряженно вслушиваться. Молодой охотник уже обтерпелся за недельное пребывание в тайге. Сердце его не замирало при любом шорохе, и он уже мог различить, шаркает ли однообразно ветка о ветку или зверь пробирается в непролазной чаще. И даже когда он заслышит или вдруг увидит зверя, то и тогда не трепыхнется его сердце вспугнутой птицей: станет отчетливее его стук, но карабин не дергался от его ударов.

Чавкнуло вроде...

Открыв глаза и поведя головой, Антон заметил, что-то изменилось на солонце. Очертания кустов выглядели по-иному, сдвинулись. Особенно загустела тень в левой стороне от солонца: там, где заросли высоки. И поблек лунный отсвет на листьях. Они уже не походили на чеканку. Вроде бы развиднелось. Плоская стена тьмы обрела глубину. Взгляд стал различать пространство меж кустами и деревьями. Черемуха поодаль забелела. Ее пронизал блеклый свет.

Антон понял, что луна опустилась к гольцам, сопочным вершинам. Часа два тому назад она сияла в чистом небе, теперь же светилась мягче, и лучи ее разливались по склону неба, скрадывая звезды.

«Пожалуй, не придет изюбр при луне», — подумал Комолов.

Снова послышался слабый чавк. Тут же несколько мелких, торопливых, помягче. И около куста слева от Антона на грани света и тени обозначился силуэт козули.

«Ну, ну, лакопись...» — подбодрил ее про себя Антон.

Комолов замер. Он перестал дышать, потому что козуля вдруг насторожилась и обернулась в сторону куста, росшего метрах в пятидесяти против лабаза. И около того куста был изюбр-пантач. Он будто сразу вырисовался из тьмы и обозначился четкими, но плавными линиями. Серебрились чеканно панты о восьми сойках-отростках на изящной, гордо посаженной голове. Крепкая шея словно выростала из купины куста.

«Пройди, пройди еще немножко... — молил изюбра Антон. — Пройди, ну, два шага... Открой лопатку. Мне выстрелить нельзя... Раню тебя только...»

Но зверь подался назад. Серебристые панты слились с кустом. Однако по очень слабому шуршанию листьев о шкуру зверя, шарканью, о котором Комолов скорее догадывался, нежели слышал его, охотник понял, изюбр не ушел. Чувства Антона предельно обострились, и он словно перевоплотился в зверя-жертву. Он будто чувствовал, как раздвигаются под напором статных плеч самца упругие ветви и остро пахучие гроздья соцветий трогают нервные ноздри пантача, мешая уловить ему запах тревоги, запах человека.

Комолов изготовился к выстрелу, прижал к плечу карабин и отчетливо различил на мушке у конца ствола тонкую свежеструганую щепочку, которая облегчала прицеливание — мушки-то в темноте можно и не различить.

«Ты иди, иди, изюбр, иди. Обойди солонец. Ты удостоверься, изюбр, — человека ли, другого ли твоего смертного врага нет здесь. Иди, иди, изюбр, — заклинал охотник, предугадывая движения пантача. — Только не будь слишком осторожным. Скоро утро. Вон можно различить совсем дальние кусты в легкой дымке...»

А время тянулось долго. И вот в обманчивой и серой после захода луны тьме изюбр вышел на солонец.

Зверь стал боком к охотнику и нагнул голову со светлеющими от росы пантами. Антон совместил на прямой вырез прицела светлую щепочку мушки карабина и убойное место на силуэте быка, чуть ниже ло-

патки. Оно было невидимо на тени зверя, но охотник хорошо знал, где бьется изюброво сердце.

И тогда занемевший палец охотника плавно повел спусковой крючок, а дыхание оставалось ровным, сердце билось мерно.

Приклад тупо толкнулся в плечо. Тишь ночи сменилась оглушенностью после выстрела. В крохотной вспышке зверь будто обозначился весь, взметнулся, бросился в сторону.

«Нет! Он убит! Он убит!» — ликовал охотник. Антон был уверен в себе так, словно не пулей, а своей рукой пробил сердце изюбра.

Закинув карабин за плечо, Комолов юркнул в лаз на помосте. С ловкостью молодого медведя соскользнул на землю по гладкому стволу. Не разбирая дороги, Комолов бросился по грязи солонца к добыче. Антон не чувствовал брызг на лице, соленой грязи во рту, а сердце вроде захолонуло от бега, мешало дышать. Добытый пантач гладким валуном лежал неподалеку от куста. Не слышалось ни хрипа, ни дыхания зверя. Зверь был мертв.

Вынимая на ходу из-за пояса топорик, Комолов уже без настороженности подошел к мертвому оленю. Прежде всего потянулся к пантам: целы ли? Падая, изюбр мог ненароком обломить отросток. И тогда прощай, цена!

Руки Антона чуточку дрожали, сказывалось напряжение четырех ночей. Он дотронулся до бархатистых и теплых, наполненных кровью пантов. Целы все сойки, все восемь. Антон пощупал их — мягкие, упругие, добротные. Потом вырубил панты вместе с лобной костью и принялся разделывать тушу. Работая, не заметил, как рассвело.

Каркнула ворона, раскатисто и радостно. Издали откликнулась другая и еще — в иной стороне. И прилетели вскоре. Покружились, расселись на сучьях, чистя носы, голосисто орали от голодного нетерпения. Перелетали с ветки на ветку, косились вниз на скорое угощение.

Затараторила, защелкала крыльями, перелетая распадок по прямой, голубая сорока.

Кто-то вломился в кусты, и Антон поднял взгляд. Кряжистый малый с городской аккуратной бородкой

вышел из зарослей. Ушанка на голове сидела чертом, Антон узнал Гришуню.

— Привет, охотничек! — Гришуня прошел к пантам и довольно цокнул: — Ладные!

Держался Гришуня в тайге по-свойски, уверенно, непринужденно, не в пример иным знакомым охотникам. Этим-то и нравился он Комолову больше других.

— Вишь, к завтраку поспел, — сказал Гришуня.

— Забирай печенку да иди к балагану. Я тоже проголодался.

Но Гришуня медлил.

— Тихо тут в этом году.

— Ушли подале. Берегут заказник. Мне только и разрешили около пострелять.

— Начальство тебя, Антон, любит. Али навестить придет? — Гришуня поддел изюброву печень на солидный сук, попробовал, не сломится ли он под ее тяжестью. — Ждешь гостей-то, а?

— Некого. Да и некогда, поди, им.

— Окотилась охотоведица? — хохотнул Гришуня.

— Мальчика родила, — осуждающе заметил Комолов.

— Способная... — словно не слыша укоризны в голосе Антона, продолжил Гришуня, но добавил примирительно: — Вот видишь, еще один сторож в тайге прибавится.

— А твои дела как?

— Прижились выдрочки, перезимовали. Еще неделю-другую погляжу, да можно и докладывать начальству...

— А Зимогоров про тебя не спрашивал.

— Так и должно быть. Скажи Зимогорову — узнают все, что выдры выпущены. И пойдут зимой стрелять. Велено начальством подождать с оповещением. Да и Зимогорова участок не здесь. Чего ему беспокоиться?

— Ну он-то по-другому думает. Царем и богом здешних мест держится. «У меня, — говорит, — под началом целая Голландия по площади».

— Думать — не грешить, как мой папаня говорит.

— Жаль, что нет у тебя времени с ним потолковать. Вот бы причесал его.

— Всех причесывать — для себя в гребешке зубьев не останется, — довольный собой, Гришуня цокнул языком. — Не нравится, выходит, тебе егерь?

— Егерь как егерь. Я уж говорил тебе. Только вот у тебя находится для меня время, а у других — нет. Я сам, знаешь, с четырнадцати лет охочусь. Походил с промысловиками.

— Точно, — кивнул Гришуня, пристально присматриваясь к тому, как работал ножом Комолов. Действовал он быстро и ловко, и было совсем непонятно: чего приспичило Антону жаловаться на наставников-промысловиков? Делом они заняты — верно.

«А будь ты мне не надобен, стал бы я с тобой разговоры разговаривать, — подумал Гришуня. — Ну а за сведения, что не собирается сюда никто, спасибо. Надо бы тебя по шерстке погладить». И Гришуня сказал:

— Что человек, что скотина, тыкается в бок матери, пока в вымени молоко есть. А с тебя чего промысловики возьмут? Шерсти кллок? И ее нет, одна ость на голове без подшерстка.

— Я к тому и говорю — ты, Гришуня, другой человек. У всех спрашивать да клянчить надо, а сам ты сколько для меня сделал. Я каждый твой совет помню.

Резковатый в движениях Антон выпрямился, с лаской посмотрел на своего друга — рубаху-парня, и увидел крепко разбитые олочки на ногах Гришуни: мягкая трава — ула высовывалась из разъехавшихся швов.

— Ты уже давно здесь? Олочи все износил...

— Олочи разбиты? — Гришуня рассмеялся, но глаза его оставались серьезными. — Нитки, хоть и капрон, да не сохатины жилы. Кожу рвут, проклятые. В городе олочи тачали. А сам и месяца здесь не шастаю. Мне, сам понимаешь, панты совсем не нужны. Случайно время совпало. А в какой ключик мясо снесешь? День жаркий будет.

— Внизу. Вон там, в зарослях лещины.

Гришуня подумал было, что есть родник и поближе к балагану Комолова, да решил промолчать. Многознайство требует объяснений, а этого Гришуне совсем не хотелось. Главное — парень привязался к нему крепко.

— Я лишние олочи с собой в запас взял. Вот и подарю их тебе. Я сам шил, без капрона. Не разойдутся по швам. Для милого дружка и сережка из ушка, — стараясь подделываться под манеру Гришуни говорить присловьями, добавил Комолов.

Лишь на восьмой день, а не на пятый, как предполагал участковый инспектор Шухов, вышел он к Хребтовой. Проводник Семена Васильевича, старый удэгеец Дисанги, не рассчитал своих сил. Инспектор предполагал, что Дисанги поможет ему разобраться в деле о потаенных кострах браконьера в заказнике, замеченных звероловом Шаповаловым. Теперь оставалось надеяться только на молодого охотника Антона Комолова, промышлявшего по соседству с заказником. Егерь здешних угодий, Федор Фаддеевич Зимогоров, друг Шухова и общественный инспектор райотдела, находился в другом конце района.

Семену Васильевичу приходилось пока рассчитывать больше всего на себя. И то хорошо — Дисанги решил во что бы то ни стало провести инспектора по старой тропе через болото.

— Видишь — нельзя тут пройти к Хребтовой, чтоб тебя не приметили, — сказал Дисанги, кивая в сторону лысых вершин — гольцов. — Только низом, болотом.

— Вижу, Дисанги. Понял.

Семен достал чертеж, который передал ему Ефрем Шаповалов, и понял — браконьер тоже был здесь или совсем рядом. Нанесенные им очертания сопкок совпадали. Увалы Хребтовой выглядели дикими. И только в стороне виднелась струйка дыма, одинокая, беззащитная. То табор Антона Комолова.

— День-два, и я все точно узнаю, — сказал Семен и обернулся к Дисанги. Но того не оказалось рядом. Старик лежал на барсучьих шкурках у комля могучего флагового кедра, верхушка которого была расщеплена молнией. Удэгеец осунулся, закрытые глаза ввалились, а сквозь дряблую кожу как бы проступили очертания черепа.

— Загнал я тебя, Дисанги... — присев около старца, виновато пробормотал инспектор.

— Я старый и плохой охотник.

— Ну, конечно, не молодой человек...

— Человек — охотник. Нет охотника — нет человека.

— Зачем так, Дисанги? Колхоз даст тебе пенсию. Ты честно заработал ее.

— Зачем волочить свою жизнь, как раненый кабан

кишки, — очень тихо и просто сказал Дисанги, не открывая глаз.

— Будет костер, будет чай, и все будет отлично.

— Нельзя костер жечь. Он увидит — насторожится.

— Кто «он»? — несколько недоуменно спросил Семен, занятый мыслями о Дисанги.

— Тот, кто жег костры.

— Ладно. Я уйду на северный склон сопки. Оттуда никто не увидит костра.

— Хитрее тигра надо быть. Нельзя нигде костер жечь, — продолжал Дисанги, не поднимая век. — Отдохну и так... Не жги костер. Маленький-маленький дым увидит — насторожится. Вдруг уйдет?

— Вот возьму браконьера и доставлю тебя в больницу. Так и решили. Ладно, Дисанги?

— Насторожится, вдруг уйдет. Кто закроет ему дорогу на перевал? — Дисанги как будто Шухова не слышал. — На ту сторону Хребтовой будет ему путь открыт. А я не смогу помочь.

«Дисанги думает так же, как и я, — сказал себе инспектор. — Если мы завтра преодолеем болото в долине, я могу выйти к Комолову. Вот его и пошлю на перевал. Он будет наблюдать за тропой, а я — следить за браконьером. Теперь можно не сомневаться, он там. Не ушел. Потому что уйти он не может: уже дней через десять панты станут годны лишь для вешалки. Он будет там до конца. А как же быть с Дисанги?»

— Ты думаешь обо мне... — пробормотал Дисанги. — Не думай. Ты торопись. Долго следи. Узнай, где он панты хранит.

— Лежи, отдыхай, Дисанги.

— Ты не разводи костер, инспектор. Не надо. Из-за меня ты все испортишь. Умирать, когда умер для охоты, совсем просто. Закрою глаза, усну и не проснусь. Ты не думай обо мне, инспектор.

— Я не могу не думать о тебе, Дисанги.

— Ты потом возьми барсучью шкурку. Тебе придется спать на земле. Клади ее под бок — не простудишься. И не зажигай костра. Иначе мне будет худо. Я буду знать, что не помог тебе и все испортил.

— Молчи, отдыхай, Дисанги.

— Не надо костра, Семен.

— На той стороне склона я видел толстенную липу

с огромным дуплом у корней. Разведу костерок в дупле и согрею чай. Дым рассеет крона.

— Я знаю ту старую липу. На закате дым не унесет ветром. Он будет виден.

— Я быстро, Дисанги. А правда, что ты шаманил? — почему-то спросил инспектор, словно сейчас было очень важно это знать.

— Теперь тоже шаманю... Хочу тебе помочь. На Хребтовой может быть очень старый человек — хунхуз. На Хребтовой два их было. Прохор Шалашов и Ли-Фын-чен. Они совсем молодые были, когда я молодой в тайгу пошел... Хунхуз страшнее тигра. Если там молодой, он очень осторожен. Мог приготовить тебе западню.

— Какие сейчас хунхузы?

— Свое время — свои хунхузы, — сказал старик.

— Ладно, ладно. Ты останешься и будешь ждать меня. — Шухов поднялся и тихо ушел.

Когда инспектор вернулся, Дисанги был в забытьи. Но почувствовав присутствие Семена, сел и горестно проговорил:

— Зачем ты варил чай? Я все равно не умру, пока не проведу тебя по тропе хунхузов. Мы пойдем по топи. И ты оставишь меня на той стороне, в конце тропы.

— Я оставлю тебя только в полной безопасности.

— На конце тропы есть балаган. Еда у меня есть, вода там есть.

— Постарайся, чтобы до моего прихода с тобой ничего не случилось, — попросил Семен так искренне и с таким простодушием, что Дисанги улыбнулся. В его печальных глазах засветился теплый огонек ласки к человеку, который, как и он, Дисанги, считает: «Нет дела, нет забот — нет и человека».

— Я очень, очень постараюсь... Семен.

С первым светом они спустились в широкую долину, которая отделяла их от Хребтовой.

Постепенно густой подлесок, переплетенный лианами лимонника и дикого винограда, окружил их плотным кольцом. Семену пришлось взять топорик, отвоевывать у чащи каждый метр пути.

Солнце поднялось высоко, и под густым пологом листвы сделалось душно и парно. Комарье и мошка доносили немилосердно. Пот застил и щипал глаза, капли его противно ползли по спине.

Хотелось отдохнуть, но какая-то бешеная ярость

охватила инспектора. Он с остервенением врубался в заросли, не давая себе передышки, пока ослабевшие пальцы не выпустили топора. Семен хватал воздух открытым ртом и долго отплевывался и откашливался от попавших в горло насекомых. Едва отдышавшись, Семен поднял топор, чтоб с тем же упорством прорубаться и дальше, но вдруг Дисанги остановил его:

— Хватит: закраина. Шесты руби.

— Какой длины?

— Пять шагов.

Никакой закраины, начала болота, Семен не заметил. Однако они не прошли и нескольких метров, как высокие деревья отступили. Солнце ударило в глаза. Открылась кочковатая марь, поросшая кустами. На ней пестрели цветы, а над ними порхали яркие, крупные бабочки пестрее цветов. Под ногами зачавкала топь. Рыжая вода сначала проступала постепенно и вдруг брызгала фонтанчиками.

— Не иди след в след, — сказал Дисанги. — Между моими ступай.

— Хорошо... — сказал сквозь зубы Семен. Темный рой гнуса облепил его. Лицо, шея, руки будто ошпаренные. Инспектор попробовал было стереть налипшую корку с лица рукавом, но только размазал кровь. Мошка облепила кожу еще гуще. И хотелось просто выть, потому что в таких скопищах кровососущих не действовали никакие патентованные средства, а дегтя из березовой коры они не приготовили, и это была его ошибка и недосмотр Дисанги.

Сквозь выступившие слезы Семен ничего толком не видел и всю свою волю сосредоточил на том, чтобы не потерять в высокой траве следов Дисанги, не ступать в них и не уклониться в сторону.

— Все... — будто издалека прозвучал голос удэгейца.

Но он продолжал идти, и за ним шел инспектор, ступая в междуследье.

— Брось шест, Семен.

Шухов не смог разжать рук сразу. Покрытые темным налетом присосавшегося гнуса пальцы пришлось выворачивать, освобождая от лесины. Шест упал, а пальцы оставались скрюченными судорогой.

— Иди к ручью.

— Где вода? — спросил Семен.

Дисанги подошел к нему и пальцами сдернул на-

росты гнуса на его веках. Тогда Семен увидел веселую воду ручья, опустился на колени:

— Дисанги,ними фуражку...

Когда старик выполнил просьбу, Семен сунул руки и лицо в воду и замер от наслаждения. Он чувствовал, как в щемящем холоде тает саднящая боль, ослабевают напряжение мышц. Если бы не тупое ощущение удушья, которое заставило его поднять лицо и вздохнуть, сам Семен не решился бы оторваться от ручья.

Потом инспектор умылся и невольно посмотрел в сторону Хребтовой. Солнце заливало юго-западный склон. Вдруг уловил яркий просверк где-то на границе меж лесом и лысым оголовьем.

«Показалось? — спросил он себя и остановился. — А если нет, то проблеск очень похож на сверканье линз бинокля. Что там — наблюдатель? Тогда кого он выискивает?»

Настроение инспектора, и без того не очень бодрое от пережитого за последние сутки, испортилось еще больше. Семен оглядел в бинокль склон Хребтовой. Но сколько он ни ждал, нового просверка стекол, отразивших солнечный свет, не было. Сопка оставалась однотонно зеленой и пустынной. Так и не убедившись окончательно, привиделся ли ему тот мгновенный блеск, инспектор ничего не сказал Дисанги. Тот лежал на нарах в древнем охотничьем балагане — приземистой обросшей мхом избенке с плоской дерновой крышей.

«Прежде всего, — подумал Семен, — надо поинтересоваться, не заходил ли кто из незнакомых или нездешних промысловиков к Антону. А там — действовать по обстоятельствам. Жаль, могу парню охоту испортить».

— Так я иду, Дисанги.

— У меня все есть. Спать буду, есть буду. Тебя ждать. Иди с легким сердцем, Семен Васильевич.

— С легким, с нелегким... Надо, Дисанги...

— Надо, начальник, надо, — закивал тот, не открывая глаз.

«Совсем сломался старик... — вздохнул Семен, отправляясь к табору Комолова. — Ну а как бы ты без дела своего жил? Все хворобы на тебя слетели бы, словно вороны... Кстати, не упустить из виду и настоящее таежное воронье — оно-то всегда слетается на поживу. Ведь не станет браконьер возиться с тушами! Бросит он тушу. Срубит панты — и дальше. Может, возьмет

малость, подкоптит. А так некогда и не к чему бродяге возиться каждый раз с двумя центнерами мяса! Бросит! Тогда туши станут добычей хищников. Но на даровой пир припожалуют не только волки, медведи да лисы. Там будут и вороны. Поверху будут они летать, ждать своего часа, и не день, не два. Пока всю тушу не обглодают. Они и наведут меня на след».

И, довольный удачной мыслью, пришедшей так кстати, инспектор поправил на плече карабин и бодро зашагал в чащу.

Прикинув расстояние, Семен понял, что доберется до балагана Антона лишь к темноте, но можно и поторопиться. Многого узнать у Комолова инспектор не надеялся — парень, собственно, первый год самостоятельно пошел в тайгу. Но, как говорил Федор, судя по артельной добыче Комолова, из него вышел бы хороший охотник, да вот решил Антон уехать в город учиться.

Стеша тоже считала, мол, Комолов парень способный к математике, но слишком увлекающийся. Антон учился в классе, где классным руководителем была жена Семена — Степанида Кондратьевна.

Было еще совсем светло, солнце висело меж двух увалов, словно специально для Семена продлив день, когда инспектор вышел к летней избушке. Выглядела она дряхлой и почти заброшенной. И внутри царил тот же неприятный беспорядок, который вызвал во флотском человеке Шухове предубеждение к обитателю.

Антон в избушке не оказалось. Но чайник на столе был почти горячий, и, несмотря на усталость, Семен Васильевич решился добраться до ближайшей сидьбы у солонца. Сидьба, судя по карте, находилась соблазнительно близко, а время не такое позднее, чтоб своим появлением у солонца он мог сорвать ночную охоту.

Оставив котомку и плащ в избушке, Семен Васильевич налегке отправился к узкому распадку по гальке почти пересохшего ручья. Сумерки копились только по чащобам, а золотой свет зари сиял в поднебесье. Гнус пропал, дышалось легко и свободно. Сильнее запахла трава, потому что царило безветрие. В тишине слышался мелодичный перезвон струй на перекате ручейка.

Хватаясь за ветви кустов, Семен Васильевич быстро поднялся метров на десять, не особенно заботясь о том,

что сучья трещали, а из-под ног то и дело срывалась и с перестуком скатывалась вниз каменная мелочь.

Удар в спину был так силен, что перехватило дыхание. Точно хоккейной клюшкой стукнули со всего маху. И тут же раздался звук выстрела. Семен припал к каменной стене, чтобы не потерять равновесия и не завалиться навзничь.

«Ранен!» — вспыхнуло в сознании.

Инспектор замер, словно в ожидании второго выстрела. Пятно тупой боли в спине растекалось и немело. Удивительно горячей струей текла к пояснице кровь.

«Сползти вниз! Вниз... — приказал себе Шухов. — Упаду — разобьюсь».

Семен начал то ли сползать, то ли скользить на дно распадка. Сучья и камни в кровь раздирали пальцы, но боли не было, как и в спине...

«Все... Это все... — торопливо, как бы боясь опоздать, подумал Семен. — Быть не может! Нет!»

Он хотел сказать это «нет!» вслух, громко, но онемевшие губы не послушались, а язык распух. Голова Семена против воли свалилась на бок и назад. Последним усилием он подтянул ее, тяжелую, точно набитую дробью, и уронил лицо на камни.

«Почему?.. Зачем?.. Кто?..» — проплыло в сознании, и оно затуманилось, померкло.

III

«Вот, дружок Антоша, пришла тебе пора платить по счету. Хватит, поиграли. Мне бы еще недельку выкроить! Иначе не уйти», — подумал Гришуня, проворно одолевая скальный взлобок. Кряжистый, но увертливый Гришуня осторожно вошел в лабиринт высоких кустов чертова перца, и ни единая сухая ветка не хрустнула под его ногами, обутыми в сыромятные олочи. Не касаясь колючих ветвей, Гришуня отыскал прогал в листве и устроился около. Меж лапчатых листьев хорошо просматривался недалекий склон, поросший пальмовидной аралией и пышной лещиной, у которого притулился балаган Комолова. Сам Антошка, видимо, отсыпался после удачной ночной охоты. Вернулся он давно, и пора бы ему подниматься, чтоб варить еще одни панты.

Конечно, Шалашову ничего не стоило спуститься к балагану и разбудить Антошку. Только сначала нужно присмотреться, примериться к человеку, который тебе нужен. Так учил папаня, а он всегда знал, что делать, и в людях ошибался редко.

«Чтоб повадки узнать, человека надо подсмотреть наедине с собой. Тут он у тебя что букашка на ладони. Среди людей человек самим собой не бывает. Он, будто тигра в цирке, и сквозь огонь прыгнуть может, хотя этакое всему его естеству противно», — наставительно говорил папаня и расценивал свои советы на вес золота. Сам папаня, благополучно взяв с «боговой» тайги круглую денежку на безбедное существование, купил домик на окраине крайцентра и лакомился жизнью с шелковой сорокалетней вдовицей, хотя ему перевалило за семьдесят. Сыновей у старика было четверо, да трое пошли по своей стезе, а поскребыш Гришуня притулился около. В молодости, которая пришлась на двадцатые годы, старик держался старообрядческих обычаев, а потом плюнул на бога и подался в дебри, сообразив, что тайга осталась единственным местом, где еще возможно схватить фарт за чуб. И схватил, да с Гришунькой делиться не пожелал, но на таежную науку не скупился и советами оделял щедро. Все, что хотел Гришуня в свои сорок лет, — это чтоб обильная житуха без хлопот пришла к нему не в шестьдесят, как к папане, а вот сейчас, теперь. Тут папаня тоже не отказал в наставлении.

— Что ж, — разглаживая едва тронутую сединами бороду, сощурился Прохор. — Рискни.

— Вы же, папаня, тоже не без риска шли.

— Тогда цена была мала. А теперь взлетела до небес. И мне, значит, четвертушку выделишь...

— Да я и больше!

— Молодец... Научился на посулы не скупиться. Обещанки, что цацки — детям в забаву. А если серьезно — шалая щедрость обесценивает даяние. Шкуру с радостью с себя спустишь, а ближний за твоей душой потянется. А если ноготь с плачем отстрижешь, по гроб жизни обязаны будут людишки. Зенки-то не опускай. За дело хвалю. Ты моими глазами на мир смотришь. И я не грабить тебя посылаю. Коли от много взять немножко, это не воровство, а просто дележка.

— Сколько ж это, папаня, денег-то?

— Не сколько, а за сколько. За месяц, так лет на пять безбедного житья, — прикрыв один и вытаращив другой, крупный, чуть навывкате, глаз, негромко молвил старик.

Гришуня даже сробел от удивления.

— И оборони тебя, Гришуня, без моего ведома рисковать. Узнаю — сам донесу. А узнать-то я обязательно узнаю.

— Что вы, папаня!

— Ты молчи, молчи. И дело делай.

Так и поступил Гришуня. Правда, после долгой и кропотливой разведки, которую, не выходя за пределы города, провел старик. В прошлом году начал Гришуня. Перед выходом в тайгу он знал, что особо опасаться людей в округе Хребтовой ему не надо. В том районе промхоз не промышлял. Всего одна охотничья бригада действовала вблизи.

Однако по первому году встретился он ненароком с Комоловым. Того от бригады поодаль поставили, чтоб самостоятельно присмотрелся парень к тайге. Ну а у Гришуни свободного времени пруд пруди, помог он Антошке панты добыть, сварить их и мяса навялить. Осчастливил парня. Комолов посчитал Гришуню за старшего брата.

Чего ж еще надо было Шалашову? Он, не выпрашивая особо, но из разговора с Антоном всегда знал, что собирались предпринять охотники, куда путь намерены держать. У Комолова хватило сметки не распространяться о встречах со своим благодетелем, тем более Гришуня и сам намекал, что большого желания общаться с кем бы то ни было у него нет.

— Но почему? — удивился Комолов.

— Служба у меня особая, Антон, — положив парню руку на плечо, сказал Гришуня. — До поры до времени никто не должен знать, что в ручьях и речках в окрестностях Хребтовой выпущены выдры. На много тысяч рублей зверья выпущено.

— У нас народ сознательный, промхозный, — чуть обиделся Антон.

— Знаю, знаю. Ваши — да. А пришлые, коли слух пойдет?

— Пришлые... мы посты организуем, кордоны.

— О чем говорить, Антоша! — расплылся в широ-

кой улыбке глазастый душа-малый Гришуня. — О чем говорить, если через месяц я сам пойду в промхоз, доложу. А там годик-два, и лицензии продавать начнут.

— Ух! — выдохнул Антон.

А Гришуня погрузился:

— Разболтался я... Ни слова обо мне. Никому.

Комолов впервые обратился к Шалашову по имени и отчеству.

— Григорий Прохорович! — торжественно произнес Антон. — Неужели вы не верите мне? Да я жизни за вас не пожалею...

...Еще утром Гришуня увидел в бинокль человека в милицейской форме, который, судя по всему, направлялся к Хребтовой. Ясно, что милиция понапрасну ходить в этакую даль не станет. К тому же проследил Гришуня, как милиционер слишком внимательно разглядывал склоны Хребтовой в бинокль. В один момент Гришуне показалось, что взгляды их скрестились. Шалашов почувствовал: спину будто обдало горячей волной. Как и в прошлом году, он ни одного дня не пропускал и трижды за светлое время старательно и придирчиво осматривал окрестности Хребтовой. И ни разу не появился на ближних сопках дымок чужого костра, а сам он готовил еду с превеликими предосторожностями, разводя костерик у редколистого дуба, который кроной своей развеивал дым. Казалось, все предусмотрел старик Шалашов, и Гришуня ни в чем не отступил от его наставлений. И вот те на! Милиция...

«Пронюхал, выходит, кто-то обо мне. Не с бухты-баракты милиционер идет, — размышлял Шалашов. — А почему бы и не с бухты-баракты? Один! Если бы точно всё знали, то не один бы явился! Да и техники им не занимать! Нет! Меня никто не перехитрил. Настучать-то, видать, настучали, да только и всего. Вот и пошел местный милиционер проверить... Так оно, пожалуй, и есть...

Тебе-то что, легче от его разведки? Куда ж милиционера денешь? А тебе недели две нужно, чтоб с вьюком пантов добраться до верного человека. Спустишь с Хребтовой по другую сторону, в другой район — и на вертолет. Чего за милицию думать?..

Постой, не колотись, Гришуня. Именно за милицию ты и должен думать. Сумеешь разобраться в их планах — сухим из воды выйдешь. Нет — получай...»

Шалашов рассудил так. Разведка так разведка. Предположим, милиционер не сомневается: в заказнике кто-то бьет зверя. Где милиционер это узнал? В тайге? Нет. В Горном кто-то стукнул. Кто? Пока неважно. Но идет милиционер один. Получается, не очень-то верит сказанному... Куда он движется? Окрест один охотник — Комолов. И придет милиционер к Антошке сегодня. Сегодня вечером. И ему, конечно, очень будет интересно знать, как охотится сам Комолов. Тогда он пойдет на сидьбу. Пойдет вечером, чтоб не прозевать чего.

«Соображай, соображай, Гришуня! — обрадовался Шалашов. — А вдруг случайный выстрел, и нет милиции! А парень... В крайнем случае можно камушки-то на голову парню ссыпать! Кто его особенно-то искать будет? Но это совсем на крайний случай. ...А вот пульку-то в милиционера из карабинчика Антона кинуть можно. Ты, Гришуня, молодец!»

Гришуня так возрадовался найденному выходу, что не заметил, как вскочил на ноги. Колючки дикого перца, оцарапавшие лицо, привели его в себя. Гришуня отер капельки крови, выступившие на заросшей щетиной щеке.

«Все, Шалашов! Решил — и не сворачивай! Твердо иди, тогда не оступишься, не заюлишь. Другой дороги тебе нет! И что Антоша в дружбе клянется, тоже хорошо. Вдруг возьмет вину на себя. ...А что... точно возьмет. Дело верное. Только разжалобить как следует нужно!..»

Гришуня вошел в Антонов балаган, уверенный в себе, чуточку ухмыляясь, а в его крупных, чуть навыкате глазах играла отчаянная удаля. Он очень нравился самому себе.

— Здорово, барсучье племя! — хохотнул Гришуня, расталкивая спящего Антошку. — Зарылся в нору! Фарт проспишь. Ишь какие панты убил! Везуч! Да нет, не везуч. Умел! Вот это да, теперь шесть отростков! Хорошо должен получить.

— Да уж отвалят, — гордо сказал Антошка, усаживаясь на подстилке. Он улыбался Гришуне, утру, удаче.

— В охоте везенье — ерунда, — ставя в угол свой карабин, старался подластиться Шалашов. — Тут в руке дело.

— Нет. Карабин хорош.

— Не в технике дело, Антон, — наставительно заметил Шалашов и взял в руки комоловский карабин. Гришуня прикинул оружие, словно на вес, прилаживая к нему руку. Потом снял предохранитель, открыл затвор и присвистнул: — Что за новости? Вот это пульки...

Покраснев от стыда до слез, Антошка стал говорить, что обойму таких, особо убойных патронов ему подарил, да, именно подарил егерь Федор Фаддеевич Зимогоров. Не смог Комолов даже Гришуне признаться, что стащил обойму из ящика стола егеря.

А Гришуня подумал:

«Такое твое счастье, товарищ милиционер, идущий сюда... Таков твой фарт. Убит ты будешь пулей егеря из карабина Комолова... А как все получилось, Антоша, царство ему небесное, из-под каменного завала не расскажет... Рано хороню парня? Тем крепче!»

— Очень хороши патроны! Как ни стукну — есть. Один раз даже обнизил, а пантач все равно лег.

Оправившись от смущения, что солгал другу, Антоша принялся одеваться, потом плеснул себе из лохани воды в лицо. Вытираясь подолом рубахи, спросил:

— Когда же ты со мной на охоту сходишь? Ведь обещал.

— Сегодня, Антоша! Сегодня! Больно у меня настроение хорошее. Пойдем в ближнюю сидьбу. Глядишь, и панты, и мяса добудем. Свежинки захотелось. Я тебе такую сидьбу покажу!

Антон смотрел на друга счастливыми глазами.

Комолов, на взгляд Гришуни, радовался всему пощеньячи. На сухих прогалинах любовался рыжими лилиями, а у ключей — лиловыми цветами гигантской хохлатки. Он дышал полной грудью воздухом, напоенным ароматом лимонника и бархата.

А Гришуня нет-нет да и прикидывал про себя, точен ли его расчет, ни придет ли сюда милиционер раньше вечера, когда они залягут в сидьбе. От нетерпения он даже загодя поменялся с Антоном карабином, сказав шутя, что у комоловского лучше бой.

Поужинав, они отправились к сидьбе у солонца. Осторожно, как и подобает охотникам.

Сидьбой обычно называют построенную из корья крохотную землянку. А эта была оборудована в прикорневом дупле. Выбрали ее со знанием дела. Липа

была старой, привычной для зверья и не вызывала никаких подозрений у сторожких изюбров.

Лаз сидьбы был узок, но из него далеко просматривались подходы к засидке. И это самое важное для Гришуни. Что до бойницы, то стрелять из нее по зверью одно удовольствие.

Лежали тихо, не шевелясь. Антон по давнему совету Гришуни берег глаза, притулился поудобнее, зажмурился.

Гришуня не сводил взгляда с пологого склона распадка, метрах в двухстах от сидьбы. Кругом было уже темновато, но в прогале меж деревьями, в распадке, еще четко различались ветви кустов и редкая трава на каменистом склоне. А когда там появился человек в фуражке с ярким околышем, Гришуня даже не удивился точности своего расчета. Он только мельком взглянул в сторону, не перепутал ли он карабин Антоши ненароком со своим. И, убедившись, что у него в руках оружие Комолова, Гришуня выстрелил навскидку. Выстрел в сидьбе был оглушающ, и вскрик Антона как бы потонул в нем.

Потом Гришуня рванулся к лазу, но ошеломленный Антон опередил его, выскользнул раньше. Не сговариваясь, они побежали к распадку, обогнули его начало и почти кубарем спустились в русло пересохшего ручья. Тут Антон остановился как вкопанный, увидев тело инспектора:

— Ты Шухова убил...

— Медведя я целил! — воскликнул Гришуня. — Медведя! Он шагах в десяти у сидьбы был.

— Какой медведь?

— У сидьбы... — И, будто только тут поняв происшедшее, Гришуня крикнул в голос: — Конiec мне! — И хватая Антона за руки: — Не видел я его, сам знаешь... Разве я... Антошенька, друг, погиб я теперь!

— Может, жив он... А, Гришуня? Может, жив? — Антон пригляделся к телу в серой шинели попристальнее. — Под лопатку ударил. Вон след.

— Давай, давай посмотрим.

— Н-не, — попятившись, Антон натолкнулся на Гришуню: — Не шевелится. Мертвый.

Подталкивая Комолова, Гришуня приблизился к телу.

— Мертвый... — словно эхо, повторил Антон.

— Убьют меня теперь... Расстреляют. Пропала жизнь. Расстреляют!

Комолов обернулся и поглядел в глаза друга:

«Гришуню расстреляют... Расстреляют... Его, лучшего друга, брата? Но разве он хотел убивать? Разве Гришуня, этот самый хороший человек, — убийца?»

Антон перевел взгляд на тело. Оно выглядело отчужденно, как камень.

А Гришуня сел на склон распадка и мотался из стороны в сторону и мычал, хватался за голову. Он не боялся переиграть. Ведь были случайности на охоте, и почему бы Антону не поверить ему?

— Никто тебя не расстреляет. И судить не будут. И никто не узнает, что стрелял ты. — Сладкий восторг овладел Антоном... Он, он спасет своего друга. Непременно спасет! Он возьмет вину на себя. Ему нет восемнадцати. ...Здесь он на службе, не то что Гришуня случайно... Антона будут судить, но не осудят так, как осудили бы Гришуню.

— Погиб я, — бормотал, словно в отчаянии, Гришуня. — Погиб я, Антон!

— Я спасу тебя, Гришуня! Слышишь? Я что-нибудь придумаю. Я... Я!

IV

Действительно, не вязать же было Федору Зимогорову по рукам и ногам жену инспектора Степаниду Кондратьевну, учительницу местной школы, которая рвалась в тайгу на поиски пропавшего мужа. Вот и взял егерь с собой человека городского, знавшего таежную жизнь больше понаслышке. Федор был уверен: хватит он с нею горя, да податься некуда. Учительница по своему почину отправилась бы в дебри, а отвечать за нее перед старым другом Семеном Васильевичем пришлось бы егерю.

А тут еще прихватил их в пути муссонный ливень. Если бы еще просто ливень — ладно. Так нет — форменное крыло тайфуна. Перетерпели кое-как. Правда, крепким человеком показала себя Стеша в первом испытании. Но что ожидало их впереди, не знал ни егерь Зимогоров и никто на свете. По наметке маршрута инспектора на карте он должен был побывать у моло-

дого охотника Комолова, который, кстати, был еще в прошлом году учеником Стеши.

Они шли вдоль берега ручья. Слыша за собой размеренные шаги, Федор с часу на час обретал в душе все большую уверенность, что женщина, идущая с ним, не станет обузой.

— Вот здесь и свернем, — сказал он, остановившись у серого, обезображенного лишайниками большого камня. — Ты косыжкой покройся. Оно хоть время клеща и прошло, а опасаться надо.

Они углубились в чащу, пробирались неторопливо в густом орешнике, среди высоченных трав, и Федор говорил о том, что охотничья тропа — это скорее выдержанное направление на какой-то ориентир по удобному или привычному пути. В тайге троп, как их понимают горожане, нет и быть не может. Если, конечно, не считать звериных троп, протоптанных лосями, изюбрами или кабаньим стадом. Но такие тропы не для ходьбы. Зачем же охотнику себе дорогу к добыче перебегать?

На закате подошли к балагану Комолова.

Антон спал в глубине его на подстилке из лапника. И тут же рядом с ним лежали плащ и котомка инспектора.

Оттолкнув Федора, Стеша проскользнула в балаган.

— Здесь! Жив! — И принялась трясти Комолова, который с трудом очнулся от тяжелого забытья. — Где? Где Семен? Да проснись же!

Вытаращив глаза, Комолов уставился на учительницу, словно на привидение.

— Чего вам? — Антон вдруг дернулся к выходу, схватив карабин.

Федор удержал его за шиворот:

— Очнись, Антон! Не медведи мы! Где инспектор?

Комолов тусклым взором ткнулся в лицо Федора, а когда перевел взгляд на Степаниду, то рот Антона дернулся в судороге:

— Чего, чего вам?

— Семен где? Вот его вещи: плащ, котомка. Что с ним? Да говори же! Говори!..

— Подождите, Степанида Кондратьевна! — остановил Шухову егеря.

Егеря осветил фонариком в балаганчик и увидел у стенки пустую бутылку из-под спирта.

— С похмелья Антон, — сказал Федор. — Отведу-ка я его к ручью. Там вода сон смое! Давай, охотничек, поднимайся! — обратился егерь к Антону, который сидел на земле у входа в балаган.

Федор, подхватив парня под мышки, то ли повел, то ли поволок к ручью, сильно шумевшему селевым, еще не опавшим после ливня паводком.

— Не хочу! — вдруг уперся Комолов. — Туда не хочу!

Но Федор сгреб его в охапку и потащил прочь от балагана, от Стеша, которая принялась разводить костер, поглядывая им вслед.

Затрещали ветви в огне, и Стеша обрадовалась. Ей таки удалось развести костер из мокрых сучьев. И она посчитала, что сделала это довольно быстро.

«Что ж это такое? Ведь хороший парень — и на тебе. Остался на несколько дней без присмотра — и готово: водка».

Стих далекий треск ветвей под ногами Федора. Треск, который Стеша старалась не слышать.

А Зимогоров тем временем подтащил упирившегося Комолова к бурному, еще пенному потоку и, поставив его на колени, стал пригоршнями черпать воду и лить на голову Антона. Тот сначала мычал и старался вывернуться, но потом успокоился и только фыркал.

— Хватит, пожалуй.

— Хва... — Антон по-собачьи потряс головой.

Егерь поправил сползший с плеча ремень карабина и, стоя над Комоловым, усмехнулся:

— Охотничек...

— Признаться. Признаться хочу, — выговорил наконец Антон.

— Да уж признавайся, чего там, — Федор благодушно помог парню встать на ноги. Волосы свисли на глаза Антона, капли текли по щекам, и он провел ладонями по лицу, чтоб стереть их. Теперь он был трезв, даже не пошатывался.

— Степаниде Кондратьевне не скажи... только, — Антон протянул руку вперед, куда-то мимо Федора: — Там я его и прикопал.

— Сколько мяса испортил. Эх, жадность! Знал ведь — тяжело нести будет, а три лицензии взял, губошлеп.

— Не мясо, — не опуская руки, сказал Антон. — Его прикопа...

— Ладно, разбере... — начал Федор и осекся. — Кого это?

— Инспектора...

Зимогоров поглядел в ту сторону, куда указывал Антон.

Вспученный ручей занимал все каменное русло от стены до стены распадка. Вода катилась уже спокойно, но стояла еще высоко. В тишине слышалось, как где-то в ветвях закопошилась птица, взлетела, сухо стуча крылом о крыло, после пошла плавно. Странно сильно пахло влажной прелью и гнилью.

— Чего ты? О ком ты?

— О Семене Васильевиче... Я его... я пулю кинул... нечаянно. Я признаюсь!

Застонав, егерь осел, потом, охнув, разогнулся и ударил Комолова кулаком куда попадя. Антон рухнул.

— Я признаюсь... признаюсь... — лепетал Комолов разбитыми губами.

Увидев кровь, Федор опомнился, выдернул из скобы сведенный судорогой палец, чтоб ненароком не нажать на спусковой крючок, с трудом вымолвил:

— Повтори.

— Нечаянно... Я признаюсь. Убил. У-убил.

Отбросив в сторону карабин, сжав кулаки, егерь медведем двинулся на Комолова. Федору хотелось бить и топтать это распластавшееся существо, рвать его и истошно вопить. И снова только вид окровавленного лица остановил егеря. Он тяжело сел, опустив вмиг набрякшие руки на колени.

«Се-еме-ен! Семен! — застонала у Федора душа. — Как же так... Как же так, а?» — И он ощутил, что сдерживаемая ярость вот-вот прорвется слезами, он видел уже, как расплывается, теряя четкие очертания, лицо Антона перед ним. Тогда Федор заставил себя встать. Прижав костяшки пальцев к глазам, сбросил слезы.

— Так, — протянул он. — И осталась вдова с сиротой... Точно говорят, будто бабье сердце — вещун. Как она сюда торопилась.

— Я же повинился... — опять сказал Антон.

— А, это ты? — словно только что увидев Комолова, проговорил Федор. — С земли-то вставай, чего ползаешь? Давай я тебе лапы-то стяну ремешком. Оно спокойнее будет.

— Я готов не то претерпеть, Федор Фаддеевич, — поднявшись и подставляя руки под ремень, сказал Антон.

— «Претерпеть»... Терпят за правду, а по дурости мучаются. И надо еще посмотреть, подумать, как дело было. Это просто сказать «нечаянно». Ишь ведь, убил, а нечаянно. Ты толком расскажи.

— Я в сидьбе был...

— Это что у старого солонца?

— Да. Вечерело. Уже потемней, чем сейчас, было. Передо мной солонец, в лаз сидьбы, вижу, карабкается зверь по склону распадка. Жуть меня взяла. Вот и кинул пулю.

— Метко кинул. И сразу туда?

— Сразу.

— Это после жути-то?

— Увидел, будто не зверь. Пуще испугался.

— А сколько пантов убил?

— Третьего изюбра ждал.

— Дождался?

— Какая уж потом охота...

— Один сидел-то?

— Один, — заторопился Комолов. — Один. И испугался. Жуть обуяла. Глухая, неходовая ночь шла.

— Чего же сидел? Уходил бы в балаган.

— Я... я потом уж разобрался. Я...

— Где инспектор был? — обратился егерь к Комолову. — Где ты его?..

— Вон там, — поднял Антон связанные руки.

— Идем.

Они шли недолго и остановились у края крутого склона распадка. Внизу шумел ручей, а по откосу каменной осыпи торчали редкие кусты.

— Здесь.

— Подожди, — сказал егерь и одним ударом топорика, снятого с пояса, наискось, почти без звука срезал стебель лещины толщиной в руку.

Затем они спустились по круче.

— Вот тут, по-моему.

— Тут или по-твоему?

— Дождь все размыл. Тут, однако. Чего уж там? Я же признался.

Федор ничего не ответил и от места, где забил колышек, глянул вниз, на подтопленное русло ручья. Очевидно, Антон перехватил его взгляд:

— Вода высокая еще. Не видать того места.

Тугие перевитые струи ручья катились стремительно, и, сколько ни пытался Федор представить себе, что там, под этой мутной водой, присыпанное галечником, лежит сейчас тело его друга Семена Васильевича, воображение отказывало. Он видел бегущую воду, знал: под ней есть каменное дно, и дальше был только камень и камень, хоть до сердцевинки земли — один камень, и ничего больше.

«Ждать придется, пока вода спадет. Не достать иначе». — Даже в мыслях Зимогоров не допускал, что увидит Семена мертвым. А вспомнив, что сидьба на двоих, спросил:

— В сидьбе ты справа от входа лежал?

— Справа.

— А может, слева?

— Справа. И теперь котомка там валяется. Ну и что?

— Справа так справа.

— Чудак ты, Зимогоров. Что, показать тебе, как я в сидьбу забрался?

— Ты расскажи.

— Шел, шел...

— Ясно.

— Дошел. Карабин в правой.

— Так.

— Стал снимать котомку. Скинул с левого плеча.

— Так.

— Перехватил карабин в левую. Снял котомку с правого и положил ее правой рукой справа от входа. Теперь все?

— Все, — сказал Федор и, прикрыв глаза, представил себе сидьбу, в которой он, правда, не бывал лет пять, поди. Она устроена у солонца. Подняться к ней можно поверху. Но это длинный путь. Короче — по правой крутой стенке распадка. Так и сделал, очевидно, Семен Васильевич. Поднявшись, надо идти вверх по косогору метров сто пятьдесят, и прямо упрешься в

лаз сидьбы. Она устроена меж корней огромной липы, второй такой в округе нет. Под комлем липы вполне можно разместиться двоим. Если залечь слева, то в «амбразуру» сидьбы виден почти весь солонец и дебри справа, откуда обычно идут изюбры. Слева место удобнее. Почему же Комолов залег справа? Если лечь справа от лаза, то дальних подходов к сидьбе не видно, их загораживает толстый корень липы. Правда, тогда ветер, дующий обычно снизу, не понесет запах человека на подходящего к солонцу зверя.

«Однако... — остановил себя Федор. — Однако человек, лежащий справа от входа, пожалуй, обернувшись, не увидит в отверстие лаза склона распадка, по которому шел Семен Васильевич... Не увидит?»

Зажмурившись, Федор постарался в точности представить себе, действительно ли нельзя увидеть в отверстие лаза склон распадка, по которому поднимался инспектор, если лежать справа от входа. Егерь очень разволновался. Память словно отказала ему. Он не мог увидеть из положения, в котором находился Комолов, склона распадка! Никак не мог.

«Я не могу? Или это невозможно? — спросил себя Федор. — Все-все надо проверить. Не мое дело? Следователя? Да. Но когда сюда прибудет следователь? Через полторы-две недели. А если кто в сидьбу ненароком забредет?»

И Федор поднялся:

— Идем, Комолов.

— Идем, идем, — с готовностью ответил тот. — Только попусту. Ничего там такого нет.

— А мне ничего такого и не надо. Но посмотреть не мешает.

Солнце зашло, но в поднебесье еще было много света.

У липы, под комлем которой устроена сидьба, Федор кивнул:

— Давай.

Пригнувшись, Антон пролез меж корнями в логово. Федор за ним.

— Я думал, тут воды полно, — сказал Комолов. — А сухо.

Голос его звучал в подземелье приглушенно.

— Там вот, справа, дренажная ямка. Влага под уклон стекает.

— Что это, твоя сидьба?

— Ну! Такой свет тогда был, не темнее?

— Такой же свет. Точно такой, — не задумываясь, ответил Антон.

Он удобно устроился справа от лаза, подложил под мышку свою котомку, словно собирался провести здесь время до полуночи, когда звери обычно являются сюда полакомиться соленой грязью.

— И стрелял оттуда? Со своего места?

— Отсюда, Зимогоров, отсюда.

— Вот и посмотрели, как было дело, Антон, — задумчиво протянул Федор. Все было верно. Комолов говорил правду. Сомневаться не приходилось. Со своего места он стрелял. И попал.

«Что ж я завтра-то Стеше скажу? — с тоской подумал Федор. — Как разговор поведу? Страшнее ножа ей правда...»

— Такой человек погиб!

— А мне, думаете, не жалко! Так что поделаешь... — произнес Антон. — Случилось так случилось. И все тут. Ну убейте и меня кстати. Только не убьете. Не подведете под расстрел.

«Почему Комолов все наперед продумал? — спросил себя Федор. — Время было? Жестокий он и черствый, как бревно, которому все равно, на кого падать, кого давить? «Не подвести под расстрел»... Слова-то какие! Бывалого человека. И почему такая уверенность в безнаказанности?»

— Тебя, Комолов, значит, не «подвести под расстрел»? Заговорен, что ли?

— Слово, выходит, знаю... Закон называется.

— Да-ак, — крикнул Федор.

— Вот тебе и «дак».

— С медведем здесь советовался?

— И без медведя были... — запнулся Комолов, — ...было времени достаточно. Не то вспомнишь, Зимогоров, когда дело до такого доходит.

— Да, смекалки тебе не занимать... — глухо проговорил егерь.

А Комолов сказал убежденно:

— Я правду говорю, Зимогоров. Все как есть! Стреляно из моего карабина. Нарезы на пульке сличите. Можно и экспертизу не делать. Сам во всем признался. Чего ж еще?

— Вера дело великое... — кивнул Федор. — Ладно... Пошли отсюда.

Выбираясь через лаз, Комолов вдруг подумал, что ему признаться в несовершенном убийстве было легче, проще, нежели в том, что пуля, которую найдут в теле инспектора, окажется егеревой. Подобных больше ни у кого нет. Это точно. И Гришуня подтвердил, узнав, что обойму Антон стащил у егеря из стола. Убойные! Ведь как однажды обнизил, прицелившись, а зверя все же свалил.

Когда Антон увидел эти патроны в неплотно задвинутом ящике стола, то по внешнему их виду сразу решил, что они особые. ...И не сдержался!.. А егерь, выскочивший из комнаты на зов жены, ничего и не заметил. Да и как? В ящике таких патронов добрая сотня валялась. Не пересчитывал же их Зимогоров после того, как Антон отметился у него на кордоне.

«Ничего, пусть егерь поудивляется, признав свою пулю», — решил Комолов, но признаться в воровстве было противно.

Федор вылез вслед за Комоловым. Комолов двинулся было прежней дорогой, но Федор сдержал его:

— Давай, Антошка, верхом...

— Пошли...

V

— Где это вы пропадали? — спросила Стеша, когда Зимогоров и Антон вернулись к костру у балагана.

— Да вот Комолов исповедовался... — ответил Федор.

Стеша увидела связанные руки Антона и возмутилась:

— Зачем это? Безобразил Антон?

— Так надо, — не глядя жене инспектора в глаза, пробурчал Федор. — Потраву зверю бессмысленную делал.

— А когда Семен сюда вернется?

— Не знает Антон. Ничего он толком не знает, черт его побери. Вы не... не особо того... переживайте. Тайга...

«Конечно, тайга... — подумала Стеша. — Вернется Семен, коль вещи его здесь. Подождем. Разберется с безобразиями Антона и придет».

Антон выглядел, словно двоечник, бравирующий своим незнанием, и лишь поэтому Стеша решила пока не спорить с Зимогоровым, искренне считая, что связал он Комолова сгоряча.

— Давайте чай пить, — предложила Степанида Кондратьевна: не оставит же Федор за ужином Комолова со связанными руками.

И Антон словно понял ее:

— Не убегу я, Федор Фаддеевич. Честное слово, не удеру.

Что-то очень не нравилось егерю в тоне Комолова. Бесшабашность ли, бездумие, но очень не нравилось. Скрепя сердце, впервые за много лет уступая женской, конечно же, просьбе, егерь снял путы с Антоновых рук.

Глянув на Зимогорова, Стеша заметила, что тот спал с лица, меж бровей и у губ просеклись морщины. Она подумала: «Как же глубоко переживает егерь всякий случай в тайге!»

— Ведь я тоже виновата в происшедшем, — вслушиваясь в слова, которые сама произносила, сказала Стеша.

Поперхнувшись горячим чаем, Федор поставил кружку на землю:

— Уф ты... горяч...

— Да, да. Я тоже виновата. Понимаешь?

— Трудно мне понять такое... — сказал Федор и подумал: пусть говорит, лишь бы не замыкалась, не считала, сколько дней Семен Васильевич в тайге, не приходило бы ей на ум самое плохое. В молчании могло таиться все что угодно, даже догадка. Ведь бабы, они верхним чутьем берут.

— Чего ж тут понимать? Разве трудно сообразить, что часть вины Комолова лежит и на мне, на его педагоге?

— Вот вы о чем, — закивал Федор. — Тогда всех

учителей надо к ответу тянуть. Мол, не умеешь воспитывать — не берись.

Егерь нарочно высказался очень общо, чтоб учительница могла возразить на огульную хулу.

— Но ведь не все ученики безобразят.

— Тогда виноваты не учителя.

— Нельзя так рассуждать, Федор Фаддеевич.

«Оно само собой нельзя, — подумал Федор. — Да что поделаешь... Приходится». И упрямо продолжил:

— Значит, он сам виноват... Слишком общо все у вас, ученых.

— Э-э, — протянул Комолов. — Просто человек животное. Млекопитающееся из породы узконосых обезьян.

— Во-первых, Антон, млекопитающе-е. Во-вторых, не из породы, а из семейства.

«А возможно, и хорошо, что учительница села на своего конька? — спросил себя Федор. — Она признала в нем ученика... Ладно, ладно, поглядим-посмотрим, как дальше пойдет. Мне главное — доставить этого в район. Там уж Стеша не вольна будет распоряжаться этой узконосой обезьяной, и я тоже».

— И давно ты спиртом балуешься?

— Так... попробовал дареный...

Лицо Шуховой опять очерствело:

— Кто подарил тебе эту гадость, Комолов?

— Ошибся — маманя и положила. На случай. И не ученик я, так нечего мою жизнь экзаменовать. Понятно? Сам отвечу. Сам. Захочу — корень квадратный из минус единицы извлеку. И число положительное получу, а?

— Помолчал бы... — проворчал Федор.

— А ты опять ударь! Чего боишься? Боишься!

— Как это «опять ударь»? — встrepенулась Стеша. И приглядевшись к сидящему в тени Антону, увидела ранку в углу его рта. — Это самосуд!

Стеша поднялась и, глядя в сторону, добавила:

— Семен был бы недоволен вашим поведением, Федор. Мы не имеем права так с ним обращаться. — Губы ее дрожали.

— Плевать мне, как вы со мной обращаетесь, — Комолов сел на землю. — А тронете — ответите. И за это ответите!

— Законник! — покосился на него Федор.

— Он прав, — кивнула Стеша. — Мы должны сохранить свое достоинство. Не опускаться. Иначе наказание, которого он заслуживает, будет просто мстью. Не помню точно, но об этом тоже говорил Семен.

Залпом выпив чай из кружки, Федор, сдерживая гнев, проговорил:

— Нам ничего больше не остается, как сохранять свое достоинство. Черт его побери.

— Достоинство — самое высокое качество в человеке. Воспитание и состоит в том, чтобы привить его.

«Говори, говори, — сказал про себя Федор. — Хоть о достоинстве, хоть о терпении... Терпение, выдержка нам нужнее, чем какое-то достоинство. Убеждай, убеждай себя, Стеша, иначе здесь произойдет черт те что. Убеждай!»

— В детстве, — продолжала учительница, — человек, приспособиваясь к окружающей жизни, использует всю гамму порывов, заложенных в него природой... И тогда, в детстве, — ровно продолжала учительница, — он не выбирает средств в достижении цели. Вот в детстве его и приучают к такому отбору.

— Дрессировочка... Это точно.

— Маленького человека убеждают...

— Ремнем...

— ...что цель, к которой он стремится, не всегда необходимость. Ни луна с неба, ни целый лоток мороженого, ни все игрушки с прилавка магазина не принесут ему удовлетворения. Дайте одному человеку всю Землю. Зачем она ему? Что он с ней станет делать? Любое богатство — духовное и материальное — имеет смысл лишь тогда, когда человек волен поделиться с другими.

— А если я вот не желаю? А?

— Твое богатство — твои способности математика... Для одного тебя, без людей, и они теряют смысл.

Стеша была ошеломлена поведением Комолова.

«Но ведь я и не предполагала, что Антон окажется браконьером! — сказала она сама себе. — И потом могло здесь, в тайге, произойти нечто такое, чего мы еще не знаем».

— Неча ему язык распускать! Будет! — гаркнул Федор.

Стеша схватила Зимогорова за руку:

— Нет, нет! Прошу тебя. Не надо. С ним что-то случилось. Он не понимает, что говорит. Он не в себе.

— Это этот-то? Как бы не так...

— Я знаю его. Знаю другим. Совсем другим. Хотя, конечно... Никакое образование воспитания не определяет. Разные вещи... Но достоинство, достоинство человека пятнать нельзя.

А Антон Комолов думал:

«Никто и никогда не разберется в моем деле. А что вот так с ними говорю... Откуда я знаю, как говорят люди, которые убивают? Наверно, так говорят. И достоинство тут ни при чем!»

На небе, которое сделалось серым, проступили клочкастые очертания крон. Потянуло сыростью. Огонь костра побагровел.

— Достоинство... Достоинство! — выкрикнул вдруг Антон. — Что, оно залечит мне губу, которую разбил Федор?

— Но и не достоинство ударило тебя. Не оно! Вот в чем дело. Разве это не понятно? — сказала Стеша.

— Если оно ничего не может сделать... — ухмыльнулся Антон. — Если оно ничего не может, чего о нем говорить? А достоинство не может ни-че-го.

— Значит, ты ничего не понял! — удивилась Стеша. — Как же так — «ничего»!

«Ничего, — подумал Федор. — Ни тютельки! Оно не воскресит Семена Васильевича, твоего мужа. Не воскресит».

— Оно не позволяет нам совершить поступок, унижающий человека. Достоинство убережет от подлости, низости, преступления. Этого мало? Так ли мало? Федор вел себя недостойно. Согласна. Но ведь и ты, Комолов, тоже! Если Федор, возмущенный твоим преступлением, ударил тебя, то совершил справедливое, с его точки зрения, насилие. Кто виноват? Кто прав? Ты, убийца, или ты, Федор, ударивший убийцу? Выходит, нет правых, но нет и виноватых?

— Человек — млекопитающееся из семейства узконосых обезьян, — упрямо твердил Антон.

— Млекопитающее, во-первых, а не млекопитающее. Не сами себя питающие, а питающие других, — снова поправила его Стеша.

— «Слова, слова, слова», — так говорил еще Гамлет. — Они не исцелят моей пострадавшей губы.

Федор взъерошился:

— А... того... воскресят? Да? Пойди, воскреси. И я тогда в минуту исцелю твою губу.

— Сначала губу.

Стеша сказала:

— Если меру за меру, то не губу разбивать, а пулю за пулю. Око за око? И за зуб всю челюсть? Или, не зная, как решить это чудовищное противоречие между вооруженными дубиной или винтовкой и беззащитным миром тайги, егерь Зимогоров, влюбленный в тайгу, должен был дать тебе свой карабин и сказать: «Раз ты убил зверя, то убей и меня!»

И, не выдержав напряжения, Комолов вдруг истерично расхохотался.

— Да что с тобой! — удивилась Стеша. — Мы же просто разбирали случай!

— Отстаньте, Степанида Кондратьевна! Я не хочу воды. Прошло... прошло... — говорил Антон, глядя в лицо учительницы, такое привычное, с поднятыми при объяснении бровями, отчего оно выглядело простоватым.

— Случай... Случай... — пробурчал Федор тихо, снова устраиваясь на земле у костра. — Случай, он что яблоко — пока по башке не тяпнул тебя, не созрел, значит. А потом остается только шишак на голове чесать... жалеть, мол, не на то место сел, да плодом зрелым закусывать...

А Стеша суетилась около Антона, поила его водой.

— Какой ты впечатлительный, Комолов. Поверь, я не сравнивала тебя с теми... Ну, понимаешь. Мы же рассуждали, до чего можно дойти, если не соблюдать...

— Оставьте меня. Оставьте, — Антон неожиданно для себя разобрался, что для Степаниды Кондратьевны мало значит: кто именно убил ее мужа, старшего лейтенанта милиции Шухова, — то ли Комолов, то ли Шалашов... Это одинаково безвозвратно. К ней не вернется муж, как не вернулся к его матери его отец, пропавший в тайге. Однако и помочь ей он, Антон, был не в силах.

Отодвинувшись от костра, Комолов хмуро попросил: — Я, может быть, спать хочу... Утро уже.

«Утро?» — удивился Федор. И только тут обратил внимание, что карабин Комолова стоит, как и стоял, у входа в балаган.

— Надо оружие твое осмотреть, — сказал Федор, поднимаясь. — Совсем все из головы вон...

Федор достал папиросы и, взяв из костра обуглившуюся веточку, прикурил. Он поражался Стеше: «Сразу видно — учителька! Дело не в словах, что она говорит. Они известны. Только как она выкрутится? Коли зло совершено, то при чем здесь достоинство? Антошка убийца, а ударив его, я сам подвел себя... Хорош егерь и общественный инспектор РОВД. Конечно, Семену Васильевичу куда легче о достоинстве помнить — форма на нем как влитая...»

— Можно убить Федора, который помешал тебе убивать, — сказала Стеша, гордо подняв подбородок. — Меня. Дай ему карабин, Федор, пусть стреляет. — И Стеша протянула руку за оружием. — Дай карабин, пусть.

Егерь заметил шалый огонек в глазах Антона. Тот, взвинченный словами Стеша, покраснелся и готов был выпалить ей в лицо страшное известие. Федор швырнул папиросу в огонь и сел. Он клацнул затвором, чтоб привлечь внимание парня. Федор хотел предупредить его: коли проговоришься — конец.

Антон, увидев угрюмые глаза егеря, понял, что ему угрожает: дуло карабина, направленное на него, не угроза, а приговор. И его возмутило это насилие смертью. Как смели угрожать ему! Ему, человеку, уже пожертвовавшему собой ради друга, попавшего случайно в страшную беду! И если они, эти люди, не знают ничего и понять поэтому ничего не могут, какой он, Антон, человек, пусть егерь стреляет. Тогда Антон сказал:

— Мне не надо карабина... Я скажу...

— Ну! Еще слово!.. — вскочил на ноги Федор, готовый к выстрелу. Он понимал, что совершает отчаянную попытку: Антону достаточно сказать два слова, и Стеша все, все поймет, поймет, почему Комолову не надо карабина, достаточно двух слов!

Подняв голову вверх, Антон увидел рыжие, освещенные пламенем костра листья, а меж ними синее не-

бо и играющие светом звезды. Услышал тишину, в которой щелкали в огне сучья, накатами шумели вершины, стучало сердце, сотрясая его грудь ударами, сдавленными, как рыданья... И Антон вдруг осознал, что одного его слова достаточно — и все исчезнет, пропадет, и его друг будет страдать без него...

«А вдруг нет? — обожгла тут Антона мысль. — А вдруг не будет. И даже этого я не узнаю!»

Федор начал осмотр карабина.

— Чего его осматривать? — вдруг взволновался парень. — Я во всем признался... И больше ни одного выстрела не сделал! Нечего смотреть!

Егерь странновато глянул на Комолова, а тому было муторно, тошно оттого, что вот сейчас Федор увидит в магазине карабина обойму, которую Антон стащил у него из стола. И не героем, спасающим друга от гибели, а мелким воришкой окажется он в глазах всех. Ведь не хотел, не думал брать Антон и эту проклятую обойму. Стол был открыт, в ящике они валялись, эти чертовы убойные патроны, необыкновенные, с синей головкой. Взял посмотреть только, а тут егерь. Ну и сунул обойму в карман: неловко без разрешения по чужим столам лазить, а выходит — украл. И ничего уж теперь не объяснишь.

Подойдя к балагану, Федор увидел в открытую дверь разошедшиеся по шву олочи, чужие — больше, чем Антоновы, чуток, но побольше.

«Ладно, потом спрошу, откуда взялись, — решил Зимогоров. — Сначала карабин. Как это я забыл о нем... Да и не мудрено!»

Привычным движением схватив ложу карабина, Федор другой рукой стукнул по стеблю и открыл затвор. Из магазина поднялся готовый к подаче патрон с синим оголовьем.

Егерь онемел...

VI

Семен очнулся.

Он задыхался под навалившейся на него какой-то грубой тяжестью. Он был стиснут и не мог шевельнуться. Голова трещала. Мелкие камни впились в лицо, терзали спину.

Инспектор не сразу сообразил, что лежит ничком.

Никогда не испытанная в жизни глухая тишь заткнула уши и сковала даже тело, тело, которое чувствует не звуки, а окружающий простор, было сдавлено, оглушено. Тогда до Семена дошло — он под землей. Он закопан.

Дикость этой мысли была ошеломляющая. Он хотел вскочить, поднатужился. Ему почудилось, будто груз наваленной сверху земли поддался. Но тут же удушье перехватило глотку, замолотило ударами крови в голове. Он опять дернулся: судорожно, отчаянно.

Напрасно...

Багровые круги поплыли перед глазами Семена. С каждым мгновением они светлели, словно раскалявшееся железо, заискрились. В ушах стоял уже не гул, а звон, тонкий, раздирающий мозг.

«Рывком — нет. Не выйдем. Не скину, задохнусь. Медленным, медленным усилием... Спиной... Грудью... Плечами... Все-ем ту-ло-ви-щем...» — И, подчиняясь команде своих мыслей, инспектор напрягся всем телом, почувствовал: едва приподнял тяжесть земли, взваленной на него.

Он уже мог чуток подтянуть к груди руки, придавленные к телу. Какая-то толика воздуха почувствовалась в могиле. И это слово, сверкнувшее в сознании, словно бич, подхлестнуло его силы.

Тогда он рывком, отталкиваясь руками, сбросил тяжесть со спины. Сел. Но оставался слеп от сверкающих радужных кругов перед взором.

Инспектор дышал. Дышал глубоко, вздохом, не чувствуя ни ночной прохлады воздуха, ни его аромата и густоты. Ощущения он осознал через несколько секунд. Взгляд уперся в крошечную темь, огненные круги растаяли.

Стих звон в голове. Семен услышал ручей.

Пошарил ладонями во тьме, нащупал твердый край ямы. Он поднялся легко и удивился. Сел на жесткий каменный край. Потянулся к поясу. Пистолет на месте. Движение это подсказал какой-то инстинкт. И то, что пистолет оказался в кобуре, окончательно его убедило, что он действительно жив, видит тьму ночи, слышит ручей.

«Карабин... Он, наверное, где-то тут, — подумал инспектор, но лезть обратно, опускаться в яму тотчас ему очень не хотелось. — Подожду. Отдышусь. Потом».

И Семен вспомнил: тупой удар в спину, звук выстрела и медленное сползание вниз по крутому склону распадка...

Дальше была тьма, не такая, полная простора темнота, в которой есть влажность, лепетанье воды и запах земли, а пустая тьма, и все.

Он чувствовал себя опоенным. Инспектор удивился лености своих мыслей. Каждая существовала как бы сама по себе. Всплывала на поверхность сознания и сразу же исчезала в глубине, и инспектор был не в силах задержать ее, сосредоточиться на ней.

Сначала он объяснил свое состояние необычностью условий, в которых оказался. Однако, вспомнив об ударе в лопатку, о выстреле, Семен пошевелил мышцами спины, но не ощутил сильной боли. Место ранения онемело, словно десна после укола перед удалением зуба.

«Это ли важно? — спросил он себя. — Нет. Конечно, нет! Главное в другом. Если тебе посчастливилось выжить, иди той же дорогой. И будь рад, что можешь идти и можешь делать свое дело. Дисанги прав, жизнь нужна прежде всего для дела. Вот и у тебя, Семен, есть возможность доказать это. Рана раной, и о ней потом, а сейчас дело... Ты жив, пистолет при тебе... Значит, тебя не обезоружили? А карабин?»

Инспектор спустился в неглубокую, очевидно, вырытую на скорую руку яму и, покопавшись в песке и гальке, нащупал карабин. Потом фуражку.

«Очень важно, что тебя старались убить, а не завладеть оружием, — подумал инспектор. — А бинокль?»

Бинокль тоже нашел в яме.

Мысли прояснялись с каждой минутой, и Семен воспринимал это как удивительную радость. Инспектор снова отметил про себя, что двигаться он может свободно.

«Котомка и плащ в балагане Комолова. Комолов... Комолов... Из его сидьбы стреляли! Где ж он сейчас?»

И тогда старший лейтенант решил: основное, что ему необходимо сделать прежде всего, — вернуться к балагану.

«Так вот и явиться? — остановил себя Шухов. — Что мне нужно узнать? Обстоятельства своего ранения? Да. Причину, почему в меня стреляли? И это. Но не только. Надо разобраться в сути дела. Смогу ли? Пока еще тот или те, которые решили меня убить, чувствуют себя

в безопасности. Спокойны они или нет — другое. Но в относительной безопасности они не сомневаются. Выходит, следили за мной. Прав был Дисанги».

Еще поднимаясь из распадка, Семен увидел поодаль свет костра и постарался припомнить окружающий рельеф, чтоб подойти как можно ближе и ничем не выдать себя. Он обогнул долинку, в которой находился балаган, и зашел со стороны кустов чертова перца, густых, почти непролазных. Обойти их стоило большого труда. Пришлось следовать за всеми капризными извивами растений, росших в виде размашистых полумесяцев, и не заблудиться в их лабиринте.

Устроившись у прогала в листве, метрах в пятнадцати от костра, Семен Васильевич увидел у огня двоих.

Взволнованный, в шапке, сдвинутой на затылок, Антон Комолов говорил, прижав руки к груди:

— Ты не представляешь... Ты представить себе не можешь, как я тебя понимаю, Гришуня! Григорий Прохорыч, не убийца вы! Не хотели вы убить инспектора. Я же понимаю. Вы не представляете, как я вас понимаю.

— Чего тут... — отмахнулся Гришуня, потупив голову. — Понимай не понимай — стрелял-то я. Спасибо за поддержку и сочувствие.

— Нет, так нельзя. Это не по справедливости.

Комолов покачивался из стороны в сторону от сильного волнения и какого-то душевного восторга, понять который инспектор пока не мог.

— Чего тут. Справедливость... Кто станет разбираться? Убит человек, старший лейтенант милиции. Это пойми, Антоша! Да и кто тебе поверит?

— Мне-то и поверят! Молод, струхнул в сумерках, когда шум позади услышал. Поверят, обязательно поверят! Ты не сомневайся. Услышал шум — кинул пулю.

— А ты шум-то слышал?

— Шум?

— То-то и оно. Не слышал. Какой там шум был? Не было шума. Ветки заиграли, и будто медведь полез. Я так и скажу. Мне поверят.

Надо же, — вроде бы не слушая Комолова, продолжал Гришуня. — Надо же так... И вся жизнь на смарку, все дела и вообще... мечты. А как много хотелось сделать!

«Кто ж это Гришуня, Григорий Прохорович? — спросил себя инспектор. — Не знаю, не видел, не встречал такого... Откуда он? И что такое важное делает?»

— Теперь крышка! — продолжал Гришуня. — Кто поверит опытному человеку, что так обманулся?

— Не согласен? Не согласен со мной? — вскочил Антон.

— С чем? Ерунда...

— Не согласен? — крикнул в запальчивости Комолов и сжал кулаки, словно собирался кинуться на Гришуню. — Так я сам пойду и заявлю, что стрелял я! А ты... ты нарочно взял все на себя, жалея мою молодую жизнь!

— И я не старик.

— Тем более мне поверят! Несовершеннолетний.

— А где доказательства? Где они, Антоша?

— Доказательства? Стрелял ты из моего карабина. По ошибке схватил. Перепутал. А я скажу — нет! Я стрелял из своего карабина, который мне выдавать не положено. Подтирочка в документах сельсовета. С такими доказательствами мне и согласие твое не нужно. Пойду и заявлю! И не видел я тебя, и не знаю совсем. Совсем не знаю!

— Вот на этом-то тебя и поймают, Антоша, — казалось бы, ласково проговорил Гришуня, но взгляд, брошенный им на Комолова, был прощупывающим и холодным.

«Хорошо ведет игру Гришуня, — отметил Семен Васильевич, — не жмет, а незаметно давит. Не кнутом гонит — веточкой... Вот оно как!»

— Может, мы рано его закопали? Может, он живой был? — неожиданно спросил Антон, тупо глядя в огонь костра.

— Жив? Пуля в лопатку угодила — сам видел. Или нет?

«Психолог... Тонко, подлец, ведет игру... — подумал Семен Васильевич. — С ходу, пожалуй, так не придумать. Готовился. Изучал парня. Жаль Антошку. Жаль вот таких желторотых, что сами в петлю лезут. А ведь лезут. И героями себя считают. Спасителями! Эх, Антоша, тебя спасти надо...»

Инспектор поморщился. Боль в спине теперь давала о себе знать.

— Слаб ты, Антоша, чтоб такое на себя взвалить. Слаб.

— Это не то. Это не слабость, Гришуня. Может, минутная...

— А вдруг «минутная-то» в самый трудный момент захватит? Проклянешь меня. Волком взвоешь!

— Нет, — спокойно ответил Антон.

И Семен Васильевич понял, что это «нет» твердое и парень, уличенный в минутной слабости, себя заставит сделать многое.

— Скорее петлю на себя накину, — сказал Комолов, — чем выдам тебя, Гришуня. Ты мне друг, и все. Даже не в том дело. Я себя не предаю, Григорий Прохорович. Понимаешь?

— Чего там...

— Жил я, жил... Примеривался все, что бы такое сделать и в своих глазах стать настоящим... Нам, детям, все говорят: «Нельзя, нельзя, погодите...» Не потому нельзя, что действительно нельзя, а дней каких-то до какого-то срока не хватает. Ерунда! Хватает!

— Чего уж там... Не пойму я тебя... Думаю вот, когда с повинной идти... — Гришуня уже и не скрывался, подталкивая Комолова к окончательному шагу.

— Ты не волнуйся, Гришуня. Осмотри своих выдр и уходи... Если ты говоришь, мне года три-четыре в колонии быть, значит, так оно и есть...

— А мечты, а посулы этой Степаниды Кондратьевны, будто из тебя математик выйдет? И ее не боишься?

— Что ж... Зла я ей не делал. Не желал. А коли так получилось... — Комолов пожал плечами. — Если она права, если она не напрасно надеялась... Стану я математиком. А сейчас главное — тебя спасти и выручить. И начинать жизнь надо с главного. Правильно?

— Хороший ты человек, Антон...

— Ты веришь мне?

— Верю, — сказал Гришуня. Он поднялся и положил ладони на плечи Комолова. — Если передумаешь... Через десять дней я буду ждать тебя на перевале у Рыжих столбов.

— Зачем?

— Там ты скажешь все окончательно.

— Не надо волноваться, Гришуня. Десять дней — слишком большой срок. И ты не знаешь Шухову.

— При чем здесь какая-то Шухова?

— Шухова — жена инспектора... который погиб. Весь поселок знает, что, если старший лейтенант задержится, она пойдет его искать. Семен Васильевич еще никогда не опаздывал.

Шухов на секунду даже о боли забыл; он никогда не думал, что его личная жизнь известна всем, больше того, все знают, что он никогда не опаздывал! Но ведь о сроках-то ведала лишь Стеша! Или для женщин поселка нет секретов и они по манере поведения Стеши догадывались обо всем?..

И снова мысли инспектора прервали слова Гришуни:

— Ты можешь выполнить мою последнюю просьбу? Хорошо подумай, прежде чем мою жизнь идти спасать...

— Да, пожалуйста! Только зачем?

Гришуня сделал вид, что обижен, очень недоволен Антоном. Тот поспешил согласиться:

— Хорошо! Хорошо. Мне все равно. Ты узнаешь, что ничего не изменилось. Можно, я тебе убойный патрон подарю? Поделим по-братски. У меня два осталось. Вот, — и, не сомневаясь в согласии, Антон дослал в ствол Гришунинова карабина с оптическим прицелом патрон, вынутый из магазина своего. — Этот покажу первому, кто увидит меня, и признаюсь в убийстве инспектора.

— Прощай, — с искренней, казалось, очень искренней дрожью в голосе проговорил Гришуня. — Только уж ты карабинчик-то как следует протри.

— Вылижу. Для милиции ты, Гришуня, к нему не прикасался. Помни! Прощай... — Антон обнял Гришуню. — Правильно это, «прощай». Я не буду у Рыжих столбов. Я сам выбрал себе дорогу. Я знаю, что делаю. Не сердись, Гришуня. Я уверен — так надо.

«Зачем десять дней этому Гришуне? Антон, очевидно, понятия не имеет, где обитает его «дружок»! — подумал Семен Васильевич, поднимаясь, и едва сдержал стон. К спине словно прижали раскаленный металл, и боль свела рану огненной судорогой.

Во всем разговоре Гришуни и Комолова для инспектора оставалось непонятым, непостижимым даже, как это он, Семен, не убит наповал.

«О чем я думаю? — остановил себя инспектор. — Надо идти за этим Гришуней и доводить начатое до конца. Самонадеянный Комолов никуда, пожалуй, не денется. А вот Гришуня... За ним надо идти».

Держась за ствол, Семен оперся прикладом карабина о землю и постоял немного, стараясь притерпеться к боли. Она вроде бы отпустила через некоторое время, и инспектор, пропетляв меж зарослей с полчаса, вышел в сумрачный пихтач, сучья которого были увешаны длинными клоками сизого мха-бородача, а стволы покрыты лишайниками. Еще с вечера Семен Васильевич решил не следовать за Гришуней по пятам, что, в общем-то, ни к чему, да и небезопасно, а наблюдать за ним издали.

По склонам увалов на пути к Хребтовой перелески чередовались с пролысынами, поросшими густой высокой травой. С одной стороны, это облегчало наблюдение за Гришуней, но могло быть и так, что Гришуня все-таки захочет проследить, не идет ли за ним Комолов. Поэтому Шухов взял выше по склону, где безлесные прогалины были уже и при обходе сопки сокращался путь, а кроме того, инспектор уже не рисковал напороться вдруг на подкарауливавшего не его Гришуню. Судя по направлению, взятому Гришуней, тот мало опасался слежки Антона и держал путь к тому месту, где на карте инспектора обозначил Шаповалов костры.

Взошедшее солнце разорвало туман. Часть его поднялась в поднебесье и стала облаками. И чем выше они поднимались, тем белизна их делалась ярче, и на какой-то определенной высоте у облаков образовались более темные днища. И только у самой вершины Хребтовой туман сгустился в серую массу и, казалось, застыл в неподвижности.

Влажная духота выматывала силы Семена Васильевича, а их у него и так было мало. Чтобы сберечь силы, старший лейтенант, теперь уже твердо уверенный в неизменности направления, взятого Гришуней, двинулся прямо к оголовью Хребтовой, откуда было удобно наблюдать. Почему Гришуня выбрал этот длинный путь к своему логову, Семен Васильевич понял на перевале меж двух сопек.

Гришуня чувствовал себя в полной безопасности. Потеряв Гришуню на довольно долгий срок из виду, Семен Васильевич стал наблюдать в бинокль и совсем неожиданно заметил его невдалеке у грота, где Гришуня соорудил, по-видимому, коптильню. Редкий дым, выпол-

завший из-под скалы, быстро уносило и рассеивало меж двух сопок.

«Что ж, и на том спасибо», — сказал себе Семен, подумав, что из коптильни нужно взять немного мяса. Обождав, пока Гришуня набил котомку, инспектор спустился к пещерке. В ней дотлевал солидный костерище, горевший, видно, давно, а в дыму на прутьях и жердях висела копченая изюбрия. Дров в костер Гришуня больше не подкладывал, мясо было готово, и инспектор «присвоил» себе килограмма три. Длинных, тонко нарезанных полос висело очень много, и Семен Васильевич справедливо подумал, что вряд ли Гришуня заметит пропажу, если наведается сюда до того, как инспектор обнаружит склад спрятанных пантов.

Выйдя из пещерки и сделав несколько шагов, Семен почувствовал сильное головокружение и ненароком прислонился спиной к камням, чтоб устоять. Боль, пронзившая его, была такой сильной, что Семен застонал. От охотников он слышал: к ранам полезно прикладывать разлапчатые, о пяти пальцах, листья нетронника, или, как его еще называли, «чертова куста». Добравшись до зарослей, Семен нашел это растение и нарвал много веток и листьев. Подумав, он быстро сплел из веток подобие корзинки, положил в нее мясо, обернув его листвой. Он знал, что выше «чертов куст» не растет, а его пребывание в засаде могло затянуться. Здесь же он подсунул охапку листьев под рубаху на спине и обвязал грудь поясным ремнем, чтоб повязка не съехала.

Инспектор признал себя готовым к длительной засаде и отправился к примеченному ранее скалистому выступу, поросшему кое-где кедровым стлаником. Отсюда можно было, замаскировавшись, скрытно наблюдать за Гришуней.

Семен Васильевич добрался до места уже за полдень. Устроившись меж замшелых камней, откуда хорошо просматривались увалы Хребтовой и северо-восточная часть долины, где находился заказник, инспектор ощутил такую слабость, что пальцем не мог пошевелить. И очень хотелось пить.

Он отупел от слабости и боли настолько, что долго не мог сообразить: фляжка-то с крепким чаем болтается у пояса. Он отхлебнул чаю, смакуя его во рту, и твердо приказал себе соблюдать норму — два глотка в час. Так, по его расчетам, фляжки ему хватит до вечера, а

ночью придется спуститься к ключику, который, судя по карте, был километрах в двух.

Солнце светило в лицо, и Семен Васильевич поостерегся пользоваться биноклем. Но и так было видно, что в разных концах долины и по увалам над участками тайги кружатся стаи воронья. И инспектор отметил на карте эти места. Их было девять.

«Ничего себе! Погулял Гришуня, — сказал про себя Семен. — Едва не годовой план бригады промхоза по пантам выполнил. Где ж Федор запропастился? Неужели и он на такого же гада напоролся? Нет, это уж слишком».

Семен попытался разглядеть в бинокль хибарку Дيسانги в дальнем углу долины, но напрасно. Ее загораживал отрог Хребтовой.

«Ничего, старик, держись, — подумал Семен, словно обращаясь к самому удэгейцу. — Мне вот тоже пришлось не сладко. Только, выбрав дорогу, нельзя сворачивать. В канаву попадешь. А ты да и я не любим обочин. Хотя я и знаю: сделал все, что мог, для тебя, и уверен — ты не обидишься, прости меня. На всякий случай...»

А о Стеше он не то чтобы не думал, не то чтобы она отошла на второй план или занимала первый, она просто была с ним, как его сердце, здоровое сердце, которое не ощущаешь и без которого невозможна жизнь.

«Конечно... — подумал инспектор, — его можно взять и сейчас. Конечно, следователю будет достаточно, чтобы начать дело. А дальше? Следствие непременно упрется в тупик. Гришуня не так глуп. Он не раскроется. Да и один ли он тут? Вроде бы один. А если нет? Кто его сообщники? И не зная, где Гришунин тайник, я не разоблачу его полностью»

Не знаю, как поведет себя рана. Пока она только болит. Может быть, листья «чертова куста» помогут мне справиться с болью и нагноения не будет. — Семен Васильевич поймал себя на том, что размышляет о ране, будто о чем-то существующем отдельно от него. Потом он решил, что, вероятно, все, заболевая, начинают рассуждать о болезни в третьем лице, как о вещи самой по себе, и это обычно. И эта отстраненность болезни и боли, наверное, помогает человеку бороться. — Зато в случае успеха мне будут благодарны товарищи из промхоза».

Успокоенный собственными мыслями, Семен Васильевич позволил себе уснуть. Когда он проснулся, солнце ушло в сторону, чечевицеобразное облако на вершине Хребтовой, много выше и правее его, растаяло, исчезло.

Теперь, когда солнце светило сбоку, можно было воспользоваться биноклем и еще раз убедиться — Гришуня почти целый день валялся у костерка. Дым его рассеивался меж ветвями, густыми, нависшими со склона над аккуратной полянкой, где расположился Гришуня. Такой костерок не заметишь ни сверху, ни сбоку. Разве только учуешь метров со ста запах гари. Но Шаповалов все ж ухитрился засечь костры. Раньше Семену Васильевичу не приходило на ум, как же он-то приметил дым. Однако сейчас инспектор понял: Шаповалов обнаружил его вечером, когда воздух влажен и дыму словно больше. И еще — то были, вероятно, костры, на которых Гришуня варил панты, солил их, чтоб не испортились. Потому и отметил Шаповалов дымки не в один день и в разных местах.

Семен промучился целую ночь. Рана горела, голову разламывало, корежило тело. Ползком, с трудом ориентируясь при слабом свете звезд, Семен добрался до ключа на другом склоне, напился вдоволь и набрал воды на день.

Второй день прошел спокойно. Гришуня, очевидно, ждал кого-то. Он по-прежнему лежал у костерка, разгоняющего мошку, никуда не отлучался. Похоже было, он уже подготовился к уходу. Ждал и Семен Васильевич. Задерживать Гришуню без улик бессмысленно, а искать спрятанные браконьером панты на всей площади заказника — занятие почти безнадежное.

Размышляя об этом, инспектор подумывал даже, что появление Федора Зимогорова до тех пор, пока Гришуня ведет себя тихо, а тайник пантов неизвестен, нежелательно.

Третий и четвертый дни ожидания показались Семену Васильевичу тягостными. Он было предположил, будто и не браконьер Гришуня и покушение на него действительно случайно и все, что делал и говорил Шалашов на поляне Антону, истинная правда. Не стал ли он, старший лейтенант Шухов, жертвой собственной подозрительности? Однако, допуская, будто он, инспектор, жертва трагической случайности, Семен Васильевич не мог объяснить для себя: почему карабин у Гришуня с

оптическим прицелом? Почему он бездействует и ни на шаг не отходит от костра? Почему Гришуня не единожды в день осматривает окрестности?

Всего этого, конечно, мало даже для подозрений его в браконьерстве. Но если он ждет кого-то, чтоб увезли добычу по тропе через перевал к верному человеку, тогда ожидание оправдано.

Федор должен появиться не сегодня-завтра.

Но вот как?.. Если Гришуня ждет кого, то и сообщник его того и гляди явится. Возможно, он даже опаздывает. Пантовка, собственно, окончена. За прошедшую неделю панты у изюбров обратились в рога. Превращение это происходит очень быстро, у иного оленя за два-три дня. Вряд ли Гришуня станет охотиться еще. Лишние выстрелы Гришуне ни к чему.

Пятый день инспектор запомнил потому, что жар в спине и опухоль на лопатке стали вроде бы спадать.

«На таком курорте раны и должны исцеляться мгновенно», — шутил сам с собой Семен.

К вечеру разразилась гроза, но ливень особенно бушевал в долине. Тучи вились и вращались в небе, словно бегали друг за другом. Однако все это происходило в стороне, где-то над далекой отсюда рекой.

Семен подумал: «Не приведись попасть под это крыло тайфуна».

На седьмой день Семен проснулся от звука дальнего выстрела. Было раннее утро. Эхо в долине, наполненной туманом, не раскатилось. Да и сам звук казался совсем тихим.

«Эх, расслабился, инспектор!» — ругнул себя Шухов и вскинул к глазам бинокль. Он сразу увидел стадо изюбриц, выскочивших на чистый увал. Казалось, животные летят, не касаясь копытами земли. Так стремителен и легок был их бег. И в лучах восходящего солнца звери выглядели золотыми, даже вроде посверкивали их лоснящиеся бока.

Потом из чащобы выскочил пантач, подался вверх по увалу. Широкий мах животного тут же сделался странным. Изюбр вдруг едва не повернул обратно, к опушке, к осиннику, откуда выскочил после выстрела, и тут, оступившись, пантач рухнул со скального выступа.

«Ну и нагл Гришуня! — обозлился Семен. — Надо брать. Пока я Федора в помощь дождусь, Гришуня такого натворит... Может быть, Гришуня не один? А какая

разница? Нечего мне в инвалидах отсиживаться. Жив — вставай и иди. Иди, инспектор. Должность у тебя такая!»

Он встал и, опираясь на карабин, словно на посох, пошел, придерживаясь закраин чащоб, в сторону увала, где свалился пантач. Пробираться сквозь дебри Семену явно доставало сил. Путь его был долгим и мучительным. Чтоб пересилить боль, он начал корить себя. Мол, по собственной торопливости нарвался на пулю браконьера, хотя прекрасно понимал: замысел Гришуня созрел не в момент, и тот, вернее всего, следил за его продвижением по долине. Пеняй на себя, не пеняй, браконьер в этом смысле был приговорен. Так или иначе, Гришуня осуществил бы свой умысел, потому как выхода другого у браконьера не было. Что заставило Гришуню пойти на такую крайность, инспектор не знал.

А вот вспомнив, что Гришуня выстрелил по изюбру пулей Комолова, Семен Васильевич даже прибавил шагу, хотя воздуху не хватало и сердце билось, казалось, под самой глоткой. И еще Семен Васильевич рассчитал: одолеет эти два километра, отделявшие его от убитого изюбра, до того, как Гришуня вырубит панты и разделает тушу. А если он не станет ее разделять? То и тогда он все-таки задержит браконьера. Каким образом? Дело особое. Гришуня вооружен... Но коли он подставил вместо себя Комолова, готовил, определенно готовил его к этой возможной роли, то, значит, хочет выйти из тайги «без мокрухи». И, не зная, очевидно, Шухова в лицо, примет его не за воскресшего, а другого старшего лейтенанта милиции. Тогда он вряд ли решится бить в упор. Гришуня не сумасшедший, чтоб, едва и не наверняка отвязавшись от одного выстрела по инспектору, взять на себя второй. Тем более «второй» старший лейтенант не может не знать о судьбе первого.

«Оно, рассуждать за Гришуню, или как его там, можно сколько угодно, — сердясь на себя, подумал инспектор. — Не предполагал же я даже после всего случившегося, будто гад этот настолько опустился, что бьет оленей ради выстрела!»

Тут он, ожидая встречи с Гришуней, вышел на опушку и двинулся за кустами. Двигался он по-охотничьи бесшумно и осторожно, не желая испугнуть браконьера, держа наизготовку карабин.

Ярко-рыжую с сероватым отливом тушу изюбра он

увидел меж кустами еще издали. Зверь лежал у самой закрайки. Олень словно отдышал, вытянув и чуть откинув к спине красивую голову на крепкой мускулистой шее. Пара молодых, по три отростка, рогов была цела. Браконьер не вырубил их только потому, что они уже не годились на панты. Серая шкурка на них полопалась, обнажая светлую кость.

Правее, чем подошел к оленю инспектор, из зарослей вел след, явственный — зеленая тропка среди серебристой росной травы. И от поверженного зверя след уходил прямо по увалу вверх.

«Ушел Гришуня, — понял инспектор. — Стрельнув, глянул и смотался... Сразу за ним идти не могу. Выдохся. Куда ж Гришуня кинул пулю? Я видел — он не свалил оленя, а ранил. За оленем-подранком лучше не ходить, непременно уйдет. А этот свалился к Гришуне, словно спелое яблоко с ветки. Да, пуля. «Убойная пуля», как говорил Антон. Чего ж она меня помиловала? Вот отдохну и посмотрю».

Семен присел на валежину. И тут же над ним столбом завилась мошка. Но он только отмахивался. Его было бы и кнутом трудно поднять, настолько Семен устал за эту утреннюю прогулку. Инспектор сидел неподалеку от оленя. Сквозь звон мошки он слышал бархатное гудение оводов, слетавшихся к туше изюбра.

Из чащобы, где отдышал Семен, виднелась вершина Хребтовой, лишенная растительности, лысая и поэтому светлая — белели обнаженные камни. Правее открывался перевал, поросший редким пихтачом и елью, наглухо перекрываемый непролазными сугробами зимой. Через него наверняка и собирается уйти Гришуня, или как его там, в другой район с сообщником, которого ждет.

Семен Васильевич представил себе, как он, отдохнув, в открытую пойдет к Гришуне и задержит его. Конечно, человек, назвавший себя Комолову «Гришуней», не станет сопротивляться. Но как же буднично и нудно пойдет следствие из-за одного, конечно же, случайно убитого пантача. Все станет отрицать браконьер. Все самое очевидное...

Инспектор вздрогнул. То ли в глазах у него зарябило, то ли свет заиграл не так и тень упала на распростертую тушу оленя, но Семену почудилось, будто убитый зверь дернул ухом.

«Мошки видимо-невидимо. Лезет в глаза. Вот и мере-

щится всякое», — решил инспектор, но тут же оборвал себя.

Ухо лежащего у опушки изюбра снова дернулось, потом еще, еще. Будто потянулась одна, другая нога.

...Открылись темные глаза, опущенные густыми черными ресницами. Двинулись ноздри. Олень исподволь поднял голову, увенчанную изящными рогами. Под червонного золота шерстью зверя, искрящейся ореолом под ярким светом солнца, напряглись мышцы, и Семен видел все это. Тут же зверь, озираясь, повернулся с бока на живот. Черные влажные ноздри его затрепетали, зашевелились усы, и их было видно — каждая черная усинка двинулась вперед к ноздрям.

«Это ж мое чудесное спасение, которое я наблюдаю со стороны, — сказал себе Семен. — А ведь вижу такое не впервые!»

Изюбр толчками поднялся. Но, словно лишь родившийся телок, стал на широко расставленные ноги, неуверенно и неловко. Затем зверь помотал головой, как бы сбрасывая с себя дурман.

«Ты только не бросайся сглупу на меня, изюбр, — мысленно проговорил Семен. — Уходи, зверь. Не я тебя ранил лекарственной пулей из обоймы Антона. Уходи, зверь, подобру-поздорову...»

Точно учась ходить, олень начал переступать ногами. Снова затряс головой. И тут же напрягся, как струна. Ударил копытом, широкогрудый, на стройных ногах, с гордо вскинутой головой.

— Иди... Иди, изюбр, — тихо сказал Семен.

Одним прыжком, как показалось Шухову, олень одолел пространство, отделявшее его от скальной гряды. Потом зверь огромными скачками-махами проскочил по чистому увалу и скрылся.

«Вот сбежало первое и последнее вещественное доказательство, — улыбнулся Семен. — Единственная улика...»

Инспектор собрался было выйти из чащобы, но,глянув на перевал, увидел всадника на пегой лошади, спускавшегося в долину.

— Вот теперь мы, кажется, не останемся в накладе, — сказал инспектор вслух.

Всадник на пегой лошади спускался с перевала в долину не спеша, спокойно и уверенно, словно к своему дому. В бинокль Семен видел: бородатый мужичонко с

охотничьим ружьем за спиной не останавливается, не оглядывается по сторонам. Брошенные поводья покойно лежат на луке седла, пегая кобылка, чуть кивая головой и выбирая уклон поположе, бредет знакомым путем.

«Что ж, мое недельное ожидание оправдывается, — подумал инспектор. — Дождался я, пока созреет случай. Осталось не упустить его...»

Старший лейтенант стал наблюдать из чащи за продвижением всадника. К удивлению Семена, мужичонко не поехал к тому месту, где эти дни провел Гришуня. Пегая лошадь двигалась вдоль зарослей кедрового стланика.

Бывая с егерем в здешних местах еще во времена устройства заказника, Семен определил, что всадник направился к пещере у скал.

«Эх, знать бы, что тайник там... — Семен поднял было левую руку, чтоб почесать затылок, но скорчился от боли в спине. Пуля, сидевшая в мышцах, напомнила о себе. — И знай я о тайнике, чем смог бы доказать, что он Гришунин? А теперь не отвертеться ни ему, ни сообщнику».

Инспектор отправился в обратный путь к своему лежбищу, которое сделалось для него местом засады. Шел он не торопясь, экономя силы, которые могли ему понадобиться.

Бесшумно пробираясь меж пышных кустов лещины, Семен подошел почти вплотную к площадке у пещеры. Он слышал фыркание лошади, которую донимали оводы, потом увидел и саму упитанную кобыленку, стоявшую у ствола ясеня. К нему же было прислонено и ружье.

Гришуня вышел из пещеры с мешком на плече.

— Думал, тоже мне... — говорил он громко. — Я тут все жданки съел, а он думал... Неделю, почитай, как пантов ждут в городе.

— Руки вверх! — резко приказал инспектор, выходя из зарослей.

От неожиданности Гришуня выронил мешок. И замер, стоя спиной к Шухову.

— Стой, стрелять буду! — старший лейтенант не знал, где карабин Гришуни. Если в пещере, то им мог воспользоваться сообщник. Семен слышал его голос у выхода из подземелья:

— ...моем селе тоже милиция есть и еге...

Инспектор должен был взглянуть в сторону выходявшего из пещеры. Гришуня звериным чутьем понял это.

Когда старший лейтенант, убедившись, что бородастый мужичонко безоружен, вновь перевел взгляд на Гришуню, то увидел: тот готов метнуть в него тяжелый охотничий нож, выхваченный из ножен на поясе. Браконьер уже размахнулся.

Времени на вскидку не оставалось. Инспектор выстрелил из карабина от бедра.

Нож, который Гришуня держал за конец лезвия, с тонким звоном отлетел в кусты. Семен слишком хорошо стрелял, чтоб попасть случайно. Лошадь, видно привыкшая к стрельбе, слабо дернулась, но не оборвала повод, привязанный к стволу ясеня.

— Бог миловал, — охнул мужичонко.

А Гришуня схватился левой рукой за порезанные собственным ножом пальцы, принялся нянчить как бы парализованную от удара правую руку.

— Твой верх...

Инспектор прошел к ясеню и взял мужичонково ружье:

— Карабин где?

— Там, — кивнул Гришуня в сторону пещеры.

— Сходи-ка принеси, — приказал инспектор мужичонке, а сам на всякий случай стал за яшень.

Гришуня сказал:

— Ты его, инспектор, не бойсь. Он тебе карабин, как поноску, в зубах доставит.

Семен Васильевич не ответил, дождался, пока из пещеры не вышел мужичонко, держа карабин за ствол.

— Поставь оружие у выхода. А сам к Гришуне иди. Мужичонко повиновался беспрекословно.

— Все панты здесь?

— Все.

— Все девять пар? — спросил Семен Васильевич.

— Откуда знаешь, что девять? — вскинув левую бровь и выкатив глаз, удивился Гришуня.

— Следователю я и места покажу, где ты их уложил.

— Шутишь...

— Дело-то не шуточное. Тысячное, — сказал инспектор. — Давайте навьючивайте кобылку, да поехали. Нам бы засветло добратся к балагану Комолова.

— Чего там... — насторожился Гришуня и принялся похлопывать лошадь по холке.

- Знакомы с парнем?
- Сменил у него олочи... Разбились мои.
- И все?
- Это вы у него спросите, инспектор. А мое дело вот, — Гришуня кивнул на мешки с пантами.

VIII

Увидев поднявшийся из глубины карабинного магазина патрон с синим оголовьем, Федор хотел выругаться последними словами, но почувствовал, как горло его перехватил спазм. Егерь глядел то на Антона, то на пулю и снова на Антона, который делал вид, будто целиком поглощен игрой языков пламени в костре.

«Если Комолов стрелял этими парализующими, но не убивающими животных пулями, то жив был и Семен, когда его прикапывал Антон! — Федору с большим трудом удалось связно выразить свою мысль. — Если Семен закопан заживо... Подожди. Подожди, егерь... Доза лекарства в пуле рассчитана на определенный живой вес животного... более ста килограммов. Была ли доза смертельной для Семена? Не знаю... Если да... А если нет, и он задохнулся... Ведь потом прошел ливень и сель. Подожди, Федор, подожди... Семен должен был очнуться минут через тридцать после выстрела... Фу ты... Знает ли об этом Антон?»

— Слушай, ты... — Федор, сдерживая, как только мог, готовый сорваться на крик голос, обратился к Комолову: — Слушай, ты... Пойди-ка сюда...

— Ну что там еще? — спросил Антон, не оборачиваясь к егерю.

— Иди, иди... — Звук собственного голоса помог Федору справиться с волнением, и он сказал негромко, почти ласково.

Стеща не обратила внимания на разговор егеря с Антоном. Она считала, что все давным-давно ясно, обговорено и разобрано.

Однако Комолов понял всю нарочитую фальшь ласкового тона и, усмехнувшись, поднялся. Он не дошел до егеря шага три и остановился так, чтоб Стеще было хорошо видно их обоих.

Федор повернул карабин с открытым затвором к Антону:

— Ну?

Антон опустил взгляд и, колупнув носком олочи землю, буркнул:

— Ваша... Нечаянно совсем, правда... Взял посмотреть, а тут вы и вошли...

— Верю.

Быстро глянув егерю в глаза, Антон переспросил:

— Верите?

— Да. Верю. — И, обратившись к Стеше, сказал: — Степанида Кондратьевна, нам в распадочек сходить надо. Чайку-то вы опять согрейте...

— Конечно, конечно... Только, Федор, пожалуйста, никаких вольностей.

— Что вы! Я помню о достоинстве, — отозвался егерь и добавил тихо, обращаясь к Антону: — Лопатку возьми.

— Я... — заикнулся Комолов.

— Бери... и идем, — очень спокойно сказал Федор. И пока парень, войдя в балаган, искал инструмент, тщательно осмотрел разбитые, расползшиеся по шву олочи, которые валялись у входа.

Когда Антон с саперной лопаткой в руке вышел из балагана, Федор, не говоря больше ни слова, двинулся в сторону распадка почти той же дорогой, что и Семен в тот злополучный вечер.

Стеша поглядела им вслед. Будучи крепко уверенной в Федоре и отметив про себя, что оружия мужчины не взяли, она успокоилась совсем, вздохнула:

— Все-таки странные... немного люди, эти таежники...

И не оглядываясь, Федор чувствовал, как Антон, неохотно пошаркивая, следует за ним.

Антон был твердо уверен в своем служении другу. Он знал, что его ждет, потому и желал, чтобы скорее бы настало время, когда он признается и снимет какие бы то ни было подозрения с Гришуни. И вот он признался, а легкости в душе не ощущал. Пусто как-то. Даже все любимое в тайге будто бы отстранилось, и он не чувствовал привычного отзвука в сердце в ответ на пошум ветра в вершинах. Не слышал, как кедровые ворчат, а осины цокают, ели посвистывают под ветром; а ведь любой кедр по-своему ворчит, любая осина цокает сама по себе, и сама по себе секретничает наушница-лиственница.

«Вот сейчас придем к месту, где прикопан Шухов, достанем его, и все это кончится», — думал Антон, не отдавая себе отчета в том, что же такое «это все» и почему оно должно кончиться и как.

Селевой поток в распадке иссяк. Обнажилось разноцветное дно. Хилая взбаламученная струя текла вдоль отбойного берега.

— Здесь, — сказал Комолов. — Вот тут, — подтвердил он, окинув взглядом крутой берег и увидев на краю его приметную елку с яркими оконечьями молодых побегов.

— Копай.

Егерь придиричиво осматривал не очень-то крутой склон, надеясь ухватиться взглядом за какую-либо приметку, которую мог оставить раненый человек. Но не увидел.

«Должна быть, — убежденно сказал он сам себе. — Непременно есть».

Егерь стал карабкаться вверх по приглаженному ливнем склону, осматривая прошлогоднюю пожухлую травяную ветошь и редкие на каменистом отвале зеленые стебли.

— Если бы не ливень... — бормотал Федор. Он слышал позади себя скрежет гальки о сталь и не хотел обращаться. Не мог себя заставить сделать это.

Федор поднялся выше, к кусту бересклета, который чудом держался малой толикой своих корней за почву, стал осматривать каждую ветку. Нашел две сломанные, с задирами, так не могли их повредить ни потоки воды, ни ветер. Тогда егерь обернулся, но стал смотреть не вниз, а поверху и отыскал глазами старую липу. Зев лаза у ее корней был хорошо виден отсюда. И ни единая ветка по прямой не застила его.

— На этом месте или чуть выше по нему и ударили... Значит, ударили. В выводах, общественный инспектор, следует быть поосторожнее. А вот вешку вбить здесь надо и веточки бересклета огородить. Так Семен Васильевич говорил, — бормотал Федор.

Выше по склону егерь не нашел ни на траве, ни на кустах других таких характерных изломов. Выйдя из распадка, Зимогоров нарубил вешек и поставил их там, где, ему казалось, было необходимо. И лишь тогда спустился к Антону.

Жуть обуревала Антона. Необъяснимое для него ис-

чезновение тела, которое они с Гришуней прикопали вот здесь, на этом самом месте, было куда страшнее, чем если бы Комолов наткнулся на инспектора, убитого случайно Гришуней. Ведь Антон ни на мгновение не сомневался в искренности Шалашова. Одно слово — тайга! И Комолов с ожесточением врывался в землю, чтоб найти Шухова, освободиться от суеверного ужаса, который скапливался в его душе. Котлован расширялся, но ни обрывка одежды, ни оружия, ни пуговицы хотя бы не находил Комолов.

«Не воскрес же он в самом деле... — твердил про себя Антон, разгребая лопаткой гальку. — Вот мой отец сгинул в тайге двенадцать лет назад. Говорят, будто и не искали толком...»

Антон давно скинул ватник и, покрасневшись, обливаясь потом, продолжал копать с каким-то остервенением, не давая себе ни минуты передышки. Увидев егеря, Комолов растерянно взглянул на него, шмыгнув носом и еще яростнее принялся выкидывать землю из траншеи.

Федор спросил еще раз:

— Ты точно помнишь место?

— Да, — отозвался Антон, не глядя на егеря. — Вон елка молодая. На той стороне. А на этой бересклет. Все сходится... Я ведь от зверей его прикопал.

Котлован, вырытый Антоном, достиг метров трех в диаметре. На дно просочилась вода, потому что текущий рядом ручей оказался выше уровня ямы.

— Карабин с ним остался? — спросил Федор.

— С ним. Зачем он мне нужен?

— Если ты с повинной решил идти, к чему оружие зарывать?

— Не знаю...

— Ты точно помнишь место? — Федор с минуты на минуту становился спокойнее. Выдержанность, о которой всегда напоминал ему прежде Семен Васильевич, приходила сама собой, по мере того, как поиски Комолова делались все бесполезнее, а парень растеряннее. Однако Зимогоров хотел исключить всякую возможность ошибки. И одновременно в душе его копилась радость. Ведь если они не найдут тела инспектора, то он жив? Ранен, может быть, крепко ранен, но уполз в тайгу, притаился...

Федор не отрываясь смотрел на растерянно стоявшего на дне котлована Антона.

— Может, медведь откопал? — спросил Комолов.

«А к чему карабин было засыпать? Может быть, решение пойти с повинной пришло позднее? Парень на такой вопрос не ответит... Не по зубам тебе это дело, общественный инспектор. Вот Семен Васильевич, тот разобрался бы. Сколько мы с ним ходили... Подожди, Федор. А ты постарайся думать так, словно Семен Васильевич рядом. О чем бы он спросил и как спросил, коли усомнился... в собственной гибели? Да подожди ты, — осерчал Федор сам на себя. — Ты ж, егерь, в мыслях не допускаешь, будто твой друг мертв! Ну и спрашивай, словно о другом. О чем? А вот...» И Зимогоров спросил:

— И карабин медведь взял?

— Никто не брал карабина. Это точно.

— А где он?

— Чего ко мне пристали? Я признался! Ведь ты... этот, как... общественный инспектор, ну и бери меня. Сажай.

— Много хочешь, — сказал Федор.

— Чего, чего? Я — много?..

— Вот именно — много хочешь!

— Не понимаю...

— Вы глубоко закопали?

— Только присыпали. — Комолов выпрямился в траншее, доходившей ему до пояса, и поднял усыпанное бисером пота лицо. Глянул настороженно на Федора снизу вверх.

— Почему «вы»? Я один был. Слышишь, один!

— Ну просто я вежливо, на «вы», обратился, — прищурился Зимогоров. «А олочи чужие не с бухты-барахты появились в балагане. Бывал кто-то у Комолова, но говорить он не хочет. Или не придает значения случайному посетителю?»

И егерь спросил:

— Скажи, кто у тебя за время охоты бывал?

— Бросьте вы!

— Как бы не так? А олочи чьи?

— А олочи...

— За такое вранье мамку твою попросить стоит, чтоб ремнем поучила, а сажать рано. Так чьи олочи?

— Ну... Забрел какой-то научный работник... При чем тут честный человек? Он знать ничего не знает.

Федор подумал, что Семен Васильевич остался бы им доволен, и повел расспрос дальше:

— А зовут-то его как?

— Не спрашивал.

— Про науку спросил, а как зовут — нет?

И, зная почти наверняка, что Семен Васильевич не одобрил бы такого вопроса, егерь спросил:

— Не перепрятал ли твой дружок прикопанного?

— Зачем ему?

— Выходит, знает дружок про все?

Комолов вдруг выпрыгнул из котлована:

— Копай, если тебе нужно! Ищи! А дружка у меня нет! Никого нет! И олочи мои. Я все сделал. Я признался! И обойму украл у тебя. Ух, убойные пульки!

Антон старался разозлить егеря, но тот смотрел на него спокойно, и только чуть презрительно вздрагивали уголки его губ.

— Патроны, что ты взял, не убойные. Ими зверей усыпляют, чтоб измерить, взвесить да пометить. Помнишь, прошлой зимой мы с охотоведами тигров переписывать ходили?

— Так мы... Так я его... живьем? — Антон тер ладони о грудь, словно помогая себе дышать. — У живых изюбров панты с лобной костью вырубал. Живьем?

— Кто твой дружок?

— Не скажу.

— Узнаем, — твердо сказал Федор. — Счастье твое, что стреляно патронами из краденной обоймы.

— А может, Шухов-то... не того? Ушел, значит. И я ни в чем не виноват?

— Ты место помнишь точно? — разозлился Зимого-ров. — В виновности суд разберется.

— Точнее точного, Федор Фаддеевич, что здесь. Вот елочка, вот куст бересклета. — У Антона в глазах зарождалась безумная надежда.

— Не надо, может, тебя сажать? Не стоишь ты того. А как же с дружком?

Комолов помрачнел:

— Нет у меня дружков. Нет! И все. Обойму украл я, стрелял я...

— Выгораживаешь?

— Я во всем признался. Я во всем и в ответе.

— Твое дело, Комолов. Я думаю по-другому. Сходим в заказник, поищем там твоего дружка. А признание твое... Как в законе сказано — доказательство в ряду других.

— Не пойдет никуда Шухова. Здесь будет инспектора ждать. — Антон решил использовать свой последний шанс: он был уверен — ничего не расскажет Зимогоров учительнице.

А Федор ответил:

— Пойдет, когда узнает, что здесь случилось. Коли Семена Васильевича нет — он жив и пошел в заказник с твоим дружкой знакомиться. Бежать тебе, чтоб спутать карты, не советую. Да и мы со Стешей вдвоем-то уследим за тобой. Я спрашивать тебя больше ни о чем не стану. Собирайся.

— Здесь он! Тут прикопан! — закричал Антон, думая, как бы оттянуть выход в заказник: Гришуня-то обещал через десять дней зайти. Значит, там он еще.

— Покажи.

— Вот в той стороне, — Комолов махнул рукой вверх по ручью.

— Тогда ты стрелял не из сидьбы. И вряд ли с перепугу.

— Все равно я признаюсь! Признаюсь! — Антон сжал кулаки и был готов броситься на егеря.

— Если он там... его найдут потом. Ведь ты признался, и пусть дело ведет следователь...

Комолов опешил. Если они пойдут в заказник и встретят Гришуню, то друг его прежде всего подумает: Антон предал его! Антон, который жизнью поклялся, что выручит, отведет от Гришуни беду. В эту минуту он был готов разбить свою голову о первый попавшийся валун, только не видеть укоризненных глаз Гришуни. У Комолова оставалась маленькая надежда, что еще только через три дня Гришуня будет ждать его у Рыжих скал. Не встретив там Антона, Гришуня поймет — его друг сделал так, как они договорились, и уйдет. Протянуть бы еще три дня!

— Ну а на всякий случай я поступлю по-солдатски, — продолжал егерь, которого Комолов и не слышал, занятый своими лихорадочными мыслями. — Пуговицы с твоих порток срежу. Ремешок заберу. Вот так.

И, разговаривая вроде бы с собой, Федор ножиком быстро проделал столь нехитрые операции. Когда же Комолов сообразил, что произошло, было поздно сопротивляться.

— Я думаю, — очень серьезно сказал егерь, — что такие действия самосудом назвать нельзя. Идем.

Обескураженный Антон поплелся за егерем. Комолова охватили бешенство и стыд.

«Не смеет Зимогоров так со мной поступать! — твердил про себя Комолов. — Не смеет!»

Егерю было не до переживаний Антона. Федор думал о предстоящем разговоре со Стешей. Как ни верил Зимогоров: не погиб Семен Васильевич от усыпляющей пули, он, однако, не мог поручиться, что, выбравшись из ямы, инспектор, раненный, не сгинул, обессилив при переходе. Да и куда Семен Васильевич направился, егерь не знал толком. И об этом обо всем теперь нужно рассказать его жене.

«Твердить о достоинстве одно, а держаться достойно — дело трудное, — размышлял Федор. — Не каждому по плечу. Понять это надобно... А достанет у Стеши души на такое? Может, все-таки молчком повести ее в заказник? Так ведь спросит она, почему мы туда идем! Эх, была не была...»

Щедрый костер, разведенный Стешей, дымил с такой силой, что с патрульного пожарного вертолета его можно было бы принять за начинающийся пал. Но егерь не попенял Стеше. Она старательно кашеварила у огня и словно избегала глядеть в сторону егеря. И чай их ждал, и пшенка с копченой изюбятиной булькала и паровала в чугунке, и, судя по духу, еда была вкусна.

— Поговорить нужно, Степанида Кондратьевна, — сказал Федор, присаживаясь подале от гудящего огня. Егерь скорее почувствовал, чем заметил, перемену в поведении Стеши. Она сделалась вроде бы собраннее, особо размеренными и четкими стали ее движения.

— Рассказывайте, что там натворил Комолов. По вашему виду заметно — не с добрыми новостями. Да и меня по полному величать начали, — Стеша, будто заведенная, машинально достала сухари из котомки.

— Однако... — вздохнул Зимогоров, покосившись на Антона, устроившегося за его плечом. — Случай серьезный...

— Я слушаю вас... — сказала Стеша, поправив у щеки повязанный по-покосному платок. Крупные карие глаза ее оставались ясными, только губы она поджала.

— Вы о достоинстве тут говорили, — начал Федор Фаддеевич. — Так вот соберите его, достоинство-то свое, в кулак... И не перебивайте меня. Терпеливо слушайте.

Я знаю, вы человек достойный и Семен Васильевич, муж ваш, очень хороший человек... Так за-ради него выслушайте и будьте терпеливы...

— Да-да... — сказала Стеша. — Да-да.

— Слова хороши после дела, Степанида Кондратьевна.

— Да-да... — кивнула жена инспектора.

— Стрелял Антон по вашему мужу... Вы о достоинстве своем помните... Если вы мне не простили самосуда, то себе-то вы простите куда большее. Слышите? Сядьте, сядьте.

— Да-да... да-да, — закивала Стеша, усаживаясь, и принялась ломать веточки, валявшиеся около костра.

Федор начал рассказывать, что знал и о чем догадывался.

Он остановился, будто запнулся, когда Стеша протянула руку к ложке, взяла ее и помешала варево в чугунке. И потому, что Стеша слушала, не перебивая, будто не о ее жизни шел разговор, не обо всей ее настоящей и будущей жизни, егерь говорил грубее, чем следовало. И, понимая это, злился на себя и боялся, что вот-вот страшное спокойствие Стеши оборвется и она вскинется и заголосит. Но жена инспектора, слушая егеря и друга Семена, осторожно, стараясь не брякнуть чем, достала из котомки две алюминиевые миски, которые Федор взял, конечно, только из-за нее, сняла с огня чугунок, стала накладывать в них пшенку с кусками изюблятины.

— ...Нам надо пойти в заказник и искать Семена Васильевича там. Поняла? — закончил Федор.

— Да-да, — ответила Стеша, пододвигая егерю миску. — Вы очень громко говорили там, в распадке. Подошла я и все слышала. Мой муж, если он жив, не мог поступить иначе. А пере... живания... они мои, и никто не может отнять их у меня. Только не в них дело... Надо идти — пойдём. Ты еду попробуй. Я вроде посолить забыла. И передай миску этому... Антону передай миску, — с некоторым усилием произнесла Стеша.

Когда Стеша заговорила, Федор все еще боялся, что она сорвется, что ей не хватит выдержки, как не хватило и ему, и сорвется она по-бабьи, со слезами, которые были для Федорова сердца нож острый и только ярили его. Затем слова жены инспектора насторожили, а потом Федор неожиданно за много-много лет почувствовал, что ему хочется выпрямить порванную когда-то

медведем шею и посмотреть на Стешу прямо, а не чуть сбочь, как Зимогоров привык.

Он принял миску и взял ложку, попробовал ароматную еду, но никак не смог разобрать, действительно ли пшенка несолена или посолена в меру.

— Вкусно, — сказал он и передал миску Антону, только сейчас почувствовав, что она огненно-горяча. — С утра двинем в заказник. Так, Стеша?

— Не на ночь же глядя... — кивнула жена инспектора.

В серых клубках дыма над поляной вновь оранжево вспыхнули косые закатные лучи солнца.

— Идет... Идет кто-то... — Федор вскочил, вглядываясь в неверный пестрый свет меж дальних стволов. Он уж хотел пойти навстречу, но, увидев груженую лошадь, остановился, подумав недоброе.

— Гришуня! — крикнул Антон и побежал.

За ним сорвался Федор. Он увидел позади кряжистого парня и мужичонки, ведшего на поводу навьюченную пегую лошадь, инспектора Семена Васильевича. Друга своего увидел.

Стеша была бы рада встать, узнав мужа, да вдруг поняла — не сможет, ноги не удержат.

Встреча с «Полосатым»

НЕОЖИДААННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

- С какими людьми вам по долгу службы чаще приходится встречаться?
- С хорошими.
- Вам это не кажется парадоксальным?
- Наоборот, естественным.

Хорошо знакомый бакинцам норд, воспетый в стихах и лирической прозе местных авторов, свирепствовал пятый день подряд. Впрочем, свирепствовал — сказано слишком громко. Это не тайфун или ураган, сметающий на своем пути материальные ценности. Наш бакинский норд сметает уличный сор, состоящий главным образом из окурков и рваных билетов денежно-вещевой лотереи и лишь изредка позволяет себе выбить пару-другую стекол в легкомысленно распахнутых окнах. И все-таки мне кажется, никому из бакинцев, включая поэтов, он никогда не доставлял удовольствия. Что может быть приятного в ветре, который набивает рот пылью до скрипа на зубах, или в том, что очередной порыв вдруг швырнет в лицо кучу бумажных обрывков, перемешанных с высохшими листьями.

Так вот, этот северный ветер непрерывно дул почти неделю, что, по нашим бакинским представлениям, означал приход зимы. Факт сам по себе рядовой и вполне естественный, но мне он напоминал о конце года и некоторых неприятных для инспектора уголовного розыска событиях, которые я с удовольствием оставил бы в уходящем году. Но нераскрытую кражу в старом году не оставишь.

Положа руку на сердце, убыток Саблиных от кражи невелик. «Блузки-кофточки», как выражается мой непосредственный шеф Рат Кунгаров, а если быть точным, то еще и плюшевый тигренок — на кой черт вору сдалась игрушка? Разумеется, палочка в графе «нераскры-

тые преступления» не станет от этого тоньше или короче. Она отразится на соответствующих показателях нашего отдела точно так же, как если бы у Саблиных украли подлинник Левитана или гитару Иванова-Крамского.

И все-таки нераскрытых преступлений за весь год по нашему горотделу раз, два и обчелся. Что касается потерпевших, то они забыли о краже давно — убыток небольшой. Следовательно, дело совсем в другом. Статистика — объективная штука: в большинстве случаев неразоблаченный преступник не возвращается добровольно на стезю добродетели. Это означает, что любое из нераскрытых преступлений может обернуться новым, и тут уж приходится переживать.

Вот и эта кража стала моей любимой мозолью. Время от времени на нее наступает мое прямое и непосредственное начальство.

Начальник горотдела Шахинов делает это со свойственной ему деликатностью. На очередном совещании он вкратце напоминает о задолженностях по линиям служб, в том числе: «не все благополучно по линии УР с кражами из квартир», и мне ясно, что имеются в виду злополучные «блузки-кофточки и плюшевый зверь».

Начальник уголовного розыска Кунгаров по-приятельски наваливается на «мою мозоль» всей своей стокилограммовой тяжестью. После очередного шахиновского напоминания он вваливается в мою комнату — от его появления она становится совсем крохотной — и интересуется: «Ну что нового у тебя по тигру?» Он, конечно, отлично знает, что ничего нового у меня нет, и поэтому в ответе не нуждается. В разыгрываемой миниатюре Рат сам и автор, и режиссер, а мне отведена роль статиста.

Ветер стих, как будто его и не было. Норд всегда и появляется, и исчезает внезапно, едва ли даже метеорологи могут достоверно предсказать его поведение.

Теперь можно и не залезать в автобус. Я люблю пройтись по центральной улице этого города-спутника, размером напоминающего один из микрорайонов Баку.

Конец рабочего дня, и тротуары полны. Идти не спеша становится все труднее. Все-таки я типичный горожанин: всегда мечтаю о тишине и просторе, а свернуть в боковую улочку выше моих сил. Однако правильно говорят: прямой путь не всегда самый короткий. Правда, я своевременно увидел выходящую из магазина мне

наперерез Лелю Саблину — потерпевшую на злосчастной краже. Реакция у меня хорошая, я мгновенно повернул круто влево, перешел улицу, но на противоположном тротуаре прямо уткнулся в поджидавших свою Лелю Игоря и бэби.

Едва я поздоровался с папой Саблиным, девочка дернула меня за полу пиджака и спросила:

— Дядя инспектор, а где мой Усатик?

Выручила подошедшая мама Саблина. В ее присутствии остальные члены семьи всегда умолкали. Даже бэби подсознательно понимала, что Лелю все равно не переговорить. Я хотел извиниться по поводу затянувшейся поимки вора, но пауза оказалась слишком короткой даже для моей реакции. Заговорила Леля:

— Здравствуйте, здравствуйте... Вот это встреча... Мы только на днях о вас вспоминали, правда, Игорек? Как ваши дела? Все ловите? Ну и работка, хуже, чем у Игоря в лаборатории. Я в смысле вредности. А молоко вам не дают?

— Его заслужить надо. Юная гражданка требует своего Усатика, а... — я беспомощно развел руками, — одним словом: виноват.

— Да что вы, что вы, она и думать о нем забыла.

— Сиюминутный каприз, — вмешался солидно молчавший Игорь, — увидела вас и вспомнила своего тигра.

— По ассоциации?..

Мы смеемся, и прохожие начинают на нас оглядываться.

Леля снова берет инициативу в свои руки:

— Скажите, вам действительно важно его найти? Я ведь думала...

— По-моему, важно и нам, и вам всем, — мягко возражаю я. — Другое дело, кто не нашел. Не нашли мы — милиция. Тут уж вы ни при чем.

— И мы тоже виноваты, — решительно заявляет Леля. — То есть я хочу сказать, Игорь виноват. Конечно. Это ты тогда твердил: «Дался тебе этот ворюга, скоро получу тринадцатую, и купишь себе тряпки», как будто в тряпках дело. А теперь, наверное, поздно, но я все равно расскажу.

Смысл сбивчивого Лелиного рассказа сводится к следующему. У них в подъезде на первом этаже живет старый инвалид Егор Тимофеевич. Он-то и видел вора, или, точнее, слышал. Старик этот слепой. Не от старости, не

от болезни: в войну он был водителем Т-34, и ходили такие тогда еще без перископов.

— Удивительный человек Егор Тимофеевич. Живет уже много лет один. Обходится совершенно без посторонней помощи, представляете? Говорят, у него что-то такое с семьей случилось. Еще тогда. То ли жена его после ранения бросила, то ли он сам не захотел инвалидом возвращаться. Одним словом, трагедия, но подробностей никто не знает. Так он очень общительный, любит, чтобы около него остановились, поговорили...

— И знаете, что удивительно, — вмешивается Игорь, — он часто первым здоровается, обращаясь при этом по имени: по шагам узнает. И до последнего времени на авторемонтном работал, в сложных механизмах вслепую копался.

Я пытался наконец выяснить, при каких обстоятельствах Егор Тимофеевич слышал вора и откуда вообще уверенность, что это был вор. Леля с удовольствием принимается за объяснения, но я вовремя догадываюсь обратиться к первоисточнику. Особенных дел у меня в горотделе нет, надо только позвонить Рату и сказать, что на работе уже не появлюсь.

ПОХИТИТЕЛЬ ТИГРЕНКА

— *Вам приходилось стрелять в человека?*

— *Один раз, но я промахнулся.*

— *Плохо стреляете?*

— *По мишеням — отлично.*

Дверь открывает мальчуган лет двенадцати. Детские голоса доносятся и из комнаты.

— Дядя Егор! — кричит мальчуган, а нам радостно сообщает: — Я думал, мама за мной пришла.

— Детей любит, всегда возле него копошатся, — вполголоса поясняет Леля.

В прихожую вышел хозяин. Есть старики и... старики. Одни старятся медленно, неохотно, по волоску, по морщине уступая возрасту. Потом наступает критический момент, и природа мстит за упорное сопротивление разом и сокрушительно. Человек, еще вчера казавшийся молодцом, вдруг превращается в дряхлого старца. Другие становятся пожилыми сразу и бесповоротно, даже

вроде бы преждевременно. Зато они не дряхлеют уже до самой смерти и умирают на ногах. К этим последним я отнес мысленно пожилого человека, стоявшего сейчас перед нами. В седых волосах не было ни одного просвета, но они оставались живыми, и седые брови жили над темными впадинами глаз. Шрамы давних ожогов иссечены морщинами, но кожа не кажется дряблой, словно огнем времени лишь придал ей рисунок, не изменяя самой материи.

— Егор Тимофеевич, вот гостя к вам привели, — начала Леля...

— Прошу. — Брови шевельнулись над неподвижными глазами, большая рука потянулась навстречу.

Чертовски приятная вещь мужское рукопожатие, когда оно не дань условности с вежливым холодком или ничего не значащей кисельной теплотой. Я давно заметил: все фронтовики особенно знают ему цену.

Саблины ушли к себе, а я представился хозяину. Он провел меня в комнату, безошибочно ориентируясь в пространстве. Точные движения, внешне абсолютно лишённые «поискового импульса», характерного для слепых, но в их выверенной четкости угадывается тяжелый опыт, пришедший эмпирическим путем.

Ребята перестали галдеть, с любопытством глядят на меня. На раздвинутом столе что-то невообразимое. Однако в хаотическом нагромождении металлических и пластмассовых деталей, пестрых клубков, расцвеченных всеми цветами радуги проводов, плоских и круглых батареек уже можно различить основы монтажа. Только, чем все это должно стать в будущем, я не понял.

— Как по-вашему, что это такое? — словно угадав мои мысли, спрашивает хозяин.

Любопытство в ребячьих глазенках сменяется напряженным ожиданием ответа. Я морщу лоб и отвечаю предельно серьезно:

— Скорее всего концертный рояль в разобранном виде. — И уже под хохот ребят заканчиваю: — Но, моему, здесь не хватает струн.

Егор Тимофеевич улыбается. Я догадываюсь об этом по излому бровей, по сбежавшимся к глазам морщинам.

— Это будет модель электромобиля, не верите? — общается мальчуган, открывавший дверь.

— Верю, — говорю я. — Но сам бы ни за что не догадался.

— Поступайте в наш кружок, — снова улыбается Егор Тимофеевич. — А теперь, ребята, по домам. — И будто извиняясь, добавляет: — Все равно пора, сами знаете.

Дождавшись стука захлопнувшейся двери, Егор Тимофеевич говорит:

— Иногда так увлечемся, что родители приходят о времени напомнить. Да иной раз сами у нас застревают. Папы, конечно. Муштинское дело — техника.

— Теперь и женщины с этим делом не хуже управляют.

— И напрасно, — отрезал старик. — Сколько женских ремесел есть... А техника, она разная бывает. Тяжести ворочать да в бензине да в копоту копать? И детей вынянчи, и кирпичи кидай, и фигуру при этом сохрани, чтоб, значит, муж к другой не сбежал. Я думаю, боком такое равноправие выходит.

Мы помолчали. Егор Тимофеевич сам заговорил о том, что интересовало меня в первую очередь.

— Встретился я тогда с человеком, что обокрал Саблиных. О краже той я, правда, спустя много дней узнал.

Я терпеливо жду продолжения, хотя главный для меня вопрос: «Откуда у вас, Егор Тимофеевич, уверенность, что человек тот и есть вор?» — так и просится с языка.

— Было это в четверг, потому что Витя — мальчик, что здесь сидел, — пришел потом ко мне читать «Литературную газету». А когда я вышел подышать воздухом, как обычно, перед обедом, в начале третьего, газета лежала в ящике. Значит, почтальон уже приходил. Это важно, потому что они часто меняются, и я его мог и не узнать. В дверях мы и столкнулись с тем человеком. Он что-то пробормотал, может, извинился, а может, наоборот, выругался, я не разобрал, но отступил, давая мне пройти. И тут же так это быстро, словно на ходу придумал, спрашивает: «Зейналов Асад на каком этаже?..» И вдруг осекся, видно, понял, что я не вижу, рассмеялся и вошел в подъезд. Я даже и ответить не успел, что Зейналов в нашем доме не проживает. Когда он обратно вышел, я его по шагам узнал: мелким, торопливым. С полчаса прошло. Меня это удивило, я сказал ему: «Зейналов-то тут не живет, молодой человек». А он мне: «Откуда ты знаешь, молодой я или старый?» Опять засмеялся и пошел со двора.

«Кража действительно произошла между двумя и четырьмя часами дня, — думал я. — И, судя по поведению... Старик, пожалуй, прав: это вор».

— Сколько вы пробыли еще во дворе, Егор Тимофеевич?

— Да не меньше часу.

— И за это время никто больше не появлялся?

— Почему же?.. Роза Арменаковна повела внучку на музыку и... Впрочем, это все были знакомые.

У меня возникло еще одно сомнение:

— А не мог этот парень действительно прийти к кому-то из жильцов вашего подъезда, но не хотел его или ее называть? Отсюда и наивная маскировка.

Егор Тимофеевич задумался, потом нерешительно сказал:

— Такое, конечно, возможно... кто ж его знает. И вообще, — твердо продолжал он, — тут уж я вам не советчик. Жильцов наших я узнаю, это точно, а кто к кому ходит, не знаю, не интересуюсь.

Обидел я старика своим вопросом, факт. Губы поджал, брови нахмурил и даже чуть в сторону от меня повернулся. «Ну и дурака же ты сваял, братец, — мысленно ругаю себя, — сколько с людьми общался, а разговаривать толком не научился».

— Я, Егор Тимофеевич, вслух рассуждаю по привычке. Этот вопрос я задал себе. И отвечаю на него сам: нет, тот человек приходил не к жильцам. И знаете, почему? Если исходить от противного, то настоящему вору оставалось всего минут двадцать, не больше. Вы ушли домой как минимум после половины четвертого, а ровно в четыре Игорь Саблин был уже в своей квартире. В течение двадцати минут вор должен был подняться на пятый этаж, убедиться в отсутствии хозяев, отжать дверь, отобрать вещи, спуститься вниз и через весь двор выйти на улицу, ведь Игорь никого на дворе не встретил. Нет, кража после вашего ухода практически исключается. Значит, человек, якобы искавший Зейналова, и был вором.

Мой оппонент слушал внимательно, довольно кивая. И слава богу, что старик больше не сердится на меня. Вот уж кого бы мне совсем не хотелось обижать.

— Теперь, Егор Тимофеевич, постараемся уточнить его личность. Я, конечно, понимаю, что вы обменялись

всего несколькими фразами, но что-то о нем вы можете сказать.

— Молодой он. По-русски говорит правильно, но с акцентом. Так говорят и азербайджанцы, и армяне, и даже русские, но только городские ребята. Да, именно городские ребята, не из районов. Ну, конечно, не из шибко воспитанных, те старикам не «тыкают». Вот, пожалуй, и все.

Маловато, но кто же на слух мог бы определить большее?

Я поблагодарил Егора Тимофеевича и, прощаясь, пожелал быстрейшего завершения модели.

— Да, электромобиль — это будет здорово, — по-детски радостно ответил Егор Тимофеевич. — И он поедет, обязательно поедет, вот увидите. А гордость ребятам какая! Собственными руками создан. А потом подарим его — у меня уж с ребятами и договоренность имеется — детскому дому. Против такого автомобиля ведь никто возражать не будет: чистый и бесшумный. Представляете? Совсем бесшумный!

Егор Тимофеевич говорил теперь совершенно иначе, чем прежде, когда речь шла о краже, говорил с подъемом, так, будто зримо видит свое детище в законченном, совершенном виде. Мне, зрячему, было сейчас гораздо труднее: я видел стол, заваленный деталями, и... никакого намека на будущего красавца. Но мне очень хотелось хоть как-то разделить восторг хозяина, и я сказал:

— Конечно! Ведь это не какой-нибудь мотоцикл. Электромобиль!

— Постойте-ка, постойте-ка, — Егор Тимофеевич задумался и, вытянувшись, словно прислушивался к чему-то. — А знаете, он ведь приезжал на мотоцикле. Шум мотоциклетного мотора я услышал в подъезде, когда проверял, принесли ли газету. Мотор тут же стих, и я понял, что кто-то подъехал к нашему дому. А потом мотоцикл заработал тут же после его ухода. Помню, я еще подумал, что зажигание барахлит: двигатель долго не заводился.

— Едва ли воровать на мотоцикле приехал, — усомнился я. — Скорее всего просто совпадение. Улица все-таки...

— Да нет, — перебил меня Егор Тимофеевич. — Запах! Я его, родимого, за версту узнаю, а тут нос к носу столкнулся. Запах...

По дороге домой я думал не столько о воре-мотоциклисте, сколько о нежданно-негаданно объявившемся свидетеле.

ПОПОЛНЕНИЕ

— Скажите, у вас много добровольных помощников из числа общественности?

— Много. Может быть, даже слишком много.

— Понятно. Лучше меньше, да лучше?

— По-моему, этот принцип во всем хорош.

После селекторного совещания Шахинов нас не отпускает, а звонит Фаилю Мухаметдинову — замполиту. Потом обращается к нам:

— Хочу познакомить оперативный состав с новым пополнением.

Что за пополнение? Вакантных единиц у нас нет, а увеличений штатной численности как будто не предвиделось.

В кабинет во всем сиянии безукоризненно сшитого милицейского кителя — Фаиль по старой флотской привычке уделяет форме максимум внимания — входит замполит, а за ним не очень решительно пять незнакомых парней. Замыкает входящих Кямиль — наш старый товарищ, дружинник с химзавода.

Теперь ясно, что за пополнение.

— Здравствуй, товарищ комсомол! — улыбается Шахинов, идет навстречу.

Мы тоже встаем, и знакомство происходит церемонно, как на каком-нибудь дипломатическом приеме. Наверное, так и должно быть: торжественность обстановки запоминается надолго. Пусть ребята почувствуют, что всерьез, а не для «галочки» пришли они помогать своей милиции.

Шахинов поочередно представляет нас, представляется сам. Потом Фаиль представляет новых нештатных сотрудников. Каждое представление товарища сопровож-

дает рефрен Кямиля: «Чох яхшы комсомочу» *. Дважды он добавил: «Эн яхшы бизим фехлеим» **.

— А это наш самый лучший работник, — кивает на Кямиля Шахинов.

— У нас в нарды играет, у нас чай пьет, у нас скоро жениться будет, — не удержался Рат от всем уже известной шутки. Но на всякий случай, чтобы не обиделся, одновременно поглаживает Кямиля по плечу.

— На производстве каждый из вас выполняет определенную работу, — говорит Шахинов. — Такого же принципа давайте придерживаться и здесь. Ведь любая работа приносит пользу, когда она конкретна, верно?

Возражений не было, Шахинов продолжал:

— Давайте все сядем и обсудим вопрос вашей специализации.

Все рассаживаются за длинный стол, и Шахинов присаживается тут же. Может быть, ему просто приятно вот так, бок о бок, посидеть со своей комсомольской юностью, а может быть, хочет подчеркнуть, что здесь сейчас нет деления на старших и младших и просто пойдет товарищеская беседа.

— Вот вы, — обращается он к смуглолицему высокому парню, — какая милицейская специальность вас больше всего привлекает?

— Насколько я понял, — отвечает за парня Файль, — Алеша лихой мотоциклист, и его больше всего волнуют транспортные проблемы.

— Алеша настоящий гонщик. Не смотрите — такой длинный, куда хочешь на мотоцикле проедет, — солидно добавляет Кямиль.

— Ну раз так, товарищ Наджафаров, — говорит Шахинов, — ваше желание помогать автоинспекции вполне естественно. Вас сегодня же познакомят с начальником ГАИ майором Мурсаловым. Уверен, вы быстро найдете общий язык.

— Уж это точно. Нашему Сеиду только самого шайтана возить, — вставляет начальник ОБХСС Салех Исмайлович.

Мы, сотрудники, переглядываемся и не можем удержаться от смеха. Только Салех Исмайлович не улыбается, старательно промокает лицо платком.

* Очень хороший комсомолец (азерб.).

** Один из лучших наших рабочих (азерб.).

— Вспотел от воспоминаний, — шепчет мне Рат.

Эту историю в горотделе знали все. Как-то Сеид решил подвезти задержавшегося допоздна на работе Салеха Исмайловича. По пути они обратили внимание на стоявший с потушенными огнями ГАЗ-69. Причем Салеха Исмайловича взволновал не сам «газик» в качестве нарушителя правил движения, а то, что стоял он у запасного входа на местную базу «Азериттифака» и около него подозрительно копошилось несколько теней. Сеид остановился, и тут тени задвигались в вихревом темпе, и «газик», так и не осветившись, дал тягу. Они, естественно, начали преследование, однако вскоре «газик» свернул на проселочную дорогу и зайцем помчался по полю. Ночью по такой дороге не рискуешь свернуть себе шею разве что на тракторе, а «Волга» ГАИ к ней совсем уж не приспособлена. Когда погоня все-таки завершилась удачно и ее участники на другой день делились своими впечатлениями, Сеид объяснял нам, что ничего не успел почувствовать: следил за дорогой и в мегафон крыл беглецов. Зато Салех Исмайлович думал только о том, что, если уцелеет, никогда в жизни не сядет в машину, где за рулем будет Сеид Мурсалов. В конце концов он, Салех Исмайлович, все-таки человек, а с базы, как известно, воруют не людей, а вещи.

В соответствии с личными пожеланиями распределились и другие ребята. Уголовному розыску вызвались помогать двое.

Юра Саркисов, невысокий крепыш с агатово-черными армянскими глазами, уже имел опыт борьбы с правонарушителями. Он два года был членом оперативного отряда городского комитета комсомола и имел на своем счету несколько задержаний.

Измук Хабибов — стройный, по-настоящему красивый парень. Тонкие черты в сочетании с чуть раздвинутыми татарскими скулами придавали лицу привлекательное своеобразие.

Хабибов среди дружинников новичок. Учитывая его производственную специальность оператора по учету, Шахинов предложил ему стать штатным сотрудником ОБХСС. Однако тот мягко, но настойчиво отказался.

— Меня очень интересует работа уголовного розыска, — сказал он.

— Уголовный розыск, уголовный розыск... Всем нравится уголовный розыск, — неожиданно раскипятился

Салех Исмайллович. — А что там особенно интересного? Ничего нет интересного. Одного лови, другого лови, все время лови... Посидеть, подумать некогда. А нам длинные ноги не нужны. Нам голова нужна. Вот я вас спрашиваю, молодой человек, чем интересней работать — ногами или головой?

— Посидеть, подумать, конечно, неплохо, — вмешивается Рат, — но когда в это время обчищают базу, например, то лучше уж иметь длинные ноги.

Шахинов прекращает дискуссию:

— Ну так как же, товарищ Хабибов?

Тот поднимает миндалевидные, с паутиновой поволокой глаза и, стараясь не смотреть в сторону Салеха Исмайлловича, повторяет:

— Мне бы очень хотелось помогать уголовному розыску.

— Что ж, Салех Исмайллович, придется вам пока обойтись без новых помощников, — констатирует Шахинов. — Желаю всем успеха, и профессионалам, и любителям.

Файль ведет новобранцев к себе знакомить с основами патрулирования, а профессионалы расходятся по кабинетам.

Трудно начинать какое-нибудь дело с нулевой отметки. Еще труднее возвращаться к начатому неудачно.

Вот она, тонюсенькая папка с несколькими бумажками, аккуратно подшитыми и пронумерованными следователем. Уголовное дело, приостановленное за нерозыском преступника. До сих пор у меня не было никаких оснований возвращаться к этой злополучной краже. С появлением свидетеля и новых данных я уже обязан это сделать. Абстрактное понятие «неизвестный преступник» материализовалось в конкретное лицо с целым рядом примет. Теперь я обязан его искать.

Между прочим, пока я раздумывал, образовалась завеса из сигаретного дыма. Сквозь нее едва различим настенный плакат с изображением черепа и дымящейся сигареты, а уж о тексте и говорить нечего. А жаль, ведь он очень поучителен, этот красочный плакат. Идея развесить их во всех кабинетах пришла нашему замполиту Файлю Мухаметдинову. Хорошая идея. При первом рассмотрении плаката у меня мурашки по спине забега-

ли, а потом ничего, привык. И обитатели других кабинетов, по-моему, тоже свыклись. Как-то вскоре после торжественного повсеместного расклеивания этих плакатов («Наступать, так широким фронтом», — сказал Фаиль) я застал его за любопытным занятием: он стоял нос к носу с черепом, и плакатная струйка дыма выглядела жалкой по сравнению с тем, что удавалось выпускать ему.

— Соревнуемся? — ехидно спросил я.

Фаиль смутился, а потом, рассмеявшись, сказал:

— Вырабатываю иммунитет. Плакат, в общем-то, отличный. Разве нет?

— Впечатляет, — осторожно согласился я.

А он безнадежно махнул рукой:

— Черта с два. Никто у нас курить, по-моему, не бросил.

И все-таки определенную пользу плакат принес. Как выразился Шахинов, некурящим он доставил и продолжает доставлять много тихой радости. К ним относится мой сосед по кабинету Эдик Агабальян, тоже инспектор УРа, поэтому я десять минут продержал открытыми дверь и окно. Ну вот, совсем другое дело.

Теперь со своими соображениями можно, пожалуй, и к Рату.

В дверях кунгаровского кабинета сталкиваюсь с выходящим Эдиком. Впрочем, если быть точным, ударяюсь об него. И это, поверьте, чувствительно. Эдик не гигант, но природа компенсировала рост чрезвычайно высоким удельным весом тела. Ей-богу, он наряду с кальцием, фосфором, углеводами и белками содержит какую-нибудь разновидность скальных пород. Недаром он родом из Карабаха. А в лице у него никакой жесткости, оно всегда улыбочиво, и большие оленьи глаза взирают добродушно.

— Ушибся? — участливо спрашивает он.

— Разогнался, — ворчит Рат. — Или ты узнал, куда ехать за похитителем плюшевых игрушек?

Выслушивая мое сообщение о новом свидетеле, Рат машинально косится на настенные часы.

По выражению лица вижу: он меня слушает вполуха, тщательно собирает бумаги в папку «для доклада».

Шахинов аккуратист во всем. Начиная от собственной внешности: днем ли, ночью — всегда, выбрит, фор-

ма или штатское будто из-под утюга, туфли сияют, как паркет, ухоженный полотером, — до отношения к любому, даже незначительному, документу. В секретариате не знают так точно, как он, где, у кого и зачем находится в данную минуту тот или иной документ. Незаметно для себя и мы все под его влиянием стали намного аккуратнее. Даже Рат Кунгаров, скептически относившийся ко всему, что связано с бумагой. Теперь при случае он любит подчеркнуть: «Действие и документ — две стороны одной медали».

Поскольку я не ухожу, Рат на секунду поднимает голову:

— Потом... Все остальное потом. Сам понимаешь...

Конечно, понимаю. Он боится упустить Шахинова. Время начальника горотдела, как и директора крупного завода, по давно заведенной практике меньше всего принадлежит собственному предприятию. Горком, исполком, прокуратура, совещания, депутатские обязанности, выступления перед коллективами трудящихся, увязка и утряска межведомственных вопросов и так далее, и прочее без конца и края, а уж в конце года тем паче.

Придется подождать с вором-мотоциклистом. Может быть, это и к лучшему: успею наметить что-нибудь конкретное, и Рат не станет недоверчиво хмыкать по поводу нового свидетеля. Вор на мотоцикле — черт знает что.

В обычный день, когда все течет мирно и спокойно, нет ЧП и экстренных заданий, в обеденный перерыв наш кабинет превращается в Мекку. Прежде всего сюда со всего горотдела направляются шахматисты. Два стола, две доски, четыре партнера и невесть сколько болельщиков. В числе последних больше половины играют на уровне незабвенного Остапа Ибрагимовича, но это ничуть не мешает им принимать самое живое участие в обсуждениях позиций, они не реже асов подсказывают немислимые ходы, ожесточенно спорят, под носом у обалдевшего игрока в ажиотаже переставляют фигуры и, зевнув ферзя, скромно ретируются на задний план, чтобы уже через пару минут вновь ринуться вперед, на худой конец к другой доске. Бури негодования сменяются взрывами смеха. Гвалт стоит невероятный. Прелесть таких шахматных баталий, разумеется, не в игре — какая уж тут игра, — а в эмоцио-

нальной атмосфере, ей сопутствующей. Честное слово, ни один цирк не способен вызвать столько восторгов, смеха и трагикомического отчаяния! И все за неполный час времени. Даже Шахинов, проходя мимо, любит заглянуть к нам просто из коридора. Иногда мне кажется, что он с удовольствием вошел бы, но шум при его появлении всегда стихает, и это, по-видимому, удерживает его.

Ровно в два основную массу будто ветром выметает из кабинета, и лишь самые заядлые, с грохотом складывая доски и не слушая друг друга, продолжают радостно или огорченно — в зависимости от результатов — делиться впечатлениями. Потом наступает тишина, и мы с Эдиком возвращаемся к своим непосредственным обязанностям сыщиков.

Начинаю с того, что зовется у нас делом техники, именно техники в буквальном смысле. В течение нескольких минут ИЦ* министерства внутренних дел республики в ответ на мой запрос сообщает: «8 ноября, днем, в поселке «8-й километр» г. Баку совершена кража из квартиры. По имеющимся сведениям, преступник подъезжал к дому на мотоцикле с коляской, который затем использовал для транспортировки украденных вещей». Перечень похищенного был небольшим, но туда входил японский транзисторный приемник, а он один стоит немалых денег. Если допустить, что в Баку «сработал наш мотоциклист», то улов оказался побогаче, чем здесь, у Саблиных. Впрочем, оснований для такого допущения маловато: в городе с миллионным населением обстоятельства кражи могут совпадать, ничего не доказывая.

Затем из нашего ГАИ получаю список лиц в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, имеющих мотоциклы или права на их вождение. Конечно, в списке ГАИ только местные жители, но ведь в нашей работе иной раз приходится искать иголку и в том стоге сена, в котором ее могло не быть вовсе, зато наверняка исключить его из дальнейшего поиска.

К концу дня мои заметки начинают приобретать вид рабочей гипотезы. Я уже знаю, что мне предстоит сделать в первую очередь, — мотоцикл — не паспорт, в карман не спрячешь!

* Информационный центр.

УДАР БЕШБАРМАКОМ*

- У вас, в уголовном розыске, бывают какие-нибудь начинания?
- Конечно. Мы каждый раз начинаем работу заново.

В 21.17 дежурному горотдела позвонил дружинник Измук Хабибов и, срываясь на крик, сообщил, что убит Кямиль. Произошло это сию минуту возле магазина № 36 на Морской улице.

Дежурный немедленно связался по рации с оперативным нарядом, патрулировавшим по городу на автомашине. В 21.23 наряд прибыл на место происшествия. Еще до прибытия наряда Хабибов обнаружил, что Кямиль жив, хотя и находится в бессознательном состоянии, и вызвал «Скорую». Опергруппа еще застала пострадавшего, поэтому в первые минуты, по сути дела, занималась Кямилем. После его отправки в больницу были выяснены подробности и предпринята попытка обнаружить преступника на близлежащих улицах. Вскоре приехал дежурный следователь прокуратуры, составил протокол осмотра места происшествия, уже по всей форме допросил очевидцев. Их было двое: напарник Кямиля по патрулированию Хабибов и заведующая магазином № 36 Самедова.

Сейчас начало двенадцатого ночи. Мы все в шахиновском кабинете. Мы — это Кунгаров, старший наряда Сардаров, следователь прокуратуры Зонин, Мухаметдинов — вот уж кто мог не приезжать на ночь глядя, но, не сообщив ему дежурный о происшествии, страшно обиделся бы, а уж сегодня, когда такое случилось с дружинником, да еще с «нашим» Кямилем, век не простил бы.

Шахинов только что в очередной раз звонил в больницу. Ответили, как и прежде: «Осуществляются меры реанимационного характера».

— Пожалуйста, Сардаров, — сказал Шахинов и, обращаясь ко всем: — Курить можно.

* Букв. — «пять пальцев» (азерб.), азиатская разновидность кастета.

Сухо щелкает клавиша магнитофона. Шуршание пленки, затем женский голос: «Совсем немного от магазина отошла, вдруг...»

«Не волнуйтесь, — голос Сардарова, — давайте по порядку. Назовите себя».

«Самедова Азиза ханум... Азиза Беюкага кызы*. Завмаг — продавец магазина номер тридцать шесть, от второго гастронома горпищеторга. В девять часов магазин закрыла, совсем немного отошла, вдруг он, на руке железо, бешбармак да... говорит: «Убью...»

«Кто он?»

«Мужчина да... Часы, кольцо отдала... Говорит: «Деньги давай!» Это время дружинник келди**. Он сразу убежал, потом видит: дружинник догонять будет, ударил железом по голове и совсем убежал».

«Откуда знаете, что преступник ударил Кямиля, то есть пострадавшего, железом?»

«Вай... Сразу лежал, такой большой рана был, кровь был. Железо да, бешбармак...»

«Хорошо, продолжайте».

«Потом этот парень, дружинник да... тоже подбежал... Я ему кричала: «Убили, убили!» Он автомат ходил, милицию звонил... Потом «Скорой помощь» звонил... Потом... и все».

«Объясните, как выглядит преступник, какой собой?»

«Я его не знаем... Молодой из себя... такой большой... И на голове кепка большой...»

«Лицо запомнили?»

«Темно был, как запомнить?»

«Если увидите, узнаете?»

«Может, узнаем... совсем рядом стоял... Кольцо, часы взял... Может, узнаем».

— Я неоднократно просил не перебивать очевидца, все вопросы задавать потом, когда свидетель полностью выскажется, — недовольно сказал Шахинов.

— Побыстрее хотелось...

— Куда ж торопиться? Вы ж, надеюсь, сперва преследование организовали, а уж потом занялись выяснением подробностей?

* Дочь Беюкаги (азерб. — отчество).

** Пришел (азерб.).

— Конечно, потом. Кроме того, опрошены водители третьего автобусного маршрута. В двух кварталах остановка.

— Это нам уже известно. Что добавите, товарищ Зонин?

— Подробно описаны кольцо и часы. Преступник говорил по-русски, но с акцентом. Пожалуй, все.

— Вы не пытались выяснить, о каких деньгах шла речь?

— Нет, упустил, — вздохнул Сардаров.

Мысль Шахинова ясна. Если бы Самедова была случайной прохожей, то требование преступника: «Деньги давай...» не имело бы значения, но она вышла из магазина, где работает, и это обстоятельство существенно меняет дело. Преступник мог знать о каких-то конкретных деньгах, о которых пока не знаем мы, а это означало бы, что выбор его не случаен, что объект нападения определен заранее. А раз так, то и нам будет легче искать его.

— Завтра допрошу директора гастронома о порядке инкассации выручки, — быстро отреагировал Зонин.

— У кого еще вопросы по Самедовой? Слушаем Хабибова.

Снова щелчок магнитофона.

«Хабибов Измук, дружинник. Работаю на химическом заводе оператором. Мы с Кямилем Алиевым начали патрулирование в двадцать часов. В десятом часу Кямиль предложил пройти по Морской, чтобы кратким путем выйти к Дому культуры; там в половине десятого кончается киносеанс. Не доходя немного до магазина мы заметили мужчину и женщину. Я подумал, что просто парочка, а Кямиль, видно, сразу догадался, в чем дело, и бросился к ним. Мужчина побежал через проезжую часть к дому напротив, Кямиль за ним. В тот момент, когда я поравнялся с женщиной и она сказала: «Бандит, грабил меня...», я увидел, что мужчина вдруг повернулся навстречу Кямилю и Кямиль упал. Это произошло так неожиданно, что я даже не видел удара. Только слышал, как женщина закричала: «Убили, убили!» После этого преступник скрылся за углом дома; и я понял, что не сумею его догнать...»

— Струсил, — резко вставил Рат.

«Кямилъ был как мертвый, голова в крови. Я из автомата позвонил дежурному, а потом, когда мы с женщиной поняли, что Кямилъ жив, в «Скорую помощь». Женщина мне объяснила, что является заведующей магазином, напавшего на нее мужчину не знает».

Голос Сардарова:

«Опишите внешность преступника».

«На улице темно, все произошло очень быстро. Мне запомнилось, что он высокого роста...»

«Как был одет?»

«Да, на нем не было пальто. Какой-то короткий плащ или, может быть, куртка... На голове широкое кепи».

«Вы сумели бы узнать его при встрече?»

«Сейчас мне трудно сказать. Может быть, узнаю... по внешнему виду...»

— Я подробно зафиксировал показания Хабибова в части объяснений, данных ему Самедовой. Существенных расхождений нет, — сообщил Зонин. — С протоколом осмотра товарищи уже знакомы, но я тут схему набросал для наглядности...

— Давайте, давайте, это необходимо, — оживился Шахинов.

Мы сгрудились вокруг стола, рассматривая исчерченный разноцветными карандашами лист бумаги.

— Вот Морская, — пояснил Зонин. — Один фонарь горел в самом начале улицы, а здесь освещенный магазинчик. До магазина идет забор стройки, у края тротуара большое дерево. Здесь, между деревом и забором, преступник остановил женщину — это в десяти метрах от магазина. Как видите, выбор места нападения не случаен: с одной стороны — глухой деревянный забор, а проезжую часть закрывает дерево. Дружинники появились отсюда, а эта стрелка указывает направление, по которому первоначально побежал преступник.

Синяя стрелка затем поворачивала назад, утыкаясь в преследовавшую красную. В точке соприкосновения синей и красной стрел — черный крестик, обозначающий место падения Кямила, почти на середине проезжей части улицы. Потом острие синей стрелки вновь устремляется в противоположном направлении и скрывается за углом заштрихованного прямоугольника.

— В этом двухэтажном доме бытовые учреждения: прачечная, химчистка, ремонтное ателье. В 8 часов все закрывается, дом вымирает. Это опять-таки подтверждение моей версии об обдуманности нападения, — продолжает Зонин.

Я с ним не сталкивался раньше, знал только в лицо. Ему не меньше сорока, но он из «породы мальчишек»: светловолосый, ясноглазый и без единой морщинки; такие стареют сразу, но уже после шестидесяти. Судя по всему, он действительно опытный следователь, однако «моя версия» неприятно резанула слух. Тем более после невыясненной детали с деньгами. Хороша версия, по которой обдуманно и заранее готовятся напасть на случайного прохожего.

— Значит, он скрылся за торцовой стороной дома, а что там дальше?

— Дальше жилая пятиэтажка. Впритык, — отвечает Кунгарову Сардаров.

А ведь Рат, я знаю, уже побывал там сегодня. Значит, ему тоже не понравилась зонинская самоуверенность, и он задал свой вопрос потому, что на схеме на месте пятиэтажки пустое место.

Зонин морщится:

— Моя схема не план города.

— По-моему, это важно, — вмешался Шахинов. — Не возражаете?

Он забирает схему и аккуратно дочерчивает недостающее здание.

В других обстоятельствах Рат обязательно шепнул бы мне что-нибудь вроде: «Дорвался...» — шахиновское пристрастие к схемам, графикам и вообще чертежам общеизвестно, — но сейчас не до шуток.

— В этом доме можно найти людей, видевших бежавшего преступника, как вы думаете? — И, не дожидаясь зонинского ответа, Сардарову: — Надо было обойти жильцов тут же.

И не подчиненный Шахинову Зонин, и подчиненный Сардаров — оба промолчали. Да и что тут возразишь?

— Будем разбираться дальше, — сказал Шахинов. — Пожалуйста, товарищ Зонин...

Зеленой стрелкой был обозначен путь Самедовой до встречи с преступником, а затем к упавшему Кямилю. Оранжевая отражала движение Хабибова.

Зонину удалось хорошо передать динамику происшедшего. Сперва оранжевая линия солидно пролегла бок о бок с красной — Кямиля, затем пунктиром — через кружок — место нападения на Самедову, и далее, минуя черный крестик, не дойдя до угла здания, поворачивала назад.

— Все это в полном соответствии с объяснениями Самедовой и Хабибова на месте, — закончил Зонин.

— Струсил, — повторил Рат.

— Почему обязательно струсил? — вспыхнул Мухаметдинов. — Растерялся, с кем не бывает?

Каким-то подчеркнутым, свойственным только ему спокойствием Шахинову всегда удается остудить самые горячие головы.

— По-вашему, безоружный парень должен был, ни секунды не раздумывая, броситься на вооруженного бандита. Но ведь Хабибов дружинник, а не штатный работник милиции. Он мог проявить мужество, а мог и не проявлять. Мог, но не обязан. Обязаны только мы. Какие будут вопросы по обстановке?

Перед тем как мы разошлись, Шахинов опять звонил в больницу и опять получил неопределенный ответ: «В сознание не приходил, исход пока неясен».

Оперативное совещание с ограниченным числом участников продолжалось ночью у Кунгарова. Мы с ним лежали на раскладушках без матрацев. Эдику из-за роста повезло больше: под ним поскрипывал диванчик. В кабинете темно, только по углам три светящиеся точки. Даже Эдик сегодня курит.

Рат чертыхнулся: никак не устроит ноги на приставленном к раскладушке стуле; поднялся, опрокинул его на торец. Потом сказал:

— Судя по всему, тип наш.

— Местный, — согласился я.

— Я этого типа за Кямиля... — Окончание фразы заняло у обычно невозмутимого Эдика много времени.

— Кто же эта сволочь? — продолжал Рат. — С утра — оба в пятиэтажку, всех обойдите подряд, нужен свидетель. Как воздух нужен. Я тоже весь день промостаюсь, но завтра же выясню, кто из нашей шпаны орудует бешбармаком.

— Думаешь, из шпаны?.. — полувопросительно сказал я.

— А то кто же, — отрезал Рат, — если б был посолдней, дружинника не тронул, удрать постарался бы.

— Точно, — подтверждает Эдик. — На это мог пойти только «зеленый». Им молоко в голову ударяет и море по колено.

— Вообще-то мог убежать, — согласился я. — Темень, и район удобный.

Рат прикуривает прямо от сигареты новую.

— Трудно с молокососами. Попробуй предупреди преступление, когда он и сам-то, может, вчера еще толком не знал, что всерьез пойдет на грабеж. И все-таки, похоже, присматривался заранее. И «зеленые» в одиночку дела не делают. Нет, что-то я здесь не понимаю. Давайте спать.

Тишина, но я долго еще не могу уснуть. Рат правильно сомневается: у шпаны только в стае страх пропадает. Друг перед другом выпендриваются, хорохорятся. Каждый в отдельности трусливое дерьмо, вместе что угодно натворить могут. А этот действовал решительно и в одиночку. Может, не в одиночку? Хабибов же не завернул за угол. Может быть, того прикрывали?..

Первого, кого мы увидели с утра, был Измук Хабибов. Он стоял в коридоре, прислонившись спиной к стене.

Рат молча прошел мимо. Я остановился, спросил:

— Ты что в такую рань?

По-моему, он меня не услышал. Я тронул его за плечо:

— Пойдем.

В нашей комнате Эдик возился с электрическим чайником. Он кивнул Хабибову и снова принялся за упрямую спираль, которая, судя по всему, не хотела нагреваться.

Рат демонстративно не поздоровался с Хабибовым, я задал ему фальшиво-дурацкий вопрос, и только Эдик оказался на уровне современной психологии. И парень вроде отходит. Уже не выглядит таким, будто готов заплакать. Эдик где-то раздобывает недостающий стакан. Перед тем как приняться за чай, Измук, словно оправдывая свое присутствие, сообщает:

— У меня выходной, подумал, может, пригожусь.

— Конечно, пригодишься. Теперь нам каждый человек дорог, — заглаживаю я свою прежнюю неловкость.

— Чай распиваете?

В дверях Рат. Я давно не видел его таким колючим и злым.

Измук верно принял это на свой счет, поднялся и, не поднимая на него глаз, повторил:

— У меня выходной, пришел помочь.

— Ты уже помог вчера своему товарищу...

Измук почти выбежал из комнаты. Мы укоризненно смотрим на Рата.

— Добренькие вы. Из больницы сообщили: задета височная кость, до сих пор неясно, будет ли Кямиль жить.

ПОДНЯТ ПО ТРЕВОГЕ...

— *Вы любите свою работу?*

— *А отрицательный ответ вас устроит?*

— *Ну, если вы объясните...*

— *Простите, сейчас некогда.*

Вчера в связи с сообщением об убийстве оперативного дежурного задействовал специальный план мероприятий по розыску особо опасного преступника.

Это вовсе не означало воя сирен, спешного построения милицейских нарядов, выезда автомашин со светящимися вертушками. Горотдел милиции не погранзастава. Он и сегодня оставался по-прежнему тихим, по-субботнему малолюдным. Патрульно-постовые наряды несли свою службу на привычных маршрутах, большинство сотрудников, оповещенных дежурным, уже делают все необходимое на заранее известных им объектах, остальные составили резерв Шахинова, который бросит их в незримый бой на самом трудоемком направлении. Пока неизвестно, каким оно будет — главное направление поиска. Может быть, придется опросить всех водителей автобусов и такси, работавших вчера вечером, может быть, сидеть в кабинетах, не разгибая спины, много часов подряд, чтобы перелопатить огромный массив в поисках нужной информации.

Внешне все в горотделе выглядело обычным. Но мы-то знаем, как обманчива такая обыденность, когда совершается тяжкое преступление.

Кунгаров исчез раньше нас. Ровно в восемь выехали и мы с Эдиком. Он уверенно ведет мотоцикл, а подо мной мелко трясется синеполосая люлька.

Морская улица безлюдна. Ну да, сегодня же суббота. Вот и деревянный особнячок магазина. Эдик берет вправо, впритык к тротуару. Не хочет наезжать на то место. Сворачиваем за угол, куда вчера убежал тот. Стоял ли кто-нибудь еще здесь, за углом, в темноте? Сейчас в это не верится. Тихий переулок, светло.

Жилой пятиэтажный дом. Въезд во двор узкий, сразу за «бытовкой», издали не заметишь. Двор, как растянутое П или футбольные ворота. На противоположном конце — выход в следующий переулок, перпендикулярный Морской. Он мог пробежать туда. А может быть, прямо в дом? Едва ли. Хотя «зеленые» могут жить и здесь, в квартале от места преступления. Пригляделись к магазину и решились. С их точки зрения, такая близость могла выглядеть заманчивой: далеко удирать не надо, напали — и в укрытие, к папе-маме. Может быть, поэтому и ударил Кямиля, чтобы успеть сюда скрыться?...

Лестницы, двери, лица... Много дверей, много лиц, как в калейдоскопе. Лица мужские, женские... Спокойные, озабоченные, приветливые, недовольные... молодые, пожилые, юные... Помогите нам, помогите себе... Кямилю ваша помощь уже не нужна, но еще вчера он как мог помогал вам...

У меня — ничего. У Эдика — тоже.

Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. С расстройств сажусь в седло за широкую Эдикину спину.

В горотделе по-прежнему тихо. Только тишина иная: идешь и за каждой дверью ощущаешь присутствие людей, своих товарищей.

Машина поиска заработала на полную мощь. Пущен главный конвейер, собирающий информацию по всем линиям служб, и он не остановится до тех пор, пока преступник не будет обнаружен.

На очередном совещании у Шахинова подведены итоги сделанного.

Во-первых, Зонин совместно с работниками ОБХСС уточнил вопрос с деньгами. Магазин № 36 является одним из филиалов второго гастронома горпищеторга.

Заведующий гастрономом признался, что им и Самедовой систематически нарушался порядок инкассации выручки филиала. В нарушение соответствующей инструкции Самедова после окончания работы сама доставляла выручку в гастроном, откуда деньги инкассировались в общем порядке. Ежедневная выручка по магазину № 36 колебалась в пределах 450—600 рублей. В момент нападения Самедова имела при себе 523 рубля казенных денег. Она призналась, что грабитель пытался отобрать у нее именно выручку, но появление дружинников помешало ему осуществить это намерение.

Во-вторых, в числе состоящих на милицейском учете имеются двое, условно попадающие под описанную Самедовой внешность преступника. В настоящее время проверяется возможность их причастности к преступлению.

В-третьих, опрошены водители автобусов всех городских маршрутов, работавшие вчера в период с двадцати часов до окончания движения. Опросы не дали положительных результатов. Завтра будет закончена аналогичная работа в отношении водителей автобусов и такси, следовавших в период после двадцати одного часа отсюда в Баку.

На этом взаимный обмен информацией закончился.

— Пока напрашивается один вывод: преступник знал, на что идет, — заключил Шахинов. — Объект нападения был выбран им заранее.

Совещание продолжалось ровно десять минут.

Мухаметдинов спешит к себе. Его ожидает тесная группа ребят. Узнаю Юру Саркисова, Алешу Наджафова, других ребят с химзавода. Измука Хабибова среди них нет. Ну да, ведь он исчез еще утром. Мучается парень. А Шахинов сказал, что он имел право на нерешительность, даже на трусость... Имел ли?.. Ведь его никто не заставлял идти в дружинники, идти к нам. Здесь не играют в казаки-разбойники. Может быть, Рат и прав: не надо было лезть в эту игру, мальчик. И все-таки какая-то в этом несправедливость. Что же, выходит, он хуже тех, что предпочитают отсиживаться по углам? Он-то ведь шел рядом с Кямилем по темной Морской улице. Струсил ли, растерялся, теперь уже неважно, но не обернись все трагедией...

— Я же говорил: лжет Самедова, — едва войдя в кабинет, возмущался Рат. — Наверняка жульничала с выручкой.

По-моему, он буквально возненавидел Самедову, главным образом из-за Кямиля. Но ею занялись ребята из ОБХСС, в магазине идет ревизия, а нам сейчас не до эмоций.

— Вот что, — говорю Рату, — не нравится мне эта пятиэтажка. Она вроде бы и не рядом с магазином, а рукой подать. Если это дело «зеленых», их надо искать там в первую очередь. А наш официальный обход их только спугнул.

— Спугнул не спугнул, а Шахинов прав: надо найти свидетеля. Свидетеля в первую очередь.

— Искали же. Все квартиры обошли.

— Плохо искали. Вечер, тишина, вдруг шум, крики. Не может быть, чтобы никто не видел... Он же неминуемо пробежал мимо дома...

— Или в дом.

— Тем более. Свидетель должен быть. Чем быстрее его найдем... На автостанцию поехали, — кивает Рат в окно.

По двору идет Фаиль с ребятами. Садятся в «уазик» — наверно, химзаводовский. У Алеши Наджафова что-то не ладится с мотоциклом. Нервничает, понятно. Едут-то на вокзал встречать родных Кямиля.

— В общем, так, — продолжает Рат, — тебе конкретное задание: найти свидетеля. Можешь считать это приказом.

Впервые за время нашей совместной работы Рат упомянул слово «приказ». Разбой и тяжкое, может быть, смертельное ранение дружинника — такой букет для нашего городка явление тоже экстраординарное. Обо всем этом я думал, уже сидя за рулем резервной «оперативки».

Сперва я поехал на Морскую. Там, в парикмахерской напротив магазина, работает Минас Артемович; я стригусь у него раз в два-три месяца. Он мог что-то услышать от клиентов.

Днем клиентов мало. Два мастера играли в шашки, третий неторопливыми движениями направлял бритву на висячем ремне. Над спинкой одного из кресел тор-

чала. голова с намыленными щеками. Из репродуктора тихо лилась оркестровая музыка.

— Минас — дядя сегодня во второй смене.

При моем появлении сонные лица шашистов ожили, а теперь опять безразлично уткнулись в доску.

На секунду на меня тоже нашло какое-то оцепенение. Неужели действительно в нескольких шагах отсюда лежал Кямиль и голова была залита кровью?

Я объехал пятиэтажный дом и повернул назад, в центр. В управлении горкоммунхоза мне повезло: Анатолий Михайлович — бригадир «газовиков» — оказался на месте. Каких-нибудь три года назад соседи называли его не иначе, как «Толян — проклятье двора». Участковому он оказался не под силу, зато наша Аллочка — инспектор детской комнаты — пришла, увидела и победила. А теперь после службы в армии «Проклятье двора» превратился в интересного, статного парня, за которым наверняка бегают девочки.

А улыбка у него прежняя: девять на двенадцать; именно из-за нее Алла Александровна тогда сразу сказала: мальчишка с такой улыбкой не может быть по натуре плохим.

Я вкратце рассказал ему о происшедшем. Услышав об ударе бешбармаком, Анатолий нахмурился, от улыбки не осталось и тени.

— Что нужно делать? Вечером соберу ребят. — Анатолий — командир отделения комсомольского оперативного отряда.

— Помощь ребят, может быть, и понадобится, а сейчас нужна твоя лично. Надо сегодня же побывать в пятиэтажке. Обойти квартиры в порядке внеплановой проверки газовых плит. Поговори с жильцами, кто-то из них наверняка видел убегающего преступника, может быть, даже двоих; второй мог стоять за углом, прикрывать от случайных прохожих со стороны переулка. В общем, тут требуется не сила, а изобретательность, умение завязать беседу. Ты парень коммуникабельный, я очень на тебя надеюсь. К тому же мы с Агабаляном утром побывали в этом доме, так что почва подготовлена.

— Читайте, что я уже там, — серьезно ответил Анатолий.

Раньше там оказался я, точнее, рядом, в парикмахерской.

Старый мастер только что приступил к работе. Пришлось подождать минут двадцать, кстати, я еще действительно сегодня не брился.

Минас Артемович уже был в курсе дела. Парикмахерам удается узнавать новости в первую очередь. В данном случае, впрочем, не мудрено: можно сказать, на месте происшествия находимся.

Ничего для себя нового я не узнал, зато теперь могу быть спокоен: все стоящее Минас Артемович немедленно сообщит мне. А поле деятельности у него широкое, субботним вечером в парикмахерской битком.

Когда я вернулся в горотдел, по выражению лица дежурного понял: ничего существенного пока не добыто.

Стали появляться участковые инспекторы, один за другим проходили к Шахинову.

— Докладывают результаты обходов, — сказал дежурный.

Еще вчера, когда вопрос с деньгами был еще не выяснен, Зонин высказал предположение, что преступник мог приехать в город к кому-нибудь из своих приятелей на выходные дни. Сегодня эта версия уже не кажется реальной, но Шахинов не отменил своего указания инспекторам зафиксировать на участках всех посторонних, особенно из числа молодежи. Ожидать немедленного результата, конечно, не приходится, но ведь из такой вот трудоемкой работы и складывается поиск опасного преступника, и заранее неизвестно, что именно и когда принесет результат.

Обстановка дежурной части бодрит, и мне не хочется отсюда уходить. Тем более что в дверях появляется Алла Александровна, и вид у нее загадочный. Она пропускает угрюмого юношу лет шестнадцати и входит сама. Следом еще и незнакомый мужчина. Он сразу же берет юношу за руку выше локтя. Берет не по-приятельски, а как задержанного, когда есть основания думать, что он убежит или будет сопротивляться. Однако парень стоит не шелохнувшись, да и мужчина ограничился вскользь брошенным «Доигрался». Видимо, просто продолжает свою роль, начатую на улице.

— Садитесь, Иван Кузьмич, — говорит Алла мужчине, и тот нехотя выпускает своего подопечного.

Выясняется, что наш инспектор обходил неблагополучные, с точки зрения правонарушений, допускае-

мых несовершеннолетними, объекты, и как раз сегодня в профтехучилище-интернате у этого воспитанника был обнаружен кастет. Во всяком случае, воспитатель Иван Кузьмич как раз занимался разбором этого инцидента.

Чтобы не отвлекать дежурного, переходим в соседнюю комнату, и, поскольку в деле фигурирует бешбармак, я решаю присутствовать при составлении протокола. В небольшом помещении мы все оказались, что называется, нос к носу.

— Доигрался. — Одновременно Иван Кузьмич выдыхает легкий запах алкоголя.

Держится он отлично, такое состояние и нетрезвым даже не назовешь; по всему видно, выпил человек самую малость. Но запах спиртного, исходящий, например, от врача, может заставить меня отказаться от его помощи. Думаю, то же табу обязательно и для воспитателей несовершеннолетних. А то сразу пропадает уверенность, что перед тобой последователь Макаренко.

Пока составляется протокол, я рассматриваю кусок железа с грубо пробитыми отверстиями для пальцев. Плохонькая самоделка.

— Ну-ка надень, — предлагаю я и перехватываю понимающий взгляд Ивана Кузьмича. По-видимому, ему кажется, что он участвует при проведении важного обличающего эксперимента.

— Доигрался, — с каким-то даже удовлетворением снова повторяет он.

Бешбармак на пальцах подростка «ходит», еле держится. Нет, не эта рука нанесла Кямилю тяжкий удар.

— Может быть, не твой?

— Мой. — А взгляд с вызовом предназначен не мне, Ивану Кузьмичу.

— Откуда он у тебя?

— Сам сделал.

— Для чего же ты его сделал?

— Надо было, и... сделал.

— Для чего же? Чтобы... кого-то ударить?

В голосе Аллы сострадание. Именно сострадание и к потенциальной жертве, и к самому виновнику. Эта-то жалость и вызывает на лице подростка жалкую улыбку — чувствуют несовершеннолетние искреннее участие взрослых.

— Это мне против Сабира нужно было, если и ко

мне, как к другим, сунется. Он у нас любого избить может; с ним и воспитатели связываться не хотят.

— Врешь, все врешь. Думаешь, здесь тебе каждому слову поверят? — перебивает воспитанника Иван Кузьмич. — Сделал... ничего ты не мог сам сделать. У нас в производстве такой контроль, стружка и та под учетом. Из дома или от товарищей городских давно притащил, а теперь вот попался. Ишь ты, с три короба наплел.

— Ничего не наплел, — оправдывался воспитанник, — вчера только и сделал. На перерыв в мастерской остался и выточил.

— Вчера-а-а?! — срывается на дискант Иван Кузьмич. — В мастерской?!

Агрессивность воспитателя не производит абсолютно никакого впечатления. Видно, и вправду не так страшен Иван Кузьмич, как неизвестный нам Сабир. Но Иван Кузьмич не на шутку разгорячился:

— Здоров же ты фантазировать. Вчера сделал... для самозащиты, значит... Здоров гусь... По шее следует за такие фантазии...

Это звучит уже как приглашение к действию, да еще с заранее выданной индульгенцией.

— Спокойней, гражданин, — с холодной вежливостью вмешивается Алла Александровна, погончики на ее маленьких плечах жестко топорщатся кверху, и, видимо, оттого, что он назван не по имени-отчеству, а гражданином, Иван Кузьмич сразу остыл, сел на место. Наступила тягостная пауза. В искренности подростка сомнений нет: и кастет на днях сделан — отверстия в металле свежие и рваные, — и если уж кто сфантазировал, так сам воспитатель насчет «поднадзорной стружки», и «тиран» мальчишек — Сабир наверняка существует, — однако все эти обстоятельства отнюдь не превращают владельца бешбармака в борца за независимость. Ни Алла, ни я не пришли в умиление от его личности. Кому-кому, а сотрудникам милиции хорошо известно, как быстро такие ребята теряют ориентацию в вопросах справедливости, допустимости применения силы в том или ином случае, в той или иной форме. Действительно, бывает так, что хватается парень за нож или такую вот железку, чтобы постоять за себя, дать отпор обидчику, на чьей стороне сила либо дружки. Бывает так, что и одной угрозы оказывается доста-

точно, чтобы отпугнуть сильнейшего. Но даже в таком безобидном на первый взгляд случае негативные последствия наступают неотвратимо. Защитивший себя незаконным способом всегда одерживает пиррову победу. Успешная защита переходит в сознание превосходства силы, быстро размываются градации объектов ее приложения, вчерашняя жертва сама превращается в обидчика, а там потребность в новом самоутверждении, а там избиение абсолютно невинного, и вчерашний «справедливый борец» становится опасным для окружающих.

— Придется составить акт и доложить о тебе в комиссию при горисполкоме, — говорит Алла. — С Сабиром мы разберемся, но постарайся понять: наказание ты заслужил. Верно?

— Не знаю, — ответил он.

Может быть, действительно не знает. Стреляют же из ружья иные дяди в незадачливых любителей чужих фруктов. А этому все-таки шестнадцать. Сабир для него наверняка пострашнее садовых воров.

«Какой-никакой, а за обеденный перерыв выточил, — поднимаясь к себе, думал я. — Алла, конечно, сделает представление, но кому-нибудь из нас надо вплотную заняться интернатом».

Интернатом мы занялись основательно. Но это было потом, после... А сейчас мне позвонил Анатолий, и его сообщение круто изменило главное направление поиска.

СООБЩНИК

— *Какая разница между следователем и оперативником?*

— *Такая же, как между редактором и корреспондентом.*

Опять, уже в четвертый раз за сегодняшний день, я проехал по Морской улице.

«Колесов А. Н.» — на дверной табличке. Так и есть: именно здесь я побывал сегодня утром. Еще до того, как мне открыли, я вспомнил высокого, аскетического типа мужчину средних лет. Он не проявил ни малейшего желания пропустить меня дальше прихожей, веж-

ливо, но совершенно безразлично выслушал и отрицательно покачал головой. У меня осталось чувство, будто разговаривал с глухонемым.

Нажимая кнопку, ловлю себя на желании сделать это помягче, будто от тембра звонка зависит, сообщит ли мне А. Н. Колесов что-нибудь стоящее или в последний момент передумает. В дверях знакомое лицо хозяйна, и на этот раз приглашающий жест, сопровождаемый коротким:

— Прошу. Внучка тяжело больна, сейчас вроде лучше.

Теперь понятно, откуда эта глухая тишина в квартире, откуда безразличие к чужой беде. Мы, занятые своим профессиональным делом, часто упускаем из виду вот такие привходящие обстоятельства и поверхностно судим о людях, с которыми сталкиваемся в процессе сыска. Однако через пару минут мне было уже не до отвлеченных рассуждений. Выслушав Колесова, я снова стал сыщиком и только им.

— Вчера вечером раздался треск мотоциклетного мотора. Это было очень громко. Прямо под балконом. Мотор не заводился, а буквально грохотал с короткими интервалами. Так продолжалось долго. Я потерял терпение, вышел на балкон. С мотоциклом возился какой-то парень. Я крикнул ему, чтобы он откатил мотоцикл подальше, здесь больная, но он и не услышал меня... Грохот стоял невероятный. Наконец мотор завелся, и он уехал. Вот, собственно...

Видимо, по моему выражению Колесов понял важность сказанного и добавил:

— Я не думал, что этот эпизод может вас заинтересовать. Да и не до того утром было: всю ночь не спал.

— Простите, Александр Николаевич, за беспокойство, но все это действительно важно. Какой был мотоцикл?

— С коляской. А марки не знаю. — И, предваряя возможный вопрос: — Номера тоже.

— А парень?

— Среднего роста, широкоплечий. В отношении возраста точно сказать затрудняюсь. Просто видно, что... одним словом, парень.

— Не припомните время?

— Ровно в девять сестра сделала укол... Да, тут же после ее ухода. Минут пятнадцать десятого. Ну, может быть, с небольшим отклонением.

Чтобы сориентироваться, я вышел на балкон.

Улица, параллельная Морской, их разделяет здание с бытовым учреждением и этот дом. На улицу из дома нет ни одного выхода, значит, оставить здесь мотоцикл можно было только умышленно. Неужели все-таки он?.. Но тот высокого роста, это утверждали и Самедова, и Хабибов. Рост... Колесов видел его отсюда, с третьего этажа. Высота не бог весть, а все-таки искажает...

— Как он был одет? На голове... что было у него на голове?

— Вот этого не заметил. Нет, не помню.

— Куда он уехал?

Колесов указал в противоположном от центра направлении, к бакинской магистрали.

Ну что ж, спасибо свидетелю А. Н. Колесову, и внучке его быстрейшего выздоровления.

Я обошел еще квартиры, выходящие на улицу. Оба переулочка и двор теперь меня не интересовали. Я надеялся, что кто-нибудь из жильцов тоже выглянул на шум и случайно запомнил номер мотоцикла, хотя бы частично. Обход не дал ничего нового, хотя кое-кто из жильцов и обратил внимание на треск неза заводившегося мотоциклетного двигателя.

Возвращаюсь в горотдел, а голова кругом, мысли обрывочные, противоречивые. Опять мотоциклист? Как наваждение какое-то. Мало ли кто мог оставить мотоцикл у дома. Совпадение во времени? Даже гениальные открытия не гарантированы от такого совпадения, а тут, подумаешь, приехал парень на мотоцикле, а в это время за двести метров от него кто-то грабил Самедову... А если все же мотоциклист, то непременно тот, который обокрал Саблиных? Жалкий похититель «тигренок» и преступник, решившийся на вооруженное нападение? Что их единит — мотоцикл? Четверть здешних парней имеют мотоциклы. Зажигание отказывает? А у кого оно не барахлит... Нет, зажигание не след протектора.

Так и не придя ни к какому определенному выводу, докладываю Кунгарову все подряд, включая собственные сомнения.

— Запутался в трех соснах, — решительно сказал Рат. — Если тот, если этот... Давай разберемся с одним мотоциклистом. Последним. За — возраст, время, место. Против...

— Все остальное, — подсказал я.

Моя реплика не смутила Рата:

— Верно. Но все остальное нам неизвестно, а конкретно ничего против нет. Значит, надо искать этого мотоциклиста, а там увидим.

— Есть такой научно-фантастический рассказ «И увидел остальное», — не удержался я. — Кстати, нашего земляка, бакинца.

И вдруг точно в голову стукнуло. Может быть, герой этого рассказа из своего антимира огрел меня за тупость?

— Запах... Нужно сейчас же поговорить с Самедовой.

Рат отреагировал моментально.

Через полчаса: «Йолдаш Кунгаро-о-о...в?» — с протяжным «о» и такой же неестественно длящейся просительной улыбкой.

— Азиза-ханум, мы пригласили вас...

Рат недовольно фыркает, обрывает меня:

— Значит, ты сама и продавец, и завмаг, и кассир, и даже инкассатор? Сама деньги получала, сама считала, сама сдавала, небось жалко такой шикарный порядок ломать? Ежедневно наличные суммы под рукой, можно левый баланс делать, а?..

— Йолдаш-начальник, мал мала делал...

— Много или мало, ревизия определит.

— Йолдаш...

— Я тебе не йолдаш... поняла? Я товарищ Кямилю, который из-за тебя...

Рат не закончил и вдруг спросил:

— А ну вспомни, чем от того типа пахло? Он с тобой нос к носу стоял. Ну?

— Пьяный не был, начальник. Клянусь аллахом, не был.

— Трезвый был. Хорошо, верю. А ты вспомни, как следует вспомни, может быть, другой запах был, не водки, а?..

Радостная, на этот раз искренняя улыбка:

— Вспомнил, начальник, вспомнил. Бензин запах. Когда он стоял рядом, как будто я в машину сидел.

Я быстро оформил показания Самедовой специальным протоколом от имени Зонина. Рат уже докладывал Шахинову, связался с начальником ГАИ Мурсаловым.

Так вот какой сообщник прятался за пятиэтажным домом. Не за углом, как можно было думать, а за вторым углом, с той стороны, где не было водъездов. Эх, если бы Хабибов продолжал преследование... Теперь понятно и другое: почему преступник, обычно не рискующий вступать в схватку с дружинником, вдруг повернул навстречу преследователю. Кямиль «висел у него на хвосте», а удрать, бросив мотоцикл, равносильно саморазоблачению. Нет, это хорошо, что Хабибов вернулся к раненому товарищу. Мотоциклисту терять было нечего, он и с Измуком поступил бы так же.

Все силы брошены на помощь ГАИ. Теперь предстоит опросить водителей автобусов, маршрутных и местных такси, следовавших вчера вечером по бакинской магистрали в обоих направлениях. К поиску подключен штаб народной дружины, общественные автоинспекторы, ребята из комсомольского оперативного отряда. Предмет опросов: мотоцикл с коляской, водитель — мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, высокий, спортивного телосложения, в куртке. Что касается личности разыскиваемого, приметы «не ахти». Высокий в сидячем положении может не показаться высоким, попробуй разбери на ходу, а в пальто молодежь на мотоциклах не ездит. Но суть пока не в личности преступника. Его сообщник — мотоцикл помог ему вчера быстро скрыться, но с той же минуты стал работать и на нас: превратился в надежный ориентир поиска.

Появлялся ли именно такой мотоциклист именно в такое время на бакинской магистрали, в каком направлении по ней поехал? Его не могли не видеть, но ведь и видевших его тоже нужно найти.

Наши друзья из штаба дружины и общественные автоинспекторы были настроены оптимистически. Помоему, им казалось, что очевидец будет установлен на первой же стоянке такси. Сотрудники, взявшие на себя руководство поисковыми группами, были настроены

сдержаннее: время позднее, вот завтра, когда целый день впереди, — другое дело. Оно и шло к тому. Часы показывали начало одиннадцатого. Мы с Алешей Наджафовым сидели в диспетчерской таксомоторного парка, встречали оканчивающих смену. После беседы с очередным водителем в помещении снова воцарялась тишина до прибытия следующей автомашины. И вдруг на груди у меня щелкнул микропередатчик: «Всем, всем. Распустить поисковые группы. Сотрудникам возвращаться в горотдел».

До отдела меня подбросил на своем мотоцикле Алеша Наджафов. По дороге он все приставал ко мне: «Неужели нашли, как вы думаете?» Такой ладный парень, а голос тонкий, часто срывается на фальцет и картавит: «Неузели?»

— Не знаю. Скорее всего просто отбой на сегодня.— А сам, как в детстве, загадываю наоборот.

Я приехал одним из последних. Эдик со свойственной ему обстоятельностью вводит меня в курс:

— Значит, Юра Саркисов, дорнадзор и еще один из общественников поехали на автобусный круг, знаешь, где бакинские машины через каждые полчаса прибывают. Четвертый по счету шофер и видел. «Я из-за него, — сказал, — вчера чуть на самосвал не наскочил». И время совпадает: в половине десятого у него прибытие. Понимаешь?

Понимаю. Оказывается, оптимизм оправдывается. Иной раз неделю без толку потеряешь, а тут за два часа.

— Ну вот. Он, значит, ехал по магистрали, впереди самосвал. Говорит: «Город уже начинался, поэтому не обгонял. Аллах, — говорит, — спас». Вдруг самосвал ка-ак тормознет у него под носом. «Хорошо, — говорит, — покрышки новые, а то бы в кузов ему въехал». И тут же мимо, навстречу, значит, мотоцикл стреканул. Раньше его на дороге не было. Ребята, конечно, сразу: «Номер запомнил?» — «Как, — говорит, — запомнишь, когда у меня в машине все стоячие полегли, а сидячие встали». Но запомнил-то он номер самосвала. А сейчас Кунгарова с Мурсаловым ждем, — неожиданно закончил Эдик.

Впрочем, дальше действительно нетрудно догадаться. Поехали в автоколонну, узнали адрес водителя грузовика.

К себе я дойти не успел. Приехал Рат с Мурсаловым, и всех тут же к Шахинову. По лицу Рата вижу: активных действий сегодня не предвидится. Мурсалов же весь светится. Он действительно может быть доволен оперативностью своих ребят. Сеид — любимец всего отдела, но это не удивительно. Удивительно, что такой же популярностью он пользуется среди работников ГАИ и шоферов далеко за пределами города. Про Сеида без преувеличения можно сказать: его знают на дорогах всей республики. Популярность, правда, бывает разная, а вот Сеида уважают. Может быть, потому, что он прошел путь от автослесаря до майора милиции и остался «своим» для шоферской братии. Но лично мне кажется, что дело еще в другом: доброжелательность и справедливость у работников ГАИ, положив руку на сердце, еще лет пять назад были качествами не самыми распространенными.

— Давайте запись, — едва мы вошли, приказал Шахинов.

Кто-то нажал клавишу, кабинет наполнили неживые, металлического тембра голоса. В общие сведения можно не вслушиваться, не забивать себе голову. Ага, вот:

«Мурсалов: Теперь, хала оглы*, расскажи все по порядку. Волноваться не надо, стесняться не надо. Ты же меня знаешь?»

Водитель самосвала: Да, Сеид-меллим**, знаю. Вы начальник ГАИ майор Мурсалов.

Мурсалов: Так, правильно, хала оглы. Очень хорошо...»

Несмотря на серьезность ситуации, по всем присутствующим пробежала улыбка. Сеид многословен и как-то по-детски, по-хорошему честолюбив; эти его слабости нам хорошо известны.

«Водитель самосвала: ...Впереди никого не было, позади шел автобус. При въезде в город справа на магистраль вылетел мотоцикл с коляской. Прямо перед буфером. Я даже сообразить ничего не успел, нога сама тормознула на всю катушку. Машину занесло, хорошо, на автобусе шофер отличный, при торможении вправо

* Букв.: сын тети, двоюродный брат (азерб.).

** Букв.: учитель, уважительное обращение к старшему (азерб.).

взял, а то бы в меня врезался обязательно. Повезло, одним словом, даже не поцеловались. Вот и все.

Мурсалов: А мотоцикл, хала оглы?

Водитель: А мотоцикл, Сеид-меллим, проскочил, и до свидания. Он на шоссе темным выскочил, как ишак сумасшедший. Там справа и улиц нет, пустырь какой-то.

Кунгаров: Но мотоциклиста ты все-таки видел?

Водитель: Обязательно видел. Если б не видел, не тормозил. Он темным был, а у меня ведь фары включенные.

Кунгаров: Значит, ты осветил его?

Водитель: Как в кино.

Кунгаров: Как он выглядел? В лицо запомнил?

Водитель: Лицо? Разве в такой момент в лицо смотришь? Нет, товарищ Кунгаров, лицо не видел.

Кунгаров: Сам же сказал — как в кино.

Водитель: Обязательно. Все вместе видел. Мотоцикл видел, его видел, лица не видел. Нет, э, лицо тоже видел, но...

Кунгаров: Понятно. Тогда скажи, что запомнилось.

Мурсалов: Хала оглы, спокойно... Подумай... потом скажи. Чего не видел, не говори. Что видел, скажи спокойно...

Водитель: Молодой парень... Один... Вот, вспомнил: на голове шлема не было, кепка была.

Кунгаров: Кепка? Точно помнишь?

Водитель: Обязательно».

— Я думаю, шлем он в багажнике оставил, — первым высказался Рат. — Когда на грабеж шел, надел кепку, а потом времени не хватило.

— А помчался он в сторону Баку, — добавил Мурсалов.

— Срочный запрос через ГАИ республики всем постам бакинской магистрали. — Это уже Шахинов диктует в трубку дежурному. — Просим немедленно сообщить обо всех случаях, включая самые незначительные, нарушения правил движения мотоциклистами в период с двадцать одного тридцати до двадцати трех часов двадцать девятого декабря. Одновременно просим опросить те же посты о возможном фиксировании ими проезжавших мотоциклистов на машинах с колясками. Срочность задания объясняется расследованием тяжкого преступления».

Потом мы стоим у настенного плана города, и Мурсалов прокладывает предполагаемый маршрут мотоциклиста, на ходу поясняя:

— Теперь понятно, почему мой дорнадзор на шоссе с ним не встретился. Когда дежурный сообщил о происшествии, дорнадзор сразу поехал в город, а мотоциклист, кёпе оглы *, в это время уже свернул на пустырь.

На карте это очевидно. Дорнадзоровец двигался к Морской по катетам прямоугольного треугольника, а беглец — по гипотенузе, которая почти напрямую вывела его к шоссе. Так они и разминулись.

— Это ясно, — сказал Шахинов. — Смущает другое. Судя по всему, он не «наш», по крайней мере, живет не здесь, иначе скрылся бы в городе, а не на шоссе, где исчезнуть несравненно труднее. С другой стороны, ограбление завмага предполагает хорошее знание местных условий. Не говорю уже об удачно выбранном, видимо заранее, маршруте бегства.

— Очень просто, живет в Баку, работает у нас, — сказал Рат.

Широко распространено представление, будто жители «спутников» работают на своих «планетах». В основном оно верно. Но ведь спутник спутнику рознь. Есть «жилые» и есть «промышленные»; наш относится к последней категории, здесь работают тысячи бакинцев, а местных жителей, работающих в Баку, можно сосчитать по пальцам. Все это Шахинову, конечно, известно.

— Надо проверить всех владельцев мотоциклов с колясками. Создаем две оперативные группы. Первая во главе с Сеидом займется «нашими», остальными — Кунгаров.

Расходимся по кабинетам около полуночи. Сержант из дежурной части сообщает, что меня ждут. Выхожу во двор и вижу одиноко стоящий мотоцикл со съезжившимся в седле Алешей Наджафовым.

— Ты почему домой не поехал? — удивился я.

— Хотел узнать... Думал, вы ненадолго... И не холодно, ветра нет. — А у самого зуб на зуб не попадает.

Я предложил ему ночевать у нас, в комнате отдыха для дежурных, но он наотрез отказался.

* Сукин сын (азерб.).

— Отец спать без меня не ляжет, всю ночь ждать будет.

Но отпустить его, промерзшего, да еще на мотоцикле, я не мог. Он послушно пересел в люльку, укутался брезентом.

— С Апшеронской на Вторую Поперечную сверните, и я дома...

Улица короткая и низкая, сплошь из мазанок и таких же белых заборов.

— Здесь мы живем, — останавливает меня Алеша у покосившегося заборчика. Через него и дворик, и дом как на ладони; застекленная веранда ярко освещена. Зато летом они наверняка скрыты зеленым шатром: во дворе уйма деревьев.

— Летом, наверное, у вас цветов!..

— Теперь что... Розы какие были. Теперь я вас не отпущу. Честное слово, очень обидите. И телефон есть.

На веранде старик на корточках, не обращая на нас внимания, что-то быстро-быстро бормочет, ритмично, как китайский болванчик, раскачивая головой.

— Большой отец, совсем больной, — громко объясняет Алеша.

— Тише, — невольно прошу я.

— Все равно не слышит. Своим делом занят. Часами вот так с кем-то разговаривает.

Но старик услышал, только отреагировал чудно. Не оборачиваясь к нам, крикнул:

— Нури! Опять мне мешаешь. Приехал, иди в дом!

— С братом меня путает. Видите, совсем больной. Проходите, пожалуйста.

Пока Алеша возится на кухне, рассматриваю фотографии на стенах. Их много, настоящий семейный альбом. Молодой мужчина, густые курчавые волосы, и усы будто нарисованы тушью; рядом женщина с круглым лицом, круглыми глазами; оба строго в фас, оба смотрят куда-то в единую точку. Тот же мужчина, уже в железнодорожной форме. Трое: мужчина и женщина, с девочкой посередине. Пятеро: мужчина и женщина, девочка и два карапуза. Двое мальчишек на игрушечных лошадках и в настоящих папах. Четверо: мужчина и женщина и два подростка по бокам. Двое юношей обнялись за плечи. Алеша постар-

ше, у второго еле заметен пушок над губой. Два молодых человека уже отдельно. Похожи, но те же черты, резко очерченные у брата, у Алеша словно размыты. А девочка исчезла... Неужели несчастье?

Разливая чай, Алеша поясняет:

— Гюли умерла, когда мы были совсем маленькие. От дизентерии. Не было еще этих...

— Антибиотиков.

— А мы с Нуришкой дизентерией не болели. Плохая болезнь, ядовитая. А отцу лекарства не помогают. Может быть, потом тоже лекарства придумают, сейчас нету. Вы не думайте, с ним можно разговаривать. Он все понимает, по-своему все понимает. Про мух, например, что говорит? «Мух, — говорит, — все ругают. Неправильно ругают. Муха — санинспектор, прилетит, посмотрит, где чисто, сразу улетает. Где грязно, как ни гонь, не улетит. Муха дает знать: человек, будь аккуратный, пока грязь не уберешь, буду тебе жужжать: «Убери, убери...» Зачем мух ругать, говорит, себя надо ругать».

Я киваю на прикрытую дверь спальни:

— Достается матери, наверное... — чуть не сказал «с таким мужем», но вовремя исправился: — С тремя мужчинами. Вы-то хоть помогаете?

— Ушла мать. Совсем ушла. Пять лет здесь не живет. Нури с ней ушел. Почему не пойти? Отчим хороший человек, щедрый. Меня тоже звали. В Баку живут. Мать обижалась: «Квартира большая, всем места хватит, почему не идешь?» Теперь привыкла, раз-два в месяц ее навещаю, не обижается.

«Шляпа я, шляпа. Он же только отца упоминал. Все мимо ушей и с благодушными вопросами лезу».

— Извини, Алеша, не знал я... — И чтобы как-то замаять свою бестактность, перевожу разговор на другое: — У вас на комбинате ребята отличные, дружишь с кем-нибудь?

— Со всеми дружу. Больше всех с Измуком. Жалко его, совсем на лицо похудел. Переживает очень. «Сам, — говорит, — его найду». Зачем улыбаетесь? Он твердый парень, сказал — сделает.

Потом Алеша хлопчет о постели, а я звоню Рату: предупредить, что останусь здесь до утра.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

- В классических детективах непременно присутствует ложный след. А как в реальных ситуациях?
— Куда больше, чем в детективах. Вот настоящий — всего один.

Ночевать у Наджафова мне не пришлось.

— Куда ты пропал?! — Рат буквально кричал в трубку. — Возвращайся немедленно!

У входа в горотдел — патрульная автомашина с надписью «НМ»*, во дворе — оживленная группа вокруг мотоцикла с коляской. Но главные события развивались в кабинете Кунгарова. Едва туда заглянув, я был поражен позой своего шефа. Он стоял посередине комнаты с ножом в руке. Видно, он уже второй раз обращался к мужчине лет двадцати пяти.

— Значит, нашел на стройке и взял для открывания консервов. Только сегодня, и никогда при себе не носил? Сейчас посмотрим.

Рат заставляет мужчину подняться и снять пиджак. Я еще не понял, что за этим последует, тот тем более, а Рат уже выдернул из брюк его рубашку и показал иссеченный подол.

— А что на это скажешь?

«На это» мужчина ничего не говорит, вид у него совсем ошарашенный, и Рат удовлетворенно заканчивает демонстрацию.

— Бешбармак тоже найдем, а не найдем, сам покажешь, куда выбросил...

— Нет, начальник... Нож, правда, носил, а бешбармака нету, клянусь, нету.

Стоило ему произнести несколько слов, ударил запах перегара.

— Значит, не помнишь, что делал вечером двадцать девятого?

Мужчина отрицательно качает головой.

— А как в женское общежитие сейчас ломился, сторожу ножом угрожал — тоже забыл? Или еще не успел?

* Ночная милиция.

На этот раз никакой видимой реакции. А глаза смотрят трезво, и трусливая ненависть во взгляде трезвая.

Рат садится за стол. Там лежат шлем и широкое кепи.

— Ну вот что: до утра постарайся вспомнить все, что забыл. А нет — мы сами напомним.

Задержанного уводят в КПЗ, и я получаю наконец возможность навести справки.

— Разнорабочий второго СМУ, — поясняет Рат. — Живет здесь в общежитии. Между прочим, на восьмом километре у него тетка имеется. Помнишь бакинскую ориентировку? Похоже, он туда челночный рейс совершил. Но вещей не нашли: ни тех, ни самедовских. Или продал, или у кого-нибудь из дружков прячет. Есть там у них, в СМУ, подходящая компания. Боюсь только, не опознает его Самедова, а предъявить мы ей обязаны.

Сегодня нам достали матрацы, но и без них мы бы тоже заснули как убитые.

Утром состоялось опознание, им четко командовал Зонин. Сразу видно: чувствует себя в родной следовательской стихии.

Вдоль стены стояли трое мужчин одинакового возраста, роста. Все смуглые, на всех низко нахлобученные кепи. И все-таки этот чем-то явственно отличается от остальных. Наверно, выражением лица, те-то спокойны. А может быть, мне все это кажется, потому что я его знаю.

Входит Самедова, долго присматривается попеременно то к одному, то к другому. Иногда, словно за подсказкой, оглядывается на нас. Со стороны заметно: она не узнала грабителя, но догадалась, кто из троих подозревается нами. Тонкая штука — опознание: здесь в равной мере опасны и укрывательство, и оговор. А от свидетелей такого типа можно ожидать и того, и другого, в зависимости от ситуации.

Наконец Самедова принимает компромиссное решение:

— Темно был, точно не знаю. Этот похожий.

Она указывает пальцем в задержанного и тут же, будто обжегшись, отдергивает руку, повторяет:

— Темно был, точно не знаю.

Рат хмурится: уверенности такое опознание не прибавило. А тут еще полуопознанный выскакивает вперед:

— Вай, клянусь аллахом, не я. Знаю, что в мага-

зине работает, больше ее не знаю. Вай, начальник, клянись, не я!

Зонин успокаивает его, обращается к Самедовой:

— Значит, у вас нет уверенности, что именно этот человек вечером двадцать девятого декабря ограбил вас и причинил тяжкие телесные повреждения дружиннику?

— Вай, что говорит!

Внешние данные, наличие мотоцикла с коляской, ножа, невразумительность объяснения насчет вечера двадцать девятого — сегодня на допросе Зонину он заявил, что долго выпивал с товарищами, а потом посхали к каким-то женщинам, — все это дает серьезные основания подозревать его не только в злом хулиганстве, за что он, собственно, и задержан. Но, с другой стороны, его удивление как будто искренне. Во всяком случае, наигранным его поведение не назовешь.

Зонин вынужден повторить вопрос, и Самедова отрицательно трясет головой:

— Не знаем, не знаем.

— Объясните тогда, что вы имели в виду, когда назвали этого человека похожим на ограбившего вас?

— Похожий, да. Может, он был, может, другой. Не знаем. — И довольная своим дипломатическим ответом, улыбается следователю так же, как вчера улыбалась Рату.

Зонин занялся протоколом опознания, а нас вызвал Шахинов: с утра пораньше приехал, даром что воскресенье.

Раг все еще не может успокоиться, говорит на ходу:

— Вот проверим, с кем и где пил, и пил ли, и, главное, где мотоцикл в это время находился, посмотрим, что запоем. А ты думаешь, не он?

— Может быть, он. Может быть, нет.

— Ты как Самедова.

— При чем тут Самедова? С самого начала было ясно, что она того не запомнила. Хорошо еще, сейчас ничего определенного не сказала. Ей правда как рыбке зонтик. А расхлебывать нам.

— Не вижу оснований для уныния, — сказал Шахинов. — Самедова никогда не указывала точных примет, следовательно, не может изменить отношение к задержанному. Мы его продолжаем подозревать?

— Да, — подтвердил Раг.

— Подозрения подозрениями, а сворачивать розыск

из-за одного задержанного я не позволю. До тех пор, пока его виновность не станет очевидной, розыск будет продолжаться по намеченному плану. Что у нас с мотоциклистами?

Поиск документальный опережает фактический. Мы уже знали: по учету ГАИ, числится 207 машин искомого типа, и добрые три четверти владельцев — молодежь. Но ведь это еще не все, точнее, не все. В город ежедневно приезжают на работу жители из близлежащих селений и, главным образом, из Баку. Только на стоянке химкомбината выстраиваются десятки мотоциклов, и многие из них учтены не у нас, а по месту жительства.

Шахинова информирует Мурсалов, а Рат ерзает, ему не сидится. Еще бы, ведь если задержанный ночным патрулем тот, кого мы ищем, дальнейшая возня с мотоциклистами — пустая трата времени. И вот вместо того, чтобы уделить подозреваемому максимум внимания, Шахинов занимается распределением обязанностей между оперативными группами, дотошно классифицирует мотоциклистов, обсуждает методы предстоящей проверки. В заключение Шахинов обязывает руководителей групп срочно представить ему график проверки мотоциклистов на ближайшие два дня. Как будто со вчерашнего вечера ровным счетом ничего не изменилось.

— Может быть, мне в первую очередь заняться проверкой причастности задержанного? — не выдерживает Рат.

Шахинов и глазом не моргнул, словно и вопроса никакого не было. Начальство имеет то преимущество, а может, ту уязвимость, что окончательное решение остается за ним.

— Мартышкина работа, — ворчит Рат, составляя график.

Так я и думал: комбинат достанется мне. Без крайней необходимости Рат не покажется там до тех пор, пока ранивший Кямиля не будет найден. Он, конечно, мне этого не сказал. Он сказал:

— Объект тебе хорошо известен. Действуй!

Но действовать на комбинате мне придется только послезавтра: сегодня воскресенье, а завтра первое — праздничный день.

Потом весь день до позднего вечера ушел у нас на

установление алиби задержанного. Конечно, не в части злостного хулиганства: с этим все оказалось в полном соответствии с актом, составленным патрульными. К нападению же на Самедову и ранению Кямиля он не имел никакого отношения.

Зато вечером и радостное известие из больницы: кризисное состояние миновало. Сообщение это пришло как нельзя вовремя, вроде бы мы получили моральное право на хорошее новогоднее настроение. «Ну что, товарищи, уволимся на один год?» — пошутил Шахинов.

Наконец я дома, с порога радостный возглас Марфутика, имен у него больше, чем прожитых лет.

— Очень он соскучился, — сказали мне. — И я тоже.

Хлопнуло шампанское, и мы постарели еще на год. «А ты разве умрешь?» — как-то спросил меня сын. Приятно, когда хоть один человек на земле считает тебя бессмертным.

Новогодняя ночь — короткая ночь.

МОТОЦИКЛИСТЫ ХИМКОМБИНАТА

— *В милицейской практике, наверно, случается, когда розыск заходит в тупик?*

— *Гораздо чаще, чем хотелось бы.*

— *И что же вы делаете в этом случае?*

— *Поворачиваем назад и начинаем все сначала.*

Весь вчерашний день, первый день Нового года, мы потратили на обход транспортных хозяйств, имеющих мотоциклы. Я работал по бакинским хозяйствам, так или иначе связанным с предприятиями «спутника». Но ни мне, ни тем, кто находился здесь, не удалось выйти на след мотоцикла, умчавшегося по бакинской магистрали вечером двадцать девятого декабря.

Теперь остаются только владельцы. Местными жителями должна заняться группа Мурсалова, остальными — мы.

— На химзаводе проверь всех: и местных, и чужих, — напутствовал меня Рат.

Управление химзавода начинает работу в девять. В пять минут десятого я вошел к начальнику отдела кадров. Маленькая комната, узкое асимметрично расположенное окно забрано металлической решеткой.

Пока товарищ Белоцкий, начальник отдела кадров, рассматривал мое удостоверение, я с тоской косился на стенку из четырех канцелярских шкафов. И, как выяснилось, совершенно напрасно. Выслушав меня, он достал из ящика образцы пропусков и молча протянул мне. В них стояли четкие оттиски силуэтов автомашины и мотоцикла.

— Учет у нас поставлен хорошо. Без такого штампа на химзавод в машине или на мотоцикле не пропустят. А стоянка для личного транспорта у нас на территории оборудована.

Про стоянку я знал и без него. А вот хороший учет меня обрадовал.

Через полчаса я имел список работников химзавода, приезжающих на своих мотоциклах. После отсева, который я произвел уже без помощи кадровика, в нем осталось двадцать девять человек. Все с подходящими возрастными данными, у всех мотоциклы с колясками. Я вычеркнул из списка и Алешу Наджафова. Но двадцати восьми тоже за глаза хватило.

Я снова листаю папки. Белые одинаковые листки по учету кадров. Пятеро кончили техникумы, двое инженеров. Многие приобрели специальность в армии, некоторые работали еще до службы, двенадцать продолжают учебу. Родился, учился, служил... Родился, учился, работал, призван... Почти половина сменила несколько мест работы. Ну и что ж из того? Когда и поискать, как не в этом возрасте. Мелькают перед глазами фотокарточки: одна, другая, третья, десятая. Большинство ребят длинноволосы. Обыватели на таких косятся: чего же ждать от него с такими волосищами? А ребятам они ничего, не мешают ни работать, ни учиться, ни водить мотоцикл. И нам, милиции, их волосы не мешают. Вон у Юры Саркисова какая шевелюра — Бобби Мур позавидует, — а ведь ни одному хулигану не спустит. Конечно, не всем они идут, некоторые просто утрируют моду, вот этот, например, обезьяной выглядит. Но ему-то самому нравится? Ну и носи на здоровье...

Товарищ Белоцкий перестал обращать на меня внимание. Звонит, выходит, пишет, словом, занимается де-

лом. Меня это устраивает. Не нужно притворяться, что углубленно изучаешь стопку трудовых книжек. Я давно их отложил в сторону.

Ситуацию глупее для сыщика не придумаешь. Я хочу как можно скорее найти преступника. Я не хочу, чтобы он оказался одним из этих парней.

Переворачиваю лист бумаги со списком и рисую завитушки. То ли дело хозяин кабинета: точно знает, как завести учетную карточку, оформить на работу, провести приказом перемещение по должности или повышение разряда. Все расписано, все четко обусловлено. Наверное, поэтому и почерк у него каллиграфический. Мысль, буква, слово, фраза... Всегда в строгой последовательности, ничего не прыгает, не обгоняет друг друга. Так и должно быть у хороших кадровиков, ведь они бухгалтеры профессиональных возможностей. А мы бухгалтеры человеческих душ. Запутанная бухгалтерия, редко в ней сходятся концы с концами.

Я сижу и рисую завитушки. А ведь я тоже знаю, чем мне следует сейчас заняться. Мне следует поговорить с начальниками цехов, цехомами, комсоргами. Я наверняка узнаю многое. Это не то, что официальные характеристики. Бывало, уже под стражей какой-нибудь дебошир, а ты про него читаешь: «Принимал активное участие в выпуске стенгазеты». Здесь, на месте, в живых беседах я, конечно, узнаю многое. Но в том и сложность нашей бухгалтерии, что даже это «многое» оказывается совершенно недостаточным. Допустим, кто-то лодырь и прогульщик. Можно подбивать сальдо? Черта с два. Лодырь и прогульщик, а вот в чужую квартиру, открой — не войдет. Легко сказать, проверь, способен ли на преступление? Для этого с человеком рядом пожить надо. Нет, не нравится мне такая проверка, не даст она ничего реального, только людей взбудоражит. Слухов и сплетен потом не оберешься. А нам нельзя от себя людей отталкивать.

Но без широкой проверки, раз нет подозреваемого, не обойтись. Только что проверять, вот в чем дело. Выбрать фотокарточки и предъявить Самедовой? Все-таки фотокарточки — реальность. Объективно — да, но в данном случае получится проформы ради: она его и в натуре не запомнила. Кямилль пришел в сознание, но, как выяснилось, нападавшего тоже не разглядел.

Факт пребывания на работе — реальность. Значит, можно установить, кто из списка работал двадцать девятого во вторую смену. Это я сделаю. Стоп. Самому этого делать не следует. Товарищ Белоцкий... Подтянут, аккуратен, от него веет порядком и основательностью. Не подведет.

— Сделаю, — сразу сказал он.

— Хорошо бы, как со списком мотоциклистов, побыстрее. Не получится?

Он задумался, потом так же жестко повторил:

— Сделаю.

По выражению его лица я понял: понадобится такая оперативность для меня лично, не сделал бы. Так прямо бы и ответил: не смогу. Но тут не для меня. Я только что слышал, как он за стенкой разговаривал со своими инспекторами. Речь шла о самочувствии Кямяля.

Ни о чем не спрашивая, он переписал фамилии и тут же ушел. Я переворачиваю лист, перед глазами опять список. Судя по специальностям, он уменьшится на пять-шесть фамилий, не больше. А что делать с оставшимися? Не знаю. Не ладится у меня с проверкой. Системы не получается. Такой, которая либо последовательно исключала бы непричастных, либо прямо привела к виновному. Только такая система проверки оправдана. В моей нет внутренней связки. А у других она есть? Тоже нет. Мы все в равных условиях.

Так ли уж в равных? Неизвестный мотоциклист действительно как с неба свалился, но только не для меня. После сообщения Колесова я словно о старом знакомом услышал. Вор-мотоциклист сидел в моем воображении со дня встречи с Егором Тимофеевичем. Как я собирался его разыскивать? Такой, казалось мне, обязательно будет хвастать перед приятелями, подбивать кого-нибудь в напарники. Полез-то он в первую попавшуюся квартиру. Поднялся до пятого, последнего этажа — типичный прием случайного вора, «вора на час», который, не зная обстановки, стремится обезопасить себя от нежелательных встреч, — позвонил и, убедившись в отсутствии хозяев, отжал дверь. В результате взял ерунду да еще чудом разминулся с Игорем Саблиным. Я думал: не будет он больше рисковать один, начнет подыскивать дружков и... попадется. А если он решил продолжать в одиночку, только тактику изменил? Не наобум, а при-

смотревшись и хитро рассчитав и будущую выгоду, и вероятность риска. Маленький магазинчик, но ассортимент товаров в нем универсамовский. Там можно купить сахар, масло, колбасы, халву, вино, консервы, чайную соду, мыло, зубную пасту и даже крем для обуви. В таких невзрачных с виду магазинах торговля бойкая, значит, и выручка солидная. А инкассаторы не приезжают, и напасть предстоит всего-навсего на женщину, да еще в идеальных для нападения условиях. Так оно и получилось, если бы не дружинники. Они ему все смешали. Тут не до денег, тут ноги унести. Преследователь не отстаёт, а до мотоцикла рукой подать, если им не воспользоваться, он выдаст быстрее любого соучастника. В такой ситуации третьего не дано: либо отсидеть за разбой, либо попытаться спастись, совершив новое преступление. Он выбрал второй вариант.

«Вор на час» оказался грабителем и потенциальным убийцей?

«В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань...» Кража и разбой — составы преступлений, что и говорить, далеко отстоящие. А может быть, когда-то были далеко отстоящими, и мы продолжаем по инерции считать их таковыми? Давно уже канули в небытие все эти «домушники», «медвежатники», да и вообще исчезает тип преступника-профессионала. Нам все чаще приходится иметь дело с преступниками «на час». Именно они как раз и способны сегодня нахулиганить, завтра взять то, что плохо лежит, а послезавтра... Послезавтра, если их не остановить, могут и на жизнь посягнуть. И наряду с тем они где-то учатся, где-то работают, «состоят при деле». В этой их внешней устроенности и заключается, по-моему, главная опасность. Они, «как все», и эта способность к мимикрии одновременно и «защищает» и губит их. «Защищает» от контроля семьи, коллектива, наконец, общества в целом. Про таких родственники обычно говорят: «попал в дурную компанию». Но это уже на следующем этапе, когда отсутствие принципов, шарахание от одной цели к другой, неумение да и нежелание соразмерить собственные возможности с потребностями, приводит их за черту, обозначенную Уголовным кодексом. Случайно ли переходят они эту границу? Думаю, нет. Преступник «на час» — не случайный преступник по неосторожности или в силу какого-то исключительного стечения обстоятельств. Они

знают, на что идут, знают, чего хотят и умеют до поры до времени скрывать двойственность, полосатость своей жизни. Вот таким я и представляю себе его. Полосатым.

Но чем это знание поможет наладить систему проверки?

Ага, Белоцкий вернулся: я опять слышу его голос за стенкой. Его голос... А что, если?.. Сперва мысль кажется мне неприемлемой.

Но мой список уменьшился всего на пятерых, и мысль как-то форсировать проверку не только этих двадцати трех, но и всех остальных местных владельцев мотоциклов полностью завладела моим воображением.

Первым моим намерением было посоветоваться с Кунгаровым. Однако еще до проходной я основательно поостыл. «Во-первых, — думал я, — нет уверенности, что Егор Тимофеевич помнит голос человека, с которым месяц назад обменялся несколькими фразами. Во-вторых, и так далее, сваливается куча вопросов, которые нужно заранее обдумать. Если я сам найду на них утвердительные ответы, мне удастся убедить Кунгарова. Если нет... тогда и убеждать незачем».

Но прежде всего я решил поехать к Егору Тимофеевичу. До встречи с ним нет смысла не только с кем-то обсуждать, но даже обдумывать эту идею с голосом дальше.

Егора Тимофеевича я застал во дворе. Он сидел на скамейке, недалеко от своего подъезда, в шинели с поднятым воротником и шапке-ушанке, скрывавшей добрую половину лица. Я и не узнал его, я догадался, что это он.

Когда я заговорил, старик вздрогнул от неожиданности.

— Здравствуйте, Егор Тимофеевич.

Я умышленно не сказал ничего больше. Мы виделись, то есть разговаривали, неделю назад. Я замер, ожидая реакции.

— Здравствуйте, здравствуйте... Вы ко мне или так, случайно?

— К вам, Егор Тимофеевич.

— Что-нибудь случилось? Какой-то вы сегодня озабоченный?

«Радоваться рано, — подумал я. — Со мной была беседа, с ним — брошенные вскользь фразы».

— Случилось. Тот мотоциклист ограбил женщину, тяжело ранил дружинника.

Оба мотоциклиста давно слились для меня в единый, цельный образ, но сейчас ловлю себя на том, что впервые сказал об этом вслух, да еще постороннему человеку.

— Вот оно как... Раз ему судьба спустила, так он ее во все тяжкие испытывать. Закусил удила. Такой сам не остановится.

Казалось, старик строго смотрит на меня. Я стоял перед ним, как провинившийся новобранец. Наступила неловкая пауза. Верно, он угадал мое состояние, сказал:

— Садитесь.

Я послушно сел рядом.

— Плохо вы воюете. Плохо.

Не знаю, как я отнесся бы к такому замечанию, сделай его кто-нибудь другой. Не уверен, что оно показалось бы мне справедливым.

— Я к вам за помощью, Егор Тимофеевич. Не откажете? Один неделикатный вопрос. Поверьте, не из любопытства. Вы меня сейчас сразу узнали или были какие-то сомнения?

— Теперь понятно, какая вам нужна помощь. Узнаю ли я его по голосу. Вас ведь это интересует? Попробую.

Удивительный старик.

«Но как объяснить свою уверенность в горотделе. Тем, кто его не знает», — думал я уже на улице.

Прежде всего, какие сомнения могут возникнуть у третьего лица, не знающего старика и не имеющего моей уверенности, скажем, у того же Кунгарова? Я старался быть предельно объективным, мысленно выдвигал самые каверзные возражения.

«Узнавание по голосу убедительно, когда речь идет о близко знающих друг друга людях, — скажет Рат. — Как же можно доверять твоему свидетелю, вдобавок ко всему инвалиду?»

«Я всю жизнь прожил среди медиков, ты знаешь, — отвечу я. — Природа справедлива, она компенсирует порок высокой приспособляемостью организма. Глухие угадывают реплику по губам, их зрение намного острее нашего. Слепой живет в мире звуков, нам, зрячим, даже трудно представить себе, насколько высока чуткость его слуха».

«Расскажи о них Зонину, прокурору, судьям, может,

и убедишь. Только согласятся они с тобой как частные лица. Я ведь тоже с тобой не спорю. Но заметь: я, а не начальник уголовного розыска».

«Верно. Я и сам понимаю: с юридической точки зрения наше опознание не будет доказательством. Но нам важно найти виновника. Зонин может со мной не согласиться, а ты именно как начальник уголовного розыска, обязан попробовать».

«Допустим, ты меня уговорил. Как ты все это представляешь осуществить практически?»

«Очень просто. Сеид начнет проверять техническую исправность мотоциклов у всех отобранных поисковыми группами».

«Откуда уверенность, что он обязательно окажется среди них? А если нет, сколько времени потратим даром?»

«Не даром. Мы гораздо быстрее, чем всеми другими видами проверок, исключим большой контингент. Останутся случайные лица, эпизодически приезжавшие сюда из селений и Баку».

«А если твой старик ошибется и мы исключим преступника?»

«Это замечательный старик, Рат. Я уверен в нем».

И все вернулось на круги своя. Значит, по существу, основному возражению я могу противопоставить лишь свою субъективную уверенность в Егоре Тимофеевиче.

— Ты что-то быстро закруглился с химзаводом, — удивился Рат, когда я вошел к нему в кабинет.

— Еще быстрее, чем ты думаешь. Я от Егора Тимофеевича.

— Это еще кто?

— Свидетель по краже у Саблиных. Тот, что первый открыл мотоциклиста.

— Понимаю. Решил за ту нитку потянуть. Может быть, ты и прав, для таких совпадений наш город слишком мал. А что Егор Тимофеевич?

— Замечательный старик. Сказал, что сумеет опознать вора по голосу.

Рат задумался, но убеждать его не пришлось.

— Это легко осуществить в процессе технической проверки мотоциклов. В конце концов с мотоциклистами нам так и так знакомиться поближе, — сказал он.

Идею с новым опознавателем Шахинов встретил без энтузиазма, но возражать не стал.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

- Как вы думаете, останется ли профессия сыщика на все то время, пока будут совершаться преступления, или научно-техническая революция скажет свое веское слово и в вашей области?
- Обязательно скажет. Совершенная ЭВМ, наверное, сумеет даже «вычислить» преступника, но принципиальное различие между ней и сыщиком останется.
- Какое же?
- Для машины полученный результат вычисления непреложен, а человек может им пренебречь.

К концу следующего дня ожидалась первая группа из числа отобранных мотоциклистов.

За Егором Тимофеевичем я заехал заблаговременно. Встретил он меня по-деловому, сухо. Сборы его были недолгими. Он не спросил меня, куда мы едем, вообще ни о чем не спрашивал. В машине я пытался заговорить на отвлеченную тему, но понял: меня не слушают. За всю дорогу он только раз обратился к шоферу: «Клапана подтянуть надо бы». Мне открылось в Егоре Тимофеевиче новое качество, вернее, главное его качество, которое до сих пор проявлялось как бы завуалированно, подспудно. По моим наблюдениям, у каждого человека есть что-то главное, определяющее самую суть не характера даже, а личности в целом. Для Егора Тимофеевича это глубинная, идущая не от форм проявления, а от органической потребности серьезность к себе, к делу рук своих, в отношениях с людьми, во всем — от модели электромобиля до предстоящего свидетельства. Поэтому он сейчас так официален. Он выполняет не мою просьбу, он выполняет свой гражданский долг, таким, как понимал его всю свою жизнь. Такой не сболтнет наобум, не перешагнет через собственные сомнения.

ГАИ расположена в автономном помещении, здесь же во дворе горотдела. Два сотрудника из команды Мурсалова будут проводить техосмотр, а он сам визировать результат. Таким образом, через его кабинет в порядке очередности пройдут все нужные нам владельцы мотоциклов. Я еще раз попросил Сеида не увлекаться само-

му, насколько возможно дать выговориться собеседнику.

К началу техосмотра мы с Егором Тимофеевичем заняли позицию в смежной с мурсаловским кабинетом комнате. Здесь помещался учетный сектор, комната соединена с кабинетом дверью с окошечком. Оно и обычно остается открытым — простое, но надежное средство быстрого наведения необходимых справок.

Так мы и работали, как говорят моряки, на параллельных курсах. В первый день проверки Сеидом, как и мной, по-видимому, руководило чувство настороженности. Ведь подсознательно мы подготовились в одном из посетителей вдруг обнаружить преступника. Сеид был сдержан и строг.

Однако уже на другой день к нему вернулась обычная доброжелательность. Он не только журил нерадивых владельцев, но и давал практические советы по устранению неполадок, пускался в объяснения причин тех или иных неисправностей, приводил факты трагических последствий их несвоевременного устранения, в общем, стал самим собой — Сеид-меллимом, начальником ГАИ, майором милиции Мурсаловым. Чтобы напомнить ему о существовании в моем лице уголовного розыска, мне приходилось иногда покашливать. Собственно, на третий день я и сам перестал избранно реагировать на голоса, звучащие в кабинете, с удовольствием слушал комментарии Сеида к результатам каждого техосмотра. Только Егор Тимофеевич оставался по-прежнему собранным и внимательным, а ведь тема застенных бесед куда ближе ему, автомеханику, нежели мне, водителю-дилетанту. По-моему, он ни разу не расслабился, ни на минуту не забыл, что за стеной в любой момент может появиться тот.

Между тем наша проверка и для Кунгарова стала лишь одним из направлений поиска. В первый день работы с участием неофициального опознавателя Рат дважды появлялся в учетном секторе. Он смешно вытягивал шею, прислушиваясь к голосам в кабинете, довольно косился на неподвижно сидящего старика. А вчера вечером встретил меня в своей обычной манере.

— Подслушиваешь? Ну, ну...

Впрочем, Рату не до шуток. Он занимается «мотоциклистами-дикарями». Так мы называли тех, кто не живет и не работает в городе. Даже выявление их, эпизодически здесь появлявшихся, представляло большую сложность. Это характерно для Рата. Он всегда берет на себя самую трудную задачу. Лишь бы она не ущемляла его самолюбия, как, например, появление на химкомбинате до поимки преступника.

— Вот, — сказал Рат. — На рынке в числе других «ненаших» по воскресеньям появлялся молодой высокий мужчина, продавая сапоги, куртки, шарфы. Скорее всего, спекулянт, но проверить надо. На Апшеронской улице несколько раз видели на мотоцикле с коляской высокого, чернявого парня в спортивной куртке. Его «наколол» Эдик — он работает в контакте с участковыми, — теперь выясняет, к кому и когда тот приезжал. Еще один, подходящий по возрасту и приметам, бакинец, систематически появляется у Каспрыбстроа; там у него девушка по имени Надя, работает нормировщицей.

— По твоим каналам что-нибудь есть?

По моим каналам ничего не было, хотя все эти дни я занимался не только «подслушиванием».

Егор Тимофеевич, как обычно, сидел рядом с совершенно непроницаемым лицом. Я уже не думал об удаче здесь. «Удачно, — думал я, — что техосмотр начался с утра для работавших сегодня во вторую смену. Значит, вся вторая половина дня останется целиком в моем распоряжении. Было бы недурно, если Надю и сегодня встретят на мотоцикле. Чем раньше я начну проверку, тем меньше времени уйдет на эту парочку, и, если все в порядке, пусть себе «амурничают» на здорье».

Вдруг я заметил, что Егор Тимофеевич поднялся. В следующее мгновение он положил руку на мое плечо, а другой указал в дверное окошко.

— Он? — еще не веря, шепотом спросил я, и старик утвердительно кивнул.

Теперь надо было действовать быстро, но осторожно, чтобы преждевременно его не спугнуть. Я решительно распахнул дверь, одновременно приготовившись сказать обусловленную фразу: «Сеид, нужно срочно...» Но ничего такого не сказал, потому что в кабинете, помимо Мурсалова, находился только Алеша Наджафов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ

— Какую профессию вы бы выбрали, если условно повернуть время вспять?

— Инспектора уголовного розыска.

— Но в прошлый раз вы говорили...

— В прошлый раз преступление еще не было раскрыто.

— А ты что здесь делаешь? — вяло, чтобы что-то сказать, спросил я. Я знал, что здесь делает Алеша.

— Мне в ночную, вот решил помочь.

— На сегодня закончили, — сказал Сеид. — Ты что, не выспался?

Это не Наджафову, это мне. Верно заметил. У меня, когда я мысленно отвлекаюсь, почему-то вид сонный. Рухнула моя надежда на Егора Тимофеевича. Ошибся он. А ошибся сейчас — мог ошибиться и раньше. Затея с техосмотром держалась на уверенности в опознавателе, теперь она потеряла смысл не только на будущее, но и ретроспективно. Это я виноват: переоценил возможности старого человека, взвалил на него непосильную ношу. Он и не выдержал. Как говорят в таких случаях, добросовестно заблуждался.

Может показаться странным, почему я сразу ударился из одной крайности в другую, не поверил своему свидетелю. Ведь с точки зрения внешних обстоятельств Наджафов вполне отвечал нашему представлению о разыскиваемом. Значит, теоретически мог оказаться преступником. Однако между теоретически возможным и жизненно реальным существует такая же разница, как между детективом и милицейской практикой. Хороший детектив, как блестящая математическая задача с неожиданным финалом: искомой величиной вдруг оказывается не X, а известная с самого начала C. Я люблю детектив, но в жизни мне не приходилось встречаться с «неожиданными» преступниками. В жизни мы боремся не с абстракциями, а с людьми. Тут уж самые прочные логические построения не убедят меня в том, что Алеша Наджафов мог залезть в чужую квартиру. И не только потому, что он хороший производственник и дружинник. И в ряды дружинников проникают правонарушители, и хорошая работа не гарантирует от злого умысла. Тогда

почему же? Я не могу объяснить. Я могу только предполагать, что в этом — феномен человеческого восприятия. Когда-нибудь наука разложит его по атомам и точно объяснит физический смысл, а мне добавить нечего.

Я вернулся к Егору Тимофеевичу и прямо сообщил об ошибке.

— Его голос. Уверен, его.

— Бывают, и очень похожие, Егор Тимофеевич. Тут легко ошибиться.

Старик расстроился. Совесть, что я втянул его в этот эксперимент, но теперь уж ничего не поделаешь.

«Уж лучше бы он и сегодня никого не узнал, — думал я, глядя вслед автомашине, увозившей домой Егора Тимофеевича, — с таким настроением и в Каспрыбстрое не много наработаешь».

Подошел Алеша Наджафов, улыбнулся — в глазах словно кофе разбавили молоком.

— О чем задумались? — И сам же отвечает: — Знаю о чем. Что за работа? Тяжелая работа. Дома, наверное, с Нового года не были?

— Ничего, Алеша, дом никуда не денется.

— Конечно, дом не человек, где стоял, там и будет стоять.

На мгновение его лицо темнеет, но тут же опять освещается белозубой улыбкой, будто облачко пробежало.

— Пойдемте к нам. Я вчера такой бозбаш сварил. Музыка послушаем. У вас же все равно перерыв.

«Может, действительно, чем в столовую идти? Отвлечусь...» А он, видя, что я раздумываю, продолжал уговаривать:

— Честное слово, пойдемте. Сегодня я, правда, без мотоцикла, но туда напрямик за семь минут дойти можно.

При дневном освещении домик Наджафовых выглядит гораздо хуже. На всем печать запустения, неухоженности; во дворе, видно на месте бывшего розария, пожухлые кусты приткнулись вкривь и вкось. В них копошится старик, что-то стрижет большими садовыми ножницами.

— Больной отец, совсем больной. Ножницы тупые, специально не точу: боюсь, порежется. Не может без работы, пусть, думаю, возится. Совсем как ребенок.

Потом мы ели янтарный бозбаш в опрятно убранной столовой, а с кухни доносилось посапывание чайника.

— А чай пойдёмте сюда пить, — Алеша распахнул дверь в комнату поменьше, такую же уютную и чистенькую. — Музыку послушаем.

Он протянул мне транзисторный приемник:

— Японский. Любую станцию чисто берет.

Он ушел за стаканами и чайником, а я хотел присесть на кушетку и вдруг увидел на ней тигренка. Плюшевого, чернополосого тигренка с длинными усами.

Когда Алеша вернулся, я все еще стоял посередине комнаты с транзистором в руках.

— Зачем не включили? Вот смотрите, безмолвного места не будет, чуть повернешь, музыка. Не любите?

— Люблю, Алеша. Где ты такой купил?

Это уже не праздный вопрос. Я отчетливо вспомнил: японский транзистор фигурировал в списке украденных вещей по бакинской краже на 8-м километре.

— Измук, как увидел, тоже сразу спросил. Где мне достать? Нуришка купил в комиссионном, большие деньги стоит. Мне на время привез. «Пока послушай, — сказал он, — когда надоест, возьму». Добрый он.

— А тигренок тоже его?

— Как догадались? — искренне удивляется Алеша. — А-а-а... Просто шутите. Нури о машине мечтает. Когда будет, за стекло повесит. Игрушка есть, машины нету.

В Алешиных глазах точно всплеск молока. Он заглядывает мне в лицо, приглашая посмеяться над причудами своего мечтателя-брата. Но мне не до смеха.

— Значит, игрушку тоже на время, пока машины нет?

— Отчима стесняется. Смеяться будет: «Насос купил, на велосипед денег не хватило».

Вот оно как получилось!.. Я сам недавно в прихожей слышу голос зятя, выхожу навстречу, оказывается, пришел племянник. Четырнадцатилетний мальчуган, а бас отцовский. Не ошибся Егор Тимофеевич, голоса у братьев одинаковые.

Без труда выясняю остальное. Мотоцикл Нури подарил отчим, а тот продал его брату в рассрочку. На машину копит, а пока пользуется и проданным старшему брату мотоциклом. Редко, но берет, иногда на пару дней. И вчера мотоцикл у Нури остался; Алеша ездил мать навестить.

Вот такие пироги. Я, обжигаясь, пью чай. Красивый чай, вишневого цвета. И охотничий азарт пропал.

Что мне делать с тобой, Алеша? Как добавить к твоим несчастьям еще одно? Скоро все узнают, что вор и грабитель — твой брат. Не избежать и тебе злословия, каждому всего не объяснишь, рот не закроешь. А ты сидишь и доверчиво поглядываешь на меня своими кофейными глазами. Если я промолчу, ты подумаешь потом, что я отнесся к тебе, как к Нури, усомнился в твоей честности, умышленно скрыл от тебя правду. Может быть, спросить напрямик: как бы ты поступил с человеком, который за кольцо и часы чуть не убил твоего товарища, к тому же предал отца и тебя, превратив отчий дом в место хранения краденого, который использовал проданный тебе же мотоцикл для преступлений? Я знаю, что ты ответишь, настоящий комсомолец, настоящий человек, славный Алеша, не бросивший неизлечимо больного отца, не соблазнившийся благами в новой материнской семье. Но имею ли я моральное право подвергать тебя такому испытанию? Какой бы он ни был, он твой родной брат, Нуришка. Тебе будет казаться, что ты предаешь его, а ведь порядочному человеку невыносимо трудно предать даже предателя.

Я понял, что уйду, ничего не сказав. Думай, Алеша, потом обо мне как угодно. Моя совесть чиста: я не поверил свидетелю, я не поверил своим глазам, но я никогда не скажу тебе об этом, так же как не скажу сейчас, что поеду за твоим братом, и вещи, которые я случайно увидел здесь, сегодня будут изъяты, станут уликами. Я сыщик, и для меня твой Нуришка — «полосатый», тот, кого я искал.

Он вышел меня проводить.

— Будь здоров, Алеша. Хочу, чтобы ты знал: всегда к тебе будут относиться с уважением и Кямиль, и другие товарищи с комбината, и мы все твои друзья из милиции.

Миную заборы и на первом же перекрестке чуть не попадаю под мотоцикл. Родной мотоцикл с синей каймой по бокам и Эдиком в седле.

— Своих не давлю! — кричит он, резко затормозив.

Я с удовольствием плюхаюсь в люльку, спрашиваю:

— Куда это ты разогнался?

— Вышел на одного типа. Видели его на этой улице, но приезжал он, оказывается, на Вторую Поперечную. Сегодня я адрес раздобыл.

Я взглянул на табличку. Ну да, Апшеронская.

— Поехали в отдел, Эдик. По твоему адресу я только что побывал.

— Да ну?! Старик сработал?

— Не обижайся, дважды рассказывать сил не хватит. Потерпи пару минут.

Потом мы ехали уже в машине по бакинской магистрали. Впереди сутулился Рат.

— Какой подлец, — кажется, в пятый раз повторил он. — Дома не будет, весь город переверну, а возьму его сегодня.

Переворачивать город не понадобилось. Не пришлось даже проехать полдороги к Баку. Наджафов-младший сам торопился нам навстречу.

Все произошло неожиданно и быстро. Увидев мотоцикл с коляской, Рат сбросил газ. В поравнявшемся с нами мотоциклисте я узнал его. И никаких погонь с глубокими виражами на поворотах. По нашему сигналу он тут же остановился, верно, принял нас за работников ГАИ. Когда же понял, кто перед ним, бежать не имело смысла. Он быстро понял и другое: о нем уже знают все.

Обыск прямо на обочине принес поразительный результат... В карманах куртки — бешбармак и женские золотые часы.

— Самедовой, — определил Эдик. — Даже ремешок не снял.

«Неужели и их хотел отдать на хранение брату? — подумал я. — Мол, для будущей жены купил, пока пусть у тебя полежат, а то отчим смеяться будет».

— Опять к нам на дело наострился? — спросил Рат.

Нури вскинулся, уколол ненавидящим взглядом:

— Сами же знаете, зачем еду. По телефону одно говорил, а сам продал.

Абракадабра какая-то получается, но пусть думает, что нам все понятно. Несколько наводящих вопросов, полунамеков, и, пока едем обратно, выясняется причина нашей неожиданной встречи. Ему позвонил Хабибов, сказал, что узнал его, но пока никому не сообщил об этом. Нури, конечно, перепугался, предложил встретиться, «потолковать»; место встречи — наш городской пляж. Туда Нури и спешил, приготовив для объяснений два аргумента: золотую подачку и кастет. По мысли этого негодяя, ход переговоров должен был показать, какой из них при-

дется пустить в ход. Всего этого он нам, естественно, не объяснял, но догадаться было нетрудно.

Значит, и Измуку каким-то образом удалось отыскать настоящего виновника. «Каким-то», потому что узнать его он не мог. Скорее всего с помощью все того же ничего не подозревавшего Алеши. Тут Измуку было гораздо легче, чем нам: они с Алешей друзья, он знал о существовании Нури и раньше, оставалось сопоставить уже известные факты и уточнить детали.

Наш торжественный въезд — автомашина с задержанным в сопровождении Эдика на наджафовском мотоцикле — взбудоражил горотдел. В окнах и здесь, во дворе, знакомые лица.

— Как насчет Алеши, не забыл? — Я напоминаю Рату на ходу.

— Конечно, нет. Шахинов специально попросит Зонина, чтобы произвел обыск только в Баку; здесь Алеша сам передаст ему вещи брата.

— Я за Хабибовым.

— Поедем вместе.

Этого у Рата не отнимешь: когда чувствует себя виноватым, стремится загладить вину сам и как можно скорее.

При виде одинокой фигуры на огромном пустынном пляже у меня щемит под ложечкой. Ведь он бы его убил. Не остановился в тот вечер, не остановился бы сегодня.

— Садись, мушкетер, он не приедет, — говорит Рат. — Ну вот, опять кипит. Перестань, а то шапка начнет подпрыгивать.

Он обнимает его за плечи, ведет к машине.

Оказывается, у Измука не было окончательной уверенности, просто сильно его подозревал.

— Если б он на меня бросился, значит...

— Эх, Измук, Измук... Разве так можно? Он и бросился бы, а что это для тебя означало, для безоружного?

Мысленно я добавил еще: «такого щупленького, с маленькими смешными кулачками».

— Я самбо знаю. Среди ночи разбудите, любой прием сработаю. — И понизив голос: — А в тот вечер я... Когда Кямилль сразу упал... я... растерялся я... Сам не знаю, как получилось... Потом я...

— Ну, раз и самбо знаешь, — перебил Рат, — берем тебя в уголовный розыск на штатную работу.

А что, может быть, и всерьез стоит задуматься

Измук, поступить в нашу школу?.. Сыщик из него наверняка получится.

Рат развалился на сиденье огромным сытым котом, только что не мурлычет. Когда проезжали по Морской, оборачивается всем корпусом к нам:

— К Кямилю не сегодня-завтра пускать начнут. Сейчас заранее расскажу, какой у нас с ним разговор получится. «Ну вот, Кямиль, ты жив, здоров, скоро на свадьбе гулять будем. А мы уж думали, табличку на Морской менять придется», — скажу я. «Какую такую табличку?» — удивится он. «С названием. На твое имя переделывать». — «Ты мне такую судьбу желаешь, да? Ты мне такой враг, да?» — «Ну не сердись, Кямиль, пошутил». — «Ай, Кунгаров, совсем большой вырос, а шутишь как ребенок». Сами убедитесь, слово в слово угадал. Ну что, по домам?

Нет, я сейчас домой не поеду. За мной еще один долг. Мне надо к Егору Тимофеевичу. Сегодня же.

Дневник Пройдохи Ке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Я, Артур Кинг, родился в 1930 году в Шанхае. Отец мой, Джеральд Кинг, больше двадцати лет представлял в Китае известную торговую фирму «Краун колониэл энд К^о». Это был человек, весьма далекий от политики. Быть может, поэтому семья наша уехала из Шанхая только в ноябре 1950 года; мы могли бы, вероятно, жить там и дальше — новые власти относились к отцу корректно и не спешили причислить его к списку «нежелательных» иностранцев. Насколько я помню, дела «Краун колониэл» шли в то время совсем неплохо, новые китайские власти закупили у фирмы несколько крупных партий дорогостоящего радиотехнического оборудования. Впрочем, все это не столь уж важно.

Я окончил в Шанхае американский колледж, проявив, как меня уверяли, явную склонность к математическим наукам. Это радовало отца, который хотел, чтобы я поступил в Высшую коммерческую школу в Лондоне. Но мои собственные желания не соответствовали желаниям отца. Карьера коммерсанта не привлекала меня — она представлялась мне слишком скучной. Во мне бродили недостаточно еще осознанные, но неодолимые стремления жить независимо, не пребывать долго на одном месте, не обременять себя грузом прочных привязанностей, столь свойственных натуре англичанина даже в наше время.

Моя мать — дочь русского офицера, бежавшего из России в 1920 году. До сих пор я не пойму, что легло в основу странного брака моих родителей. Это были на редкость разные люди. Отец являл собой воплощение достоинства и хладнокровия — ничто на свете, кажется, не могло поколебать его твердых принципов, приобретенных еще в юности. Мать, напротив, отличалась характером неровным, была вспыльчивой, порывистой. Говорят,

это типичный русский характер. Не знаю, так ли оно, но от матери во мне гораздо больше, чем от отца. Иными словами, я больше, наверное, русский, чем англичанин...

Как бы там ни было, в Высшую коммерческую школу я не поступил. В 1952 году, спустя год с небольшим после возвращения из Шанхая на Британские острова, отец мой скончался, и мне, по существу, была предоставлена полная самостоятельность в выборе жизненного пути. Имея средства, я мог бы окончить Оксфорд или, скажем, уехать в Австралию и заняться там каким-нибудь небольшим, но прибыльным бизнесом. Но вместо этого я направился в Гонконг и стал репортером в «Гонконг стандарт».

В этой проклятой газете я сделал себе имя. Впрочем, что тут удивительного? Я молод, не обременен семьей, довольно бегло говорю на шести языках, не считая, разумеется, английского и русского. Туда, где пахло сенсацией или паленым — уверяю вас, это почти одно и то же, — редакция неизменно направляла именно меня. За шестнадцать лет я исколесил добрую половину нашей удивительной планеты. Мне есть что рассказать...

Ну хотя бы эту историю. В моей судьбе она сыграла совершенно особую роль.

2

Началась она с того момента, когда я познакомился с молодым вьетнамцем и через несколько минут понял, что влип. Глунейшее положение: я сидел на его тетрадах и не знал, что делать.

Во мне боролись два человека — один хотел встать и уйти, а второму очень не хотелось расставаться с тетрадями. Встать и уйти было просто. Те, за стеклом веранды, не задержали бы. Пока я не вызвал у них интереса. Тетради... Они не видели, что я сел на них. Руки мои лежали на столе, я вертел зажигалку.

Мы одновременно с парнем поглядели на окно веранды. Он умел владеть собой — удивительно в его годы. У него лишь побелели мочки ушей.

Он вдруг поднялся. И, не прощаясь, пошел к выходу. Он шел не спеша, огибая столики. Никто не обращал на него внимания. Люди пили пиво, какая-то американка лет под тридцать в обществе троих солдат морской пехоты призывно хохотала, два невозмутимых голландца

пожирали омара, какой-то парень в яркой рубашке тряс музыкальный автомат. По-видимому, автомат был сломан и он хотел получить монету назад. Я действовал машинально. Уронил зажигалку, нагнулся и с ловкостью, которой никогда не ожидал от себя, сунул тетради под полу пиджака.

Я услышал выстрел, когда подходил к портье. Звук был слабый. Пистолет был с глушителем. Американка перестала смеяться и вскрикнула. Послышался стук упавшего кресла. Голландцы наверняка лишь на минуту перестали жевать, да парень у автомата грязно выругался по-испански. И все! Здесь Макао! Здесь главная заповедь — занимайся своим делом и не суйся в чужие, если не хочешь принести в жертву богу Любопытства собственную жизнь.

Я знал гостиницу. Я не поднялся вверх по лестнице, устланной красным синтетическим ковром, а рванул боковую низкую дверь и выскочил в коридор. Черным ходом, перепрыгивая через корзины с овощами, я выбежал в переулок.

На тротуаре, усыпанном шкурками бананов и мандаринов, обрывками бумаги, два велорикши играли в карты. Один проигрывал — это было ясно по хмурому выражению его лица.

— Чья очередь? Поехали! — крикнул я. — Быстрее!

Но они не обратили на мои слова внимания. Тот, кто проигрывал, взял колоду, разделил на две части, привычным точным движением загнул края карт, потом отпустил, и карты веером легли друг на друга.

— Поехали! — опять крикнул я: если он начнет сдавать, их не поднимешь с места лебедкой. — Второй пусть едет следом, — сказал я и прыгнул в коляску. Рикши поднялись и неохотно сели в свои седла.

Хорошо, что я нанял их обоих, — второй не наведет на след погоню. Что может быть интересного в этих тетрадях? Опять что-нибудь про воровство военного имущества в Сайгоне? Или свидетельские показания о крупной взятке? Мне не хотелось возвращаться к подобной теме. Я и так нажил себе врагов среди американцев. Два года назад я расшевелил муравейник.

Мне открыла служанка — новенькая, скорее всего малайка. Я прошел в холл.

— Клер! — крикнул я. — Добрый вечер!

Клер вышла с сигаретой в руке. Мы поцеловались.

У нас с ней были странные отношения. Когда-то я присылал ей по утрам цветы. А теперь мы слишком долго знали друг друга.

— Опять? — спросила она.

— Да, — ответил я. — И, кажется, задержусь. Мне хотелось бы несколько дней никуда не выходить.

— Я сварю тебе кофе, — сказала она и вышла. Она удивительно меня понимала.

Тетради жгли мне руки, я бросил их в кресло. Нужно было обдумать, что же произошло. Вчера позвонила Дженни. Она сообщила, что хочет меня познакомить с интересным человеком. Дженни... На ней стоит остановиться особо. Она сама по себе была любопытным явлением — так сказать, яркая представительница «золотой молодежи» района Южно-Китайского моря. Это особый район нашей старушки Земли, своего рода разросшийся до гигантского масштаба Шанхай начала тридцатых годов, прозванный в то смутное время «клоакой мира». Мекка авантюристов всех мастей и национальностей. Здесь умирали с голода и от обжорства, от неудачной любви и венерических болезней, выигрывали в карты за ночь состояние и из-за трех пиастров расставались в туалете с жизнью; здесь ты мог поздороваться за руку с человеком, а через минуту узнать, что он прокаженный; рассуждать целый вечер о поэзии с профессиональным сутенером и дать чаевые министру. Здесь бесчисленное количество ресторанов, сомнительных кабачков, открытых притонов и одна-единственная библиотека в Гонконге — у английского губернатора. Безалаберное, жадное, безжалостное, скупое, пьяное и безответственное сборище бизнесменов, искателей приключений, мужественных рыбаков и не менее отчаянных контрабандистов, сборище людей, где удел честных тружеников — беспросветная нищета, а за богатство приходится расплачиваться собственным «я», привязанностями, не говоря уже об идеалах юности.

Дженни по национальности китаянка. Отец ее был уроженцем одной из южных китайских провинций, мать наверняка северянкой. Северяне отличаются от южан не только языком и обычаями, у северян слишком много примеси маньчжурской и монгольской крови. Отец Дженни был дельцом. Звали его господином Фу. Я не хочу называть его подлинного имени, потому что «подлинных» имен и фамилий у него было не меньше десят-

ка. Официально господин Фу занимался перепродажей антикварных вещей.

С Дженни мы познакомились в самолете английской авиакомпании. Она возвращалась из Калифорнии домой. В Штатах она училась: окончила какой-то университет, получила диплом, который потеряла на первой же пирушке. Откровенно говоря, меня всегда интересовали подобные «модернизированные» молодые люди, которых в Америке открыто называют «цветными». Вернувшись из-за океана, они отказываются подчиняться родителям, не признают обычаев предков, хотя зов крови у них необыкновенно силен. Не один ростовщик из Сингапура или Манилы проклял тот момент, когда послал своего отпрыска набираться ума-разума к проклятым «заморским чертям». «Модернизированных» юнцов куда больше интересовали проблемы секса, чем цены на бананы, чем разработка ценных пород древесины в малярийных болотах Суматры. Дженни (ее настоящее имя было, конечно, иным) лепетала что-то о поп-искусстве, каких-то нелепых, лишенных элементарного смысла пьесах студенческой группы любителей театра...

Потом мы встретились в Гонконге. Она завизжала и бросилась мне на шею. Возможно, это считалось хорошим тоном там, в Калифорнии. Целый вечер она жаловалась, что умирает от скуки, а потом зверски напилась.

Вообще-то, к Дженни следовало относиться осторожно. Вполне возможно, что разговор по телефону был подстроен ее отцом. И все же я, как бабочка на свет, полетел в Макао. В таких случаях я уже ничего не мог с собой поделать. Когда парень сунул мне под столом тетради, первое, что пришло в голову, — это провокация. Но потом я увидел за окном людей. Но ведь я видел и Дженни. Я не мог ошибиться. А может быть, это была не она? Нет, все-таки это была Дженни! Правда, девушка стояла в тени. Зачем она пришла сюда? Если бы хотела предупредить об опасности, она нашла бы способ.

И все-таки парня убили. Скорее всего он знал что-то. Ладно, как-нибудь разберусь, что там написано.

Вошла Клер. Служанка вкатила вслед за ней столик.

Что больше всего мне нравилось в доме у Клер — отсутствие тяжелой старинной мебели. Такая мебель загромождает квартиры европейцев в Гонконге и Ма-

као — своего рода атавизм, в здешнем климате огромное трюмо и серванты быстро гниют и превращаются в ужасную рухлядь, в комнатах с вечно опущенными жалюзи стоит прочный запах плесени. А у Клер было светло и просторно.

— Ну что ты будешь врать на этот раз Павиану? — спросила Клер.

Павианом мы называли моего шефа. Шеф в самом деле походил на павиана — вытянутая вперед нижняя челюсть, спутанная грива волос. Сходство усиливала его речь: когда он злится — а это было его обычным состоянием, — он выкрикивал какие-то нечленораздельные фразы, как будто рычал павиан.

— Что-нибудь придумаем, — сказал я.

Я хотел было рассказать ей о том, как полчаса назад убили парня, но решил, что она будет уже в который раз упрекать меня в легкомыслии. Женщины так устроены, что, если с мужчиной случается несчастье, они считают, что в нем прежде всего виноват он сам. Может, поэтому я и не женился. Трудно даже представить, как бы я жил, будучи женатым.

— А что ты ему скажешь?

— Что женюсь на тебе. И у нас уже началось свадебное путешествие.

— Не валяй дурака. Я спрашиваю серьезно.

— Скажу, что есгь дело. Кажется, что-то интересное.

Соединили довольно быстро, быстрее, чем я предполагал. В трубке вначале треснуло, потом раздался хриплый голос Павиана.

— Шеф, — сказал я, — как вы себя чувствуете?

— С каких это пор вы стали интересоваться моим самочувствием? Что там у вас, выкладывайте.

— Я задержусь на неделю.

— Что там?

— Объясню, когда приеду, — сказал я.

Павиан буркнул что-то, в трубке опять щелкнуло, разговор кончился. Я мог считать, что разрешение получено.

— Полдела сделано, — сказал я. — Прикажи, чтоб постелили. Спокойной ночи, Клер! Не знаю, что бы я делал, если бы не ты. Ты молодец!

Я пошел наверх в свою комнату, которую всегда мне отводили, когда я приезжал в этот дом.

А тетради все-таки стоили риска. Это стало ясно после первых же страниц — кое-что, правда, я перефразирую, домысливаю, некоторые имена сознательно опускаю. У меня для этого есть основания плюс неточности, которые бывают при всяком переводе, тем более с такого текста, который попался мне, — сплошная головоломка. Конечно, мой перевод дневника, тем более те места, которые я восстанавливаю по памяти, стилизован, но я думаю, читатель от этого не будет в обиде...

...Я засел за тетради. Из-за них убили человека?
Я читал первую тетрадь.

Тетрадь

«...Два дня не работаем. Наш сброд перепился... Так хочется увидеть Балерину... Но почему-то около столовой появились охранники во главе с Комацу. Проклятый японец! Он требует, чтобы его величали Комацу-сан, не хватало еще прибавлять к его имени «сейсан», я с удовольствием прибавил бы — «бака»*. Комацу-бака. Охранники не разговаривают. Хотя бы теперь нас не охраняли как пленных! Мы сами согласились сюда ехать. Работу сделали. Давай гони доллары на бочку, и гуд бай.

Вообще-то я ловкач. Сейчас, вспоминая, как обвел джи-ай**, смеюсь до икоты. Нашли дурака! Правда, когда проглотишь горячее, забываешь, как было горячо. Кто-то погорел... Говорят, какой-то журналист из Гонконга тиснул статью о медикаментах. В Шолоне все воровали. И в Сайгоне тоже. Янки ташили все, что под руку попадет. Гнилушка Тхе был лишь подставным лицом. Откуда у него могут быть медикаменты? Американский полковник ему продавал. Целый пароход растащили, а на мне захотели поехать охотиться на тигров. Пройдоха Ке не такой дурак, как они думали. Пройдоха Ке смылся. Что я заработал на медикаментах? Ничего. Все матери отдавал, да старший брат требовал денег. Он «сидит на игле». Ему морфия нужно все больше и больше. Он сумасшедшим становится, если с утра не «ширнется». Убить может. Это американцы его приучи-

* Бака — дурак (японск.).

** Джи-ай — прозвище американских солдат.

ли «ширяться». Вначале он курил марихуану. Потом она на него перестала действовать. На героин у него денег нет... Какой только дрянью он не кололся! Страшно смотреть было, когда его ломало. Ненавижу наркоманов!

Американец и Гнилушка Тхе выкрутились. Меня хотели засудить. А теперь ищите птицу... Пройдоха Ке улетел туда, где отцветает заря и расцветает лотос.

Теперь через три дня я буду на материке. Надо проститься с Толстым Хуаном. Он у нас повар. Тоже воюга.

И все-таки обидно до слез, что охранники щелкают затворами, как совы клювами. Утром и вечером рассаживаются за запретной чертой и в карты режутся, а ты не смей к черте подойти. Куда отсюда убежишь? Кругом море. Правда, на юге и на востоке темнеет земля. Может, и там острова? На карте здесь островов тьма, мы даже не знаем, на каком из них находимся. Запрятались, как змеи в камни, в десяти метрах от берега не найдешь входа в бухту. Кругом джунгли. Отсюда бежать некуда. А у катеров тоже охрана.

Я пришел в гараж, простился с самосвалом. Сколько я на нем земли вывез! Джунгли, как тигр — голыми руками клочка земли не вырвешь. Они дикие и непобедимые, джунгли. Они вызывают уважение. Их здесь называют по-малайски — римба. Мы проложили дорогу, забетонировали ее. Но вскоре через бетон пробились побеги бамбука...

...Почему я стал писать дневник? Потому что мне попала красная тетрадь, изготовленная где-то на Тайване. На каждой странице тетради стоит иероглиф жи — дня, юэ — месяца и нянь — года. Это дневник. На первой странице портрет тощего Чан Кай-ши в генеральском, или кто он там — фельдмаршал? А, вспомнил, генералиссимус, так вот, в мундире генералиссимуса. Красуется как попугай! И чего вырядился? Я пишу дневник и потому, что мне скучно. Третий день ничего не делаем, пора сматываться. Мне что-то не нравится затишье. От таких, как Комацу-бака, всего можно ожидать. Я видел, как они сбросили со скалы Маленького Малайца — не того, что сейчас дрыхнет в бараке на нарах, накурился «дури» и дрыхнет. А другого. И что хорошего в наркотиках? Откровенно говоря, я никогда не пробовал даже марихуаны. У нас на улице многие мальчишки и

девчонки курят. Правда, те, кто сочувствует партизанам, те не курят, курят те, кто связан с американцами.

Так вот, про моего брата... Он калека. Партизаны ему ногу оторвали: нет, его не привязывали к танку, как это делают янки с пленными, — он попал под минометный обстрел. Старший брат обслуживал американские турбинные многоцелевые вертолеты «Белл Н-1». Сильная машина! Еще есть «ганшипс» — «пушечные корабли», бронированные вертолеты «бойнг-вертол». Они начинены боеприпасами, как креветка икрой. Восемь пулеметов или автоматических пушек, управляемые ракеты-минометы... У этих машин задача — кружить над джунглями и стрелять по всему, что движется. Представляю, как по тебе шарахнет из шестиствольного электрического пулемета! Он выпускает в минуту шесть тысяч пуль, я сам читал в рекламном проспекте. Я видел однажды, как бьет электрический пулемет. Он сжигает около двух киловатт, что-то вроде трех лошадиных сил. Когда красные захватили американское посольство в Сайгоне, контрразведка арестовала жителей ближайших кварталов. Я случайно попал в облаву — шел за товаром к Гнилушке Тхе. У нас в городе привыкли к выстрелам, ночью лучше не выходи — патрульные с перепугу перестреляют. Офицер узнал меня (они вместе с братом служили где-то) и отпустил. Да я бы и сам выкрутился — Гнилушка Тхе выручил бы... Или откупился бы, нашел бы выход — не раз попадал в облавы. Самое страшное — попасть в облаву в джунглях. Тогда все — считай, ушел к предкам; еще повезет, если сразу пристрелят, а то назовут партизаном и будут пытаться. Старший брат рассказывал, как пытаются партизан или тех, кого подозревают в связи с партизанами. Даже со скотиной такого не делают! И вот, когда я пробирался домой, я видел, как палят из шестиствольного пулемета. Выстрелов не слышно, вроде турбина ревет.

Расскажу про брата. Он тоже попал в облаву, еще до Ки*. Брата схватили и загнали в казарму, напялили форму. Он попал на плато где-то около Камбоджи. Ему надо было сразу дезертировать, а он замешкался. Однажды ночью партизаны обстреляли аэродром — пожгли самолеты, ударили и по казармам, и старшему

* Ки — один из ставленников американцев.

брату оторвало ногу. Он уже тогда курил марихуану. Там все курят марихуану. А когда вернулся домой, злой, как демон темноты, меня отлупил костылем... Самые злые калеки, у кого нет руки или ноги. Когда он вернулся домой, то «сел на иглу». Это смерть. Лет восемь, не больше, живут такие».

4

В дверь постучались. Вошла Клер. Хоть я и жил в ее доме, эта комната считалась моей, и сюда никто не входил без стука, даже хозяйка.

— Ты что, нездоров? — спросила она встревоженно.

— Эх, Клер! — сказал я. — Наверное, ты абсолютно права — я легкомысленный человек. Видишь эти бумаги?

Я показал ей стопку тетрадей.

— Из-за них убили человека. А ведь в злоключениях этого парня косвенно виноват и я.

— Ты всегда преувеличиваешь.

— Нет. На этот раз самую малость. Помнишь, я написал о хищении медикаментов в Сайгоне? Тогда было проще.

— Очень серьезно? — спросила Клер.

— Никогда еще не было так серьезно. Что-то нужно предпринимать. Что? Пока не знаю. Ясно одно — немедленно надо отсюда выбираться. Конечно, убить европейца им сложнее, чем вьетнамца. Но ты знаешь, сколько существует способов избавиться от ненужного человека...

— Я могу чем-нибудь помочь?

— По-моему, нет. Чем ты можешь помочь? Переодеть меня сестрой милосердия?

— Прости, дорогой, — сказала она мягко. — Если это серьезно, может, на этот раз ты посвятишь меня в свои дела?

Я ни разу не рассказывал ей о тех перипетиях, в которые попадал. И дело было не только в моей профессии или в том, что я жил в Гонконге, а она в Макао, собственно, в другом государстве, — дело заключалось в ином. Я, как гончая, весь напрягаюсь и делаю стойку, когда чувствую опасность.

Нет, таким людям, как я, нужно действовать в оди-

ночку. Зачем ставить под удар друзей? Ведь чем дольше живешь, тем труднее находить их.

— Кое-что самому неясно, — сказал я. Я старался говорить как можно спокойнее.

— Артур, — сказала она, — на этот раз ты мне расскажешь, что с тобой приключилось. Я имею право знать. Мне надоело быть игрушкой в твоих руках. Ты всегда являешься неожиданно и так же исчезаешь. Я женщина, и, если тебе бывает трудно, мне в сто раз труднее. Мне иногда хочется просто поговорить. Я не могу добраться до тебя даже по телефону. Игра у нас нечестная. Поэтому выкладывай!

Меня приперли к стене. Но все-таки я не имел права рассказать правду — бывают такие обстоятельства. «Знания умножают страдания» — классическая формула. Если принять ее за истину, то в наше время счастливыми могут быть только клинические идиоты.

— Тут об одном острове, — начал я издали. — Интересно... необычайно.

Я помолчал, Закурил.

— Он отсюда недалеко, сравнительно, конечно, тем более если исчислять расстояние парсеками и прочими космическими мерами длины. Он здесь, в нашем районе... Я как-то был там...

Теперь я знал, что ей говорить!

— Я был на этом острове, — повторил я. — Помнишь, была сенсация?

— Какая? Подстроенная тобой или твоими коллегами? Скажи честно, многие из ваших сенсаций хотя бы на треть основывались на фактах?

— Понимаешь, — сказал я, — наша газета выходит каждый день. Действительная сенсация, если подходить со строгими мерками моего отца, случается не чаще одного раза в месяц. Но газет десятки, и в каждой газете сидит свой Павиан. А ему нужна пища — он рычит и требует сенсаций. Между прочим, в истории есть классический пример... Это сказки Шехерезады «Тысяча и одна ночь». Шах — это почти мой Павиан — требовал от Шехерезады каждую ночь сенсации, в противном случае ей грозила смерть. Мне в подобной ситуации грозит увольнение.

— Ладно, — сказала она. — Не уклоняйся в сторону! О какой сенсации ты говорил?

— Ах да! — Я замолчал. Она сегодня была удивительно последовательной, мой друг Клер. Но говорить что-то нужно было, и я продолжал: — Так... Вот... Лет пять назад на этом острове поймали «йети»*. Я мчался туда сломя голову и все-таки опоздал. Проторчал в Шолоне два дня, пока не уговорил капитана одного лесовоза подбросить меня к острову. Капитан согласился. Но как выбраться оттуда?.. Это я должен был придумать сам.

И все-таки я опоздал — там уже сидели ребята, человек двадцать. Стояли палатки, на газовых плитках варили кофе, а весь берег был усыпан банками из-под пива. У каждой цивилизации свои следы. Ребята встретили меня дружным хохотом. Еще бы! Их подбросили на вертолете американской метеослужбы. Меня янки ни за что бы не взяли — я для них «нежелательное лицо». Это все после статьи о хищениях в армии США.

И видела бы ты этого «йети», эту сенсацию! Солдат микадо. Он не помнил, как его зовут. Он сидел испуганный, маленький, личико сморщенное, как у старой обезьянки. Ребята дали ему куртку и штаны. И когда ему мазали язвы, то его приходилось держать. Он визжал, брыкался и пытался укусить. От него шел такой запах... У тебя бы на неделю пропал аппетит. А моим коллегам хоть бы что! Они влили ему в рот несколько глотков джина. Дурацкая шутка! Он чуть было не взорвался и не убежал в джунгли. Он залез на дерево, потом свалился и запел. Да!.. Выл, как гиена. Волосы дыбом вставали! А Боб из «Рэйдио корпорейшн», ты его знаешь, я был у тебя с ним, цыкал на нас и записывал «песню Робинзона XX века» на пленку. Говорят, прилично заплатили. Пленку купили японцы, их можно понять. Двадцать лет солдат Страны восходящего солнца прыгал по острову во имя величия нации. От этой песни теперь бы все новобранцы разбежались. А потом я неделю жил жизнью этого солдата — меня не взяли на вертолет, как я и думал. Правда, была разница — у меня была палатка, сигареты, виски и транзистор. Я слушал мир, и он был далек, точно на другой планете.

* Йети — одно из названий снежного человека.

Где-то кипели страсти. Закрылась всемирная выставка. В Японии увеличили бюджет на военные нужды — что-то около полтриллиона иен. А мне до всего не было никакого дела. Я лежал, смотрел в небо. Первые мои каникулы в жизни — за целую неделю я не написал ни строчки. Представляешь, ни одной строчки. Я жил в полудреме. Отпускаешь все тормоза. Прекрасное и страшное состояние. Сидишь с удочкой у кораллового рифа. И неважно, поймаешь рыбу или нет. Ты чувствуешь себя частицей моря, неба и солнца. Единственное, чего мне не хватало, это тебя.

— Ты говоришь правду? — спросила Клер. Глаза у нее почему-то стали грустными и мечтательными — так дети слушают сказку.

— Да, я думал о тебе, — сказал я, сам веря в то, что говорю. — Представляешь, мы выстроили бы бунгало. Целый день качались бы в гамаке, слушали джунгли, а когда надоест, брали бы акваланги иплыли к рифу. Меня бы не терзал Павиан, тебя бы не терзали твои клиентки... А на рождество я обязательно написал бы письмо Павиану и выложил все, что думаю о нем.

— Понимаю, — сказала Клер, и огонек потух в ее глазах. — Ты бы написал... А письмо положил бы в пустую бутылку и бросил в океан — может быть, человечеству посчастливилось бы лет через сто ознакомиться с твоим посланием редактору.

— Я не думал, что ты такая... практичная, — сказал я, делая вид, что обиделся.

— Ты нарисовал очень заманчивую картину, — продолжала Клер несколько раздраженно. — Но ты первый не выдержал бы и сбежал. Если я для тебя неременная принадлежность рая, то почему ты не задерживаешься у меня больше двух дней? Почему даже эти два дня ты работаешь?

Клер грустно улыбнулась.

— Почему я работаю? — переспросил я. — По простой причине... В этом мире может выжить тот, кто лучше работает, у кого быстрее реакция, кто может получить больше информации и, самое главное, обработать ее, извлечь полезное. И опять работать! Эту гонку пресса называет прогрессом, а все остальное — застоєм, началом отмирания.

Не знаю, поверила ли она в то, что я ей рассказал. Пожалуй, все-таки поверила. Во всяком случае, сделала вид... В конце концов, я не солгал. Был и японский солдат, и остров — я действительно прожил несколько чудесных дней на маленьком острове, где меня развлекали шум прибоя и крики попугаев. Но тот был другой остров. И совсем в другом месте, и в другое время.

Поверила Клер или нет, у нее хватило такта оставить меня в покое. Что-то изменилось в наших отношениях, я это почувствовал сразу. Да, у Клер появилось что-то новое... Пожалуй, я не удивлюсь, если в один прекрасный день ее служанка скажет, что хозяйки нет дома...

Женщины не любят неопределенности. Они требуют четкого солдатского ответа: да или нет.

Я подошел к окну. Жалюзи были опущены. Жалюзи, как темные очки — ты видишь, что происходит вокруг, но никто не видит выражения твоих глаз.

Я оглядел улицу. Мелькали редкие машины. Плавно катились коляски велорикш. В Макао нет правил уличного движения в европейском понимании. В Европе шофера задерживает полиция, если он едет на красный свет. За такое нарушение берут штраф или лишают водительских прав. То в Европе. А в Макао вообще нет водительских прав — эти права автоматически предоставляются хозяину машины с момента покупки ее. Светофоры... Их поставили на главных улицах. Пустая затея. Никто не обращает на них внимания. Чтобы вести машину по кривым многолюдным улицам португальской колонии, требуются крепкие нервы и реакция партерного акробата. Каждую секунду под твои колеса может метнуться неосторожный прохожий или рикша встанет поперек улицы. Поэтому никто не удивляется, когда машина влетает на тротуар и шаркает крылом о стену или даже сбивает человека на пороге собственного дома. Правила, конечно, кой-какие есть, неписанные и тем не менее обязательные. Нельзя, например, сбивать бампером иностранцев, полицейских, нельзя давить собак, нельзя пересекать улицу, если по ней движется похоронная процессия...

Я еще раз оглядел улицу. Ничего подозрительного пока не было. Пожалуй, рановато тем, кто застрелил парня в баре, выйти на мой след. Жалюзи. Они не

только защищали от безжалостного солнца, через них было хорошо стрелять — идеальное прикрытие для покушения.

Я отошел от окна, достал зажигалку в виде пистолета. Настоящего оружия я никогда с собой не беру. Это уже было не правилом, а законом. Его ввел когда-то русский путешественник Миклухо-Маклай. Нервы могли не выдержать... Нервы — это только нервы. И если бы я в минуту смертельной опасности пустил в ход оружие, это был бы верный конец, и не только карьеры журналиста. В конце концов, все те, за кем я охотился как репортер, испытывали ко мне не большую ненависть, чем к москиту, а москита прихлопывают, когда он кусает. Но если москит летит по своим комариным делам, вряд ли кто, кроме одержимых, будет его ловить. Мой бизнес — новости. Это все знали и даже относились ко мне сочувственно. Я был газетчиком, этим объяснялось все. Но если бы я выхватил пистолет и открыл стрельбу... Откровенно говоря, мне не хотелось ездить под усиленной охраной, как видному политическому деятелю (газета бы на этом разорилась), и я не хотел уходить в подполье.

В данный момент я должен был отлежаться у Клер, как енот. На меня шла охота. Призом служили тетради, и, как только я от них избавлюсь (продам или опубликую), я смогу чувствовать себя в относительной безопасности. Если в тетрадях стоящие сведения, заинтересованные лица вначале даже не будут угрожать. Они вступят в деловые переговоры, будет объявлен негласный аукцион — кто больше? И вот если я по какой-либо причине не захочу разойтись с ними «со взаимным уважением», тогда тетради попытаются похитить. Мне будут угрожать, в ход пойдет все. И опять дело не в том, что кому-то нужна моя жизнь — она будет лишь препятствием на пути к «товару».

Я должен был отлежаться у Клер, а поэтому не имел права тратить впустую время. Выигрывал тот, кто лучше умел работать.

Я снял покрывало с кушетки, свернул его и положил на стол. Потом достал пишущую машинку, поставил на одеяло — теперь не будет слышно стука. Пододвинул дневник. Я сразу переводил и печатал на машинке. На всякий случай я заготовил три экземпляра.

Тетрадь

«...Четвертый день мы ничего не делаем. Комацу-бака просчитался. Комацу-бака дурак, он не заподозрил, что если мы не будем ничего делать, то мы будем думать, а раз мы будем думать, то вспомним все обиды, а если все обиды вспомнятся, их станет настолько много, что они заглушат страх, как джунгли заглушают вырубку. А забыв про страх, люди потребуют ответа: «Чего нас тут держишь? Хватит. Давай расчет. Давай баржу или катер, вези на континент... Работа сделана, ты теперь нам не хозяин...»

Припомнить было что. Старший брат приковылял со Старого рынка... Протез ему так и не выдали, кто-то поживился за его счет. Да если бы и выдали брату протез, он бы давно обменял его на «ширево». Он был конченый, мой старший брат, — красные белки глаз, расслабленная походка: я наркомана вижу за три квартала. Посмотришь в их расширенные зрачки и точно увидишь бездонный океан — глаза ничего не выражают, все чувства заглушены, все мысли заглушены, человек спрятался в себе, как большая светящаяся улитка в раковину. Брат был страшен по утрам. Он вставал опустошенный, злой, как старый шакал, безжалостный, как голодный крокодил, отвратительный, как больной проказой огненный дракон. Для старшего брата не существовало ни матери, ни меня, младшего брата, для него ничего не существовало, кроме маленькой ампулы с белой жидкостью. Он не мог ни есть, ни пить, он не мог дышать... Задыхался, потный и жалкий, и в то же время страшный, как направленный в грудь ствол автомата. Он искал дрожащей, иссушенной рукой шприц. Шприц грязный, ржавая, тупая игла... Он отламывал головку у ампулы... Я на всю жизнь пропитался этим характерным похрустыванием стекла, точно скрипели суставы ревматика. Он погружал в ампулу вонючую тупую иглу, он выжимал каждую каплю. Он колот себя в ногу, в мышцу, без всякой дезинфекции, а если на нем были брюки, прямо сквозь штанину. У него уже появились незаживающие язвы. После укола он замирал, точно прислушивался к чему-то внутри себя, вздыхал с облегчением, не торопясь пря-

тал в коробок из-под китайской туши шприц с иглой, виновато улыбался, и казалось, что он вновь стал таким, каким был до армии, до того, как его схватили во время облавы, одели в солдатскую форму и бросили на растерзание американским сержантам-инструкторам.

— Мама, — говорил он. — Ты не плачь. Я отвыкну... У меня очень болела нога, пальцы на ногах. — И он показывал на култышку. — Мне обещали сегодня работу... Я буду работать. Мы еще заживем, и ты перестанешь вязать цветы...

Мама изготавливала искусственные цветы из обрывков проволоки, цветной бумаги и лоскутков бархата. Она была большая мастерица, наша мама, ее цветы были даже лучше, чем живые... Но теперь она слепа от слез, и цветы у нее получались грубыми и как будто мятыми. И она не зарабатывала даже трети тех пиастров, которые получала когда-то за свою работу.

Мы знали, что старший брат врет и верит в свое вранье. Он почти бредил, потому что реальной жизни для него не существовало — для него существовал лишь страх, что через пять часов потребуются новая ампула, которую он обязательно должен достать, непременно раздобыть, иначе начнутся муки, его начнет ломать. Невыносимо было глядеть, когда его ломало. Он покрывался потом, без наркотика его организм не воспринимал даже воду, не то что рис или мясо... Он задыхался. Он орал на нас. Он был тираном и проклятием, был нашим страданием и позором. Если бы он был один такой на весь Сайгон!.. Они, наркоманы, собирались около кинотеатра «Белый лебедь». Там у них было место сбора: американских солдат и наших — женщин, мужчин, девушек и молодых парнишек... У них были свои законы, своя жизнь, жуткая и туманная, полная грез, разделенная четким ритмом поисков новой порции «счастья»... Другого для них не существовало, для них границей времени была ампула и поиск новой ампулы.

Так вот, мой старший брат приковылял с базара, вызвал меня во двор и сказал:

— Уматывайся поскорее... Немедленно. Сейчас за тобой придут. На «джипе» — полиция. Хватают тех, кто торговал медикаментами. Гнилушка Тхе скрылся, свалил все на тебя и на других «козявок». Бери куртку. Деньги есть? Поезжай на старые склады, спроси

одноглазого по кличке Виски. Скажи, что ты мой брат, он тебя спрячет...

И Виски спрятал — я оказался на странном острове. Интересно, сколько они с братом получили за меня? Продали меня в рабство. На старшего брата я не обижаюсь — он старший брат, а вот одноглазый... Мне не хотелось, чтобы он зарабатывал на мне.

Набирали на стройку только цветных. Нас оказалось восемьдесят человек... Охраняли нас батаки и даяки — безжалостные бандиты, особенно даяки. А во главе банды палачей был японец. Комацу-сан, будь проклята та минута, когда его родила мать. И будь прокляты его дети и внуки, и пусть издает зловоние все, к чему прикоснется его рука! Был еще повар — чистокровный португалец, Толстый Хуан, хозяин Балерины. Каких только тут не было «болтанок» — мулаты и евразийцы, метисы и полукитайцы-полунегры, полуиндийцы-полукитайцы, гремучая смесь из всех языков и национальностей! Приказы отдавали на английском языке, да еще раздавалась ругань Комацу по-японски... Мы толком не знали, кого как зовут, хотя прожили в бараках полтора года. Никто никому не доверял, и если мы не зарезали друг друга, так это благодаря жестокой дисциплине. За малейшее нарушение беспорядка полагался карцер. Когда Маленький Малаец взбунтовался, приехал белый — немец, начальник Комацу. Этот штатский немец — инженер, но выправка у него была военная. Ходили слухи, что он бывший эсэсовец. Он руководил строительством. Комацу лишь следил за нами, поддерживал порядок и чинил суд да расправу. Когда взбунтовался Маленький Малаец, приехал немец... Маленького Малайца избили до синевы. Били «черным джеком» — продолговатым кожаным мешком, набитым песком и свинцовой дробью. «Черный джек» запросто ломает руку или ключицу, а если вместо кожаного мешка песком и дробью набивали снятую чулком шкуру морского угря, тогда... Один хороший удар — и нет человека.

Маленького Малайца вытащили на скалу... Нас построили. Мы жили, как военные. У нас были командиры отделений и взводов — даяки. Нас выстроили, потом Маленького Малайца вытащили на скалу и сбросили вниз. Он разбился об острые камни, и крабы и акулы сожрали его мясо вместе с костями. Помню,

потом расстреляли двоих, тоже перед строем. И мы испугались и перестали доверять друг другу. И если возникала драка, даяки влетали с «черными джеками» и били подряд — никогда не выясняли, кто прав, а кто виноват.

Работали мы по двенадцать-четырнадцать часов: строили тайную пристань. Для кого? Об этом я узнал несколько дней назад. Хуан проболтался. Он говорил и оглядывался. Быстрее бы отсюда выбраться. Комацу что-то затеял. У меня предчувствие. Интересно, отдадут они нам деньги, которые обещали заплатить за полтора года каторги? Если Хуан не наврал, то может произойти всякое.

Комацу успокоил нас.

— Деньги, — сказал он, — выплатят перед самым отъездом. Иначе вы проиграете их в карты. Денег много, получите сполна. Вы теперь миллионеры. О'кэй! — закончил он свою речь.

И мы от радости завопили на всех языках, которые есть на земле.

...Нас повзводно повели в столовую. Воспользовавшись толкотней у входа, я попытался проскочить на кухню. Я хотел увидеть Хуана. Черт возьми, у кухни стояли часовые. И все же мне повезло. Когда я хотел уже бежать обратно, увидел в дверях Толстого Хуана. Он делал мне какие-то знаки. Он казался очень встревоженным. Таким я его еще не видел. Я бросился к нему, несмотря на угрожающие крики часовых. В самом деле, не будут же они стрелять!

Толстый успел только сказать: «Ничего не ешь! Ничего не ешь сегодня!»

Даяк, конечно, ничего не слышал. Но он точно озверел и бросился на меня со штыком. И вот тут-то я понял, что этот охранник может выстрелить в меня или в Толстого Хуана. Я метнулся назад, чтобы смешаться с толпой.

В столовой стоял шум. Это тоже было непривычно, потому что полтора года каждый взвод обедал отдельно. Разговоры в столовой не разрешались. Мой взвод сидел в правом углу, рядом стоял стол, накрытый для гостей.

Вот это да! Я в жизни не видел столько вкусных вещей. Грибы с молодыми побегами бамбука, свинина со сладкой подливой, утка, обжаренная в тесте, раз-

ная рыба — я даже не знал ее названия, груды фаршированных яиц, трепанги. Чего тут только не было! Стояли бутылки с лимонадом, с пивом, и я даже не поверил собственным глазам — с вином.

Меня увидели и закричали:

— Пройдоха, иди сюда! Где ты пропадал? Чего бледный?

— Наверное, уже выпил. Хуан угостил?

Откуда только они все знали? Ведь мы так старались скрыть нашу дружбу. Я на них не рассердился. Теперь это было не страшно — через несколько дней я буду на материке.

— Гляди, — сказал кто-то, — у него уши побелели. Чего разволновался?

— Да, — сказал я. — Они совсем озверели, эти даяки. Так бы и дал в морду.

Подошел командир нашего взвода, ему мигом освободили место. Мы его не любили, но что уж тут — последний раз обедали вместе.

В столовую вошел Комацу. Он шел стремительным шагом и почему-то смотрел вверх голов, точно не видел нас, точно нас не было.

Говорили тосты на своих языках. Говорили все. Но никто никого не слушал и не понимал. Тянулись руки, все хватало закуски, кто-то просыпал рис, целую миску. Почему так страшно наблюдать, когда люди едят толпой?

Комацу не ел. И те, кто сидел с ним рядом, тоже ничего не ели. Они сидели, и им было скучно, точно они проводили кого-то на поезд и теперь не знали, куда им идти.

И музыка! Репродуктор орал во всю мочь. И не слышно, кто что кричал.

Кого-то тошнило...

Кто-то хватал свинину и бросал на пол...

Кто-то плакал, опустив голову на стол...

Кто-то смеялся, как сумасшедший...

Полтора года нас держали на привязи. И теперь мы сорвались с нее.

Мне почему-то стало стыдно. Я пошел к выходу. Я не мог смотреть на все это.

Меня выпустили, и я пошел к баракам. В нашем бараке горел свет.

— Толстый! — обрадовался я и побежал, но это

оказался Мын-китаец. Он только что вернулся из лазарета, где лечили от дизентерии.

— Пройдоха! — бросился он ко мне. — Чем угощали? — Он сглотнул слюну. — Как обидно! Праздничный обед, а мне ничего нельзя есть, кроме рисового отвара! Почему я такой несчастный!

И он ударил кулаком по стене.

— Ну расскажи, ну расскажи...

Я молча лег на нары и закрыл глаза.

Это была жуткая ночь».

6

Тетрадь

«...Я лежал с закрытыми глазами. Из нашего барака было слышно, как ревели репродукторы в столовой; доносился гул голосов, отчетливо слышались команды — это сменяли часовых, да Мын-китаец сидел рядом на нарах и о чем-то расспрашивал меня, жаловался...

Я вдруг вспомнил дом, маму, брата. И странно, только теперь я вдруг понял своего старшего брата. Как же мог я не понять его раньше? Он приходил домой со Старого рынка злым, усталым и голодным и допоздна курил дешевые сигареты с марихуаной. Я ненавидел запах этих сигарет. Он был едким и липким, как глина за стеной храма Неба после дождя. Даже когда я утром приходил в школу, от меня несло этими едкими сигаретами. Однажды учитель остановился около меня, понюхал воздух и сказал грустно:

— Человек рождается чистым, как утренняя роса. Потом роса мутнеет от пыли и высыхает.

Никто в классе не понял, что он сказал, а я чуть не разрыдался — учитель заподозрил меня в том, что я курю марихуану.

Мой старший брат курил. И дело было не в том, что он беспрестанно курил отраву, не выпуская сигареты изо рта. Я наконец понял, в чем дело, — он не нашел места в жизни. У него был талант. Он изумительно лепил из глины... И только ребяташки со всей улицы восхищались его мастерством — он лепил для них игрушки. Они сидели вокруг молча, с восторгом

глядели на его руки, которые мяли глину и рождали из нее фигурки смешных зверюшек.

Вот наконец замолчали репродукторы. Теперь истошно кричали лягушки, стрекотали цикады. И вот я снова слышу голоса людей. Что-то поют, что-то кричат. Смеются. Или дерутся?

Они вваливаются в барак. Они ведут кого-то под руки. Они падают. Встают. Ссорятся. Кого-то разбирают. Они дерутся!

Ха-ха-ха...

Орет ночная птица в темноте. А может быть, это духи предков смеются над нами? Мы что-то нарушили, через что-то переступили.

Ха-ха-ха...

И вдруг кто-то забился на нарах. Я слышу, как он бьется головой о доски, и нары заходили ходуном. И еще один застонал, завыл как зверь. Что с ними? Кто-то всхлипывал. Кто-то упал. Ко мне подбежал Мын-китаец. Он заикался.

— Пройдоха! Им плохо! Они не могут подняться. Зови взводного! Я бегу за Комацу.

У входа лежал человек. Он скорчился, точно его переломили. Я бросился к нему, перевернул на спину. Странно, он был холодный. Это первое, что я сообразил, — он был холодный, какой-то весь напрягшийся, точно его свела судорога и не отпустила. Он был мертв! Я отпрянул. Я испугался. Я помню смутно, очень смутно, что было дальше.

Я бегал по бараку. Еще один... Еще один. Уже никто не ссорился и не кричал, никто не звал на помощь. Лишь кто-то стонал. Их отравили! Всех! Я понял. А как же Хуан? Он знал. Знал! Он предупредил меня! Он спас мне жизнь. Вот почему даяк чуть не выстрелил мне в спину.

Я вышел во двор. В других бараках тоже горели огни. Я не пошел туда. Там тоже не было слышно голосов».

Я стучал на машинке без перерыва часа четыре. Времени было в обрез. Я попытался спокойно, логично проанализировать события.

Как могут напасть на мой след?

Первое. Была провокация. Дженни вызвала меня по настоянию папаши, темного дельца, господина Фу. Но зачем господину Фу нужно было выводить на меня человека, у которого оказался опасный материал? Гангстеры могли пришить парня спокойно, без шума, «в семейной обстановке».

Второе. Им нужен был свидетель. Но почему именно я? Здесь не было логики. В подобном случае приглашается комиссар местной полиции, а если дело серьезное, то первый попавшийся сотрудник Интерпола, которых здесь хоть пруд пруди.

Третье. Мистификация — дело рук сумасбродной Дженни, дикая выходка после очередной попойки. От выпускницы калифорнийского «инкубатора интеллекта» можно ожидать всякого. Я знал одного «модернизированного юношу», который подделал подпись отца только для того, чтобы ощутить остроту переживаний мошенника.

Дженни могла выкинуть какой угодно дикий номер. Но не на этот раз — она была не настолько глупа, чтобы поставить под удар благополучие своего отца, а значит, и собственное.

Оставалось четвертое — тетради попали именно в те руки, в которые должны были попасть, то есть в мои. Тогда... Тогда все менялось. Тогда по моему следу уже бежали гончие.

Возник еще один вопрос: что заставило молодого вьетнамца вести дневник? Не знаю, почему, не могу объяснить. Видно, Ке начал фиксировать факты вначале по чисто эмоциональным причинам, не сознавая, что носит с собой свой смертный приговор. Так или иначе, дневники оказались у меня.

Дальше я действовал по наитию, точнее, по заданной профессиональной программе. Я убрал машинку, расправил покрывало и расстелил его на тахте. Сжег копиру, быстро разложил листы по экземплярам. Первый я спрятал в кипу чистой бумаги, выровнял кипу. Второй экземпляр спрятал в стол, третий я буду носить с собой. Самое трудное было спрятать тетради. Нужно найти нейтральное место, которое было бы на виду и в то же время не привлекло бы внимания. Кто-то обязательно придет и будет искать эти тетради...

Я снял пиджак, полежал на кушетке, потом встал

и позвонил служанке. Когда она вошла, я зевнул вполне натурально.

— Хозяйка вернулась? — спросил я.

— Будет в семь вечера, — ответила служанка на довольно правильном английском языке. Она стояла, потупив глаза, — воплощение покорности. Пожалуй, воплощение даже слишком большой покорности.

— Приготовьте мне кусок хорошо прожаренного бекона, — попросил я.

— Да, сэр, — ответила она несколько старомодно. Видно, до Клер она уже служила в каком-нибудь respectable доме, где ее отлично вышколили.

— Отлично, — сказал я. — Так... А где у вас?.. Ага, нашел, — сказал я, встал и взял лист бумаги. Я сел к столу и достал ручку. И тут я увидел, что пепельница заполнена до краев окурками. Пожалуй, многовато для человека, спавшего всю ночь. Я поспешно прикрыл пепельницу бумагой.

— Я вас попрошу отнести на почту несколько телеграмм, — сказал я и быстро составил несколько телеграмм Бобу. Трудно было предугадать, где его носило в данный момент. Внизу каждой телеграммы я поставил буквы «СВ», что означало: «Срочно выручай».

— Вот. — Я протянул ей телеграммы. — Возьмите деньги.

— Слушаюсь, сэр, — опять повторила она, улыбаясь характерной улыбкой, за которой могло скрываться все, что угодно, — от ненависти до самоотречения. Мне не понравилась улыбка — нечего передо мной разыгрывать беззащитную лань. Жеманная беззащитность в женщине возбуждает у мужчин определенный интерес и еще более определенное желание. Мне было не до изощренного восточного кокетства.

— Идите! — сказал я.

Она ушла. Я видел сквозь жалюзи, как она вышла на улицу. Она успела переодеться. Изумительно! Как актер-трансформатор! На ней была короткая черная юбка и голубенький свитерок. Юбка плотно облегалась ее бедра и, казалось, вот-вот лопнет.

Я взял тетради и спустился вниз. Итак, тетради надо было спрятать в нейтральном месте. Так уж построена логика поиска. Тот, кто ищет, вначале обязательно осматривает те места, куда бы он спрятал сам. Прятать нужно алогично — туда, куда бы ты не спрятал сам.

Я прошелся по холлу. Здесь было голо — японский стиль. Каждый предмет на виду, глазу не на чем задержаться. Это хорошо. Правда, стеллажи с книгами привлекали внимание. Значит, обязательно будут рыться в книгах.

Я прошел в широкий коридор. У входа вешалка, массивный столик, зеркало на стене, под ним тяжелый ящик для обуви. Лежали щетки, ложечки, стояли тщательно вычищенные сапожки Клер. Именно то, что нужно, — люди здесь не задерживаются, даже если пришли в гости по приглашению хозяйки.

Я отодвинул ящик для обуви, разложил тетради на полу, потом поставил ящик на место. У самого порога. Нужно быть Шерлоком Холмсом или полным идиотом, подумал я, чтобы искать здесь. Будем надеяться, что сюда не придет ни тот, ни другой. А я всегда смогу взять тетради незаметно, даже в случае бегства.

8

Тетрадь

«...Я метнулся в кусты. Около барака кусты были негустые, можно пробираться без ножа-голоки, подобрался к скале и притаился, как раненый котенок. Я дрожал от страха и горя. Мои предчувствия оправдались — Комацу-убийца отравил строителей. Вот почему он глядел в столовой поверх наших голов — мы для него уже были мертвецами. Как он мог решиться на подобное — отравить восемьдесят человек?»

Что же мне-то делать? Почему Комацу не пристрелил меня? Я и Мын-китаец — двое, кто остался в живых. Конечно, мы не страшны Комацу-отравителю — у него есть оружие, есть верные даяки, на вышке стоит американский электрический шестиствольный пулемет, из которого в минуту вылетают шесть тысяч смертей. Точно такие же пулеметы стоят на американских вертолетах, с которых они поливают смертью джунгли и рисовые поля на моей родине.

А где Мын-китаец? Неплохо было найти его, вдвоем не так страшно. Вдвоем можно что-нибудь придумать, найти спасение.

Бежать некуда, я на острове. Они прочешут остров,

будут искать меня, точно раненого кабана. Даяки отличные охотники. И если даже они не станут искать меня в джунглях, я сам выйду к ним, потому что иначе умру в лесу от голода и одиночества. Меня все равно пристрелят — преступникам не нужен свидетель. Они так поступают со всеми свидетелями.

Надо бежать, бежать с острова! Но как?

У меня нет даже лодки. На острове единственный катер, его охраняют. А если связать плот?

Они догонят меня на катере и расстреляют из автоматов.

Потом я услышал шаги по тропинке. Метрах в десяти от расщелины в скале, куда я забился, петляла тропка. Кто-то шел по ней. Шел не один. Сердце мое оледенело.

— Пройдоха Ке! Пройдоха Ке! — позвал кто-то.

Я не хотел отзываться.

— Пройдоха Ке! — опять позвали меня.

Я вышел из убежища и увидел Толстого Хуана. Он держал за руку Мына-китайца. Тот стоял и всхлипывал: для китайца подобное проявление чувств — вещь удивительная.

— Я догадался, что ты здесь, — сказал по-явански Хуан. — Я боялся, что ты не утерпишь и съешь что-нибудь... Ты не ел рыбу? Вижу, что не ел, а то бы мы с тобой не разговаривали. Вас осталось в живых двое. Уходите, здесь вас утром увидят. Есть место, где вы сможете спрятаться, чтобы вас можно было найти, когда понадобится.

— Зачем их отравили? — опять спросил Мын. — Нам же обещали хороший заработок. Я честно работал на компрессоре. Меня ждут дома дети и старики. Пусть отдадут мои деньги.

— Потому что вы хорошо заработали, поэтому с вами и разделались, — сказал назидательно Хуан. — Будут пираты платить такие деньги! Они за сотню долларов утопят хоть родную мать.

— Какие пираты? — сказал Мын. — Мы военный объект для янки строили.

— Замолчи! — зашипел Хуан. — Нашел место выяснять, на кого работал. Идите к лагуне и затаитесь. Пищу найдете там, а потом я приеду на велосипеде. Что-нибудь придумаю!

...Нас спас девятый месяц мусульманского кален-

даря — наступило новолуние, начался праздник рамазан. Даяки — истинные мусульмане, они соблюдают пост, едят только два раза в сутки — перед рассветом и после захода солнца. На голодный желудок по римбе не погуляешь. В римбе каждый шаг нужно прорубать голокой. У нас ножей не было — строителям не полагалось иметь даже перочинного ножа. Голоку нам дал Хуан.

Мне повезло, что у меня был друг — португалец Хуан! Перед ним заискивали даже даяки. Если он невзлюбит, то будешь есть один жидкий рис и подгорелые бананы.

У Хуана была одна слабость — обезьянка Балерина, смешная макака с Цейлона. Толстый Хуан любил ее, как сына-первенца. Я не знаю, была ли у него семья или нет, — здесь не принято было откровенничать, здесь звали по кличкам, и никто не знал, что у другого на душе.

Как-то строители рассердились на Хуана. Кажется, он огрел двоих-троих увесистым половником или вместо риса дал вареных бананов. Хуан был груб с людьми, презирал их, потому что он был на острове единственным европейцем. Он рычал не иначе как: «Грязные желтые свиньи! Вы помои у меня жрать будете... Соус им подавай! Я работал в лучшем ресторане Куала-Лумпура, я только приказывал, а тут самому приходится стоять у плиты».

И строители решили отомстить Хуану, толстому, как слон, европейцу, — они задумали убить Балерину. А я спас ее. Может быть, я в ту минуту вспомнил, как брат лепил когда-то из глины забавных зверюшек, может, мною в ту минуту овладело сострадание к забавной мартышке, и я спас ее. И она точно поняла, что обязана мне жизнью.

Так началась наша дружба с Толстым Хуаном, португальцем, грубым и бесчувственным человеком... Я думал так вначале. Но, оказывается, и у европейцев за внешним обликом скрывается другое лицо. Оказывается, Хуан любил живопись. Я сам видел у него в комнате картины в стиле японского художника Огасавары. Оказывается, Толстый Хуан сам писал их, когда у него было на то время и желание.

...Мы прятались с Мыном в кокосовой роще. Хорошо, что еще не начался сезон дождей. На краю лагуны

мы обнаружили целую свалку банок из-под американского пива. Видно, здесь когда-то жили янки. Понятия не имею, как они тут оказались, что они тут делали. Может, когда-то здесь находился пост метеослужбы?

Времени оказалось предостаточно, и я пишу дневник. Кто знает, как обернется дело, так хоть дневник расскажет людям о наших страхах и о преступлении, которое совершилось на этом острове. Китаец Мын лежит кверху животом и без конца жует бетель, как яванец. У него уже зубы от жвачки черные.

...Пришел Хуан. Велосипед он оставил, не доезжая до лагуны. Вряд ли его отлучка с базы вызвала подозрение — Хуан, настоявшись часами у раскаленной плиты, каждый день брал на плечо Балерину и уединялся. Он замкнутый человек.

Хуан принес пистолет, отдал мне. Мына вооружили ножом.

Хуан сказал:

— Сегодня ночью убежим.

И Хуан предложил план побега.

...Мын волнуется. Он тыкается по берегу, как слепой. Без конца обращается ко мне с вопросами, точно не понял плана. Меня это очень беспокоит. С китайцем можно идти на любой риск, пока он не «потерял лицо». Европейцу трудно понять, что такое «потерять лицо». У китайцев есть очень любопытная особенность. Я, например, чтобы отвлечься, пишу дневник. Это дает мне возможность сосредоточиться и не думать о предстоящей опасности. Что ж... Если суждено споткнуться, то споткнешься, даже если не будешь выходить из дому.

Я родился во время войны. И мой старший брат, сколько живет, ни разу не видел мирной жизни. И мать не видела... У нас были врагами французские колонизаторы, потом японцы, потом опять французы — у них был экспедиционный корпус, в который были набраны в основном немцы, эсэсовцы. Потом пришли американцы... Мы, вьетнамцы, ненавидим янки. И Гнилушка Тхе ненавидит, и если имеет с ними бизнес, так только потому, что есть возможность хорошо заработать.

Я много раз видел, как умирают люди.

Я видел, как расстреливают китайцев. Когда китайца ведут на казнь, он идет спокойно, ни один мускул не дрогнет на его лице. Европейцы думают, что это тупая покорность. Они не понимают, что китаец уже

убит до выстрела, потому что он опозорен, «потерял лицо». Достаточно на него надеть шутовской бумажный колпак и повесить на грудь плакат с оскорблениями, как он уже «умер». Ему почти невозможно возродиться, даже если его не расстреляют.

Папуасу достаточно того, чтобы он увидел, как колдун направил на него заостренную кость. Папуас ложится и умирает, и ни один врач его не вылечит. Это потому, что он тоже «потерял свое лицо».

Нас, вьетнамцев, научили умирать. И хотя я не партизан и хотя я не был в джунглях и не поджег ни одного танка янки, я могу поджечь его в любой момент. Я знаю все системы оружия, этому мы учимся с пеленок. Мы учимся ненавидеть врагов раньше, чем учимся ходить. И нрав бомб мы узнаем раньше, чем нрав соседской собаки.

Когда с неба падает бомба, она свистит... Если ты видишь ее цилиндрической, значит, это не твоя бомба, она упадет в стороне. Если бомба кажется круглой — беги сломя голову, не разбирая дороги, считай до тридцати восьми, затем падай в любую канаву — эта бомба твоя. При счете сорок она расцветает взрывом. Мы, вьетнамцы, так привыкли к смерти, что разучились ее бояться.

Мын подошел и спросил:

— Пройдоха, извини, что я тебя побеспокоил. Скажи, пожалуйста, на кого мы все-таки работали? Кого должны проклинать мои дети, если я не вырвусь на материк живым?

— На кого работали? — переспросил я и помолчал, прежде чем повторить слова Толстого Хуана, которые он сказал мне однажды: — Мы работали на госпожу Вонг».

9

Служанка вернулась через полчаса. Ее комнаты на первом этаже, по всей вероятности, имели самостоятельный выход во двор, потому что она неожиданно появилась в холле, опять в черном халате со стеклянной брошкой у воротника. Раньше я не задумывался, сколько ходов и выходов в доме Клер. Напрасно!

На улице зажглись огни. В комнате стоял полумрак, то есть наступило то время, когда углы становятся круг-

лыми, а кошки серыми. Я развалился в низком кресле и курил. И все время чувствовал, что служанка где-то рядом. Она бесшумно возникала и уплывала в полумрак...

Быстрее бы приехала Клер! Если говорить откровенно, я по ней действительно соскучился. Я давно мечтал о таком вот вечере, когда мы посидим вдвоем и поговорим обо всем, а значит, ни о чем. Теперь это будет, может быть, в последний раз. Имя, которым кончалась последняя строка в дневнике Пройдохи, звучало погребальным звоном.

Мадам Вонг... Сорокалетняя вдова бывшего чиновника чанкайшистского правительства Вонг Кунг-кита, некоронованного короля пиратов на реке Янцзы. Высокая правительственная должность Кунг-кита отнюдь не препятствовала его пиратской деятельности, скорее наоборот, способствовала — Чан Кай-ши опирался на темные силы Шанхая, Гонконга, Тяньцзиня. И то, что в состав его правительства входил пират, было вполне закономерно, потому что компрадоры были, по сути дела, рыцарями с большой дороги, сколотившими состояние на весьма темных аферах — торговле детьми, женщинами, наркотиками и так далее... Любой мафиозо в Сицилии выглядел бы по сравнению с ними мелким воришкой.

Помню, когда я учился в американском колледже, построенном американцами в Шанхае отнюдь не в благотворительных целях, ужас вызывало лишь упоминание о «Братстве нищих» — тайной гангстерской организации, с которой, по слухам, имел тесную связь господин Кунг-кит. То, что этот господин Кунг-кит (так его имя звучало на южном диалекте, на севере его фамильные иероглифы безусловно читались иначе) был связан с «Братством нищих», не вызывало сомнения — иначе бы его люди не смогли не то что ограбить какую-нибудь джонку на Великой реке, они бы носа не сунули дальше чайной в порту и вместо риса ели бы куайцзами* — гнилой гаолян. «Братство нищих» было всемогущим и всевидящим. Они могли похитить любого человека на побережье и даже в глубине континента. На моей памяти было похищение дочери бельгийского консула. «Нищие» похитили даже жену самого Чан Кай-ши во время ее увеселительной прогулки по Янцзы. Это был скан-

* Куайцзы — палочки для еды.

дальный случай... Генералиссимусу пришлось раскошелиться, чтобы выкупить свою любимую женушку. К многочисленным анекдотам о мадам Чан прибавился еще один — дескать, бандиты, напуганные ее неукротимым сексом, сами приплатили изрядную сумму, чтобы старик забрал жену, — своего рода переосмысленный рассказ О'Генри «Вождь краснокожих». Никто не удивился бы, если бы вдруг вымысел оказался былью.

Что я знал о мадам Вонг?

До замужества она называлась красавицей Шан, танцевала в каком-то третьеразрядном кабачке Гонконга. Китаю везет на бездарных артисток! Итак... Ее муж был связан с «Братством нищих». «Братья» скупали, а то и просто похищали детей со всего Китая, уродовали им ручки и ножки, растравляли незаживающие язвы, учили искусству выпрашивать подаяние. «Нищие» владели самыми грязными и мрачными притонами Шанхая и других городов.

Господин Кунг-кит был тесно связан с японской, потом американской разведками. Помимо контрабанды, занимался шантажом. За ним числилось несколько политических убийств. Из правительства Чан Кай-ши ему все же пришлось уйти. Но к этому времени он уже имел капитал и открыл «дело» в Южно-Китайском море. Его банда наводила ужас на побережье.

Погиб господин Вонг в 1946 году при весьма странных обстоятельствах. Пирату было доложено, что в Гонконг идут под парусами три джонки, нагруженные контрабандой — опиумом, часами, текстилем, золотом и швейными машинками... Когда корабли пиратов напали на джонки, их встретил кинжальный огонь из пулеметов: на борту джонок оказались солдаты. Кто-то навел Кунг-кита на «приманку». В течение двадцати минут с рыцарями удачи было покончено. Сам Кунг-кит спасся чудом — успел нырнуть в ночь на маленькой моторке. Он бросил своих ребят на произвол судьбы, предоставив им безграничную возможность умирать за его кошелек.

И вновь не повезло бывшему чанкайшистскому чиновнику — на берегу его схватили и передали португальским властям Макао, которые давно хотели поближе познакомиться с господином Вонгом.

Будущее представлялось господину Вонгу тюремной камерой. И тут кто-то с воли предложил ему побег.

Звериная осторожность, притупленная отсутствием солнца и плохим питанием в португальской уголовной тюрьме*, подвела хозяина — он согласился на побег. Побег состоялся — со стрельбой, погоней и прочими атрибутами, столь необходимыми для подобного рода спектаклей, с той лишь разницей, что часть пуль, выпущенных в воздух тюремщиками, застряла в теле господина Вонг Кунг-кита и причинила последнему много неприятностей. Господин пират от огорчения забился в сточную канаву, полную до краев отбросов и экскрементов, и умер там, разуверившись в честности и гуманности всего человечества.

После этого печального факта бывшая танцовщица Шан растерялась, у нее, как говорится, опустились руки, и в силу этих объективных причин, когда к ней в дом ворвались двое наглых и пьяных мужчин — компаньоны покойного мужа, и начали стряхивать пепел сигарет в курильницы, где еще тлели благовонные палочки, ее нервы окончательно сдали, и она пристрелила наглых господ в упор, чтобы они больше никогда не сме-ли врываться в дома, где еще ходят в трауре.

Позже тоже встречались нахалы, готовые воспользоваться беззащитностью вдовы. Поэтому вдове приходилось не расставаться с двумя пистолетами ни днем, ни тем более ночью. Постепенно все образовалось. Грубияны, которые не захотели подружиться с ней, куда-то исчезли. И мадам Вонг зажила спокойной жизнью. Если ей некого было грабить, она выходила в море, и с джонок спускались «кошки». Люди вдовы вылавливали телеграфный кабель и затем продавали как лом. Она не чу-ралась и торговли, памятуя, что торговля сближает лю-дей с разными убеждениями. Ее флот состоял из ста пятидесяти джонок, новейших торпедных катеров и ка-нонорок. Через «знакомого» она даже хотела купить в Европе подводную лодку, чтобы «изучить» красочный подводный мир Южно-Китайского моря. Но то ли «зна-комый» запросил слишком много комиссионных, то ли вмешались правительства некоторых стран — покупку временно пришлось отложить...

Торговля мадам Вонг была несколько экстравагант-на, но неизменно результативна. Ее доверенное лицо

* Описываемые события происходят до провозглашения рес-публики Португалии.

письменно или по телефону связывалось с капитаном какого-нибудь английского сухогруза. Вначале капитана спрашивали о погоде, о семье, о здоровье... И когда капитан, взволнованный заботой о его здоровье, бледнел и начинал заикаться, его успокаивали и говорили, что с ним ничего не случится, с судном и с его экипажем если он подарит вдове некоторую сумму... Например, в 1951 году британскому пароходству было предложено выплатить вдове 20 тысяч гонконгских долларов. Пароходство «с радостью» отдало эти деньги. Мадам вела себя как богиня моря — она требовала знаков внимания, и, если к ее ногам не клали доходов, она сердилась.

Пароходная компания «Куангси» отказалась дарить вдове каждый год по 150 тысяч американских долларов. И это имело для компании печальные последствия — на ее кораблях начали взрываться мины замедленного действия, а те корабли, которые обнаруживали опасную начинку еще в порту и все же осмеливались выйти в море, бесследно исчезали вместе с экипажем и грузом.

Тайна исчезновения кораблей приоткрылась в марте 1951 года, когда в море выловили полумертвого человека, вцепившегося в доску от ящика. Спасенным оказался матрос с фрахта «Опорто».

Моряк рассказал, что в море их атаковали торпедные катера. «Опорто» взяли на abordаж. Бандиты согнали команду из двадцати двух человек на полубак и расстреляли из автоматов. Матросу повезло, его лишь ранило, он упал за борт и только чудом не стал добычей акул, которые, как пираты, кружились вокруг несчастного судна.

Я мог бы иронизировать по адресу мадам Вонг сколько заблагорассудится, но ирония не всегда является признаком силы духа.

Конечно, мне было немыслимо трудно бороться с преступной организацией, имеющей оборотный капитал в несколько десятков миллионов долларов. Мой капитал составлял пятьсот гонконгских долларов, из которых добрая половина была чужой. Портативная пишущая машинка, потрепанная и неказистая, была единственным техническим средством, которым я располагал. Правда, у меня была перспектива — португальская полиция обещала десять тысяч фунтов за фотографию мадам.

В мае 1963 года один из членов банды мадам предложил японской полиции информацию о своей госпоже. Переговоры велись тайно, без свидетелей, и казалось, что японцам удалось выйти на прямой след. Отступник прибыл в пункт, где была назначена встреча. К сожалению, дать какую-либо информацию о своей госпоже раскаявшийся пират не мог — у него были отрублены руки и вырван язык.

О чем говорил этот факт? Первое — кто-то оберегал мадам. Второе — тайная полиция вдовы работала оперативнее японской полиции. В-третьих, мадам не доверяла никому, даже самым приближенным. Мадам руководствовалась старым правилом пиратов: «Мертвые не кусаются».

Так что молодого вьетнамца убили не зря. В момент нашей встречи агенты мадам Вонг не знали моего имени — теперь мое имя им, конечно, известно. Им достаточно было сфотографировать меня (что они, безусловно, сделали), а затем проверить по картотеке, что за гусь встретился с Пройдохой Ке.

Я закурил. И машинально начал раскладывать пасьянс «Мария-Антуанетта». Этот пасьянс сходилась очень редко, но иногда все-таки сходилась.

Итак... Что могло значиться в моем досье? Какими фактами обладали агенты мадам?

Возможно, они знали меня лучше, чем я сам.

Остров, о котором писал Пройдоха Ке, находился где-то в районе моря Банда, или Молуккского моря... Если это был тот остров, на котором я когда-то побывал, тогда его нужно искать несколько северо-восточнее острова Апи, ближе к Парасельским островам. В случае надобности я смог бы найти его на подробной карте. И если догадка верна... то я вышел на пиратскую базу.

Подобные базы у пиратов были во время Корейской войны. Молодчики мадам совсем обнаглели и беззастенчиво грабили корабли, зафрахтованные даже вооруженными силами США. В ее руки попали огромные партии новейшего вооружения, обмундирования, бесчисленное количество ящиков с галетами, мясными консервами и медикаментами, тысячи мешков муки и риса... Против флотилии мадам был брошен 7-й американский флот, которым Штаты, как щитом, прикрывали Тайвань. Не бездействовала и английская эскадра. Я уже не говорю о военных кораблях Голландии и Португалии.

Но пираты были неуловимы. И дело не в том, что у них было отлично налажено оповещение, — мадам Вонг имела продуманную сеть тайных убежищ, хорошо замаскированных не только с воды, но и с воздуха. Ни один разведывательный самолет не смог обнаружить пристанище пиратов. Теперь я знал, как строились эти базы. Пираты вербовали в странах Юго-Восточной Азии людей с темным прошлым, привозили на объект и, когда строительство заканчивалось, рабочих уничтожали. Работами руководил немец, по всей видимости — бывший эсэсовец, поднаторевший в строительстве лагерей смерти и подземных заводов.

Конечно, наш разговор они подслушали. Тут не было ничего сверхъестественного — электронная аппаратура у гангстеров была новее, чем у полицейских... Гангстерам для приобретения подобной аппаратуры не требовалось запросов в палате общин. Они платили звонкую монету без бюрократических проволочек. Итак, хотя ничего крамольного в нашем разговоре они не услышали, агенты мадам были не настолько наивны, чтобы предположить, что Пройдоха Ке, рискуя жизнью, пошел на встречу со мной лишь ради того, чтобы спросить, какого числа начнется новолуние.

Если они припомнят, как я нагнулся за зажигалкой, то сразу станет ясно, что, кроме зажигалки, я поднял с пола еще кое-что... Значит...

Значит, надеяться мне было не на что.

10

Как говорят психологи, существует несколько видов страха, если страх, конечно, брать в чистом виде, без всяких психологических примесей.

Стеническая форма страха... Существует и такая. Я бы хотел, чтобы моя психика была настроена на ее волну, тогда в минуту опасности я испытывал бы небывалый подъем, мозг работал бы ясно, я бы испытывал боевое возбуждение, как петух перед поединком с соперником по курятнику. Но, увы, хотя некоторая доля авантюризма во мне и была, я не чувствовал радостного вдохновения в минуты опасности. При ощущении опасности я вел себя, как шестьдесят процентов нормальных людей, то есть просто боялся.

Я четко представлял, как разворачивались события на далеком острове, точно сам принимал в них участие...

Двое строителей пошли вдоль дороги, прячась в тени пальм. Ночь, как назло, выдалась яркой. Ке и Мын опасались встречи с даяками. Они не знали, что жители римбы никогда не ходят по ней ночью: это запрещают древние обычаи. И хотя охранники были праведными мусульманами, они помнили и обычаи отцов — ночью человек должен сидеть у костра или спать в шалаше.

Путь казался бесконечным. Ке и Мын торопились. Они должны были быть у скалы, когда луна коснется края моря, — перед рассветом становится темно. Эта темнота — последний шанс на свободу.

И все же они пришли к бухте слишком рано. Тощий рожок луны продолжал светить, как фонарь.

Беглецы спрятались в зарослях. База была отлично замаскирована, и, если бы Мын и Ке не строили ее сами, они бы не догадались, что буквально в ста метрах от римбы в скалах выдолблены пакгаузы, емкости для горючего и масла, жилые помещения, а на верхушке скалы вращается антенна радара, готовая предупредить гарнизон пиратского убежища о приближении чужого корабля или самолета.

Толстый Хуан появился, когда луна села за горизонт. На его плече, обхватив его могучую шею лапками, как ребенок, сидела Балерина. Она, как и даяки, боялась ночи, боялась неясных теней в римбе и поэтому прилипла к хозяину.

Он бросил к ногам вьетнамца огромный узел — все имущество, которым он владел на этом проклятом острове. Деньги, наверное, у Хуана водились, но были припрятаны в каком-нибудь банке на континенте. Он не питал иллюзий. Волей-неволей ему приходилось тянуть повозку мадам Вонг вместе с даяками, немцем и японцем. Если бы его заподозрили в желании дезертировать с острова, с ним немедленно расправились бы без суда и тем более следствия.

Хуан и китаец растворились в темноте.

Умение ожидать — наука трудная, сложная, и не каждому она дается. Пройдоха Ке умел ждать, но даже для него минуты растягивались в часы. И когда он отчаялся, слышался условный сигнал — крик древесной лягушки. Пройдоха схватил узел, потащил его вниз по

тропинке к причалу, где качался на мелкой волне единственный на базе катер.

На гальке лежал убитый даяк — охранник. Его снял Хуан. Мын гремел гаечными ключами в машинном отделении катера. Хуан снимал чехол со скорострельной малокалиберной пушки.

— Хуан, — высунулся китаец. — В баке почти нет бензина.

— Черт! — Хуан начал ругаться вполголоса на всех языках. — Сидите здесь, я принесу две канистры... Как же я не предусмотрел! Они нарочно держат баки пустыми, чтобы никто не сбежал. Ключи от горючего Комацу-сан носит с собой.

— Комацу-бака, — добавил Пройдоха, наконец осмелившийся произнести вслух оскорбительное слово.

— Черепаха или сатана — не имеет значения, — ответил Хуан. — У меня на кухне есть бензин, две канистры. Я растоплял им печки. Сидите, скоро вернусь.

Мын скрылся в люке. Пройдоха спустился к нему.

— Две канистры тоже мало... — сказал Пройдоха.

— Да, — согласился Мын. — До материка не добраться. Ничего, Хуан знает, где мы находимся, и как-нибудь, хоть под парусами, доплывем до какого-нибудь острова. Там купим горючее.

— Если нас не перехватят в море, — сказал грустно Пройдоха. — Нас будут искать. Они кинутся следом.

— Будем мало-мало прятаться, — сказал весело Мын. — Я живой не дамся. Мы убили их человека. Его автомат я беру себе. Я живым не дамся...

Мын потряс автоматом, точно давал клятву.

Прошло полчаса. И вдруг в стороне барачков рассыпался веер трассирующих пуль. Под курткой у Ке забилась Балерина. На скале моментально вспыхнул прожектор, и его луч заметался по бухточке.

— Заводи мотор! — закричал Пройдоха. Он выкинул из-под куртки Балерину, бросился к автоматической пушке, навел пушку на башню и, прежде чем луч прожектора ослепил его, дал длинную очередь. От катера к скале протянулась огненная дорожка, потом вспыхнули разрывы, прожектор потух.

— Собаки! — выругался Пройдоха, отирая пот с лица.

— Где Толстый Хуан? — крикнул из машинного отделения Мын. Мотор внизу работал, сжигая остатки дра-

гоценного горючего. — У них есть еще пулеметы? Они расстреляют нас!

— Не знаю!

Стрельба у барачков оборвалась. Это могло означать, что Хуан или убит, или бежит к катеру.

— Отчаливаем! — прохрипел Мын.

— Убью! — закричал Пройдоха. — Без Хуана не пойдём: он знает, где мы находимся. Без него мы заблудимся.

С берега по катеру хлестнули очереди из автоматов. Пройдоха ответил на вспышки выстрелов из пушки.

Хуан не вернулся.

И когда взвились в небо осветительные ракеты и в бухте стало светло как днем, Пройдоха отскочил за рубку, мотор взревел, и катер отвалил от маленькой пристани. За кормой тянулась белая пена...

Моторы работали надёжно. Мын вылез из машинного отделения и следом за Пройдохой пошел в рубку.

В рубке, кроме компаса, ничего не оказалось. Они взломали какие-то ящички, но безрезультатно.

— Хуан знал, куда идти, — вздохнул Пройдоха. — Он знал. Поэтому и не сказал нам, чтобы мы без него не смылись.

— Все равно... Пойдем на север, пока хватит горючего...

— Нет, — возразил Пройдоха. — Пойдем на юго-восток. Включи приемник.

Щелкнул выключатель. Из приемника забила морзянка.

— Вот, — показал на приемник Пройдоха. — Сейчас в банде Вонг тревога. Они бросятся шарить по ближайшим островам, кинутся на перехват, чтобы отрезать нас от материка. Каждый пошел бы на север, а мы пойдём в океан. Жратва на катере есть?

— Не знаю.

— Будем рыбу ловить. Жалко, Хуана нет. У него наверняка был план спасения. Мы уйдём в океан, и, когда кончится бензин, нас погонит течение, подальше от проклятого острова. Только так мы можем проскочить. Кто-нибудь подберет! Сколько пресной воды?

Они начали осматривать катер. Забирались в самые укромные уголки, осмотрели небольшую каюту. На узле Хуана сидела перепуганная Балерина. Она жалобно завизжала и поползла к Пройдохе. Следом протянулась

кровавая дорожка. У обезьянки был раздавлен в спешке кончик хвоста.

— Не плачь! Не плачь! — утешал ее Пройдоха. Он оторвал подол рубашки и сделал Балерине перевязку. И она, точно понимая его, перестала визжать.

— Погляди, что было у Толстого Хуана! — раздался сдавленный голос Мына.

Он стоял над развороченным узлом. В нем оказались пакеты из толстого полиэтилена. Мын и Пройдоха знали, что было в этих пухлых пакетах: белый, рассыпчатый, как сахарная пудра, порошок, который стоил тысячи долларов, пиастров, марок и гульденов, — он был устойчивее любой валюты, ему не грозили ни девальвация, ни экономические кризисы.

— Хуан не дурак, — сказал Мын, и его глаза алчно заблестели.

11

Отрывки из дневника Пройдохи Ке:

«...Опять она, Зовущая смерть! Я сразу вспомнил старшего брата. Я бы дал ему теперь забвения, сколько он хотел. Белый порошок! В нем жизнь и смерть таких, как мой старший брат. Белый порошок заменил им родину, отца и мать, жен и детей, он стал для них смыслом и плотью жизни, этот белый порошок. У меня двадцать пакетов порошка. Трудно поверить, что в щепотке белого вещества скрыто страдание и блаженство, в нем грезы и мечты, в него впиталось больше преступлений, чем капель воды в прибрежный песок. Это рабство! Это смерть!

Откуда у Толстого Хуана столько героина?

Китаец Мын словно сошел с ума. Он плясал и пел. Обложил себя пакетами с Зовущей смертью. Он говорит, что теперь будет самым богатым в своем городе. Купит землю, купит лавку, купит машину, выпишет из континентального Китая отца с матерью, а детям даст образование... Он прав. Невозможно подсчитать, сколько мы везем с собой золота, которое получим в обмен на Зовущую смерть.

Я хочу выкинуть героин в море. Я не верю, что он принесет счастье. И в то же время мне жалко выбрасывать двадцать пакетов белого порошка за борт, потому что больше никогда не будет такой удачи. Когда

мы доберемся до большого порта, я найду способ обменять героин на деньги. Я знаю законы наркоманов. Я не буду разбавлять порошок лимонной кислотой, наживаться на обмане, я найду оптового покупателя и продам один пакет, всего лишь один пакет. И это будет очень много денег. Потом, когда я огляжусь, извлеку из тайника еще один пакет... Если в порту узнают, сколько у меня героина, меня сразу зарежут... Мое спасение, что никому не придет в голову, что я обладаю состоянием, сотнями тысяч долларов.

Только бы не проболтался китаец Мын.

От него нужно избавиться, но как?

Может, убить его?

Это голос Зовущей смерти! Героин — это смерть. Мы с Мыном спасаемся от пиратов, а у меня в голове уже возникают кровавые замыслы.

...Идем под парусом, куском толстого брезента. Я ловлю рыбу. Чем я буду кормить Балерину? Она жалобно смотрит на меня. У нас почти нет воды.

...Мын спит. Он умеет спать. А мы с Балериной сидим в тени рубки, и она ластится ко мне. Я бросаю за борт леску с крючком, на крючок надеваю летающую рыбку. Они часто падают на палубу. Балерина волнуется, бегаёт вдоль борта, и, как только раздаётся шлепок рыбы, она приходит в неопиcуемый восторг.

...Несчастье пришло. Оно должно было прийти, потому что мы везем с собой Зовущую смерть. Зачем я не выбросил узел Хуана, когда мы выскочили из лагуны в море! Будь проклято то мгновение, когда Хуан принес свой узел на тропу!

Мын помешался на пакетах с Зовущей смертью. Он обкладывался ими, как мешочками с золотом, и, полузакрыв глаза, бредил:

— Я отдам долги... Выкуплю родителей. Мои дети получают образование. Я куплю лавку...

Его бормотание привлекло Балерину. Она схватила один пакет и побежала. Мын озверел. Он бросился за ней с ножом. Но разве можно поймать обезьяну, если она что-то украла? Балерина думала, что с ней играют. Мын бросился в рубку, выбежал с автоматом. Я повис на нем, отнял автомат. Мын визжал, как предводитель стаи обезьян, а Балерина сидела на мачте и скалила зубы. Она не любила Мына. И чтобы насолить ему,

разорвала пакет... Мын онемел. Балерина отбросила пакет, и он упал за борт, а Мын застонал.

— Ты отдашь свой, — сказал он. — Это твоя обезьяна. Она выкинула в воду тысячи долларов. Весь ее тухлый род не стоит сотой доли пакета.

Не знаю, сколько кристаллов Зовущей смерти попало в ноздри Балерины. Она сползла вниз, прошла на четырех лапах мимо нас... А мы стояли как заколдованные, мы не знали, что предпринять, мы боялись ее.

И Балерина шагнула в воду как китайский поэт в древности.

Я молча пошел в рубку, вытащил на палубу свои пакеты и выкинул Зовущую смерть в океан.

— Убью! — закричал Мын. Он схватил автомат и прицелился мне в грудь. — Убью!

— Это мои пакеты, — сказал я.

— Ты мне должен один! Ты должен тысячу долларов!

— Это ты должен Толстому Хуану жизнь, — сказал я. — Балерина тоже была его собственностью. После смерти Хуана она стала наследницей его вещей. И я отдал ей то, что принадлежит ей.

— Я тебя убью! — бесновался Мын.

Он не убил, потому что еще не научился убивать. Я подошел, взял у него автомат и выбросил за борт.

— Чтоб больше никто ни в кого не целился на этом катере, — сказал я.

И долго снимал скорострельную малокалиберную пушку со станины. Поддел ее ломом и спихнул в океан.

А Мын плакал. Он завернул свои пакеты в узел Хуана и потащил вниз, в машинное отделение, прятать.

— Не бойся, — сказал я. — Моя рука больше не прикоснется к Зовущей смерти. Выкинь ее, пока не поздно. Кроме несчастья, она ничего не приносит.

Но Мын меня не слушал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я, Артур Кинг, сын Джеральда Кинга и Марии Ивановны Лобановой, сотрудник газеты «Гонконг стандарт», уроженец города Шанхая, британский поддан-

ный, холост, брюнет, рост — средний, особые приметы — отсутствуют, угодил в мышеловку, где вместо кусочка сыра была сенсация, вместо стенок из проволоки — границы португальской колонии Макао, а роль хозяйки мышеловки исполняла знаменитая вдова Вонг. Я сидел в мышеловке тихо, как истинная мышь, стараясь не привлечь раньше времени внимания хозяйки, надеясь на удачу, сетуя, что не родился с перепончатыми крыльями, и единственное, что я делал не по правилам, продолжал глотать сенсацию — сыр, но тут уж я бессилён, во мне работал механизм, пружиной которого была профессия, а ключом, при помощи которого механизм заводят, — газета, которую мы, рабы вечного пера, без усталости проклинаяем и без которой тем не менее наша жизнь лишена смысла.

Боб сразу все понял, и глаза у него загорелись. Он подобрался, словно перед прыжком с третьего этажа, и стал как будто меньше ростом.

— Артур, — сказал он с хрипотцой Армстронга, — как бы там ни было, что бы ни произошло, я с тобой... Такой «гвоздь»! Старик, не отчаивайся! Если даже твои кишки наматывают на провода, ты должен гордиться — твою последнюю работу будут изучать в университетах как классику. Помнишь — к сожалению, имя журналиста забыл — материал... Ну, купил журналист у какого-то чанкайшистского генерала план вторжения на континент?.. Да знаешь ты эту историю. Вот это работа! Класс! И ведь был корреспондентом какой-то калифорнийской газетенки. Тираж скупили. К читателям газеты не попали. Но это не имеет значения.

— Я не согласна, — возразила Клер. — Не работаете же вы ради самой работы! Для чего тогда садиться на тигра? Ради острого ощущения?

— Мозг рядового читателя устроен вроде грохота, — возразил Боб. — Но в отличие от грохота в нем не застревают даже золотые самородки — все вымывается. Обычную информацию рядовой читатель забывает, не дочитав газеты, сенсацию помнит до новой сенсации.

— В этом виновата сама газета, — сказала Клер.

— К сожалению, — не согласился Боб, — газета издается на вкус определенного читателя. У меня на родине процветают десятки, если не сотни, листов, прославляющих нацизм, точно не было ни Гитлера, ни концлагерей в Европе, ни мировой войны... Один фран-

цуз сказал: «Память человечества устроена так, что пуля влетает в одно его ухо, а вылетает из другого». Француз прав.

Он разбавил джин апельсиновым соком, жадно выпил.

— Журналисты — золотоискатели, — сказал он задумчиво. — Только мы можем оценить те самородки, которые остаются на грохоте информации, и отличить алмаз от пустой породы. Вот почему, Артур, я с тобой. В конце концов, это и мой бизнес. Вхожу в пай.

И он протянул мне руку.

— Меня возмущает твой цинизм, — сказала Клер. — Неужели вы, журналисты, охотники за новостями, не знаете, что происходит во Вьетнаме? Золотоискатели... Вы соучастники преступления, потому что знали и умалчивали о массовых убийствах и зверствах в Индокитае. Там хуже, чем при нацистах.

— Клер, — вмешался я. — Для того чтобы выступить с обвинением военщины, этих всемогущих ящеров, нужны факты, и убийственные факты, от которых невозможно отпереться. Нужны свидетели, сотни свидетелей.

— И у вас не было этих фактов? Да весь земной шар свидетель преступления!

— Представь себе, что легче сослаться на весь шарик, чем раздобыть двух живых свидетелей.

— Я не верю...

— О, военные теперь стали умными! — изрек Боб. — Потому что прячут концы в воду. Им есть что прятать. Что ж, думаешь, любая газета имеет возможность послать корреспондента в Сайгон? Ничего подобного! Мираж. Информация тщательно фильтруется, чтобы народ в Штатах не имел ни малейшего понятия об истинном положении вещей. Во время корейской войны Макартур выгнал корреспондентов из Кореи. Всех! Многие не смогли зацепиться даже за Японию. И это объяснялось «интересами национальной безопасности». Очень удобная дубинка, которой можно бить наотмашь и наповал всякого, кто выступит с критикой военщины. В Штатах по этому поводу в конгрессе подняли шум. Макарту пришлось пойти на кой-какие уступки — был введен... был назначен офицер по печати. От него зависело, кого пустят, а кого не пустят в Корею. И он фильтровал газетчиков, и не только людей, но и сообщения, которые они посылали в газеты. Позднее был

назначен другой офицер... Кажется, из разведки, из ЦРУ, черт его разберет откуда. С подобными организациями шутки плохи! Артур, тебя не пускают во Вьетнам? Чем ты их допек?

— А, — махнул я рукой. — Старая история. Военные разворовывали и продавали на черном рынке медикаменты...

— Понятно, из-за чего на тебя косился Дубль М, — сказал Боб.

— Кто? — не поняла Клер.

— Ну, это майор по печати, — сказал Боб. — Он за нас отвечает. Офицер, или какая там его должность... В общем, офицер по фильтрации информации. Его звали Молчаливый Макс или Дубль М.

— Или Милитари Макс, — добавил я. — Темная лошадка. Огромный, как шериф из Калифорнии, мрачный, как гриф в Скалистых горах... Когда я смотрел на него, то ощущал, как на запястьях застегиваются наручники. Дубль М допускает в Сайгон своих молодчиков, таких же журналистов, как и он сам. Тупиц с рожами профессиональных убийц.

— Но ведь существует свобода слова! — искренне возмутилась Клер.

Мы с Бобом переглянулись и засмеялись. Наивность Клер была умилительной: так ребенок возмущается, когда у него в первый раз отнимают любимую игрушку.

— Хватит пустословить, — сказал Боб. — Ты недосказал... Раз уж я примчался по твоей телеграмме, а дела у тебя действительно весьма серьезные, я хочу знать все до конца. Никакого обмана! Я не шестнадцатилетняя девочка из провинции, и ты не приезжий коммивояжер.

— И я тоже хочу все знать, — сказала Клер. Она все-таки добилась своего. Она была последовательной.

«Пройдоху Ке и Мына снял с катера филиппинский фрахт. Он вез копру, а может, и не копру, а пальмовое масло или цемент. Фрахт есть фрахт — грузовое такси. Гоняется из порта в порт, если, конечно, капитану

повезет и он не застрянет где-нибудь в жуткой дыре порожняком, а это, как известно, сплошные убытки.

Фрахт был приписан к Маниле и представлял собой ноев ковчег с семью парами чистых и с сорока парами нечистых, но и наши джентльмены с Таинственного острова не корчили из себя воспитанников Пабулскул, тем более платить им за каюту было нечем»...

— Артур! — взмолился Боб. — Ты можешь говорить короче? У вас, у англичан, страсть к Диккенсовым оборотам. Англия стала второразрядным государством именно потому, что вы не умеете говорить лаконично.

— Не любо — не слушай, — вспомнил я поговорку матери, — а врать не мешай. Итак... Вернемся к нашим — чтобы быть оригинальным, скажу — барашкам. Капитан фрахта оказался ворчуном наподобие Боба и к тому же скупым, как мой Павлиан. Катер, на котором бедняг болтало по океану, был сильно потрепан, его крутые бока расцвели ржавчиной. С него сняли мотор, кое-какое оборудование. Этого хватило бы Пройдохе Ке и Мыну на то, чтобы доехать бесплатно до первого же порта, но они предпочли работать матросами — Ке потому, что у него не было ломаного гроша за душой, а Мын из конспирации. Пакеты с героинем он сумел протащить на фрахт. Часть пакетов Мын спрятал под жилет, который не снимал с тела.

Сложность их положения заключалась в том, что они не придумали ни одной более или менее складной легенды, как очутились на подступах к острову Пасхи. Единственное, что они могли сочинить, — наплели о каком-то богатом американце, который нанял их. Янки рыбачил и утонул, после того как перепился... Им повезло в том, что они наскочили на судно с филиппинским экипажем, которому было равным счетом наплевать, за что двое цветных перерезали глотку белому, тем более американцу. Может быть, поэтому двадцать матросов филиппинской фелюги отнеслись к двум спасенным с почтением, замешенным на доле страха, и не лезли с глупыми вопросами.

Как я уже говорил, капитан был скуп, неразговорчив, себе на уме, а это имело прямые последствия для наших героев.

Капитан был осторожен, как таможенник, которому остался год до государственной пенсии. Он хмыкнул, давая понять, что треп обоих новоявленных матросов

его полностью удовлетворяет, но, как говорят игроки в преферанс, где-то «нарисовал зуб».

Фелюга дотопала до порта. И вот тут, хотите вы или не хотите, я остановлюсь подробнее на происшедших событиях. Когда фелюга вошла в порт и встала на причал, неожиданно к месту стоянки подкатил «джип» с портовой полицией. Как позднее догадался Пройдоха, капитан дал телеграмму в порт, что им в океане при странных обстоятельствах подобрано двое людей с военного быстроходного катера, лишенного каких-либо опознавательных знаков. Хотя Пройдоха и выбросил оружие за борт, любому мореходу достаточно было взглянуть на полубак, чтобы догадаться, что железный станок, вклепанный в палубу, служил отнюдь не для того, чтобы устанавливать навигационные приборы. Пиратство в данном уголке океана процветает, некоторые фрахты по сей день ходят с мешками песка, уложенными вдоль бортов, — из-за мешков безопаснее отстреливаться.

Пройдоху Ке и Мына арестовали, засунули в «джип» и отвезли в здание, назначение которого знают все портовые подонки. Здесь произвели обыск. Первым ощупали Пройдоху. Нашли лишь какие-то тетради. Что в них было написано, никто не понял, да и не хотел понять — так, чепуха. Когда очередь дошла до Мына, тот сделал неожиданный финт — ударил полицейского головой в живот и выпрыгнул в окно. За ним бросились в погоню. Пройдоха воспользовался суматохой и улизнул. Он подробно описал свои страхи в дневнике, описал, как прятался за какими-то огромными катушками с кабелем, ползал на брюхе под железнодорожными вагонами.

Мына пристрелили. При обыске трупа нашли жилет с героином.

Неизвестно, по каким соображениям, но полиция не приложила особых стараний, чтобы отыскать Пройдоху. Возможно, они прикарманили героин. И это дало Пройдохе возможность наняться на другой корабль и уйти в море.

Почти год он слонялся по волнам, пока не попал в Гонконг.

В этом суматошном городе Ке сошел на берег и занялся новой работой. Вы отлично знаете этот тип людей — они отираются в порту или на аэровокзале,

буквально вырывают друг у друга чемоданы пассажиров в надежде заработать несколько монет. Водят солдат американской морской пехоты по значным местам в роли сводников. Пройдоха был неглупым парнем. Если ему попадались туристы, он обязательно заводил их в китайский квартал. Там у него была договоренность с приказчиком антикварной лавки. Пройдоха имел доход с покупок туристов. Обычная картина. Вроде гейши, которая имеет процент от денег, истраченных с ее помощью клиентом рестораника.

Здесь, в лавке, он и познакомился с неким господином Фу — хозяином лавки. Пройдоха понравился господину...

Мой рассказ был прерван неожиданным появлением служанки. Она выплыла из сумерек бесшумно и плавно и замерла на пороге.

— Что вам? — приподнялась Клер. — Я не звала.

— Госпожа, — сказала служанка. — К вашему гостю пожаловал человек. Вот его визитная карточка.

— К кому пришел человек? — не поняла Клер.

— К сэру Артуру Кингу.

— Дайте карточку, — сказал я.

Она подошла с подносом, на котором лежала карточка, сделанная из рисовой соломки. Я прочитал фамилию неожиданного визитера и почувствовал, как вспотели ладони.

— Пришел хозяин антикварной лавки господин Фу.

3

Господина Фу можно было назвать «образцовым европейцем». На нем был черный, строгий двубортный костюм из английской шерсти, белая сатиновая, а не какая-нибудь нейлоновая рубашка, галстук в горошек, манжеты выглядывали ровно настолько, насколько положено. Черные башмаки с тупыми модными носами. Единственно, в чем чувствовался перебор, признак дурного тона — золотые зубы, золотые швейцарские часы «Лонжин» на массивном золотом браслете, золотые запонки, золотое кольцо с опалом. Здесь, в Макао, признаки богатства, выставленные напоказ, свидетельствовали не столько о том, что хозяин имеет достаток, сколько демонстрировали силу: хозяин побрякушек не

боится налета мелких грабителей. Подобные знаки силы, как красный цвет у божьей коровки, предупреждали: трогать нельзя, я несъедобен, мною можно смертельно отравиться.

Мы сидели в неглубоких креслах и откровенно изучали друг друга, конечно, не молча, а в соответствии с церемониями, выработанными великим Конфуцием и модернизированными в духе нашего времени. Господин Фу улыбался. Казалось, внутри его работала портативная атомная станция, которая выделяла тепловую энергию, достаточную для освещения городка с двадцатипяти тысячным населением. Я тоже раскочегарил внутри себя паровую машину и заулыбался.

Мы знали друг друга заочно. Правда, о господине Фу я знал больше, чем он обо мне. Его визит и был вызван именно этой причиной. Мы оба это понимали и оба готовились к борьбе.

— Как ваше здоровье? — сделал первый ход господин Фу. Говорил он по-английски. Про себя я отметил, что у него нет акцента.

— Спасибо, отлично, а как поживает ваше дражайшее тело?

— О, спасибо, спасибо! — закивал господин Фу, чуть не растаяв от радости. — Вы хорошо говорите по-китайски. Лучше, чем я.

— Извините, — взмолился, в свою очередь, я. — Разве могу я, ничтожный, сравниться с таким блестящим знатоком языка и каллиграфии, как мой дражайший гость! Я знаю только шаньдунский и шанхайский диалекты, а вы знаете все, даже самый трудный — кантонский. Ваш антикварный магазин известен далеко за пределами Гонконга. Я встречал людей, которые показывали мне нефритовых рыб эпохи Суй, которых они имели счастье купить в вашей лавке. Правда, почтенные господа, которые показывали мне этих рыб, мало знают прославленную историю Срединного государства, и мне показалось, что они спутали эпохи, что часто бывает с иностранцами. Рыбы, по-моему, более поздней эпохи, даже совсем поздней...

Тут я замолчал и улыбнулся. На лице господина Фу отразилась гамма улыбок — вначале мягких тонов: они источали, как сказали бы на Ближнем Востоке, имбирь — ему нравились мои похвалы, и в этом он был искренен, но последние слова заставили сменить

имбирь на подслащенную воду, потому что намек на эпохи имел основания. И то, что мы поняли друг друга, нам обоим очень понравилось.

— О, господин Кинг! — сказал Фу. — Конечно, иностранцы покупают все, что им покажешь. В этом и заключается смысл торговли. Как ваше мнение?

— Я вполне с вами согласен.

— Сами посудите... В настоящее время истинно древних вещей осталось очень мало. Наша история, история Срединного государства, очень древняя, древнее таких государств, как Египет, Индия, тем более Греция... Как истинному патриоту, мне стыдно торговать подлинными ценностями. У меня есть коллекция древних монет. Это моя гордость и мое состояние. Ракушки побережья, глиняные монеты, шаньдунские мечи и бронзовые драконы эпохи Чжоу, связки чох странствующих монахов, которые в пути заменяли календарь, ибо их было ровно двенадцать и на каждой был символ созвездия; монеты тайпинов... Даже монеты тайпинов представляют сокровища только для знатоков, к которым принадлежите и вы. И для меня было бы великим счастьем, если бы вы удостоили посещением мой скромный дом и могли посмотреть и оценить мой труд. Мы ведь с вами люди цивилизованные в отличие от посетителей моей ничтожной антикварной лавки. Для невежд рисунок тушью на новом шелке равноценен подлинной керамической плите из Сычуаня с божественным изображением Фу-си и Нюй-ва. Как вам известно, на этой керамической плите изображен Фу-си, держащий солнечный диск, и Нюй-ва с диском луны, что связано с представлением о мужском и женском началах в природе.

Он замолчал и с грустной улыбкой поглядел на меня. Это был тонкий экзамен на знание древней мифологии. И грустная улыбка господина Фу означала, что очень мало кто знает толкование символов. Но в то же время его рассуждения о древних богах таили в себе и ловушку — господин Фу грустно улыбался потому, что не думал и не гадал, что я почувствовал эту ловушку. Он осторожно подвел меня к краю ямы и ждал, когда я споткнусь и рухну в нее. И он заранее торжествовал, хотя, если бы я свалился в нее, он бы и виду не подал, а просто отметил бы про себя границу моих познаний и сделал бы соответствующие выводы. И если

когда-нибудь мне пришлось бы обратиться к нему как к купцу, он бы знал, до каких пределов можно играть со мной в кошки-мышки.

Я улыбнулся в свою очередь, но с оттенком задумчивости. Для меня не так опасно было сорваться в яму, как насторожить господина Фу и тем самым дать понять, что мне понятна его игра. Я должен был быть бóльшим азиатом, чем был он сам. Если он поймет, что я раскусил его, это даст ему основания прийти к выводу, что его хитрости я разгадываю за три хода и, значит, сумею раскрыть то, за чем он пришел. Он уверится в своих подозрениях, а я разоблачу себя. Это будет означать, что ловушка захлопнулась окончательно. С другой стороны, мне нельзя было выставлять себя тупицей, так как это вызвало бы у господина Фу определенную реакцию — он перестанет меня уважать, я потеряю в какой-то степени лицо, и это даст ему основания быть нахальным, даже бесцеремонным. Кто знает, куда привели бы наши переговоры! Мне пришлось «искренне» удивиться. С нотками недоумения сказал:

— Простите, достойнейший господин Фу, вы даете неверную трактовку символов. Как известно, великий Конфуций переосмыслил истинное значение мифа о Фу-си и Нюй-ва. На плитах в Улянцзы, которые значительно древнее керамических плит Сычуаня, дается изображение иное. В Улянцзы Фу-си держит в руке угольник, а Нюй-ва — циркуль. Всем известно, что эти два инструмента символизируют порядок на земле, установленный мифическими супругами, или, по другой трактовке, братом и сестрой. Слово «порядок» в современном языке — «гуйцзюй», и состоит оно из двух переводных иероглифов: гуй — циркуль и цзюй — угольник.

Я начертал пальцем на столе два иероглифа.

— Поэтому трактование сычуаньских символов, на которые вы ссылаетесь, — неверное. В свете истинной истории ваше трактование порядка на земле соответствует лишь более поздней философской концепции Конфуция и его последователей, чем истинному положению вещей.

Я замолчал и надулся от важности, как мифический Желтый император, отведя взгляд от лица гостя, как бы уйдя в собственные размышления. В зеркало я ви-

дел, как на секунду в близоруких глазах господина Фу, спряганных за толстыми стеклами очков в золотой оправе, промелькнула растерянность. Он не ожидал от меня подобной подкованности в довольно запутанных трактовках мифов.

— Простите, — сказал он уже без улыбки, — я действительно запомнил переводное толкование символов Фу-си и Нюй-ва. Я давно не имел счастья разговаривать со столь эрудированным человеком, как вы. Что поделаешь, в наше время молодежь забыла, что дракон — эмблема Востока, а тигр — эмблема Запада.

— «Красная птица» — эмблема Юга, а «черный воин» (черепаша и змея) — эмблема Севера, — добавил я.

— Да, да... Все рушится в Поднебесной. Забыты образы и обычаи предков.

И он машинально начертил на столе иероглифы.

Я знал это знаменитое изречение Конфуция. Как я был благодарен старому учителю, почтенному Цзяо сяньшену, старику, который с невероятным терпением учил меня когда-то премудростям вэньяня.

С большой теплотой и чувством благодарности я вспоминаю своего старого учителя китайской грамоты. Это был добрейший старик, сам превратившийся в символ Древнего Китая, — спокойный, утонченный, восторженный и чудовищно честный. Он мог отдать последнюю чашку риса нищему, последний юань плачущему ребенку, поднять с земли жемчужное ожерелье и повесить его на сук дерева, чтобы хозяин, вернувшись, нашел свою потерю. Он нетерпим был только к невежеству и алчности, считая, что эти два порока — прародители всех несчастий на земле. И в шутку говорил, что если Фу-си и Нюй-ва являются прародителями порядка, то невежество и алчность, их антиподы, породили все мерзкое и страшное в мире.

Я на всю жизнь признателен своему почтенному учителю и благодарю судьбу, что он умер в начале пятидесятых годов, до «культурной революции».

Господин Фу написал довольно известное изречение древнего мудреца. В переводе оно означало: властитель должен быть блюстителем, господин господином, отец отцом, а сын сыном, если ты родился богатым, то

и должен оставаться таковым, а родился бедняком, то твое предназначение оставаться бедным, ибо такой порядок в Поднебесной, и он вечен, и долг каждого быть тем, кто он есть.

Я понял, зачем написал эти иероглифы господин Фу — он выбирался из ямы, которую рыл для меня. Я не испытывал к господину Фу никакой жалости и потому, не задумываясь, нанес второй удар ниже пояса.

Продолжая сохранять на лице выражение холодной вежливости, я заговорил о погоде. И господин Фу сник. Он вдруг точно стал ниже ростом, точно согнулся в поклоне, и за толстыми стеклами очков я увидел почтение ко мне и стыд за себя...

Дело в том, что мои слова о погоде свидетельствовали о той степени превосходства, к которому вначале стремился господин Фу. Он хотел поймать меня на невежестве, чтобы почувствовать свое превосходство надо мной. Это трудно передать непосвященным. Моральный фактор всегда играл в Поднебесной роль судьи и даже палача. Физическая смерть — неизбежное, от которого не застрахован никто, но моральное уничтожение и даже моральная смерть — это не потустороннее, это наяву.

Господин Фу, подчеркивая предо мной приверженность к старым обычаям и обрядам, сам нарушил первую заповедь порядка, основанного для жителей Среднего государства великим Конфуцием. По правилам хорошего тона, которые неукоснительно должны выполнять истинно культурные и достойные люди, любой разговор, тем более серьезный, нужно начинать с погоды. И так как господин Фу был гость, он первым должен был вспомнить о погоде. А мы с ним беседовали полчаса. И хозяин вынужден был указать ему на его промах. Тем самым я показал ему, что он мужлан, плебей, выскочка, который нахватался верхов и корчит из себя культурного человека, не имея понятия об элементарных правилах вежливости. Заметив метаморфозу, которая произошла с господином Фу, я вздохнул с облегчением...

Не давая господину Фу опомниться, я пошел на абордаж.

— Как вы узнали мой адрес? Кто вам его дал? — спросил я напрямик. Я вынужден был идти в штыковую атаку, пока мой гость не пришел в себя.

— Я узнал ваш адрес, — отвечал господин Фу, — в полиции.

— Откуда там знают мой адрес?

— Вы имели неосторожность звонить в газету.

Его слова насторожили меня. Полиция... Португальская*... Молодого вьетнамца убили гангстеры, и они ищут меня. Я им нужен. Так почему же пираты обращаются за справками в полицию? И почему, почему полиция разыскивает для пиратов адрес нужного им человека? Связь? А почему бы и нет?

Я молчал... И это было ошибкой. Я понимал это. И все же еще раз вспомнил строки из дневника убитого вьетнамца.

Я хорошо представлял себе антикварную лавку, в которой Пройдоха познакомился с господином Фу. Она похожа как две капли воды на тысячи других. Бумажные фонари, у входа на красной доске два иероглифа счастья. Внутри лавочки стоит характерный затхлый запах. Высокий прилавок и полки. Под стеклом старинный фарфор, резные шары из слоновой кости — шар в шаре, до пяти-восьми штук. Такие шары с охотой покупают иностранцы. Им кажется, что это редкость. Шары эти ремесленники режут довольно быстро, получая за это мизерную плату. Шары не представляют художественной и исторической ценности и производятся, как и многочисленные ярко раскрашенные статуэтки, на потребу иностранцев. Сверкают огромные серебряные ордена Юань Ши-кая или другого какого-нибудь милитариста, отделанные фальшивым жемчугом. На орденах изображены всевозможные драконы и тигры. Милитаристы, еще недавно, подобно шакалам, терзавшие страну на части, любили такого рода «знаки доблести». Старинные часы, музыкальные шкатулки, бывшие в моде при дворце императрицы Ци-сы. Всевозможный хлам: табакерки, портсигары, красные, обожженные из глины статуэтки Будды, индийские, японские божки из дерева, кости, бронзы... Миниатюры в дорогих рамках. И самые ценные предметы — два-три зеленых от времени треножника или курильницы для благовоний, старинные вазочки с облупившейся глазурью. И если покупатель заинтересуется ими, при-

* Эти события происходят до свержения фашистской диктатуры в Португалии.

казчик вынесет из задней комнаты другие предметы — «старинные», «подлинные», дорогие. Отличные подделки. Будет клясться, что подлинные сокровища из храма в Сиане или из Лхасы. Он будет клясться, что хозяин его убьет за то, что он решился продать на свой риск, до хрипоты будет торговаться, но, когда покупатель раскошелится и уйдет, в глазах приказчика на секунду мелькнет усмешка. И все. Можно на три дня закрывать лавку — выручка солидная.

Пройдоха подыгрывал приказчику. Ненавязчиво восхищался «древней реликвией», всем своим видом показывая, что впервые видит такую древность. Когда он выходил из лавки, в его кармане похрустывало несколько гонконгских долларов.

Пройдохе платили не зря. Редкие туристы отваживались заглянуть в «китайский город», расположенный рядом с широкими, асфальтированными роуд, в так называемый Коулун-сити, место жительства гангстеров, контрабандистов, фальшивомонетчиков. Особенно отвратительными были опиекурильни, официально запрещенные колониальными властями. Секретарь гонконгского правительства по китайским делам отлично знал, что происходит в тесных и грязных кварталах, но ничего не мог поделать с преступниками, а возможно, не хотел. «Нас не интересует, когда один желтый перережет глотку другому, — говорили чиновники. — В конце концов, в совете есть их представители. Пусть они сами между собой разбираются».

Господин Фу в желтых кварталах был богом. Он шел по улице в сопровождении двух телохранителей, ему уступали дорогу и униженно кланялись. Когда он заговорил с Пройдохой, тот растерялся от неожиданности. Господин Фу собирался поохотиться на крокодилов, что в Гонконге считалось шиком, свидетельством принадлежности к высшему обществу — что-то наподобие принятой среди аристократов в старой Англии охоты на лисиц. Господину требовался расторопный и смелый слуга. Телохранителей с собой он взять не мог, так как у тех были натянутые отношения к тайбэйской полицией.

Один телохранитель был высокий, жилистый, с горбатым носом, по всей видимости, мексиканец с большой дозой индийской крови, второй — кряжистый, с точно надутыми мускулами. Звали его Сом, он не

снимал черные очки ни днем, ни ночью. Определить его национальность не смог даже Пройдоха, которому достаточно было взглянуть на человека или услышать фразу, чтобы определить, в какой части Юго-Восточной Азии появился на свет этот человек. Сом был «гражданином мира».

Господин Фу внимательно оглядел Пройдоху и пригласил в заднюю часть дома. Они прошли мастерские, где сидели кустари и создавали «старинные шедевры», и очутились в маленькой затемненной комнате. Господин Фу лег на циновку. Он обмахивался большим мужским веером, тянул из чашечки чай и не спеша расспрашивал парня в цветастой рубашке, кто такой, откуда прибыл, что делает в Гонконге и не принадлежит ли к какой-нибудь «триаде» или тайному обществу, которых в городе было превеликое множество.

— Я плавал с американским госпиталем, — соврал Пройдоха.

— На каком корабле?

Пройдоха ответил. Для него подобный вопрос не представлял трудности — он знал все плавучие госпитали, главных врачей и членов команды.

— Кем работал?

— Санитаром...

— Ой-я! — Господин Фу сел. Ответ парня ему понравился. — Ты разбираешься в лекарствах?

— Да, — коротко ответил Пройдоха, не уточняя, каким образом познакомился с фармакологией.

— Хао! — сказал господин Фу. — А что тебя держит здесь? Ведь у нас жизнь здесь очень дорогая, тем более трудно поселиться в какой-нибудь фанзе. А ты чисто одет. Значит, не валяешься ночью на мостовой. Что тебя здесь держит?

— Хочу поступить в китайский университет, — сказал Ке.

Пройдоха не врал. Он действительно хотел учиться.

— Я преподаю древнюю историю в университете, — сказал господин Фу. (Он тоже не врал.) — Я помогу тебе туда поступить, если ты будешь хорошо служить мне. Нам нужны грамотные люди, — закончил Фу свою речь, не пояснив, что подразумевается под словом «нам».

Пройдоха охотно согласился быть слугою. Он был счастлив.

На следующее утро Пройдоха был на месте. Ровно в шесть из дома вышел господин Фу. Когда выбежал из-за ограды и встал на виду. Следом вышли телохранители.

К крыльцу подкатила двухместная коляска рикши. Город расположился на горах, велорикши здесь не могли работать. Конечно, мерилom достатка, как и везде, был автомобиль. Но господин Фу имел приверженность к старине и поэтому держал «выезд» — рикшу с шикарной двухместной коляской. Фу сел в коляску, поманил Пройдоху пальцем; рикша тронулся; следом за ним побежали два телохранителя и Пройдоха. Был ранний час, улицы были пустыми. Лишь со стороны китайских кварталов доносились пронзительные крики башмачников и разносчиков овощей.

Гонконг — неповторимый город. Он вздыбился по обе стороны проливчика Коулун; на острове Гонконг, где центр города назывался Викторией, и на противоположном полуострове — Цзюжун. Небоскребы окружены лачугами, берега утыканы сампанами. Здесь можно было встретить пейзаж Нью-Йорка, увидеть чопорные линии Лондона, погулять на местных Елисейских полях — Нотан-роуд, откуда ночью полиция безжалостно выгоняла бездомных бродяг, которым матрацем и одеялом служил номер тайваньской «Миньбао» или пекинской «Женьминь жибао», хотя самым «богатым» считался номер моей газеты — в нем было много листов. Здесь ежедневно выходит пять газет на английском и свыше тридцати — на других языках. Здесь живут и работают постоянные корреспонденты агентств Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Юнайтед Пресс Интернейшнл, Синьхуа (КНР), Синьхуа (Тайвань). Индонезийские агентства, японские, филиппинские и прочие... Всех не перечесть! Гонконг служил отдушиной, через которую мир подслушивал таинственный континент.

Здесь самая большая плотность населения на земном шаре, город занимает также первое место и по количеству самоубийств... Он давно затмил Шанхай моей юности по темпам роста небоскребов, количеству ткацких фабрик, роскоши отелей и ресторанов, обороту банковского капитала и проституции. Город рос как на дрожжах, прекрасный и отвратительный, неповторимый и больной всеми пороками.

Господин Фу доехал до причала Ван-чай, где пересел на паром. Он с телохранителями ушел в первый класс, Пройдоха Ке затерялся в толпе на полубаке. Трудовой Гонконг вставал раньше петухов. Из Виктории, района небоскребов, оффисов и белоснежных вилл, возвращались в свои лачуги полотеры, мусорщики, электромонтеры, кули, которые вместо лошадей ночами тащили повозки с продуктами по крутым улочкам, чтобы утром в лавках для господ были свежие фрукты, мясо и рыба. Рабочие люди сидели на корточках, некоторые спали сидя. Пройдоха заглянул через иллюминатор в первый класс. Там, кроме господина Фу и его парней, никого не было — для пассажиров первого класса было еще слишком рано.

Потом они ехали на машине. Господин сел рядом с шофером, остальные разместились сзади. Отсюда до аэродрома было рукой подать.

Аэродром Кай-так также являлся своего рода уникалом. Для аэродрома требовался простор, чтобы самолеты, разбежавшись, имели возможность взмыть вверх, набрать высоту. В английской колонии Гонконг не нашлось подходящего земельного участка, поэтому намыли песчаную косу, выходящую далеко в море. Она, как кинжал, проткнула горло континента.

Машина остановилась. Сом проворно выскочил, открыл дверцу хозяину. Господин Фу пошел напрямик через зал ожидания, кивнул головой полицейским и таможеннику — они его не проверяли, они знали господина Фу. Пройдоха Ке, обливаясь потом, тащил багаж. Телохранители и не думали ему помочь.

Они вышли на лужайку. Господин Фу пошептался с каким-то военным и заторопился к причалу — на глади залива покачивалась старая, допотопная «летающая лодка», мастодонт времен второй мировой войны.

Старая калоша отбыла на Тайвань. Место в «летающем гробу» стоило намного дешевле, чем на суперлайнере, гарантирующем скорость, сервис и относительную безопасность. «Воздушный кули» ничего не гарантировал, и тем не менее у причала стояла очередь. Это беженцы из КНР — с детьми, с узлами... У них хватило денег откупиться от английской полиции, но не хватало на билет в современном самолете, и они торопились улететь к родственникам на Тайвань, чтобы

побыстрее удрать из неприветливого и коварного города.

Чрево «летающей лодки» набилось людьми, как огурец семенами. Удивительно, что столько народу и скарба поместилось в небольшую, по сути дела, кабину из алюминия. В салон заглянул летчик, поманил господина Фу и провел его в отсек управления. На «лодке» было всего два человека экипажа, так что места в кабине хватало. Странный полет господина Фу начался.

Встречали их на вертлявой металлической моторке военные, китайские националисты. Офицер церемонно поклонился, пожелал: «Фа-цай! Фа-цай!» (Счастья, богатства!)

Гидроплан улетел, моторка пошла к берегу, где белели домики гарнизона острова. Кое-где еще виднелись старые, осыпающиеся окопы и позиции дальнобойной артиллерии. Орудий не было видно, их сняли с позиций несколько лет назад за ненужностью.

Господин Фу шел с офицером. Пройдоха остался в обществе трех солдат. Это были старики. Когда-то, двадцать или больше лет назад, их привезли сюда с континента, вся жизнь их прошла здесь.

На другой день господин Фу неожиданно позвал Пройдоху на рыбалку.

— Мотор знаешь? — спросил он.

— Я знаю все моторы, — ответил Пройдоха.

Они поехали на небольшой лодке с подвесным мотором к южной оконечности острова. Третьим в лодке был американец. Небольшого роста, совершенно лысый, с янтарными глазами, как у огромной кошки. Но рыбалка выдалась какая-то странная. Господин приказал Пройдохе подойти к берегу у скалы, на которой торчал маяк, и ушел с янки.

Вернулись они к вечеру. И уже в темноте Пройдоха доставил их в казармы. Господин Фу улыбался, не в силах скрыть радость. Лысый янки снисходительно похлопывал его по плечу и что-то говорил. Пройдоха понял лишь одно выражение: «О'кэй!»

Потом прошло еще пять дней. Господин Фу не беспокоил слугу. Он целыми днями пил тонкое шаосинское вино, играл с офицерами в маджан, проиграл по-крупному, но проигрыш, казалось, не огорчил его, даже вроде бы доставил удовольствие... Потом ночью он вдруг

разбудил Пройдоху и приказал следовать за ним к пристани.

— Домой будешь возвращаться морем, — сказал он. — На той лодке, на которой мы ездили рыбачить. Дойдешь до маяка, в миле от него прямо на юг увидишь джонку. Лодку потопи. За нее уплачено. Тебя ждут на джонке. Подъедешь, передашь им вот это. — Господин протянул брелок на цепочке — толстый, вислоухий божок из слоновой кости с рубиновыми глазами. — Вот и все. Вы пойдете к Гонконгу. В море вас встретит Сом. Что делать, он тебе скажет. Поступишь в его распоряжение. Иди!

Ке поплыл к Гонконгу. Он действовал точно по инструкции и вскоре оказался в джонке с экипажем из пяти человек, неразговорчивых и мрачных типов.

Они плыли несколько дней. Потом стали в фарватер почти около самого Гонконга и забросили сеть. Здесь сновала флотилия джонок — шел лов рыбы мигай. «Рыбаки» открыли трюм и вывалили туда рыбу поверх пакетов, завернутых в рогожу из копры.

«Не хватает, чтобы меня сцапала полиция, — рассуждал Пройдоха. — Господин Фу занимается контрабандой».

Настушила тревожная ночь. «Рыбаки» с автоматами залегли вдоль бортов джонки. Капитан спустился в каюту, настроил портативную японскую радиостанцию, связался с кем-то. К утру подошла еще более древняя джонка. С нее перебрался Сом, телохранитель господина Фу. Он привез документы и пропуск в Гонконг. При входе в пролив командовал уже Сом. Контрабандисты пробирались в северную часть города Нотан-роуд и чуть было не попали в лапы полиции.

Когда выскочил полицейский катер, джонки «рыбаков» окружили контрабандистов, и, пока полиция устанавливала, кто есть кто, лодка с контрабандой прорвалась к стене сампанов и моментально затерялась среди тысячи себе подобных.

Разгружали груз на следующую ночь. Взяв первый пакет, Пройдоха определил, что они везли, — золото.

— Тебе повезло, парень, — сказал Сом и впервые дружески похлопал Пройдоху по плечу. — Длинного господин выгнал... Ты займешь его место. Поздравляю с крещением!

— В чем тот провинился? — насторожился Пройдоха.

— Да... — неопределенно сказал Сом. — В общем, пистолет остается у тебя. Теперь ты тоже телохранитель шефа, мой напарник. Держи!

Он протянул Пройдохе деньги, тысячу гонконгских долларов. Пройдоха растерялся. Он никогда не имел столько денег.

— Слушай, вьетконговец, — сострил Сом. — От нас тебе никуда теперь не деться. Деньги советую пристроить в банк. На черный день пригодятся. Наш хозяин умеет хорошо платить. Но не любит трепачей и любопытных.

4

Над головой Пройдохи чернела бездна, усыпанная звездами, как гигантская песчаная отмель морскими ежами. Неожиданно хлынул ливень. Ке его не замечал. Он промок как губка, но шел, не прячась под козырьки крыш. Он шел к Томасу, старому гуркху, бывшему солдату английской армии. Гуркхи — жители Гималайских гор Индии. Издавна молодые горцы спускались в долину в поисках счастья и, наподобие шотландцев, нанимались в иноземную армию. Томас забыл родные горы, девчонку, с которой украдкой встречался у водопада. Родители его давно умерли, и ничто не связывало его с туманным прошлым, называемым юностью. Он дослужился до чина сержанта. Воевал в Бирме, Сингапуре, побывал в плену у японцев... Потом его освободили, и он долго колесил по белому свету, пока не осел в Гонконге. Томас был ночным сторожем индийской обувной фирмы. Носил тюрбан, как правовер мусульманин, но не верил ни в бога, ни в черта, тем более в пророков, которые, по сути дела, всегда были ханжами.

Томас пускал парня спать в каморку у входа в забаррикадированную на ночь обувную фабрику, и не без расчета — вдвоем безопаснее и веселее: гуркх в старости стал не в меру болтливым. Пройдоха умел слушать и делал вид, что верит услышанному. Я думаю, что и его дневники хранились у старого Томаса. Пройдоха был не настолько глуп, чтобы носить с собой смертный приговор.

Ке не дошел до Томаса — на перекрестке он угодила в полицейскую облаву. Полицейские в черных непро-

мокаемых плащах скрутили ему руки, привычно обыскали, извлекли пистолет. Потом его добросовестно избили и бросили в камеру, набитую людьми.

Подобные камеры называют «отстойниками» — они словно бетонные кубы, куда стекаются городские нечистоты. Основная масса арестованных была просто бродягами, для которых камера оказалась божьим даром.

— Ты кто? — спросили Пройдоху шепотом.

Пройдоха не знал, можно ли здесь, где полно стукачей, ответить, что он человек господина Фу, поэтому промолчал. И его молчание восприняли как признак принадлежности к высшим ступеням преступного мира.

На другой день вызвали на допрос. Полицейский чин, не глядя на задержанного, рявкнул:

— Убирайся!

— У меня были деньги, — сказал Пройдоха.

Ответом послужил пинок, и Пройдоха вылетел из участка.

На углу стоял Сом. С опухшим лицом, но по другой причине, чем у Пройдохи. Он смачно сплюнул длинной тягучей слюной.

— Иов *, — сказал он.

Господин Фу не бил слуг. Если бы такая потребность возникла, это сделали бы другие. Господин Фу испепелял слуг презрением.

Распекал он на заднем дворе. Фасад дома у господина Фу выглядел европейским, но внутри здание было спланировано в традиционном китайском духе — с женской половиной, глухими кладовыми, затемненными спальнями, крытыми черепицей переходами между покоями. На заднем дворе высился каменный гараж, где рядом с «фордом» стояла двухместная коляска рикши. Господин Фу расхаживал в черном халате. Полы халата развевались. Господин Фу поучал:

— Я вас нанял, чтобы вы охраняли мою персону, а не шлялись. Отныне без разрешения не отлучаться!

Он внимательно посмотрел на Пройдоху:

— Чего морщишься?

— У него ботинки жмут, — сказал Сом. — Купил первый раз в жизни кожаные ботинки.

— Купи кеды или соломенные сандалии, чтобы не топтать, как лошадь.

* Иов — морской сленг, означает — «неудачник».

— У него денег нет.

— Ай-я! — сказал господин и замер. Потом зашипел: — Нашел слугу! Тратит за ночь больше, чем хозяин в молодости.

— Деньги отняли, — сказал Пройдоха.

— Угу, — выдавил из себя господин. — На!

Он положил на перила несколько долларов.

— В счет будущего. И учти, ты должен мне пять тысяч долларов.

— За что? — встрепенулся Ке. У него даже дыхание перехватило.

— Думаешь, тебя отпустили бесплатно? Или хочешь побывать там, где над входом красуется надпись: «Ее величества королевы Англии»?

— Что вы, господин! — сник Пройдоха. — Я отработаю. Я сделаю, что прикажете. Только где я заработаю такие деньги?

— Посмотрим, — неопределенно ответил господин и ушел.

Сом поднялся с бочки, сплюнул метров на десять.

— Между прочим, — пояснил он, — надпись, которую тебе сообщил хозяин, можно прочитать лишь в метрополии и у нас. Говорят, еще недавно она красовалась и в Австралии. В Индии ее сняли с тюрем, и в Сингапуре тоже.

— Где я заработаю столько денег?

— Иов! — выругался Сом.

Пройдоха пожал плечами. Он повторял про себя: «Пять тысяч! Пять тысяч!»

— Перестань удивляться, — рассмеялся Сом. — За меня больше заплатили.

Сом задрал широкую рубашку, вынул из-за пояса кольт, сунул в руки Пройдохе. Это было то самое оружие, которое отобрали у Пройдохи в полиции. Ке не задавал вопросов, каким образом оно оказалось у телохранителя господина Фу.

«Убегу!» — подумал Ке. Сом, читая его мысли, произнес:

— Ты теперь как обезьяна в сетке. Не вздумай бежать — найдут. Считай, что тебя мобилизовали в армию. Советую научиться отдавать честь. Пошли, покажу казарму.

Каморка в гараже была светлой, но невероятно за-

хламленной. Сом не утруждал себя уборкой. Он указал на голый топчан:

— Твой.

— Уберешь комнату, белье с моей постели выстираешь.

В тот же день Ке познакомился с дочкой господина, красавицей Дженни. Она пришла в гараж, легла на капот машины, задрала ноги, закурила сигарету и начала душеспасительную беседу:

— Ты хочешь учиться? Я про тебя все знаю... Я умею подслушивать. И еще люблю, когда дерутся мужчины... Бенц! Бенц! Все в красных тонах... У меня эмоции принимают окраску... Я все вижу в разных цветах... Ты, например, оранжевый... Почему-то ты мне кажешься оранжевым. Наверное, потому, что ты хочешь учиться. А что толку? Я училась... Мы не принимали в свою среду серость. А теперь я пишу отцу отчеты. Он, как все китайцы, страшный бюрократ — падает на колени перед листом бумаги, если на нем написан хотя бы один иероглиф. Лучше бы я осталась в Штатах. У меня был... я тебе скажу, ты не трепач? — у меня был мальчик. Сын миллионера. Он был в меня влюблен... Он был такой голубой-голубой, вроде тебя, но ты оранжевый. Роковая любовь. Он застрелился из-за меня. Не веришь?

Пройдоха слушал болтовню хозяйской дочки вполуха. В гараже оказался кран, поэтому не пришлось таскать воду с кухни. Он затолкал простыню, наволочку, сорочки «приятеля» в чан, залил водой, засыпал стиральным порошком. Ничего, что вода холодная, стиральный порошок отъест грязь.

— А мой отец черного цвета, — продолжала Дженни. — В нем есть что-то трагическое...

Она уставилась на Пройдоху большими подведенными глазами.

— Оранжевый, — сказала Дженни и бросила окурок в чан с бельем. — Уберешь, — сказала Дженни, и ее глаза опять стали пустыми, как фары разбитой автомашины. — Мне жалко тебя! Ты попал к паукам. И сам станешь пауком, желтым пауком, отвратительным. Самый противный цвет — желтый, с чуть зеленоватым оттенком, и не по всему фону, а мазками... цвет стариков.

Она демонстративно повернулась и, играя бедрами, как уличная женщина, пошла к выходу.

Я предложил господину Фу сигарету. Он поблагодарил, закурил. Мое молчание затянулось. В конце концов, я имел право задуматься, испугаться, раскаяться или подготовиться к очередному туру схватки, своеобразной китайской борьбе в стиле «пинг-понг».

Господин Фу испытывал ко мне даже расположение за то, что я одолел его в приверженности к истинной традиции мистера Конфуция, попытавшегося когда-то навести в Поднебесной незыблемый порядок, но, как показало течение времени, породившего только беспорядок.

Я задал ему еще один вопрос с непосредственностью матерого констебля:

— А зачем вы пришли ко мне?

— Видите ли, господин Кинг... — начал он задумчиво. — Я вынужден побеспокоить вас, хотя официально нас никто и не представлял, но в наше стремительное время я решился на этот шаг, рискуя прослыть невежливым...

«Понесло, — подумал я. — Давай, давай!»

Я пропускал мимо ушей его извинения.

— Убили моего слугу...

Он замолчал и растаял в вопросительной улыбке. Я чудом сдержался, чтобы не вытереть внезапно вспотевшие ладони о платок. Мне необходимо было «раскачаться».

— Убили вашего слугу? — удивился я и получил в ответ утвердительный кивок.

— Да, это был мой слуга. Его застрелили.

— Вы думаете, что его убил я?

Более идиотского вопроса трудно было ожидать.

Господин Фу от моей наивности, граничившей с шизофренией, оторопел. Он глядел мне в глаза. И если бы я не выдержал и у меня мелькнул в зрачках намек на смешинку...

— Вы замешаны в убийстве, — растягивая каждое слово, произнес господин Фу.

Игра начала надоедать.

— Меня удивляет это обвинение... — начал я, распахиваясь. — Господин Фу, вы знаете мой бизнес, я догадываюсь о вашем. Но мне нет никакого интереса вмешиваться в грязные истории. Вы меня знаете не первый год...

— Знаю... — неопределенно ответил гость.

— Неужели вы могли подумать, что я выстрелил в человека? С какой стати? Я никогда не ношу с собой оружия. Меня интересует только информация, информация и еще раз информация. Осложнения с полицией не входят в расчеты честного журналиста.

Конечно, он врал. Я вдруг почувствовал ловушку.

— Вы лжец! — рявкнул я, как потомственный колонизатор.

— Не желаю вести беседу в подобном тоне, — сказал Фу по-английски, встал и застегнул пиджак.

«Врет... — подумал я. — Не уйдет».

Нужно было придумать что-то более увесистое, чтобы сбить его с ног.

— Сядьте, господин Фу... — попросил я. — Извините. Не понимаю, что вас заставило прийти ко мне. Полиция не могла сказать подобных слов. Если бы у них было подозрение, они сами нашли бы возможность встретиться со мной. Садитесь! Извините, если я поступил грубо. Значит, вы заинтересованы в том, чтобы найти того человека? — Я задумался, шевеля языком под щекой. — Вам нужен очевидец... В данном случае этим человеком оказался я. Полиция... Вы разузнали, где меня искать. Но для этого нужно было узнать, кто я. Как вы установили мою личность?

— Установили? — переспросил настороженно Фу.

— Я догадываюсь, как... Значит, я вам нужен? Точнее, вы опасаетесь, что ваш слуга... предал вас. Так?.. Логично? Угадал?

Я вплотную «прижался» к его подозрениям, как положено в атомной войне, — самое безопасное место в непосредственной близости от противника.

— Он мог продать ценные сведения? — продолжал я.

— Вам лучше знать, — кисло улыбнулся Фу.

— О, если бы он успел!.. — Я сладострастно потянулся. — Я бы с вами разговаривал по-иному.

— Сколько вы хотите за сведения? — спросил напрямик Фу.

Я застыл. Это была непростительная неосторожность моего оппонента: нервы сдают.

— Вы в самом деле ничего не знаете? — выдавил Фу из себя.

— Вы от кого пришли? Не от мадам ли Вонг?

— Не шутите неосторожно, — ошетинился гость.

— Я и не собираюсь шутить, — ответил я зло. — Жаль, что нет ничего против вас. Если бы... Ваш слуга... Он мне показался неглупым парнем, только издерганным. У него почему-то белели уши. Жаль, искренне жаль, что разговор с вашим слугой не состоялся. Откровенно говоря, он вначале показался мне вымогателем. Но когда я услышал выстрел...

— Кто вас свел?

— Позвонили в редакцию... Последовал второй звонок. Я приехал. И вы еще спрашиваете...

— Зачем вы убежали из гостиницы?

— Во-первых, ушел. Во-вторых, как бы вы поступили на моем месте? Встречаетесь с человеком, не успеваете даже спросить его имени, как раздается выстрел... Кто же его убил? Ваши люди?

— Не мои, — сказал Фу.

— Так... — Наступила очередь удивляться мне. — Вы не знаете, кто звонил в редакцию? Разве вызов делался без вашего согласия?

— Моего? — вскочил господин Фу. — Вы клеветеете на меня.

— Вы не знаете, кто меня свел с вашим покойным слугой?

— Нет!... Клянусь!

— Дженни, ваша дочка! — сказал я, давая понять гостю, что в случившемся виноват прежде всего он сам, вернее, его род.

Господин Фу начал медленно приподниматься с кресла...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Когда я вернулся к друзьям, слегка подпивший Боб, топорща усы, как кайзер, разглагольствовал на тему об эпохе Великих географических открытий.

Я прервал Боба:

— Может, вас все-таки интересуется, кто приходил?

— Господин Фу, — сказал Боб и показал на визитную карточку, валявшуюся на столике. — А кто такой Фу? И зачем он приходил?

— Он хозяин парня, которого убили, — сказал я, — пришел узнать, успел ли покойный передать какие-либо записи или адреса...

— Ты сознался?

— Не возникло желания, — ответил я и налил рюмку коньяку. — С тобой трудно говорить... У нас разная амплитуда колебания мыслей.

— Я чувствую, что мешаю, — заявила Клер, встала и, поцеловав меня в лоб, как ребенка, вышла из комнаты.

Боб моментально стал трезвым — это он умел. Точно у него был клапан, и, когда дело доходило до серьезного, он нажимал на клапан, пары алкоголя улетучивались, и его сознание становилось ясным.

— У тебя есть фотоаппарат? — спросил я.

— Как всегда.

— Пошли. Займемся работой.

Прежде чем подняться к себе, я зашел в прихожую, отодвинул ящик для обуви, вынул дневники Пройдохи, затем мы забаррикадировались на втором этаже, завесили окно и начали работать.

Миниатюрный фотоаппарат Боба щелкал непрерывно. Мы его закрепили на перевернутой скамейке. Я листал страницы. Мы отсняли шесть кассет.

— Куда их спрячем? — спросил я.

— Положу среди неиспользованных.

— Как потом найдешь?

— Найду... Если довезем до редакции.

— В редакцию мы повезем и дневники... — Я не договорил.

За дверью послышался чуть слышный шорох.

Я бросился к двери, повернул ключ. В конце коридора мелькнула тень.

— Кто там?

Я, перепрыгивая через ступеньку, скатился вниз. В холле служанка обтирала пыль с полок щеткой из птичьих перьев.

— Кто здесь был?

Служанка улыбнулась и пожала плечами.

— Я убирала окурки и бутылки.

Я вернулся к себе.

— Что случилось? — спросил Боб, рассовывая отснятые кассеты.

— Показалось, что кто-то подслушивал.

— Мания преследования, — ответил Боб. — Какие будут приказания?

— Требуется сжечь рукописи. Я без тебя не сориентировался. Сутки стучал на машинке, настучал три экземпляра. С ними как с гробом.

— Ладно, — рассмеялся Боб. — Через пятнадцать минут действуй. Служанка будет в угловой комнате. Клер сказала, чтобы я располагался там. А хозяйку не подозреваешь?

— За Клер ручаюсь. Мы друзья.

— Тебе лучше знать. Я пошел.

2

Кухня характеризует женщину. Женщине свойственно окукливание — это запрограммировано в ее генах. Наряды, обстановка в комнатах — вкусы преходящие. Чтобы изучить нравы, семейный уклад, уровень развития промышленности хотя бы той же Германии конца прошлого столетия, нужно было бы заглянуть на кухню бюргера, где фаянс, огромные пивные кружки, прочие мелочи рассказали бы больше, чем все стихи поэтов «бури и натиска». Недаром археологи ищут костровища первобытных людей.

На кухне у Клер был коктейль из современных и старинных вещей. Плита на сжиженном газе — газ здесь стоит очень дорого, но тем не менее Клер обзавелась подобной плитой, хотя, как я понял, пища готовилась на обыкновенном бензине или электричестве. Всевозможные кофейники, благородные от времени... Весы-кормысла, супницы, поварешки с инкрустированными ручками. Полочки, коробочки, ящички. Точно в старинной аптеке, хотя, по сути дела, кухня когда-то и была местом хранения медикаментов — дед и отец Клер служили портовыми карантинными врачами. Высился камин. Почему именно камин был на кухне, оставалось для меня загадкой. Он-то мне и требовался. Широкий старинный камин, в который хотелось сунуть мачту старинного клипера.

Жалко было сжигать рукописи. Вначале я рассчитывал, что есть шанс предложить их португальской полиции. Полиция обещала тысячи долларов за фотографию

госпожи Вонг. Но визит господина Фу заставил изменить решение.

В начале 60-х годов, во время корейской войны, ходили слухи, что при таинственных обстоятельствах было открыто лицо «королевы пиратов». И сделал это некий Корнхэйт, «австралийский турист». Его следы затерялись на Филиппинах на вилле полковника ВВС США Эдварда Лонсдейла. Был еще слух, что некий филиппинец выдал ее резиденцию здесь, в Макао, недалеко от дома Клер. Но арест подозрительной «одиноким женщины» не состоялся, помешали власти Гонконга, точнее, английская военная разведка. В печать просочились подробности загадочного происшествия. Я слишком хорошо помню участь незадачливых журналистов. Один исчез, двое улетели в метрополию и пребывают по сей день в провинциальных газетках. «Спящую собаку лучше не будить». В общем, сплошные «пчелки в чепчике».

Но раз уж я влез в эту историю и втянул в нее друзей, я доведу ее до конца. Боб поможет пристроить дневники. У него нюх как у сеттера. Иначе бы он не пошел за мной в страну Шан-Гри-Ла, конкретно, не зная зачем.

Грустно было сжигать листки. Это горела не бумага, а жизни миллионов Пройдох, Маленьких Малайцев, китайцев Мын, Толстых Хуанов. Остался последний тусклый экземпляр перевода. Я свернул его трубкой.

— Как дела? — донесся голос Боба. — Справился?

— Заканчиваю.

— Правильно сделал. Чем меньше несешь, тем легче идти.

— Надо убираться отсюда побыстрее.

— Как ты это себе представляешь?

— Отсюда один выход, — сказал я. — Морем. Купим билеты на «трамвай» и утром будем в Гонконге. Там решим, что делать с материалом. Я налеюсь на тебя.

— Найду применение, — пообещал Боб. — Но в порту нас перехватят. И в море могут перехватить. У тебя есть второй паспорт?

— Никогда не было. Я не аферист.

— Вместе нам не стоит ехать, — размышлял Боб. — С пленкой поеду я. И с первым же рейсом. На меня не

объявлена свободная охота, я в стороне и проскочу. Потом поедешь ты...

— Фотокопиям без оригинала цена два пиастра, — возразил я. — Я их привезу с собой. Дневник я оставил целым.

— Это может стоить тебе очень дорого.

— Знаю. Визит господина Фу — предупреждение. Только странно, что он приходил сам.

Мы замолчали.

И все-таки я еще не представлял подлинную цену дневников. Цена взвинчивалась, как на аукционе. И первый удар молотка мы услышали буквально через несколько секунд.

— Руки вверх! — раздался голос с хрипотцой. По тону чувствовалось, что не шутят.

— К стене! — следовали команды. — Опереться руками о стену, ноги шире! Не оборачиваться! Стреляю без предупреждения.

Мы «охотно» подчинились и встали у стены, как будто всю жизнь прожили с поднятыми руками.

— Длинный, пошарь за пазухой... — раздался тихий спокойный голос. Потные руки профессионально заскользили вдоль моего тела...

Мозг лихорадочно работал. Кто это свалился, как кошка на голову? Конечно, люди господина Фу. У него был телохранитель по кличке «Длинный». Господин Фу не поверил моей игре? Или заподозрил неискренность? Он был не в себе, услышав, что Пройдоху Ке вывела на меня его собственная дочь. Он потерял голову? И вот пришли его люди... Неужели он знает, что у меня дневники? Когда он был здесь, он не был в этом уверен. Может, ему поступил новый сигнал?.. От кого? От полиции? Но полиция не в курсе дела.

— Повернитесь! — последовала команда. — Опустить руки.

В комнате оказалось трое «гостей». Первым стоял Длинный. Это он шарил по карманам, выскивая оружие. Напрасно старался.

— Присаживайтесь, господа! — последовало предложение на английском языке с легким японским «пронсом».

Я сел. Боб, расправив усы, ни на кого не глядя, тоже сел, закинув ногу на ногу. Вид его был воинственным и нагловатым.

Конечно, Сом тоже явился сюда во всем блеске — в соломенной шляпе, рубашке навыпуск цвета хаки, с узкими погончиками, в тщательно отутюженных шерстяных брюках и с неизменными темными очками на носу. Я его сразу узнал по описаниям Ке. Он был пижон, телохранитель господина Фу, антиквара, преподавателя каллиграфии Гонконгского китайского университета, торговца наркотиками, контрабандиста, в общем, дельца, которых тысячи от Цейлона до Филиппин и даже до Сан-Франциско и Гаити. Сила пиявок, подобных господину Фу, в их тайных родовых связях. У них существуют кланы с широкой разветвленной сетью деловых отношений. Конечно, миллионы китайцев, хотя бы в том же Сингапуре или Гонконге, влачат ничтожную жизнь, немногим из эмигрантов удалось выбиться в люди, и именно поэтому «выбившиеся в люди» необычайно живучи, цепки, изворотливы и безжалостны. Кули, китаец с набережной чужого порта, двенадцать часов таскавший на спине корзину с рисом, вечером съедал в лучшем случае миску жидкой каши, приправленной вялыми овощами. Кули работал на земляка, главу клана, которого считал благодетелем — господин предоставил работу, пустил в ночлежку, дал ссуду, когда заболел ребенок. К своему господину обращается китаец и в моменты взрыва национальной резни, часто возникающей то в одном, то в другом уголке Тихоокеанского бассейна, куда континент выплеснул миллионы Ли, Ванов, Чжанов, Фу... За ними, как за Великой стеной, упрятались ростовщики, перекупщики, банкиры, контрабандисты, чьи фамилии были тоже Ли, Ван, Чжан... Последнее время, после резни в Индонезии, «люди» стали перестраивать структуру кланов и, главное, менять методы «работы», американизовав тактику и организацию.

Японец сидел на циновке, сняв по древнему обычаю обувь у порога, подложив под себя аккуратно ноги, положив руки на колени, точно собираясь молиться духам предков.

— Здравствуйте, господа, — улыбнулся японец. — Очень рад с вами познакомиться. Я, надеюсь, не ошибся? Вы господин Кинг? — он сделал легкий поклон в мою сторону. Я не ответил. — А вы кто такой?

— Чего нужно? — зло спросил Боб. — Если пришли грабить, то ошиблись адресом. Как бы я тебя сам не ограбил.

— О, значит, вы тоже журналист, — сделал поклон в сторону Боба главарь налетчиков. — Очень хорошо! Будем проводить пресс-конференцию. Только прошу не делать резких движений. Мои мальчишки плохо обращаются с оружием, могут нажать с перепугу не на тот рычажок. И будет большая неприятность. И для вас, уважаемые господа, и для меня. Я отнюдь не хочу портить отношения с заморскими... друзьями.

— Кончай дергать за ногу, — не выдержал Боб. — Зря тратишь время. Если вы снимете мои часы, вам на троих мало достанется. Сматывайтесь, и я сделаю вид, что вас не заметил. Убери! — он привстал и оттолкнул ствол пистолета, который направил на него Длинный. — И будем считать, что мы незнакомы. Обещаю не сообщать о визите в полицию. Горе-грабители! И это потомок богини Амотерасу Омиками! Связались с подобной шушерой!

— Заткнись! — привстал Сом. Он не любил неуважительного к себе отношения...

Боб не обратил внимания на его реплику. Мой друг не теряется ни при каких обстоятельствах. Моментально нащупывает главную нить — подонки, разумеется, не тронут нас пальцем, пока им не даст команду главный. Ну а если он даст команду... Не имеет никакого значения, в какой момент гангстеры придут в ярость, на несколько минут раньше или позже... Если они будут бить, они ошалеют от запаха крови и возможности мучить безнаказанно чужую плоть.

Японец закрыл глаза: лицо его было печальным. Ох, эти самураи! Обожают мистику. Все у них идет по ритуалу... Даже когда варили китайцев живьем в котлах, они делали это с серьезным лицом. Но почему у господина Фу оказался в телохранителях японец? Ке ничего не писал про это... Кто этот японец?

— Кио ку мицу! — произнес, как молитву, главарь налетчиков.

У меня по спине побежали мурашки... «Кио ку мицу» — гриф. Его ставили во время прошлой войны на документах «Совершенно секретно, при прочтении сжечь». И вдруг я догадался, кто сидел на циновке передо мной. Это же Комацу-сан, или Комацу-бака, как называл его Пройдоха Ке. Комацу... Бывший офицер

божественного микадо. Военный преступник, сумевший избежать возмездия. Слуга мадам Вонг. А может, и не только мадам? Может, он связной кемпентай*?

3

Тетрадь

«Если со мной что случится в ближайшие часы, это значит — Комацу-отравитель узнал меня. Будь проклят, отравитель! Пусть у него вылезут ногти, лицо обезобразит проказа, суставы распухнут от ревматизма, а черви источат его тело, как старую тутовницу!»

«Кажется, пронесло! Он не узнал меня. Надо бежать. Я убегу подальше от моря, потому что море стало дорогой, на которой мы встречаемся. Я спрячусь в маленькой деревне. И я спрячу дневники, потому что, если со мной что случится, тетради будут жить среди людей и, может, найдут того, кто их прочитает. Они отомстят за меня!»

Нет смысла приводить подряд все выдержки из дневника Пройдохи. Они сумбурны, отрывисты, порой противоречивы. Видно, парень последние дни жил напряженно, нервно.

Новая встреча Ке с Комацу произошла случайно. Произошла она здесь, в Макао, при весьма щекотливых обстоятельствах. Пройдохи не смог полностью разобраться в загадках, которые поставила перед ним жизнь. Винить его в этом было бы несправедливо. Для того чтобы найти правильный ответ на элементарную загадку: «Сколько будет 2×2 ?», нужно уметь считать хотя бы до четырех. Многое осталось неразгаданным и для меня. Ясно одно — Ке вновь угодил в сети мадам Вонг. Да иначе и быть не могло: происходит слияние гангстерских организаций. Господин Фу оказался лишь мелкой сошкой. Его бизнес — всего лишь листок на дереве преступного бизнеса, одна из многих «артелей» крепко сколоченной империи мадам Вонг.

В Макао проводилось совещание гангстеров... Весьма своеобразное. Колониальные португальские власти, безусловно, знали о нем. Хотя бы то, что на совещании

* Японская военная контрразведка.

присутствовал господин Лобо, фактический финансовый директор португальской колонии, владелец четырех банков, пяти отелей, двух газет, таксомоторной компании, пяти школ, больницы, всех кинотеатров Макао, король контрабанды золотом, доктор экономических наук, глава компании «Лобо энд компани лимитед», он же товарищ Хо Ин, член Политического консультативного совета, то есть член правительства маоистского Китая; его присутствие на заседании гангстеров говорит само за себя. Смешно думать, что правая рука не знала, что творила левая. Встреча произошла в праздник Весны, когда в колонию разрешен свободный въезд с континента. С континента на совещании присутствовали трое пекинских чиновников. Приехали они на машине с опознавательными знаками КНР, одетые в шерстяные униформы, в которых ходит сегодня весь Китай (разумеется, не в шерстяных) — форма из дорогого материала открыто подчеркивает большие полномочия эмиссаров со значками «Великого кормчего» на френчах. Разумеется, тайная местная полиция, ведущая неусыпную слежку за всеми подозрительными лицами, проследила маршрут машины, которая беспрепятственно прошла КПП, промчалась по улицам Макао и остановилась у небольшого особнячка, утопающего в зелени, невдалеке от единственной достопримечательности колонии — грота Камознс с памятником поэту.

Вилла охранялась. Конечно, не силами колониальной полиции. В состав охраны угодили Сом и Пройдоха. К этому времени Пройдоха убедился, что имеет дело не только с контрабандой золота, но и с почти легальным вывозом на мировые рынки — в Европу и США — Зовущей смерти, как он называл наркотики. Одна из фабрик по производству героина (по его записям) находилась в восточной части улицы Победы, в заднем дворе мастерской по ремонту автомашин. Вывеска мастерской служила прикрытием. Фабрика среди гангстеров называлась «Кукарачей», сюда отправляли в наказание провинившихся. Технология производства героина весьма проста. Но несовершенное оборудование, кустарщина, теснота грозили взрывом, который мог произойти каждую минуту. «Работникам» запрещалось покидать задний двор «мастерских», а «легальные рабочие» были, по сути дела, охраной, напоминающей ту охрану, с которой столкнулся Пройдоха на строительстве секретной

базы пиратов. Охранники не задумываясь пристрелили бы любого, даже вчерашнего друга, памятуя, что завтра их роли могут поменяться. Круговая порука и садизм были цементом, скрепляющим их «братство».

Когда по гравийной дорожке к особняку прошел Комацу-бака, Пройдоха настолько оторопел от неожиданности, что замер, как столб, нелепо высунувшись из-за зеленой изгороди, подстриженной на английский манер. Нужно было быть слепым, чтобы не обратить внимания на перепуганного парня. И все же Комацу не сразу вспомнил, где он видел вьетнамца с бледными, точно обмороженными, ушами. Для этого потребовалось время.

Свободный отряд телохранителей нес службу бдительно: в штабе у телевизора сидели операторы, наблюдая на экране за поведением гостей. Малейшее подозрительное движение фиксировалось. Охранники должны были немедленно докладывать командиру десятки, если заподозрят кого-либо из присутствующих в записи на миниатюрный магнитофон разговора или заметят движение, похожее на фотографирование, — манипуляции с зажигалками, нервное застегивание и расстегивание пуговиц и т. д. Заподозренного было приказано не выпускать из поля зрения и в случае попытки скрыться стрелять без предупреждения и без промаха, желательно в ноги.

Пройдоха и Сом были назначены во внутреннюю охрану, на участке от гравийной дорожки до высокого каменного забора. Они сидели скрыто за высокой плотной колючей изгородью в тени дерева с осиным гнездом.

Жизнь дерева и ос немыслима друг без друга — дерево без паразитов не дает плодов, осы без дерева не могут вывести потомства, ибо жизнь зрелых особей проходит целиком внутри плодов, исключая перелет самок при откладке яиц. В тот день был перелет, вокруг дерева вилась тучка насекомых. Обессилевшие от кладки яиц самки падали с веток на землю.

— Такие деревья нужно вырубать под корень, — чуть не орал Сом, сбрасывая с лица ос, которые, к счастью, не жалили. — Нам нарочно выделили это место. Тьфу! В ноздри лезут...

Раздражение Сома помешало ему заметить странное поведение напарника — Пройдоха вздрагивал от шоро-

хов и не выпускал из рук рукоятку пистолета. Уши у него стали белыми, как у африканского слона.

Минут в пятнадцать седьмого вдоль забора к воротам прошел Комацу в сопровождении начальника отряда охраны: последняя проверка постов перед приездом самых главных участников совещания. Сом и Пройдоха издалека увидели их. Пройдоха нырнул под ветки смоковницы. Его, как пеплом, осыпало умирающими осами. Он вынул из-за пояса пистолет, проверил обойму, дослал патрон в патронник и поставил оружие на предохранитель.

И вот показалась женщина в сопровождении того же Комацу и еще двух мужчин, европейцев. Один из них был лысый с янтарными глазами. Пройдоха узнал его — с этим янки он встречался, когда с господином Фу ездил на остров. Второй европеец шел с «прямым позвоночником», делая отмашку правой рукой, точно левой придерживал эфес парадного клинка.

— Симпатичная бабенка! — произнес Сом. — С кем это она?

— А может, они с ней? — несмело отозвался Пройдоха, догадываясь, кем могла быть эта моложавая женщина с аккуратной короткой европейской прической. Она была, как и Сом, в темных огромных очках, длинное платье-халат с глубоким разрезом, идущим почти от бедра, оголяло ее стройную смуглую ногу в тонком чулке. Она что-то весело говорила мужчинам, а те шли серьезные, как доктора к операционному столу. Это и была мадам Вонг.

О чем совещались «рыцари удачи» Южно-Китайского моря в доме около памятника поэту, я не знаю. Можно только строить всевозможные предположения. Конечно, они собрались не для того, чтобы обсудить вопрос о выведении нового сорта хризантем.

На первый взгляд странно, что состав сборища был слишком пестрым, эмиссары Мао встретились за банкетным столом с пиратами, подозрительными американцами, не то хозяевами, не то агентами китайских националистов с Формозы, но так кажется лишь на первый взгляд. Пекинские газеты искренне шлют проклятия, когда это касается лишь вопроса взаимоотношений с великим северным соседом. Здесь, в Макао, они вели диаметрально противоположную политику, прикрытую с континента словесной завесой левацких лозунгов и ци-

тат «Великого кормчего». Хотя бы тот факт, что самый богатый человек Макао, «проклятый империалист», господин Лобо был одновременно и товарищем Хо Ином, членом Пекинского правительства, объяснял многое, если не все.

Фабрика господина Фу по производству героина, замаскированная под вывеской «Автомастерская», работала на сырье, доставленном с континента, известном на весь мир сырце опиума марки «999», добываемом на плантациях мака в коммунах и концлагерях, «школах 7 мая», обширной и богатейшей провинции Юньнань. Интерпол в данном случае был бессилен. Португальские власти и англичане в Гонконге, молчаливо оберегая статус-кво, делали вид, что не знали об этом совещании. Больше того, их тайные полиции наверняка блокировали журналистов. И если бы исчез журналист — британский подданный, официальные власти набрали бы в рот воды, и никто не вызывал бы по рации «корабли мести Ее Величества».

Пройдоха не ждал конца совещания. Он подошел к забору, никем не замеченный, перелез через забор и очутился в тесном глухом переулке: он принял самое правильное решение — скрыться, пока правая рука мадам Вонг — Комацу не вспомнил о том, где он видел молодого вьетнамца.

Ке шел по переулку, сжимая пистолет со снятым предохранителем. Переулок казался бесконечным. Пройдоха пробирался вдоль высоких заборов. К его счастью, наступила скоропостижная южная ночь, и он вскоре оказался в потоке темноты, которая текла по переулку, как горная река по дну ущелья.

Главное — выскочить на оживленную улицу. Вполне возможно, внешний пост находился при выходе из переулка, и если там окажутся незнакомые охранники, это могло окончиться для беглеца трагически.

Сзади послышался шум мотоцикла.

Ке поднял пистолет... Его ослепил луч света, и он уже было выстрелил по фарам, как услышал знакомый голос:

— Это я! Не смей стрелять!

На мотоцикле сидела Дженни, дочка господина Фу. Она сидела верхом на мотоцикле, как амазонка на степном скакуне. И по тому, как она стала выплевывать

из себя мужские ругательства, Ке сообразил, что девчонка разъярена.

— Надоели вы мне! — кричала Дженни. — Я вас ненавижу! Я бы вас... Утопила бы... Ненавижу! Пропусти! И не приеду... Так и передай отцу. Уехала, и все! Пойду в стюардессы, пойду в пятидесятки *!

— Не кричи! — успокаивал ее Пройдоха, прислушиваясь к шорохам в темноте. — Куда ты мчишься? Тихо!

— Я хочу орать и буду орать! — кричала Дженни. — Хоть убей. Я презираю вас!

Оказывается, Дженни смертельно оскорбили во время банкета. Подумать только, ее, Дженни, получившую образование в Америке, заставили сидеть в холле, угощаться конфетами и вести сплетни с остальными женщинами-«туземками». Ее, Дженни, эмансипированную девчонку, попытались приравнять чуть ли не к гейше. Может быть, она и смирилась бы... Традиции есть традиции, но в зал с мужчинами, она видела собственными глазами, прошла особа. И не европейка, а тоже китаянка, рожденная в тех же широтах, что и Дженни. Старуха лет пятидесяти... И мужчины увивались вокруг нее, лепетали, точно проглотили вместо устриц собственные языки. Мужчины пошли пить виски... А ей, Дженни, предложили жевать сладости, как жвачку буйволице.

Подобного унижения она перенести не смогла. Она выбежала во двор, вскочила в седло мотоцикла и помчалась куда глаза глядят. И в добавление ее еще чуть не пристрелил слуга ее отца.

Пройдоха сумел, не раскрывая карт, убедить ее взять себя в качестве пассажира. Для него это был единственный шанс вырваться из клетки. Он сел сзади Дженни, обнял ее за талию, как это делают девушки, когда любимые катают их сломя голову за городом, и они выскочили на широкую улицу. Никто их не остановил: те, кому было поручено нести внешнюю охрану, знали дочку господина Фу.

Читая дневники Пройдохи Ке, я первое время удивлялся его последовательности и терпению. Так или иначе записи Пройдоха вел, как говорится, до последней минуты. Неясно только, где и как он прятал свои дневники. Если его только бы заподозрили в подобном, Ке убрали бы немедленно и непременно.

* Слэнг — местное название проституток.

Деньги у Ке были, так что он не испытывал затруднения с едой, тем более с детства привык довольствоваться горстью риса и пучком редиски. Ке искали... Тревога была объявлена. Размноженные фотографии беглеца были и у рикш, и у нищих, даже у чинов официальной полиции. Отступника ожидала неминуемая кара. Комацу с запозданием вспомнил, где он встречался с нелепым парнем, уши которого точно тронули первые лучи проказы. Но Ке перехитрил и на этот раз преследователей — он зарылся в нору и заглох, как рыбий малек в непролазных зарослях морской капусты.

К сожалению, у него начинались стычки с Дженни. Она знала, где он скрывается. Она устраивала сначала тихие, затем все более бурные сцены. В его дневнике промелькнула запись: «Дырявая туфля (Дженни) опять напилась, как Сом, и требовала, чтобы я клялся ей в любви». «От нее несло перегаром как запахом тины».

Ке был опытнее и умнее Дженни. Он быстро понял, что его подружка после скандала, возникшего по любому поводу, ибо она была на редкость неуравновешенной особой, может выдать его. И он решил сбросить, как кролик, след. Он чувствовал, что петля преследования все туже стягивается вокруг его хрупкой шеи.

После очередного скандала он решился исчезнуть, предварительно исподволь уговорив Дженни найти человека, которому можно доверить дневники. Это было слабой гарантией его безопасности. Скорее это была месть — в случае гибели его дневники «выстрелят».

Дженни нашла человека — им оказался я. И когда время и место встречи с журналистом было назначено, Ке выложил карты на стол. Это его и погубило. Дженни вывела «тайную полицию» мадам Вонг на след Пройдохи, который и привел гангстеров в кафе, где состоялась наша встреча. Видно, игра девчонки в месть мадам Вонг зашла настолько далеко, что опасность нависла и над ее отцом, вот чем был вызван визит господина Фу — он хотел упредить акцию Комацу.

Да, Ке слишком поздно понял о своем промахе. Я был теперь единственной его опорой в земной жизни. Он пошел к двери, пытаясь отвлечь гангстеров от «человека». Его бывшие друзья знали, что он вооружен... Возможно, у них был приказ без лишних слов пришить дважды беглеца там, где он будет обнаружен.

Теперь Комацу-сан пришел с «визитом вежливости»,

выяснить, что известно журналисту о прошлом бывшего строительного рабочего.

Они поспешили, сделав Ке молчаливым. Но откуда они узнали о дневниках? Конечно, Дженни знала. Когда отец примчался к ней, разъяренный и перепуганный возможными разоблачениями, и задал ей перцу, она, вероятно, рассказала обо всем.

Не случайно, что сюда пришли те, кого знал Пройдоха. И если я опознаю хотя бы одного из них... значит, я знаю о них, значит, я в курсе дела, значит, я опасен... И меня, и Боба, и Клер тоже ждет участь Пройдохи. Положение осложнилось. Я испугался по-настоящему.

Я сидел напротив Комацу-отравителя и так же лихорадочно искал выхода из создавшегося положения, как Пройдоха Ке в последние минуты своей запутанной жизни.

Комацу-сан кончил молиться предкам и открыл глаза, уставился на нас с Бобом. Я догадался, почему он тянул волынку. По всей вероятности, главное в его визите заключалось в том, чтобы выяснить — успел ли поведать мне ликвидированный свидетель строительства секретной базы пиратов какие-либо сведения, насколько я осведомлен о прошедшем совещании в Макао и какой информацией мы вообще можем владеть. Отсюда вытекали дальнейшие действия группы налета. Отправлять двух журналистов в страну призраков — накладное дело. Журналисты люди заметные. Ликвидировать их непросто — поднимется шум, как поднялся шум на острове Сицилия, когда мафия похитила журналиста, слишком рьяно расследовавшего деятельность их организации. Кроме того, мы могли уже переправить добытые сведения в газеты или в другие инстанции, опять же гангстерам не было известно, кто стоит за нами, на кого мы в итоге работаем.

Комацу требовалась зацепка для разговора, отправная точка, или печка, как любила говорить моя матушка, поэтому он играл комедию, несколько обескураженный нашей беспечностью. То, что мы приняли его, точнее Боб, за рядового налетчика, не давало Комацу кинетической энергии, и он замер, собираясь с мыслями.

— Надоело великое сидение, — не выдержал Боб.

Какое счастье, что я не успел рассказать ему в подробностях обо всем, что прочел в дневниках. Боб поистине не ведал, кто к нам пожаловал.

— Что вам надо — выкладывайте и уматывайте! Деньги?! У нас их нет. Мы не дети миллионеров. Мартышкин бизнес.

— Как вы сюда попали? — перебил я Боба.

— Нам открыла служанка, — с улыбкой ответил Комацу. — Но мы ее закрыли на всякий случай на кухне. Зачем вы встречались с нашим человеком? — перешел он в атаку.

— Спросите у него сами, — ответил я, пожимая плечами, как девица закрытого пансиона.

— Я пришел не за дурацкими ответами...

— А-а-а! — прозрел Боб. — Вы люди... Этого, как его? Убери пушку. — Боб взял со стола визитную карточку: — Господина Фу. Он уже тут был. О чем, Артур, у вас была беседа?

Я должен был спасти своих друзей. В конце концов, я первый влип в это дело. Я, как говорится, должен был взять огонь на себя.

«Разговор с господином Фу неизвестен японцу», — подумал я и сказал вслух:

— Это не люди профессора Фу. Мы с ним все выяснили. Произошло недоразумение. Что вам надо?

— Кто вас свел с убитым парнем? — задал вопрос Комацу.

— Спросите у господина Фу, — ответил я. — Нет, вряд ли они от господина Фу, — сказал я Бобу.

— Чего они хотят? — обратился ко мне Боб, точно мы были вдвоем.

— Видно, убитый знал что-то. Всполошил столько почтенных людей. Только зря комедия. Вы отлично должны знать, что мы с ним не успели перекинуться парой слов. Он встал и пошел к выходу... А я пошел звонить по телефону, когда услышал выстрел. Я не стал ждать, чтобы выстрелили и в меня. Это вполне оправдано. Я не люблю, когда в меня стреляют.

— Но он успел вам что-то передать... — Комацу замолчал.

И я понял, что он не уверен, что Пройдоха что-то успел передать.

— Слиток золота? — сострил я.

— У нас есть доказательства, — сказал стальным голосом японец.

— Доказательства? — я искренне рассмеялся.

— Фотография. Он вам передал пакет, — Комацу

показал издали фотографию. Наверное, они все же щелкнули, когда я нагнулся. Но вряд ли зафиксировали, как я сунул тетради под себя.

— Не понимаю, — ответил я.

— Вы что-то подняли с пола? — бесстрастным голосом, как динамик на токийском вокзале, продолжал японец.

— Сознавайся... — рывкнул Сом и неожиданно ребром ладони ударил сзади по шее. Перед глазами возникли круги, голова точно отделилась от туловища, и мозг, лишенный кислорода, заволокло дымкой.

Когда я пришел в себя, Длинный держал пистолет между лопатками Боба. Тот сидел с налитым кровью лицом и ругался, как портовый пропойца. Комацу по-прежнему сидел с невозмутимым лицом, поджав под себя ноги, точно пришел к брату в день поминания родителей.

— Черт бы вас побрал! — выдавил я из себя. — Прикажете негодяю не распускать руки. Сумасшедшие... Тьфу! Герои картины Хичкока.

— Зачем вы нагибались под стол? — последовал вопрос.

— Я уронил зажигалку...

— Где она?

— Потерял... при бегстве.

Я оставил ее наверху. Если я скажу, они пойдут туда. Пойдут? Вряд ли. Хотя какое это имеет значение. Наверху Клер. Она ничего не знает. Наглоталась снотворного и спит. Лишь бы они не схватили ее. Сколько их сюда пришло? Вдруг они сейчас там, наверху, пытаются Клер?

От этой мысли я опять чуть не потерял сознание. Что делать? Сознаться? Нет! Это не спасение.

Надо как-то убедить их, что опасения необоснованны. Если они начнут пытаться, они не остановятся, они уберут нас, потому что сам по себе факт насилия — криминал, повод для шумихи во всех газетах мира. Их требуется остановить. Но как?

Ответ пришел неожиданно и совсем иной, чем я предполагал.

— Не трогайте его! — раздалось от двери. — Руки вверх! Стреляю!

В дверях стояла Клер. Мой друг, моя несостоявшаяся любовь! Она держала в руках зажигалку в виде

пистолета. Неужели Клер не знала, что это зажигалка? Зачем она пришла? Уж лучше бы спала.

Ее крик спустил пружину... Боб метнулся на Длинного и точным ударом в челюсть отбросил его к стене. Прежде чем я сообразил, что происходит, я тоже бросился на Сому. Сработал рефлекс: журналист в наше время должен быть натренированным, как сержант из отряда «зеленых беретов». Но я запоздал... Меня опередил выстрел, потом я налетел на что-то в воздухе, как на выставленное вперед колено. И опять потерял сознание.

Я умел драться. Но я опоздал на доли секунды. Сом тоже был не пайнкой, драки в притонах закалили его, господин Фу не зря кормил телохранителя. Он сбил меня, как муху на лету.

В подобной ситуации, в которую я угодил, самое блаженное состояние — беспмятство. Но я не имел права блаженствовать в небытии. Я должен был взять огонь на себя, и где-то в укромных уголках мозга безусыпно работал часовой механизм пробуждения. Я быстро пришел в себя... И это было, пожалуй, самое приятное пробуждение, если так можно назвать мое состояние.

Около стены в позе, в которой совсем недавно стояли мы с Бобом, замерли налетчики — Длинный и Сом. В комнате было полным-полно португальских полицейских. Клер совала мне под нос пузырек с нашатырным спиртом. Около Боба суетился врач. Сом прострелил ему руки. Пол был забрызган кровью. Боб стонал.

— Немедленно в госпиталь святой Анны, — сказал врач.

— У меня дела... Потом, — тихо ответил Боб, точно ребенок.

Так все разговаривают с врачами, когда требуется их помощь.

— В госпиталь, — категорически заявил врач. — Немедленный снимок рентгена. Вполне возможно, пуля задела кость. Вам повезло... Правее — и попала бы в легкое.

— Он стрелял в руку.

— Отличный стрелок. На рентген, на рентген! Что требуется подписать? Вы подпишете протокол в госпитале. И переливание крови. У вас есть деньги?

— Я даю гарантию уплаты, — отозвалась Клер.

— Вас я знаю, — деловито закончил врач. — Проводите в машину. Счет пришлю вам. Формальности прежде всего... Но предупреждаю, что госпиталь дорогой. Рентген... переливание крови, уход, медикаменты.

— Прекратите торговаться, — взорвалась Клер. — Вы не на китайском рынке. Мой отец был карантинным врачом, но он никогда не торговался, как старуха в Лиссабоне.

— У меня есть доллары, — подал голос Боб.

— Все в порядке, — сухо ответил врач. — Пошли! Можете двигаться самостоятельно? Или вызвать «скорую помощь»?

— Будьте вы прокляты, — заворчал Боб. — Готовы обобратить до нитки. Сам дойду. Я не настолько богат, чтобы швырять «капусту» на ветер. Полиция довезет... Это ее обязанность. Комиссар, за японца отвечаете головой.

Комацу-сан сидел по-прежнему, поджав под себя ноги. Лицо его было бесстрастным, как у буддиста, впавшего в нирвану. Происходящее, казалось, его не волновало.

— У него не нашли оружия, — сказал старший полицейский.

— Он ни при чем, — слышался голос Сома.

— Тебя не спрашивают! — рявкнул на него полицейский.

— Не ори! — огрызнулся Сом. — Мы его прихватили по дороге. Он посторонний.

— Тем более не выпускать, — отдал приказание Боб.

Меня удивили нотки в его голосе. Я впервые слышал, чтобы так говорил мой приятель, точно кто-то другой говорил за него.

— Хорошо, — ответил старший. — Проводите господина в машину.

В сопровождении полицейского он вышел. За окном заурчал мотор.

— Рад с вами познакомиться! — шаркая подошвами по ковру, подплыл старший полицейский. — Много раз читал ваши статейки. Очень лихо... Особенно когда вы пишете из зала суда. А интересно, сколько вам платят? Я тоже пописываю... Жене нравятся... Может, посмотрите? Есть кое-что. Знаете, я люблю интеллигентных людей. Конечно, они любят рассуждать, и разное... Но поговорить с ними занимательно. Дам я вам

материал. Глядишь, и тиснете. Денежки, конечно, пополам. Мне сейчас деньги нужны...

— Кому не нужны, — отозвался от стены Сом.

— Заткнись, падаль! — рыкнул старший полицейский. — Пардон, мадемуазель, сорвалось. Знаете ли, у нас работа грубая, мужская. Мы, так сказать, всегда на передовой. Оберегаем покой... У нас...

— Во дворе никого не обнаружено, — доложил детектив в штатском. Он вошел в комнату, щурясь от электрического света. Удивительно, все детективы в штатском на одно лицо во всех странах, независимо от национальности. Их обзывают «калошами» за то, что им положены за счет казны калоши, чтобы не промочить ноги в ненастье, «пиявками», «вурдалаками», «любовниками консьержек», «скунсами» — названий много, в разной стране разные, но лица у детективов везде одни и те же. Специфика работы, как асфальтовый каток, сглаживает черты индивидуальности.

— Кто же вас вызвал по телефону? — удивилась Клер, поднимая зажигалку.

Полицейский пожал плечами.

— Двигай! — последовал приказ задержанным.

Сом и Длинный отлипли от стены, закинули руки за головы, обхватили затылок и, ссутулившись, направились к двери. Те же позы как во всем мире. Не было ни нагловатого пижона Сома, ни Длинного, лечившегося от венерической болезни, — были лишь арестованные. И только. На одно лицо. Как во всем мире.

— А вас, господин... Как вас? Фамилия? — обратился старший к Комацу, опередив меня.

И тут я чуть не совершил роковую ошибку. Я решил выложить козырь на стол. Комацу сидел, как будда, невозмутимый и величественный. Казалось, он наслаждался своей безнаказанностью. А ведь он правая рука «королевы пиратов», которую разыскивают все полиции мира.

— Мияги... — ответил Комацу и встал.

— Значит, Мияги, — сказал старший.

Он знал Комацу! Это было понятно по взгляду, который он бросил на японца.

— Вы утверждаете, что Мияги? — удивился я. А мозг работал. И до обиды стало ясно, что комедия продолжается.

— Я тоже жертва, — сказал Комацу. — Я проходил мимо дома, они напали на меня. Силой оружия заставили войти в этот дом. Приношу извинения хозяйке дома.

— Зачем же они вас сюда привели? — не поняла Клер.

— Наверное, чтобы не было свидетелей, — сказал Комацу.

— Врет он, — сказал я. Я почувствовал, как Комацу напрягся. Сейчас для него произойдет главное... Он услышит, что мне известно кое-что о гангстерах. Если я назову правильно, кто он есть, его визит окончится успехом. Собственно, ради этого момента он сюда и пожаловал. И полиция тоже. Они работали синхронно, как киносъёмочная камера с микрофоном.

Клер не могла вызвать полицию — телефон был внизу. Позвонить от соседей или из автомата она тоже не могла — для этого следовало спуститься вниз и пройти через холл, где были мы, или через кухню, которую гангстеры закрыли, — там сидела «под домашним арестом» служанка. Полиция непонятным образом очутилась именно в тот момент, когда японцу потребовалось отдавать приказ о насилии над нами. Совпадение, и весьма симптоматичное.

— Он... — я выдержал паузу. — Вы хорошенько проверьте его. Возможно, его разыскивает Интерпол.

— Мы проверим, — заверил старший без энтузиазма.

И я понял, что выиграл самую великую битву нервов в своей жизни.

Когда они ушли, я помог Клер поднять опрокинутый столик.

— Клер, родная, — сказал я, — мне немедленно надо скрыться. Немедленно! Это единственная гарантия безопасности для тебя и Боба. Где у него... фотоаппарат, его вещи?

— В задней комнате.

— Я заберу у него кассеты. Остальное он заберет сам. Клер, нет ли у тебя сейчас в порту надежного человека, капитана какого-нибудь фрахта?.. В любой порт. Чтобы взял пассажиром. Я должен скрыться немедленно.

— Затрудняюсь ответить... Надо пойти в порт.

— В управление не обращайся!

— Пройдем вдоль причалов. Есть кто-нибудь из

старых приятелей отца. Моряки его знали. Он многих выручал, хотя сам был беден... В нашем роду никто не отличался умением делать деньги. А из меня бы, наверное, получилась хорошая монашка.

— Что из тебя получится, еще поговорим. Я тебе пришлю письмо и напишу, что я думаю по этому поводу.

— Артур, — встрепелась она. — Ты скажи мне сейчас.

— Сейчас?.. Нет, не надо. Я напишу.

4

Всему наступает конец, даже бесконечности, или, иными словами, ничто не вечно под луной, даже сама луна. Мое повествование приближается к концу. Я, Артур Кинг, сын англичанина Кинга и русской — урожденной Лобановой, спасался бегством из Макао на проржавевшем корыте под либерийским флагом, принадлежащем греческому миллиардеру Онассису.

Корыто шло в Сингапур за малайским каучуком, за довольно неприглядными упругими бобинами, из которых впоследствии производят жевательную резинку. Капитан корыта Виктор Марсель был стар, но держался молодцом, был всегда выбрит до синеватого блеска и застегнут на все пуговицы. Полной противоположностью ему была команда, в которой боцманом числился датский хиппи — нечесаный малый, чье знание морского дела заключалось лишь в том, что он умел петь под аккомпанемент гитары старинные французские баллады, умел играть в карты во все мыслимые и немыслимые игры. И он умел пить хоть нитрокраску, при этом не пьянеть, что весьма импонировало старому Виктору Марселю, сумевшему пронести через бурную жизнь этот дар молодости.

Команду составляли тринадцать человек (чертова дюжина), вышли мы в понедельник седьмого. Первое, что я сделал, вывалившись утром на палубу из капитанской каюты (кэп страдал бессонницей и с удивительной легкостью дал Клер добро на то, чтобы в его апартаментах поселился не то ее троюродный брат, не то свежее испеченный любовник), — первое, что я сделал, когда выскочил утром на палубу, это научил двух матросов вязать элементарный морской узел, точнее, не морской, а рыбацкий.

— Хорошо, капитан, — сказал худенький матрос, улыбаясь от уха до уха тридцатью двумя зубами цвета слоновой кости, — хорошо, капитан!

Он знал по-французски всего два слова, кстати, по-английски тоже. На каком языке он говорил, я не выяснил до конца плавания, хотя знал активно восемь языков. Он готов был делать все, что ему показывали, и невпопад. Единственно, чему он научился за время рейса, — вязать рыбацкий узел. И это до того его потрясло, что он стал сам себе говорить: «Хорошо, капитан!» И вязал все, что попадалось под руки, включая канаты толщиной в руку.

Любопытнее других оказался радист — он умел лишь нажимать на кнопки магнитофона и делал это мастерски — круглые сутки на корабле вопили новоявленные «битлы» попеременно с траурным маршем Шопена в исполнении духового оркестра эскимосов Аляски. Кажется, их этому научили американские летчики с военной базы. Траурный марш импонировал радисту — ему отказала невеста, выйдя замуж за машиниста. Он разуверился в счастье, за бешеную плату позволил исколоть себя разноцветной тушью (надписи весьма пессимистического содержания) и не ждал от жизни ничего светлого.

Восемь человек команды из тринадцати стояли на помпах, которые по странной прихоти не выходили из строя и перекачивали воду из моря в море.

Тонуть мы начали на второй день. Радист уронил бобину от магнитофона с записью джазовой музыки в незадраенный трюм. Он полез за бобиной и сорвался с трапа.

Мы стояли с капитаном Виктором Марселем на мостике. Он смотрел вдаль, я тоже; возможно, он что-то и видел за бескрайним горизонтом, я ничего не видел. Был полнейший штиль, от жары даже вода казалась расплавленной. Волны поднимало лишь наше корыто, точно вокруг нас, как дельфины, резвилось не меньше сотни морских буксиров.

Появился худощавый матрос и произнес единственную фразу, которую он знал:

— Хорошо, капитан!

И как-то кисло улыбнулся, что даже я догадался, что ему совсем не хорошо, а даже плохо.

— Что он сказал, переведи, — приказал капитан рулевому.

Рулевой посмотрел на матроса и перевел:

— Он говорит, что человек за бортом в трюме.

Перевод оказался удивительно точным — радист, сорвавшись с трапа, не сломал себе шею лишь потому, что упал в воду, которой в трюме было как в хорошем бассейне, и плавал там, как мышь в бочке с пивом, при этом умудряясь орать так, что заглушал шум дизелей и рев медных труб эскимосов с Аляски, самозабвенно исполнявших траурный марш Шопена.

Когда радиста вытащили на палубу, он заорал на весь мир:

— Спасайтесь! Мы тонем!

...Самым занятным оказалось то, что мы не могли дать «SOS» — радист разбирался в аппаратуре не больше, чем бедуин в теории относительности.

— Торопиться некуда, — сказал капитан. — Пусть побегают...

— Они садятся в лодки, — сказал я, испытывая невероятное желание присоединиться к команде.

— Пусть садятся, — ответил капитан Марсель. — Для того чтобы покинуть тонущее судно, нужно прежде спустить шлюпки на воду, а этого они делать не умеют.

— Не понимаю, — взорвался я. — Зачем же вы набрали такую команду?

— Деньги платит хозяин, — сказал Марсель, — а подонки стоят намного дешевле, чем настоящие моряки.

— А вы-то куда глядели? Зачем согласились идти в море?

— У меня больная дочь, — ответил капитан. Он вздохнул, посмотрел куда-то вдаль, потом продолжил: — Я же говорю, что иногда не нужно торопиться. Видите, обормоты вылезают из спасательных шлюпок. Сейчас они прибегут сюда... Идите в каюту, мне необходимо с ними побеседовать, как отцу с блудными сыновьями.

К сожалению, я не послушался доброго совета капитана и поторопился — пошел в радиорубку. Наступили три минуты молчания. Я включил передатчик, взялся за телеграфный ключ, слава богу, сигналы бедствия самые простые. Местонахождение нашей посудины я установил на капитанском мостике.

Авианосец жил механической жизнью, это был чудовищный автомат, начиненный тысячами баррелей нефти, мазута и горами взрывчатки. Возможно, где-то в его стальном брюхе спала и атомная боеголовка, способная поднять на сотню миль океан в воздух. Плавающий плацдарм смерти. В воздух через минутные интервалы взлетали «ангелы смерти» — реактивные самолеты. Оставляя за собой дорожку дыма, с ревом набирали высоту и маленькими, безобидными чайками уходили в сторону берега во Вьетнам, Лаос или Камбоджу, чтоб сеять уничтожение, страдания и ненависть.

С кормы взметнулась в небо красная ракета; огромная, как два футбольных поля, палуба, покрытая каучуком, чтобы сокращать пробег самолета при посадке, опустела. Низко, почти касаясь гребня волн, приближалась машина, она из последних сил оторвалась от воды и упала на палубу. Резиновые тросы, как мальчишеские рогатки, затормозили ее. Она была подбита, как птица, царапала крылом палубу, крыло отвалилось, и только чудом самолет не капотировал. Он застыл на самом краю полосы, если можно так называть палубу. Самолет горел... И откуда-то из щелей муравьями посыпались люди. Забили фонтаны пены огнетушителей, люди облепили самолет, вытащили недвижимого летчика. И вот уже аварийный кран зацепил, как муху, машину и сбросил за борт. И через несколько секунд за кормой рвануло... Все. И за океан другой самолет повезет оцинкованный гроб, его выгрузят на аэродроме в Вашингтоне, накроют звездно-полосатым флагом, точно таким же, какой развевался над авианосцем.

В суматохе про меня забыли. Я стоял, прижавшись к какой-то стойке, подавленный увиденным, чувствуя себя инородным телом в страшном механизме антиджунглей, и я чувствовал, как во мне тоже растет протест и ненависть к этим ребятам, что без суеты, невероятно деловито, точно в самой страшной сказке Гофмана, творили что-то черное и загадочное.

Кто они, эти парни, одетые в робу? Неужели у них не было детства, человеческих радостей, любви, матерей, или они никогда не забирались под куст сирени, не ловили на удочки рыб, не слышали, как старый негр играет на банджо, не ласкали детей? Кто они и зачем

они здесь, зачем превратились в бездумных автоматов? Чью страшную волю исполняют, потеряв свои индивидуальности, став на одно лицо, как арестанты или детективы в штатском?

Трое отошли в сторонку, достали сигареты. Их лица были потными, руки тряслись. Нет, они чувствовали боль, усталость, страх... И пожалуй, больше ничего.

Меня взяли за локоть, повели к трапу, я спустился внутрь стального чудовища, точно под землю до слоя Махоровичича. Все звуки угасли, только слышались по стальным коридорам удары подковок на буцах. Меня вели, вели переходами, потом втокнули в стальную комнату, где стояли привинченный к полу стол и два табурета. Под потолком светился матовый плафон под толстой стальной сеткой. Я остался один.

Итак, меня сняли с каучуковоза. Одного. Капитан отказался от помощи, да и военный корабль под флагом США не собирался спасать ржавое корыто — они примчались лишь за мной. Я это моментально понял. Капитан Виктор Марсель пожал мне руку и неожиданно почему-то подмигнул. Кажется, он понял, что я влип. Морской волк делал вид, что удивлен присутствием на борту пассажира. Но его игра была шита белыми нитками — янки точно знали, что на каучуковозе находится тот, кто им требуется. Каким образом они об этом узнали — в порт мы с Клер пришли вдвоем, без хвоста?

Открылась дверь. Вошел человек. Небольшого роста, с блестящим черепом, с янтарными глазами... Портрет американского разведчика, описанный Пройдохой Ке. Он был в форме полковника армии США. Вот, оказывается, кто отправлял контрабандное золото с острова, захваченного китайскими националистами, потом присутствовал на совещании в Макао... Птица высокого полета. Политик и бизнесмен, разведчик и контрабандист.

— Вы меня знаете, — сказал он с порога и сел на свободный табурет. — Нам нет смысла играть втемную. Вы не испытываете ко мне симпатии, она мне и не требуется.

— Кто вы такой?

— Зовите меня Самуэлем. Задали вы нам работы. Чтобы изъять фотокопии, стоило много долларов.

— На каком основании?

— Для вас это слишком опасный материал.

Он говорил со мной, точно классный наставник, монотонно и поучительно. Так выговаривают ученику, прежде чем высечь розгами.

— Единственное ваше оправдание — вы не знали, за какое дело взялись. Это ваш бизнес. Но, кроме газетного бизнеса, существуют и государственные интересы. Вы английский подданный, Великобритания наша союзница, и вы должны всегда помнить, что, нанося вред Соединенным Штатам, вы наносите вред и своей стране. Мы делаем общее дело. Боремся на переднем крае с мировым коммунизмом. Я повторю вам слова аболициониста Гаррисона: «Я искренен. Я не прибегну к экивокам. Я не буду извиняться. Я не уступлю ни дюйма». Вы поняли меня?

— Понял. Но вы не dokonчили цитату: «Меня услышат».

— Как раз по поводу последней фразы... Я сделаю все, чтобы ни вас, ни меня не услышали. Мы вам заплатим. Кое-что из того материала, что вы предоставили нам, интересно. Расходы ваши будут оплачены. Но...

Он посмотрел на меня янтарными глазами, как кошка на мышь, и облизнулся.

— При одном условии... Вашего слова будет достаточно. Мы знаем вашу щепетильность, и вполне хватит вашего слова джентльмена.

— Хотите, я вам расскажу анекдот? — спросил я.

— Пожалуйста. Времени у нас, точнее, у вас, — он обвел стены взглядом, — больше чем достаточно.

— Один янки, простите, подданный Соединенных Штатов, поехал туристом на Британские острова, и когда через месяц вернулся в Чикаго, то вернулся уже миллионером. Причем учтите, у него оказалось несколько миллионов фунтов, а не долларов.

— До девальвации или после? — ехидно осведомился человек с янтарными глазами, назвавший себя Самуэлем.

— После того, как банки Европы отказались принимать доллары.

— Понял. Продолжайте...

— Он привез целый чемодан наличными фунтов стерлингов. «Откуда у тебя столько денег?» — удивилась жена. «Понимаешь, — ответил ей новоиспечен-

ный миллионер, — меня пригласили в английский клуб. Спросили, играю ли я в карты. «О'кэй!» — ответил я. «А в какую игру?» — «В очко», — ответил я». Есть такая игра.

— Знаю, я бывал в портах.

— И вот джентльмен говорит: «У меня двадцать одно». Я ему говорю: «Покажи!» Джентльмен оскорбился: «Сэр, настоящему джентльмену верят на слово». И тогда у меня как поперла карта, как поперла!»

— Забавная история, — рассмеялся человек с янтарными глазами. — Поперла. Вот так молодец! Узнаю хватку Чикаго. А он случайно был не итальянец?

— Нет, стопроцентный...

— Но вернемся к делу. Итак, вы должны забыть, что прочли в дневниках какого-то вьетнамца. Да у вас и нет хотя бы копий дневников. Оригиналы и фотокопии у нас. Все! Нам хватит трепачей в собственных газетах, которые выдают государственные тайны. С вами проще. Это не угроза, а постфактум. Даете вы слово молчать или нет?

— А если я поведу себя так, как тот житель Чикаго?

— Вы родились в Шанхае.

Я молчал. Отключился. Я не слышал, что говорил человек в форме полковника, я думал о том, что, оказывается, я живу как на ладони. Они знают все. Но откуда? Вряд ли столько много обо мне знал Павиан, мой шеф в газете. Его интересовал лишь «гвоздь». Как-то он меня встретит? Его, наверное, тоже успели припугнуть. И он-то будет молчать. Будет. Они сметаю даже собственных президентов...

— ...вы упали в пропасть, о которой не подозревали. Вы были бы мертвым уже, — продолжал янки.

— Это тюрьма?

— Гауптвахта.

— Я арестован?

Он пожал плечами.

— Это насилие! Пиратство!.. Это беззаконие!

— Вы сами поставили себя вне закона... Вы легли на рельсы перед идущим экспрессом.

— Преступники!

— Это политика. Как говорил Катон, «самый грязный бизнес». Вы сами залезли в эту помойку.

— А вы?

— Мне иногда приходится надевать форму.

— Вы же знаете, что здесь происходит, — сказал я. — Здесь происходит великое преступление, за которое судили и казнили нацистских главарей.

— Я защищаю свою страну и строй моей страны. И вашей тоже, — ответил спокойно янки.

— А торговля наркотиками?

— Дело не в торговле наркотиками и золотом. Это мелочь. Идет более крупная игра. Здесь ворочают миллиардами. Здесь точка опоры, при помощи которой переворачивают земной шар.

— Что же это?

— Нефть!

Я замолчал.

— Нефть... — повторил офицер. — Она лежит под слоем воды от Камчатки до Камбоджи. Самые огромные запасы нефти, открытой на земле. Это россыпи золота. Рост потребления нефти у нас в Штатах обгоняет прирост населения на 4 процента в год. У нас осталось нефти всего на 30—32 года, и мы сядем на голодный паек, а здесь...

Он говорил... Но я уже не слушал. Все-таки я умел выключать сознание. Боль... пытки изобретены для того, чтобы через плоть сломать сознание. Меня пытали, ломали мое сознание по прямому проводу, и мой разум нашел выход — отключился. Я думал о своем...

«Клер... Мы встретимся, как только я вырвусь отсюда. Им требуется мое слово джентльмена. Фотокопии у них в руках. Дневник тоже. Перевод я сжег... Это они знают.

Мы обвенчаемся, — думал я о Клер. — Сядем в самолет и улетим. В Дели, в Рангун, в любой город, в котором есть божий храм и где нас обвенчают».

И еще я подумал:

«Она католичка, а я православный. Как же нас будут венчать? Странно, чтобы называть себя мужем и женой, чтобы стать счастливыми, кто-то из нас должен принять чужую веру».

— ...пока вы не дадите слово джентльмена... — прорывались к сознанию слова офицера с янтарными глазами.

Финал был неожиданным, как и все финалы, иначе и не могло быть — о нем побеспокоилось слишком много людей... Моего непоколебимого слова джентльмена не потребовалось: жизнь стремительно течет, бурлит, что-то отмирает, нарождается новое, среди пепелищ пробиваются цветы... А мы сотрясаем воздух языками и делаем вид, что от наших команд что-то зависит. У нас мышление колдунов позднего палеолита, которые еще не отошли от шока, вызванного возникновением членораздельной речи.

Мне почти буквально дали под зад и выкинули с авианосца... На меня было бессмысленно тратить даже цент — дневник Пройдохи Ке, точнее, выдержки из дневника появились в печати сразу нескольких стран. Это была полная неожиданность для янки, тем более для меня...

Когда, оказавшись на берегу, дал телеграмму Клер и получил ответ, я был ошеломлен.

И тогда я вспомнил шорохи у двери, настороженные взгляды... Я сжигал перевод дневника... Перед тем как выйти с кухни, я бросил в камин третий экземпляр. Чтоб сгореть кипе бумаги, нужно много времени и кочерга. Но эта кипа не сгорела. Гангстеры заперли служанку на кухне.

Служанка! Я даже не знал ее имени. Она шла к цели более коротким и верным путем и, что самое главное, бескорыстно.

Слугою был я! Она была хозяйкой!

Мне осталось снять шляпу и склонить голову перед мужеством этой женщины.

ДЖОН ЛАФФИН

Фотография мадам Вонг

Десять тысяч фунтов за одну фотографию предлагает португальская полиция в Макао. Всего лишь одну четкую, сделанную в последнее время фотографию мадам Вонг. Всякий, кто поймает мадам Вонг, может назначить свою собственную цену, и власти Японии, Гонконга, Тайваня, Филиппин, Таиланда с охотой внесут необходимый вклад.

Десять тысяч фунтов предлагают уже с 1951 года. И несколько человек пытались заработать эти деньги. Все эти попытки кончились смертью. Португальская полиция, и любая другая полиция на Юго-Востоке, хочет поймать мадам Вонг, потому что она — главный пират этих мест.

В морях, расположенных между Тихим и Индийским океанами, пиратство процветает уже сотни лет. Оно было почти сведено на нет только во время второй мировой войны, когда все суда конвоировались военными кораблями, а японские власти рубили головы команде любого судна, имевшего несчастье смахивать на пиратское.

И все же один пират ухитрился остаться невредимым и даже приумножить свой бизнес во время войны. Это был Вонг Кунг-кит, один из чиновников чанкайшистского правительства. Никто не знает, когда Вонг сколотил первоначальный капитал, но у него уже была куча денег и товаров, когда в 1940 году он решил оставить государственную службу и заняться пиратским промыслом. Его верная помощница, молодая и красивая жена Шан, до замужества была танцовщицей в ночном клубе Кантона.

Это были не очень удачные для грабежа времена, но Вонг занимался и такими побочными промыслами, как скупка краденого, шантаж, шпионаж и убийство. К 1946 году его состояние равнялось десяти миллионам фунтов.

После войны торговое мореходство снова вступило в свои права. В водах Дальнего Востока оставалось еще много американских, французских, английских и португальских военных судов, так как было ясно, что лишённые военного конвоя торговые суда станут заманчивой приманкой для пиратов. Флибустьерам пришлось ограничиться атакой на джонки.

Однажды ночью в декабре 1946 года Вонг получил сообщение, что к Гонконгу приближаются три груженные джонки. Пираты вышли в море на больших моторных лодках и ринулись на абордаж. Здесь-то Вонгу и пришлось пережить последнее удивление в своей жизни — команда джонок состояла из военных моряков. После двадцатиминутного боя раненый Вонг понял, что он проиграл. Ему удалось убежать в маленькой моторной лодке, но на берегу он попал в руки партизан и был передан ими полиции Макао. Через два дня при попытке к бегству он был смертельно ранен и умер в сточной канаве.

Смерть Вонга была большой сенсацией. Все полагали, что теперь пиратская «империя» Вонга прекратит свое существование. Но через

несколько дней распространился слух, что дело взяла в свои руки мадам Вонг.

Два главных приспешника Вонга решили, что они, а не мадам Вонг, являются истинными наследниками пиратской фирмы. Они пришли к ней, чтобы предложить мадам убраться, — и она пристрелила обоих. После этого охотников толковать с мадам Вонг на эту тему не нашлось.

Главная квартира мадам Вонг находилась на островах близ Гонконга, и отсюда она начала расширять свою пиратскую сеть. Вонг не ограничилась грабежом судов в открытом море — она грабила их в гавани. Большое количество товаров было украдено прямо с торговых складов.

Когда не было другой поживы, суда Вонг, снабженные паровой лебедкой, выходили ночью в море и вытаскивали на поверхность большие куски подводного резервного кабеля, соединявшего Гонконг с Сингапуром. Медь, сталь, свинец, снятые с кабеля, продавались на черном рынке.

Первой крупной морской операцией мадам Вонг была атака на голландский пароход «Ван Хойц». С семью джонками она преследовала судно, шедшее из Кантона в Шаньтоу, темной ночью взяла на бордаж, разгромила радиорубку и оставалась на борту пятнадцать часов, пока груз переносили в лодки.

Всем пассажирам приказано было войти в кают-компанию, где обыскивали бумажники. Эта операция принесла Вонг 400 тысяч фунтов. Никто из команды и пассажиров не видел мадам Вонг в лицо. Она редко принимала участие в рейсах своих судов, но в этих случаях Вонг показывала, на что она способна.

Однажды в марте 1951 года два судна мадам Вонг — торпедные катера, украденные у японцев, — остановили португальский фрахтер «Опорто» водоизмещением в четыре тысячи тонн, который шел в Макао.

Вся команда из двадцати двух человек была расстреляна на борту. Только одному удалось выжить. Пираты побросали пустые ящики за борт, и раненый матрос спасся, ухватившись за доску. Позднее его подобрал португальский эсминец, который слишком поздно прибыл к месту происшествия.

Матрос умер через несколько дней, а его описание внешности пиратки является единственным достоверным источником, помимо старой и бесполезной фотографии мадам, сделанной еще в 1939 году.

Уже в 1951 году было ясно, что мадам Вонг все больше прибирает весь пиратский промысел к своим рукам. Некоторые бандиты по-мелоче добровольно присоединились к ней, других она заставила силой. Считают, что делом ее рук был и самый крупный пиратский налет того года — нападение на пятитысячетонное британское судно «Мэллори», когда оно проходило через Тайваньский пролив. Перед судном внезапно вынырнула джонка, и, чтобы не раздавить ее, судно вынуждено было остановиться. Джонка пришвартовалась, и в мгновение ока на борту оказалось двадцать пять человек.

Они были вооружены современными американскими автоматами, а их предводитель без акцента говорил по-английски. За несколько часов они перенесли ценные грузы «Мэллори» в свою джонку.

В августе 1951 года контора британского пароходства получила письмо: «Ваш фрахтер, который отплывает 25 августа, будет атакован. Если Вы отложите отправление, это Вам не поможет. Можете обеспечить безопасность судна, заплатив 20 тысяч гонконгских дол-

ларов». В письме указывалось, каким образом следует уплатить деньги.

И пароходство заплатило не только потому, что все имевшиеся английские военные суда были заняты на войне в Корее, но и главным образом потому, что это было простейшим выходом. Другие компании тоже получили такие извещения.

Морская полиция в Гонконге считает, что доходы пиратов, получаемые таким образом, составляют 150 миллионов гонконгских долларов ежегодно. Львиная доля достается мадам Вонг...

На следующий год пятнадцать пиратов, находившихся на борту в качестве пассажиров, захватили корабль «Конг Фейт», курсировавший между Гонконгом и Кантоном, обобрали пассажиров и удрали с 280 тысячами долларов.

Во время войны в Корее американцы, выведенные из себя постоянной пропажей военных материалов, послали группу агентов разведки. Им ничего не удалось сделать. В довершение всего пираты украли одно из патрульных судов, и его уже больше никто не видел.

Нет никаких доказательств, что этот грабеж совершила Вонг, но это ее почерк.

Рассказывают, что мадам Вонг часто посещает Макао, Гонконг, Сингапур и даже Токио, где не только собирает информацию и встречается с клиентами, но и предается азартным играм, единственному ее увлечению.

Полиция Макао уверена, что она часто бывает на острове, чтобы поиграть в одном из притонов, но распознать ее оказалось невозможно.

Именно это и заставило португальскую полицию назначить вознаграждение в десять тысяч фунтов за фотографию Вонг, сделанную в последнее время.

Через месяц начальник полиции получил пакет, в котором оказался еще один пакет с надписью: «Эти фотографии заинтересуют вас, потому что они касаются мадам Вонг». Он с нетерпением открыл второй пакет и вынул фотографии. На них были изображены два убитых и с дьявольской жестокостью разрубленных человека. Сообщалось, что они были пойманы в тот момент, когда пытались сфотографировать мадам Вонг.

Организация Вонг работает таким образом, что ей уже редко приходится принимать личное участие в операциях. Недавно пароходной компании «Куангси» предложили «покровительство» за 150 тысяч долларов в год. Компания отказалась. Вскоре после этого в открытом море в десяти футах от одного из кораблей компании взорвалась мина, повредившая динамо-машину и рулевое устройство. А через несколько дней в одном из проливов взорвалась другая мина, повредившая еще одно судно «Куангси». При взрыве было убито семнадцать человек пассажиров и команды. Мостики судов, пароходов, принадлежащих крупным компаниям, давно уже защищены стальными пластинами и колючей проволокой и вооружены пулеметами, но эти меры не всегда дают эффект, потому что часть пиратов под видом членов экипажа и пассажиров проникает на борт.

Большие трансокеанские суда редко подвергаются атакам пиратов. Чтобы захватить, обыскать и держать под контролем такой корабль, нужно много людей и много времени. Кроме того, пиратский акт такого масштаба может возбудить слишком большое недовольство крупных морских компаний. Добыча пиратов — торговые суда, большие и малые.

В июне 1962 года вице-президент Филиппин Эмануэль Пелаес давал ужин в своем шикарном доме в пригороде Манилы Кесон-Сити. Среди двухсот гостей была роскошно одетая мадам Сенкаку, которая почти весь вечер провела за игорными столиками и делала очень большие ставки. Пелаеса заинтриговало хладнокровие гостьи. Он сказал: «Вы так спокойно играете и делаете такие большие ставки, как могла бы играть сама мадам Вонг».

«А я и есть мадам Вонг, — спокойно заметила леди. — Сенкаку — это мой псевдоним».

Присутствующие вежливо рассмеялись. А через неделю вице-президент получил письмо из Макао: «Благодарю за приятно проведенный вечер. Вонг-Сенкаку».

Пелаес не нашел в городе никакой Сенкаку и послал письмо в Интерпол, приложив к нему описание Сенкаку, сделанное несколькими гостями; Интерпол ничем не мог помочь, потому что среди представленных описаний не нашлось хотя бы двух схожих.

Рассказ о визите во дворец вице-президента заставил многих задуматься, а не приглашали ли и они мадам Вонг в гости. Это представляется вполне вероятным, потому что мадам Вонг — конечно, она выступает под другими именами — принадлежат несколько домов в разных местах. Так как богатая одинокая женщина может возбудить подозрение, то она, видимо, фигурирует в бумагах в качестве жены одного из своих помощников.

Говорят, что она держит несколько публичных домов и участвует в торговле «белыми рабами», которая процветает здесь и в настоящее время.

Неизвестно, как велика шайка мадам Вонг. Англичане считают, что в ней около трех тысяч человек, а португальцы утверждают: «Восемь тысяч да еще многочисленные информаторы». Японцы говорят, что ее флот состоит из 150 судов и лодок.

В мае 1963 года японцы были близки к тому, чтобы получить очень ценную информацию о мадам Вонг, когда один из ее помощников договорился встретиться с представителем полиции в Кобе.

Он был на месте, как и обещал, но с отрезанными руками и вырванным языком. Он жил еще несколько недель, но никакой информации передать уже не мог.

Говорят, что лето 1963 года мадам Вонг провела на Французской Ривьере, и, согласно наведенным лично мной справкам, «зажиточная, уверенная в себе леди со своим спокойным мужем» действительно была в августе в Монте-Карло. Леди сильно проиграла в казино. Проигрыш — довольно редкая вещь для мадам Вонг, но даже потеря большого состояния вряд ли может как-нибудь отразиться на ее банковском счете.

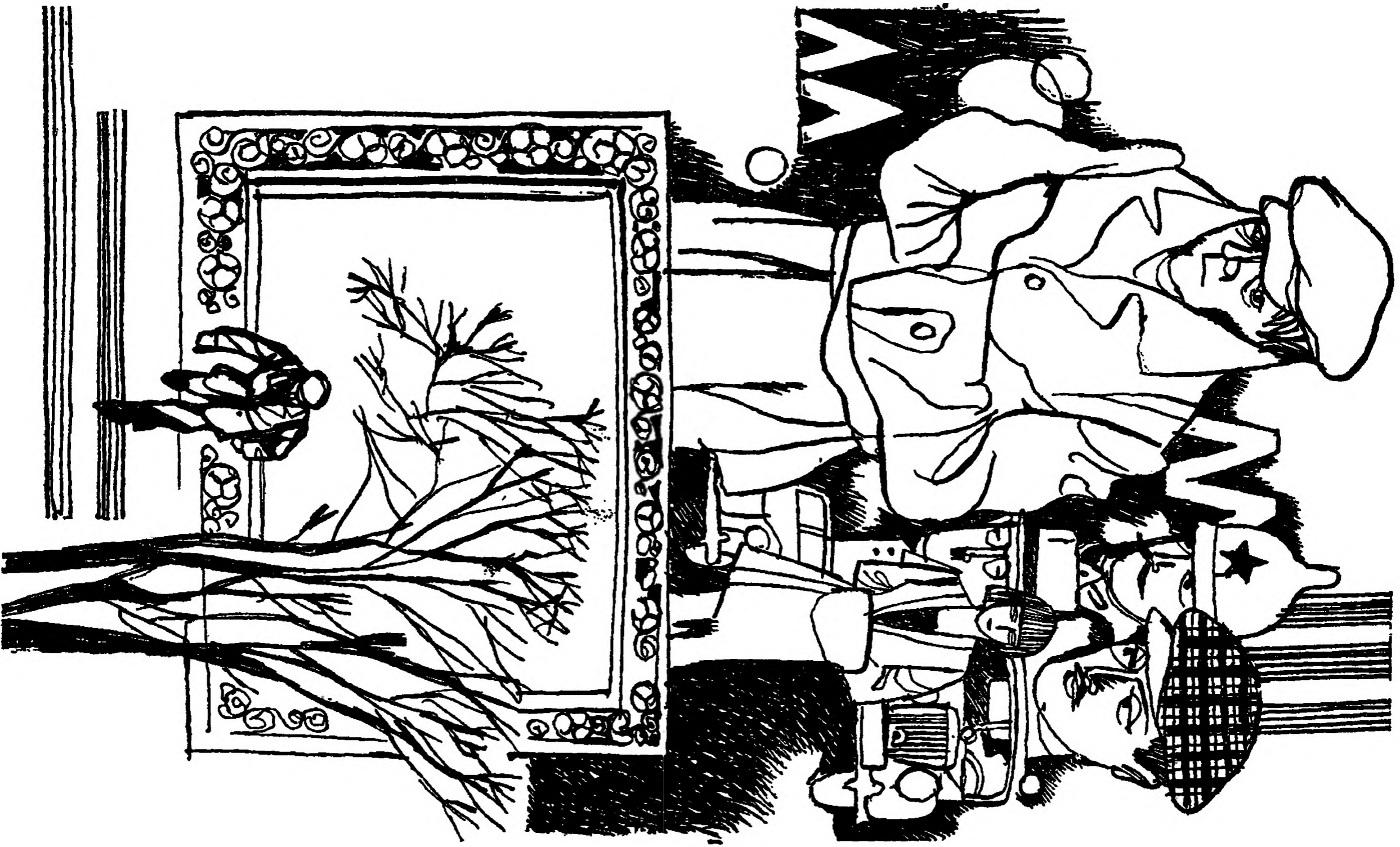
Похоже, что мадам Вонг неуязвима, а ведь ей только сорок три года, и она еще долгое время сможет активно заниматься своим мерзким делом. Ее деятельность протекает уже так давно, что на Дальнем Востоке все это считается в порядке вещей. Во всяком случае, одна пароходная страховая компания упоминает ее имя в своих полисах, отказываясь платить компенсацию за «содеянное богом и мадам Вонг».

Перевод Г. Гаева

(из английского журнала „Уайд Уорлд“, июнь 1964)



РАССКАЗЫ



Краснофлотцам и командирам гвардейского крейсера «Красный Кавказ» посвящаю.

Автор

Прорыв

Корабль тонул.

Тринадцать снарядов, пять мин крупного калибра и четыре авиабомбы в разных местах разорвали его броню. Восемь пробоин над ватерлинией, три — ниже. Внутри принято почти две тысячи тонн воды. Взрывами перекошена палуба. Сорваны с фундаментов 100-миллиметровые зенитные пушки. Заклинены рули. Дифферент на корму — четыре метра. На командный мостик один за другим поступают доклады:

— В котельном номер четыре — вода!

— Затапливает коридор командного состава!

— Вода поступает в артогребя главного калибра!

Таково было положение дел на крейсере «Красный Кавказ», когда в ночь на 5 января 1942 года он подходил к Новороссийску. До Туапсе, где его ждали, оставалось семьдесят миль. На море — восьмибалльный шторм. Температура воздуха — 17 градусов ниже нуля...

Сказано: корабли, как и люди, имеют свою судьбу. Судьба «Красного Кавказа» почти во всем оказалась необычной.

Крейсер Черноморского флота. Заложенный еще в 1914 году на отечественном судостроительном заводе, он вместе с пятью кораблями подобного типа должен был пополнить эскадры Российской империи. По проекту, разработанному английской фирмой «Джонсон Браун», водоизмещение вновь строящихся крейсеров равнялось 6800 тоннам, борта и палуба имели легкую броню, а вооружение состояло из двенадцати 152-миллиметровых орудий.

Летом 1916 года первый корабль серии «Адмирал Лазарев» сошел со стапелей. Шла мировая война, строительные работы срывались. Семь лет простоял недо-

строенный крейсер на приколе в заводском бассейне. Корпус его покрылся ржавчиной, оброс ракушками и водорослями. Казалось, что жизнь никогда не возродится в его бронированных недрах.

Однако все решилось иначе. В 1924 году Совет Труда и Оборона постановил достроить крейсер. Его переименовали в «Красный Кавказ». Но и теперь строительство шло крайне медленными темпами. Объяснялось это не только трудностями восстановительного периода, но и тем обстоятельством, что советские корабли на базе спроектированного англичанами «Адмирала Лазарева» решили создать свой, принципиально новый крейсер. Весной 1927 года он вышел из дока, а в 1932 году на нем был поднят военно-морской флаг.

Изменения, внесенные в проект советскими специалистами, в первую очередь коснулись артиллерийского вооружения крейсера. Так, вместо 152-миллиметровых орудий на «Красном Кавказе» установили новейшие 180-миллиметровые — по одному орудью в четырех полностью бронированных башнях. Английский проект, как известно, предусматривал лишь прикрытие пушек броневыми щитами. В соответствии с новыми требованиями стремительно развивавшейся военной науки на корабле была установлена и зенитная артиллерия. Она состояла из четырех спаренных 100-миллиметровых пушек и большого количества автоматических установок малого калибра. Дополняли вооружение крейсера четыре трехтрубных торпедных аппарата и глубинные бомбы. Имелась и катапульта для самолета-разведчика.

Крейсер развивал скорость в 29 узлов — это обеспечивали ему четыре турбины общей мощностью в 50 тысяч лошадиных сил. Понятно, что за счет нововведений увеличилось и водоизмещение «Красного Кавказа» — теперь оно составляло 9 тысяч тонн.

На протяжении многих лет «Красный Кавказ» оставался самым совершенным кораблем советского Военно-Морского Флота. Входя в состав кораблей Севастопольской эскадры, он еще в мирное время носил на одной из своих труб звезду с золотой окантовкой — знак первенства в соревновании по боевой и политической подготовке среди кораблей ВМФ.

Война... Она застала крейсер в Севастополе, куда только что вернулся с учений флот. А уже 23 июня «Красный Кавказ» получил первое боевое задание —

поставить оборонительное минное заграждение в районе Севастополя. Оно было выполнено с высокой оценкой командования. Затем были высадка десанта в районе Григорьевки, артиллерийские дуэли с береговыми батареями противника, отражение ежедневных налетов авиации, переброска войск и техники и множество других дел, которые создавали и укрепляли боевую репутацию «Красного Кавказа».

В дни войны ломались привычные представления, менялись взгляды, пересматривались, казалось бы, неизблемые правила. Например, считалось, что крейсер может принять на борт не более 500 человек. «Красный Кавказ» принимал по тысяче-две, а однажды перебросил в нужный район 4700 человек! При этом он не терял своей боевой мощи, оставаясь прежде всего артиллерийским кораблем.

Керченско-Феодосийская десантная операция... «Красному Кавказу» отводилась в ней исключительная роль. Знаменитому кораблю суждено было занять особое место в истории советского Военно-Морского Флота — с него началась наша морская гвардия.

Зимой над Новороссийском дуют яростные ветры. Срываясь с перевалов, они, словно лед в половодье, взламывают воду бухты, гонят волну на причалы, обдавая серый ноздреватый бетон жгуче-холодной водяной пылью. Неуютно чувствуют себя в это время люди, неуютно кораблям у пирсов — взлохмаченные валы, точно молоты, бьют в железо бортов, наваливают корабли на молы, превращая в труху прочнейшие, оплетенные тросовой каболкой кранцы.

Ветрен был и тот декабрьский день 1941 года, когда командира крейсера «Красный Кавказ», капитана 2-го ранга Алексея Матвеевича Гущина, вызвал начальник штаба флота контр-адмирал Елисеев.

Вызов не был для Гущина неожиданностью. Опытный моряк, пришедший на крейсер из академии, он по многим, казалось бы, несущественным признакам чувствовал, что в жизни флота назревают какие-то важные события. Вспомнились недавние дни, проведенные в Севастополе, — гром канонады, тучи белой пыли, поднятые взрывами. Как всегда, крейсер под погрузкой, которая должна была закончиться к шестнадцати ноль-

ноль. А с темнотой корабль выйдет в море. Но получилось иначе. На крейсер неожиданно прибыл командующий флотом вице-адмирал Октябрьский.

— Когда планируете отход, Алексей Матвеевич? — спросил комфлот.

— Часов в девятнадцать, товарищ командующий.

— Поздно. Выйдете, как только погрузите войска. Я пойду с вами до Новороссийска.

Еще тогда Гуцин подумал, что такая безоговорочность имеет под собой основательные причины. Командующий не хуже его понимал риск открытого перехода — ведь на корабль могла обрушиться немецкая авиация, но тем не менее торопил. Значит, были, были к тому достаточные основания! Эта мысль переросла у Гуцина в уверенность, когда в Новороссийске комфлота встретили его сподвижники по управлению флотом и несколько армейских и авиационных генералов. Случайность подобной встречи отпадала. А стало быть...

В штабе Гуцин застал представительное собрание. Помимо Елисеева, здесь были командующий эскадрой контр-адмирал Владимирский, его заместитель капитан 1-го ранга Басистый, военком эскадры бригадный комиссар Семин, командиры и комиссары кораблей. Все были спокойны, но под этим спокойствием угадывалась умело скрываемая напряженность момента. Не было сомнения — собравшиеся находились в преддверии каких-то неординарных событий.

Контр-адмирал Елисеев сразу же приступил к делу.

— Штабом флота, — сказал он, — совместно с командованием Закавказского фронта разработан план десантной операции. Согласно плану нам предстоит высадить части 51-й и 44-й армий на северное и восточное побережье Керченского полуострова, а также в Феодосию, чтобы в дальнейшем развить наступление в глубь Крыма и этим облегчить положение заблокированного Севастополя. Скажу больше: операция уже началась. Десантники захватили часть намеченных плацдармов и сейчас наступают на Керчь. По данным разведки, немцы спешно стягивают под город силы из разных концов полуострова, в том числе из Феодосии. Настал благоприятный момент для нашего наступления на главном направлении — Феодосийском.

Начальник штаба помолчал и затем четко произнес:

— Военный совет приказывает: в ночь на двадцать девятое декабря высадить десант в Феодосию...

Совместная десантная операция кораблей Черноморского флота, Азовской военной флотилии и войск Закавказского фронта, вошедшая в историю Великой Отечественной войны под именем Керченско-Феодосийской, — одна из крупнейших операций второй мировой войны. Для достижения успеха потребовались силы двух наших армий и основного ядра Черноморского флота. Помимо чисто практических результатов, Керченско-Феодосийская операция вызвала громадный политический резонанс. Разработанная в тяжелейших условиях конца 1941 года, она показала всему миру моральную стойкость советского народа, его вооруженных сил, которые в труднейший час проявили несгибаемое мужество, поразительное стратегическое чутье, высочайшую организованность и воинское мастерство.

Планируя операцию, Советское командование рассчитывало произвести одновременную высадку десантов на северное, южное и восточное побережья Керченского полуострова и в Феодосию; однако изменения, происшедшие на фронте, повлекли за собой частичный пересмотр замысла. Начавшееся наступление немцев на Севастополь заставило Советское командование перебросить на помощь городу часть сил и средств, предназначенных для десанта. Замена их оборачивалась невосполнимой потерей времени, поэтому керченско-феодосийский десант решили высаживать в два этапа — сначала на Керченский полуостров, затем в Феодосию.

Операция началась днем 25 декабря и, несмотря на тяжелые штормовые условия, развивалась успешно. Уже на третьей сутке, к исходу 28 декабря, на Керченском полуострове высадилось свыше 11 тысяч человек с 47 орудиями, 198 минометами, 229 пулеметами и 12 автомашинами. Но сил десанта все же было еще недостаточно для уничтожения керченской группировки противника, и успех операции в целом зависел от быстрой и внезапной высадки главных сил 44-й армии в Феодосии.

Замысел операции был смел и дерзок — высадка

частей непосредственно в занятую противником Феодосию. Естественно, это требовало от исполнителей чрезвычайно сложных действий. Операция осложнялась еще и тем, что прорыв в порт намечался в ночное время, чтобы полностью исключить действия немецкой авиации. В таких условиях старый суворовский девиз «быстрота — глазомер — натиск» приобретал первостепенное значение. И к этому готовились войска и корабли...

Доставить за одну ночь огромную массу людей было практически невозможно, поэтому план действий предусматривал высадку в первую ночь лишь штурмовых отрядов и первого броска десанта. Эти подразделения должны были овладеть портом и обеспечить высадку основного эшелона.

Для выполнения задачи были созданы три отряда кораблей. В первый — отряд корабельной поддержки — вошли крейсера «Красный Кавказ», «Красный Крым» и эскадренные миноносцы «Железняков», «Шаумян», «Незаможник». Отряд высадочных средств составляли двенадцать малых катеров-охотников и два базовых тральщика, они должны были доставить специальные штурмовые отряды, которые подорвали бы боновое заграждение при входе в порт, захватили бы и удержали причалы до прибытия первого броска десанта. Основные же силы перебрасывались к месту событий третьим отрядом — транспортами под охраной эскадренных миноносцев и тральщиков.

...Сообщение начальника штаба было выслушано с огромным вниманием. План штурма Феодосии впечатлял всех смелостью, новизной, продуманностью деталей. И только такой подход к делу сулил успех — ведь Феодосия была крепостью за семью замками. Учитывая возможность нападения, немцы превратили город в мощный опорный пункт, располагавший целой системой дотов и дзотов, крупнокалиберной артиллерией и сильным гарнизоном. Взять его можно было лишь стремительным и внезапным ударом. На это особо указывалось в диспозиции штаба, разбор и обсуждение которой продолжались до позднего вечера. Были четко определены и регламентированы действия каждого ко-

рабля. Когда же очередь дошла до «Красного Кавказа», контр-адмирал сказал:

— А вам, Гущин, предстоит особое задание. Будете высаживать первый бросок. Стрелковый полк. Прямо на причалы. Да, да, на причалы, — подтвердил он, заметив удивленные взгляды командиров кораблей. — ДК* у нас, как известно, нет. Вставать на рейде и оттуда перевозить десант на катерах и шлюпках — долго и обременительно. Для нас же фактор внезапности — главнейший. Стало быть, выход один — прорываться непосредственно к причалам. Не по правилам? Правила пишутся в мирные дни. К тому же мы не откроем Америку: наш славный предок Федор Федорович Ушаков полтора-два года тому назад успешно применил этот маневр при штурме острова Корфу.

Высаживать десант прямо на пирсы! Это значило, что «Красному Кавказу» нужно войти в гавань, ошвартоваться у мола и выгрузить на него морских пехотинцев. Выгрузить под шквальным огнем противника, потому что немцы, естественно, не станут спокойно наблюдать за происходящим издали, а сразу же постараются сбросить десант в море. Нет, практика современной морской войны не знала подобных аналогий. Никогда еще такой крупный корабль, как крейсер, не использовался в столь необычных целях. Но причина рождает следствие — смелый замысел требовал смелого исполнения.

— Помните, — говорил на прощание начальник штаба командирам и военкомам, — успех будет сопутствовать только внезапным и решительным действиям. Требую ни при каких условиях не отступать, идти только вперед!..

Новороссийск. 28 декабря 1941 года. У борта «Красного Кавказа» — вереницы грузовиков, ящики с патронами, пулеметы, снаряды. Грузится 633-й стрелковый полк. Мощные стрелы крейсера все время в работе. Без отдыха работают матросы боцманской команды. Проходит час, второй.

— Погружена батарея трехдюймовок, пятнадцать

* ДК — десантный корабль.

машин, полковые минометы и боеприпас, — доложил Гущину главный боцман корабля мичман Суханов.

Проходит еще час, наконец поступает доклад:

— Принято тысяча восемьсот пятьдесят три человека. Погрузка закончена.

Последние минуты перед съемкой со швартовов. Как всегда, они тянутся особенно долго. Но вот на мостик поднимаются оба флагмана — командир отряда высадки капитан 1-го ранга Басистый и командир отряда артиллерийской поддержки капитан 1-го ранга Андреев.

— Крейсер «Красный Кавказ» к походу изготовлен, — докладывает Гущин. — Прошу «добро» на выход.

— Отходите.

18 часов 32 минуты. За кормой «Красного Кавказа» вскипает вода, и крейсер медленно отходит от стенки. Малым ходом минует мол, проходит фарватер заградительного минного поля. Первая волна открытого моря тяжело ударяет в борт. Бурун за кормой вырастает: крейсер увеличивает ход до полного. Курс на Феодосию.

На ходовом мостике тесно. И оба флагмана, и бригадный комиссар Семин, и военком крейсера Григорий Щербак — все сосредоточенны и молчаливы, живут ожиданием. И все же труднее всех командиру, от действий которого зависит успех похода, судьба корабля, жизнь людей. Вглядываясь в окружающую крейсер беспросветную мглу, следя за показаниями приборов, принимая доклады и отвечая на них, Алексей Матвеевич Гущин ни на минуту не забывал о главном — о предстоящем прорыве и швартовке у мола. Последнее обстоятельство больше всего беспокоило командира «Красного Кавказа», и, чтобы понять его переживания и сложность стоящей перед кораблем задачи, нужно ясно представлять себе такую операцию, как швартовка. Она — дело сложное даже в обычных условиях и требует от командира высокой морской культуры, а от команды — безупречной выучки и четкости в действиях. «Красному Кавказу» предстояло швартоваться под ураганным огнем врага. Вот почему, расхаживая взад-вперед по мостику, Гущин снова и снова обдумывал возможности маневра.

...Согласно диспозиции крейсер должен был швартоваться левым бортом, не отдавая якоря, что называется, с ходу. Этот вариант считался наиболее выигрыш-

ным, при нем значительно сокращалось время швартовки, как и время пребывания корабля под огнем, а стало быть, уменьшались потери. Однако могли возникнуть и осложнения, которые несли с собой происшедшие изменения в погоде. Ветер переменялся, задул с берега и достиг штормовой силы, и Гущину не нужно было объяснять, что значит, когда в борт швартуящемуся крейсеру дует отжимной ветер. При таком положении вещей «Красный Кавказ» попросту перестал бы слушаться руля. Подходить же к молу на большой скорости мешала каменистая банка, на которую можно было выскочить при малейшем просчете. В довершение всего свободному маневру мешало и минное поле, выставленное немцами поблизости от пирсов. Ситуация складывалась не из легких, и Гущин был готов к тому, что по ходу событий придется менять вариант швартовки.

Между тем время шло. Погода все больше свежела, ветер разводил крупную волну, а метельная мгла делала и без того темную ночь непроглядной. Ни звезд, ни отличительных огней. «Красный Кавказ» шел вперед, определяясь по глубинам и радиопеленгам. На ледяном ветру, напряженно всматриваясь в ночь, стыли сигнальщики, наблюдатели, зенитчики. Приближалось время randevу с кораблями поддержки. Вот наконец и они — неясные тени на поверхности взлохмаченного моря. Трудно всем: и крейсерам и эсминцам, но каково тогда катерам-охотникам, по палубам которых свободно перекатываются многотонные водяные валы!

Уменьшив скорость, корабли выстраиваются в походный ордер и продолжают путь в район развертывания — на траверз мыса Ильи.

Три часа ноль-ноль минут. Отряд в районе развертывания. К берегу устремляются катера-охотники. На каждом из них — специальные штурмовые группы, которые должны взорвать боновое заграждение при входе в порт, захватить и очистить от немцев причалы. А вслед за ними начнут свой прорыв «Красный Кавказ» и эсминцы.

Две зеленые ракеты. Сигнал! И сразу же гром канонады разрывает рассветную тишину. Стреляют все: и корабли десанта, и неприятельские батареи с берега, которых огневой налет ошеломил. Над портом ярко вспыхивают и подолгу горят осветительные ракеты. Гро-

хот боя усиливается. «Красный Кавказ» вздрагивает после каждого залпа своего главного калибра, но до времени остается на месте: сигнала начать прорыв пока нет. Где-то в самом пекле рвутся к причалам штурмовые группы. Захватив их, они подадут сигнал. Но пока его нет. И крейсер продолжает обстрел.

Наконец доклад с сигнального мостика:

— Две белые ракеты!

Вход в порт свободен! Катерники сделали свое дело и теперь торопили «Красный Кавказ».

— Вперед! — услышал Гуцин команду капитана 1-го ранга Басистого.

Не прекращая огня, крейсер двинулся к проходу в боновом заграждении. Сильными взрывами катера-охотники разметали его, и на воде тут и там плавали обломки массивных бревен. Раздвигая их острым форштевнем, «Красный Кавказ» медленно входил в гавань.

...Впереди показался широкий мол. Освещенный пламенем бушующих на берегу пожаров, он был похож на средневековую городскую стену, которую предстояло взять приступом. Все ближе и ближе его осклизлые, покрытые ледяной коркой бока. Пора сбавлять ход. В машину пошла переданная по телеграфу команда. Утихла дрожь переборок. Но едва угасла инерция разгона, как нос крейсера под напором ветра начало уваливать в сторону. На минное поле!

Наступила решительная минута. Мгновенно оценив обстановку, Гуцин понял: попытка пришвартоваться левым бортом не удалась. И сразу же возник план: подходить надо не левым, а правым бортом. А для этого следует отдать якорь за линией бонов и, работая машинами «в раздрай», задним ходом приближать правый борт к причалу. Но хватит ли на это сил у кормового шпиля? Достанет ли его мощности на то, чтоб преодолеть натиск отжимного ветра? Однако другого выхода нет. Надо немедленно менять штабную диспозицию и швартоваться по новому варианту.

Вновь зазвенел машинный телеграф. Отданы необходимые приказания. И в этот момент немцы наконец-то разглядели и узнали крейсер, и тотчас все, что могло стрелять, обрушило свой огонь на «Красный Кавказ». По крейсеру била артиллерия, стреляли минометы и танки. Подчиняясь командам с мостика, «Крас-

ный Кавказ» вошел в проход между молом и волноломом.

— Левый якорь отдать!

Бегут секунды. Сотрясая корпус корабля, грохочет якорная цепь. Звено за звеном уходит в кипящую от разрывов воду. Якорь на дне! Задним ходом крейсер начинает обратное движение к молу. И хотя ветер по-прежнему с неослабевающей силой ударяет в борт и надстройки, ему не удастся сбить корабль в сторону — якорь надежно удерживает «Красный Кавказ» на заданном курсе.

...Мол рядом. С полубака пытаются завести носовой швартов. Огонь немцев настолько силен, что краснофлотцам боцманской команды приходится работать лежа. Швартов все-таки заведен. Секунды решают дело — нужно во что бы то ни стало подтянуть корму.

Удар! Крейсер получает первое прямое попадание: мина разрывается на сигнальном мостике. Убито три человека... Пожар... Уцелевшие сигнальщики, раненые, бросаются на огонь. Пламя сбивают брезентами и одеждой, заливают смесью из огнетушителей. Пожар ликвидирован. Сигнальный мостик продолжает жить.

...До мола остается не больше пяти-шести метров. Всего пять метров отделяют корму «Красного Кавказа» от заснеженного причала, и столпившиеся у трапов десантники с нетерпением смотрят на темную полосу воды, бессильные преодолеть ее. Терялось драгоценное время, а пули и осколки между тем находили все новые и новые жертвы. И в эту напряженную минуту краснофлотец Михаил Федоткин, разбежавшись по скользкой палубе, точно выброшенный катапультой, мелькнул в воздухе, и вот он уже на причале. С кормы бросают швартов, Федоткин тут же закрепляет его за пал. Он же принял сходню, и на берег хлынули десантники.

Минуты... минуты... минуты... С высоты мостика Гушину была отчетливо видна вся панорама гремевшего боя. На берегу стена огня — горят цистерны с бензином, в складах рвутся боеприпасы — сюда попал снаряд главного калибра крейсера. Выстрелы и разрывы слились в один протяжный гул, который невозможно было перекричать.

Крейсер вновь содрогнулся от тяжкого удара. Попадание!

— Пожар во второй башне!

...Дорого обходятся командирам такие минуты. Дорого обошлись они и Гущину. Пожар в башне, где находились снаряды и запасы пороха, грозил взрывом всему кораблю. Военно-морская история знает немало подобных случаев. Недаром при угрозе взрыва инструкция требует от командира немедленных действий, обязывает затапливать артиллерийские погреба. Отдай такое приказание Гущин — никто бы не обвинил его. Спасти корабль и тысячи жизней ценой гибели нескольких человек — такой акт оправдывает логика войны. К счастью, не все в мире подчинено ее непреложным законам! Командир «Красного Кавказа» отринул уже готовое решение. Если не последовало немедленного взрыва, рассудил он, значит, в башне матросы борются с огнем. Они верят в себя, в товарищей, и надо верить в них!

Опытный командир оказался прав. Немецкий снаряд, пробив башню, разорвался внутри боевого отделения. Часть прислуги была убита, другие потеряли сознание от газов и ранений. Метровые пороховые пакеты — на флоте их называют «картузы» — лежали в этот момент на элеваторе подачи. От взрыва один «картуз» загорелся, вот-вот пламя может перекинуться на остальные. Если вспыхнут они — пожар распространится до самого погреба, и тогда гибель корабля неминуема.

Первым очнулся комендор Василий Покутный. У моряка не было ни сил, ни времени, чтобы откатить тяжелую броневую дверь и выбросить «картуз». И Покутный, обжигая руки, выхватил заряд из элеватора и... лег на него всем телом. Пожар заметили. К башне бросились электрик Павел Пилипко и комендор Петр Пушкарев. С трудом протиснувшись через аварийный лаз, они отдраили дверь, и горящие заряды, шипя, полетели на палубу. Матросы принялись срывать тлеющую проводку, гасить загоревшуюся краску на стенах. Когда на помощь подоспели краснофлотцы аварийной команды, пожар в основном был потушен.

Всего четыре минуты продолжалась драма в четвертой башне, но эти минуты были полны высочайшего напряжения. Несмотря на смертельную опасность, расчет башни не поддавался губительной панике. Так, поистине железную выдержку и решимость проявили краснофлотцы зарядного погреба, находящегося на самом дне корабля. Отрезанные от всех системой водонепроницаемых

дверей и переборок, знающие о нависшей угрозе, эти люди приготовились пожертвовать собой. Командир отделения погребных Иван Крипак вставил ключи в трафаретки клапанов орошения и ждал приказа к затоплению...

...Было уже совсем светло, когда закончилась высадка десанта. С минуты на минуту могла появиться немецкая авиация.

— Отходить! — был получен приказ.

Выбирать якорь было некогда, его решили оставить на дне. Расклепали цепь, и «Красный Кавказ», лавируя среди взрывов, направился к выходу из порта.

Самолеты догнали крейсер уже в море. С мстительным ожесточением они бомбили «Красный Кавказ» целый день, совершив более 25 одиночных и групповых налетов и сбросив на корабль более 70 бомб разного калибра. В цель не попала ни одна. Подавив «на прощание» тяжелую немецкую батарею на мысе Иван-Баба, крейсер взял курс на Туапсе.

Кончался день 30 декабря 1941 года. Вокруг «Красного Кавказа» на десятки миль ревело штормовое море. Волны перехлестывали через борт, сильно качало. Собравшиеся в этот час на юте не замечали ни холода воды, ни качки — «Красный Кавказ» хоронил погибших. Хоронил в море, как предписывал старинный матросский обычай. Зашитые в парусиновые койки, с грузом в ногах, лежали на корме двадцать три человека из экипажа крейсера, погибшие при штурме Феодосии...

Застыл с винтовками почетный караул... Мелодия траурного марша вплелась в суровую песнь зимнего ветра...

Последнее слово — командира. Что может сказать отец, хоронящий своих детей? Нет таких слов... Что может сказать командир, на глазах которого гибли его боевые друзья? Нет таких слов... Печаль и скорбь охватывают тебя, когда ты закрываешь мертвые очи соратников.

— Прощайте, боевые друзья! Вы прожили короткую, но славную жизнь. Вы шли дорогой подвига, и Родина не забудет вас.

Корабль лег на циркуляцию. Двадцать три всплеска поднялись и растворились в бешеном водовороте буруна за кормой. Двадцать три тела приняли декабрьские волны Черного моря — моря, которое было купелью всех двадцати трех и которое стало их братской могилой...

В Туапсе крейсер осмотрели ремонтники. Тринадцать снарядов и пять мин, попавшие в корабль, причинили немало разрушений. В корпусе зияло восемь крупных пробоин, были разбиты машинные телеграфы и переговорные трубы. Крейсер управлялся с большим трудом. Словом, требовался срочный ремонт, и его предполагалось начать в ближайшие часы. Неожиданно был получен семафор: «Сниматься в Новороссийск».

1 января наступившего 1942 года «Красный Кавказ» отдал якорь в Цемесской бухте. Откровенно говоря, никто на корабле, и в том числе его командир, не предполагали, что крейсеру предстоит какое-то новое задание — состояние корабля исключало всякий дальний поход. Но беседа с начальником штаба флота контр-адмиралом Елисеевым поставила все точки над «и».

— Пойдете снова в Феодосию, Гуцин, — сказал начальник штаба. — Знаю ваше положение, но у нас нет выхода. Феодосии срочно нужен зенитный дивизион. Нечем прикрывать порт. А туда сейчас идет транспорт за транспортом с войсками... Грузитесь немедленно, за ночь успеете обернуться...

129 миль до Феодосии. Нордовый ветер до восьми баллов. 17 градусов ниже нуля. На борту «Красного Кавказа» 1200 красноармейцев, двенадцать 85-миллиметровых зенитных пушек, 1700 ящиков со снарядами, 10 автомашин, два трактора-тягача. Когда на рассвете 4 января крейсер прибыл в Феодосию, технику пришлось вырубать изо льда — он толстым слоем покрывал палубу и надстройки.

Объявили аврал. Вооруженные ломami, лопатами и топорами матросы вместе с красноармейцами крушили лед, на руках катили пушки и машины к стрелам. Хуже было с тягачами. Они весили по тринадцать тонн и никак не поддавались. Выручила сноровка главного боцмана. Он наладил какие-то хитрые тали, и с помощью

их удалось сдвинуть тягачи с места. На борту оставалась одна только пушка, когда прилетели немецкие пикирующие бомбардировщики. Шесть самолетов одновременно начали атаку на стоящий у пирса крейсер. Встреченные ливнем свинца, они не выдержали, отвернули, но одна крупная бомба упала буквально в двух метрах от кормы «Красного Кавказа».

Крейсер подбросило чудовищным взрывом. Он почти лег на левый борт. Ударной волной в одну минуту перекосило палубу, сорвало с фундаментов 100-миллиметровые зенитные пушки. Находившегося на мостике Гущина швырнуло на ограждение, и он потерял сознание, а когда очнулся, услышал еще два мощнейших взрыва — бомбардировщики продолжали атаковать крейсер. И хотя уже два самолета были сбиты зенитчиками, остальные упорно рвались к цели. Четвертая бомба разорвалась опять поблизости от кормы. Еще раз перекосило палубу, весь корпус «Красного Кавказа» угрожающе затрещал.

Отбомбившись, самолеты улетели. Воспользовавшись короткой передышкой, контуженный Гущин немедленно соединился с командирами боевых частей корабля. Требовалось как можно быстрее выявить повреждения и немедленно исправить их: уже со всех сторон раздавался шум врывающейся в корабль воды. В помещениях не горел свет. На глазах оседала корма. В борьбу с водой вступили аварийные партии, но положение существенно не изменилось — крейсер продолжал садиться на грунт. Еще несколько минут, и положение станет безнадежным. Выход один — скорее в море!

— Рубить швартовы! С якоря сниматься!

Перерублены толстые стальные тросы, удерживающие «Красный Кавказ» у пирса. Несколько минут напряженного ожидания — в порядке ли носовой шпиль? Выберется ли якорь? А его нужно выбрать во что бы то ни стало — жертвовать вторым якорем (первый уже лежал на дне Феодосийской гавани) Гущин не мог. Без него в критическую минуту корабль становился игрушкой в руках стихии.

— Чист якорь!

«Красный Кавказ», набирая ход, устремился к выходу из гавани. И, словно дожидаясь этого, над кораблем снова завывли моторы бомбардировщиков. На этот раз, казалось, ничто не могло спасти крейсер от гибели.

ли. Лишенный возможности маневрировать, с большим дифферентом на корму, без артиллерии (в строю находились лишь 37-миллиметровые автоматические пушки), он представлял собой отличную мишень. Но так только казалось! Когда самолеты пошли в атаку, их вновь встретил плотный заградогонь. Бомбардировщики вновь не могли прорваться к крейсеру. Все же одна бомба разорвалась рядом с кораблем. Едва затих гул взрыва, как над морем раздался истошный вой. Оторвало винт, турбина работает вхолостую...

Быстро связавшись с механиками, Гуцин убедился, что крейсер действительно лишился одного винта. А вой не прекращался, и Гуцин знал, чем это грозит — взрывом турбины. Успеют ли машинисты перекрыть доступ пара в нее? Они успели. В момент аварии у маневого клапана находился Василий Гончаров. Работая в облаках горячего пара, он сумел добраться до клапана и перекрыл его. Катастрофа была предотвращена.

Если бы это было все! Последним взрывом заклинило рули, и крейсер потерял всякую возможность маневра. И все-таки он продолжал идти к родным берегам. Самолеты прилетали, бомбили и улетали, а «Красный Кавказ», словно раненый исполин, отбивался от них и шел все дальше в открытое море. Проходил час за часом. Наступала темнота, и это вселяло надежду, что скоро налеты прекратятся, но оставалась главная опасность — вода. Она продолжала поступать в нижние помещения, а усилившийся ветер и волны разрушали те временные укрепления, которыми преграждали путь воде аварийные партии. Положение ухудшалось с каждой минутой.

— Дифферент на корму четыре метра, — доложил Гуцину командир электромеханической боевой части.

— Вода затапливает отсек вспомогательных механизмов, — последовал новый доклад.

— Механизмы обесточить, боевой пост покинуть! — приказал Гуцин.

Требовалось принимать срочные меры по спасению корабля. Снова позвонил главный механик и предложил лечь в дрейф.

— Нужно погасить скорость, — сказал он. — Может быть, тогда напор воды ослабеет...

Погашена инерция корабля. Израненный крейсер

отдан, по сути, на волю волн, а положение мало чем изменилось. Пущены в ход эжекторы, переносные и стационарные насосы. Но они то и дело останавливаются: в воде много мусора, который забивает сопла установок. Краснофлотцы аварийных партий, стоя по грудь в ледяной январской воде, очищают насосы. Ничто не помогает. Дифферент медленно, но неуклонно увеличивается. Надо снова запускать машины. Лежать в дрейфе больше нельзя.

Крейсер дал ход. И тотчас поступил доклад:

— В котельном номер четыре — вода!

Затем доклады обрушились лавиной:

— Затапливает коридор командного состава!

— В артпогребах главного калибра — вода!

Крейсер тонул...

Была ночь на 5 января 1942 года. «Красный Кавказ» подходил к Новороссийску. До Туапсе оставалось еще 70 миль...

И все-таки они дошли! Наперекор всему. Фантастический вид являл собой крейсер. Кормы не было — она вся ушла под воду, которая плескалась у четвертой башни. Из многочисленных пробоин в бортах высовывались матрацы, спасательные нагрудники, матросские бушлаты и одеяла — все, чем моряки преграждали путь воде.

По неписаным морским законам корабли, стоящие в гавани, высылают швартовные команды, чтобы встретить соратников, возвращающихся из дальнего похода. С изумлением смотрели моряки туапсинского порта на «Красный Кавказ». На боевых постах крейсера стояли насмерть уставшие люди. Покрытые ранами, промокшие и обожженные, они тем не менее довели корабль до родного причала.

...Осмотр показал, что отремонтировать корабль в Туапсе невозможно. Для этого нужно идти в Поти. Еще двое суток «Красный Кавказ» вели на буксире. На море по-прежнему не утихал шторм. Лопались тросы, «с мясом» вырывались кнехты и полукипы, за которые заводились буксиры. Лишь перед самым Поти ветер успокоился, и «Красный Кавказ» медленно вошел в гавань.

И здесь экипаж пережил волнующие минуты. Всем было известно, что эскадра перебазировалась в Поти, и краснокавказцы готовы были увидеть знакомые корабли. Но открывшаяся картина заставила в волнении

забиться сердца. Да, вся эскадра была в Поти. Но корабли застыли в торжественном строю, украшенные флагами расцвечивания. Их экипажи выстроены вдоль бортов. Доносятся звуки встречного марша. Встречают? Но кого?

Эта мысль возникла у всех на «Красном Кавказе» и в следующий момент погасла: на флагмане и на других кораблях взвились сигналы: «Слава героям Феодосии!», «Да здравствует героический крейсер «Красный Кавказ!»»

Встречали их! На буксире крейсер шел вдоль строя кораблей, с которых раздавалось русское «ура!» — боевой клич наших предков. Вот он, высокий миг, оправдывающий понесенные жертвы и страдания, страдания и жертвы во имя Отечества! Нет священнее этого мига, потому что его апофеоз оплачен праведной кровью соратников и друзей...

А 3 апреля 1942 года был передан Указ о присвоении особо отличившимся кораблям Военно-Морского Флота звания гвардейских. И первым был назван крейсер «Красный Кавказ»!

Сейчас его уже нет в строю. Он честно отслужил положенный срок. Но бессмертны его традиции и его слава, которые, как святыни, берегут на флоте. Бессмертна память о первых гвардейцах, изумивших и восхитивших своими подвигами весь мир...

Полет длиною в три года

Дорога шла у самого берега. Слева, из-за тянувшегося вдоль уреза воды проволочного ограждения, линий кое-где осыпавшихся траншей и зелено-желтых бугров пустых дзотов, доносился шум прибоя. Светало. Над влажным, поблескивающим кварцем шоссе поднимался легкий утренний туман. Слабый ветерок с моря еле-еле покачивал подсвеченные первыми холодными лучами солнца верхушки сосен. Их словно выкованные из меди стволы одиноко возвышались из густого березового подлеска. В воздухе стоял смолистый настой хвои.

У обочины зашевелились кусты, будто кто-то, смахивая росу, затряс ветки. Среди зарослей низкорослой ольхи и разлапистого орешника появилось лицо человека. Чуть-чуть раскосые, с больным, лихорадочным блеском глаза, слегка прикрытые воспаленными веками, настороженно осматривали тракт. Человек был невысок ростом, худ, небритые щеки ввалились, почернели и еще больше подчеркивали острые скулы. Из-под суконной финской фуражки с большим согнутым домиком козырьком выбивались темные редкие пряди давно не стриженных волос. Перетянутая широким ремнем коричневая куртка с накладными карманами в некоторых местах была порвана и перепачкана глиной, мятые брюки измазаны на коленях зеленою травой, грубые кожаные пьексы* насквозь промокли и потемнели от росы. На груди прячущегося висел немецкий автомат, из-за пояса торчали две гранаты с длинными деревянными ручками, парабеллум и настоящий боевой пукко**. На шоссе слышался звук мотора приближающейся машины.

Человек вздрогнул, отпрянул назад и затаился. Затем осторожно отвел рукой ветки и, оставаясь совер-

* Пьексы — лыжные ботинки.

** Пукко — финский нож.

шенно невидимым со стороны, продолжал внимательно следить за дорогой. Так он простоял довольно долго. Мимо него уже много раз проносились машины. Человек выглядывал и прятался снова. И все чего-то ждал. По его изможденному лицу скользили тени, словно он силился и никак не мог на что-то решиться. Незнакомец видел странных, непонятных ему людей, сидящих в кузовах автомобилей. На их пилотках и касках были звезды, а на плечах... погоны. Кто это? Чьи войска? Кому принадлежит эта незнакомая ему форма. Если отступающие власовцы, что почти совершенно исключалось, то почему звезды, а если русские, у них не должно быть погон.

Затарахтело совсем близко. Куда-то спеша, разбрызгивая воду из луж, промчался мотоциклист, оставив после себя сладковатый запах газа. Несколько минут было тихо. Затем показался юркий военный «виллис» с белыми звездочками на бортах. Неожиданно машина дернулась, вильнула вправо, скрипнула тормозами и, свернув к обочине, остановилась прямо против того места, где прятался человек. Из своего укрытия он прекрасно видел всех, кто находился в автомобиле. Их было четверо: один, судя по головному убору — фуражке с черным околышем и лаковым козырьком, офицер и трое в плащ-палатках — очевидно, солдаты.

— Вот не повезло, скажи пожалуйста! — сидевший за рулем парень в защитного цвета ватнике выскочил на дорогу и, как это делают все шоферы мира, пнул ногой скат. — Второй раз за сутки — камер не напасешься. Набросали шипов, гады ползучие, — и, обернувшись назад, бросил: — Вылезай, приехали к теще на блины.

Вылезли все остальные и, тихо переговариваясь между собой, стали вокруг машины.

— Долго загорать-то? — спросил, глядя на спущенный баллон, офицер. — Не застрянем до вечера? Запаска-то есть?

— Найдется. Возни минут на десять, не больше, если ваши подсобят.

«Говорят по-русски. Тот, что в фуражке, назвал солдат товарищами. Значит, советские. А погоны? Кутерьма получается. Ну да черт с ним — была не была, хуже не станет». Человек раздвинул кусты, какое-то мгновение помедлил, затем шагнул вперед и прыгнул через кювет на дорогу.

— Здравствуйте.

Стоящие на шоссе от неожиданности отпрянули за «виллис». Двое вскинули автоматы, командир выхватил пистолет, водитель, держащий в обеих руках «запаску», поскользнулся и плюхнулся животом на капот.

— Ни с места, руки вверх! Хальт! — офицер вышел вперед.

Незнакомец недоуменно посмотрел на военных и медленно поднял руки.

— Кто такой? Откуда?

Люди обступили пришельца, разглядывая его с явным интересом.

— А вы кто? Чьи будете?

— Ага, русский, значит, так что ж, не видишь, ослеп? Красноармейцы...

— А погоны?

— Чего погоны? Ты толком говори.

— Погоны откуда, спрашиваю?

Стоящие у машины переглянулись и заулыбались.

— Чудак человек, шутикуешь, стало быть? Ты что, с неба свалился? Уже год как ходим с новыми знаками различия. — Офицер дотронулся до погон. — Ввели в сорок третьем, странно, что ты этого не знаешь. Иль не слышал?

— Я многого не мог знать, но теперь вроде становится ясно. — Человек опустил руки и подошел ближе.

— А сам-то кто будешь? — спросил один из бойцов. — Партизан или из тех, — он ткнул пальцем куда-то за спину, — с повинной идешь? А может, кукушка?

— Рассказывать долго. Одним словом, свой, советский. Подбросьте меня в штаб, там выясним.

— Это можно, — офицер вложил пистолет в кобур. — Только, мил друг, тебе того... оружие сдать придется...

— А вы его мне давали, оружие-то, — незнакомец весь напрягся. — Давали, говорю, его мне или нет?

— Ладно, давали не давали, неважно. Не кипятись, порядок такой. Садись сзади. Арсенал свой сними и заверни в плащ-палатку. — И, повернувшись к шоферу, спросил:

— Скоро у тебя там?

— Все готово, сейчас поедем, только гайки закреплю. А вы полезайте, чего стоять-то.

Люди расселись, устраиваясь поудобнее, с любопыт-

ством поглядывая на нового пассажира. Они явно ждали, что он начнет о себе рассказ. Однако человек, уткнув подбородок в поднятый воротник куртки, молчал. Шофер включил мотор, и машина, шелестя шинами по гравию, помчалась дальше.

Через полчаса миновали стоящую на развилке, наполовину разбитую снарядом виллу, свернули направо, в березовую рощицу, въехали во двор небольшого хутора и остановились у дверей маленького, по-фински аккуратного, окрашенного в темно-красный, почти вишневый, цвет, деревянного домика.

Не выходя из машины, офицер крикнул сидевшему на чурбаке у входа пожилому солдату, который вылавливал что-то из котелка алюминиевой ложкой.

— Эй, славянин, проводи к майору Винонену.

«Винонен? Финн! — незнакомец огляделся по сторонам. — Неужели ловушка? Но ведь их четверо: сами бы справились».

— Кого? — лениво протянул, вставая с чурбака, солдат. — Его, что ли? А для какой он ему надобности, майор-то?

— Да шевелись ты! Делай что приказано, некогда нам! — крикнул водитель.

— Все только и горады лаяться. Вечно некогда, пообедать спокойно не дадут человеку. Ладно уж, пойдем, что ли?

Незнакомец взял узел и вылез.

— Спасибо, что подвезли, ребята.

— Чего там, корешок! Свои люди. Погонам больше не удивляйся! — В машине засмеялись. — Пока, парень!

— Ступай прямо, — боец пропустил человека вперед.

Они вошли в узенькие сени. Часовой открыл дверь. В комнате за маленьким письменным столом сидел совсем молодой, краснощекий и белобрысый младший лейтенант.

— Здравствуйте, — человек улыбнулся и положил автомат на стол, — могу я видеть кого-нибудь из начальства?

— А зачем оно вам, начальство? — офицер принял суровый вид и впился, как ему, очевидно, казалось, пронизывающим взглядом в незнакомца. — Сначала расскажите, кто вы, зачем прибыли, где перешли фронт?

— Там и объясню, — лицо незнакомца помрачнело, — проводите к главному.

Неожиданно отворилась дверь, ведущая в другую комнату. На пороге появился среднего роста майор, лет пятидесяти, в очках, совершенно седой, в надетой поверх кителя меховой безрукавке.

— Что здесь происходит? — спросил он, несколько растягивая слова, и с любопытством посмотрел на незнакомца.

— Вот, связисты задержали бродягу какого-то подозрительного. Да еще огрызается, — офицер выбежал из-за стола и зачем-то выхватил пистолет. — Автоматом грозит...

— Меня никто не задерживал, я сам попросил их подвезти. А все мое оружие у тебя на столе.

— Вы ко мне? Проходите, — майор посторонился, пропуская незнакомца.

В большой, скудно обставленной комнате было светло, пахло душистым табаком, вымытым полом и свежестругаными досками. Напротив двери стоял небольшой, застеленный белой бумагой стол, рядом два полумягких кресла, в углу аккуратно, по-госпитальному застеленная кровать, на стене большая военная карта-пятиверстка.

— Садитесь к столу поближе.

Майор взял коробочку из-под конфет, достал щепоть табака и набил трубку. Заметив, как человек сглотнул слюну, он пододвинул к нему коробку:

— Курите, папирос нет, свертывайте из газеты.

— Спасибо, с удовольствием, давно без курева.

Закурили. Майор сел, положил локти на стол и, оперев в ладони подбородок, спросил:

— Ну, слушаю вас?

— Даже с чего начать не знаю, — человек затаился, — путается все в мыслях.

— Вы русский?

— Да. Вернее отец у меня русский, а мать узбечка, я и родился в Ташкенте.

— Рассказывайте, не волнуйтесь, желательно по-подробнее и по порядку. Но сначала представьтесь, пожалуйста.

— Мишин моя фамилия, Юрий Сергеевич, сержант, бывший стрелок-радист из эскадрильи морских дальних бомбардировщиков капитана Бахметьева...

В длинном, обшитом крест-накрест дранкой, но еще неоштукатуренном здании штаба морского авиационного полка сидели командиры, участники предстоящего полета. Операцию готовили с особой тщательностью, теперь же уточняли отдельные детали. Под потолком слоями висел синий табачный дым. Когда стало ясно, что вроде обо всем договорились, детали утрясли и обсудили, поднялся генерал:

— Прошу внимания, товарищи. Тише. И хватит дымить — дышать нечем.

Все зашикали и начали поспешно обо что попало гасить папиросы. Когда стало совсем тихо, генерал продолжил:

— Я еще раз подчеркиваю всю важность этого особого задания: прыжка не только через линию фронта, но почти через всю Германию. Нужно, чтобы каждый исполнитель проникся до глубины души ответственностью. Дело, пожалуй, не столько в стратегическом значении операции, сколько в ее политическом направлении. Вы представляете, как будет воспринято у нас, да и во всем мире то, что мы собираемся сделать. В то время, когда Геббельс раззвонил о полном уничтожении нашей авиации, мы нанесем удар по Берлину. Помните это, товарищи. Ну а теперь можно отдыхать. Вылет ровно в двадцать два ноль-ноль.

Аэродром, расположенный на одном из островов Балтики, плотно затянули низкие клочковатые тучи. Моросил мелкий, нудный дождь. Погода, как говорят синоптики, самая что ни на есть нелетная. У самого леса застыли освобожденные от маскировочных сетей, готовые к старту тяжелые четырехмоторные самолеты. Тишина, только откуда-то от границы взлетного поля доносился хриплый, с повизгиванием лай сторожевой собаки. Вокруг машины собрался весь экипаж. Люди в полной боевой выкладке и, несмотря на август, в меховых коротких унтах, теплых кожаных куртках и шлемах. Иначе нельзя: там наверху температура минус сорок.

— Ну что ж, пора, — капитан Бахметьев посмотрел на светящийся циферблат часов: — По местам, друзья, дорога дальняя.

Один за другим люди исчезли в люке фюзеляжа,

последний втянул внутрь дюралевую лесенку и захлопнул дверь. Начали на малых оборотах прогревать двигатели.

Тяжело переваливаясь по травянистому полю, бомбардировщики вырулили на старт, резко, на максимальном газу, взревели моторы, и машины тронулись сначала медленно и будто неохотно, потом все быстрее и быстрее, увеличивая скорость, разбежались и поднялись в небо. Набирая высоту, они вошли в сплошную облачность. Несколько минут летели в густом, как в парилке, месиве. Пробили облака. Флагман лег на курс, остальные заняли свои места в походном строю.

Мерно гудели двигатели. Каждый из членов экипажа занимался своим делом. Неожиданно через большое окно под ногами пилотов в огромном, точно озеро, разводе среди облаков показались редкие желтые и белые огоньки.

— Штурман, где мы? — командир вытер рукой лицо.

— Штеттин, товарищ капитан! Точно под нами.

— Далеко забрались. Как время? Укладываемся?

— Выдерживаем минута в минуту.

— Объекты на карту наносите поточнее. Мы сейчас, как первопроходцы, а после нас полетят другие, о них помните.

— Стараюсь, товарищ капитан.

Внизу, прочертив небо, мелькнули красные полосы ракет и замигал прожектор.

— Что это там? Неужели обнаружили?

— Здесь аэродром, товарищ командир. Фрицы сигналият: нам разрешают посадку. За своих приняли. Анекдот.

— Не мудрено. Уж кого-кого, а нас-то они никак не ждут. Жаль, поблагодарить их нельзя за любезное приглашение парой бомб. Ну да еще успеем.

Над Берлином, словно по заказу, туман рассеялся. В черной бездонной глубине оранжевыми искорками побежали цепочки и скопления огоньков. Столица рейха затемнена не полностью. Да и чего опасаться, по радио только вчера объявили: армия победоносно воюет далеко на востоке. А советской авиации и тем более таких дальних бомбардировщиков, как доклады-

вали компетентные чины, уже практически не существует.

На высоте шесть тысяч метров, точно в заданном квадрате, ведущий, увлекая за собой остальных, начал сваливаться в пике. Пять, четыре, три, две! Две тысячи!

— Давай! — Бахметьев резко поднял и опустил руку.

Самолет вздрогнул, слегка взмыл вверх. От его длинного грузного тела попарно отделились бомбы и с воем устремились навстречу земле.

Багровое пламя взметнулось над Силезским вокзалом, за мостом через Шпрею и прямо в середине Александерплац. В стороне, на фоне языков огня хорошо видны высокие черные столбы заводских труб.

— А ну еще раз. Последних парочку, — капитан медленно потянул штурвал на себя.

Снова внизу от ярких взрывов шарахнулась чернота ночи. По небу начали шарить прожекторы. Беспорядочно забухали зенитки. То там, то здесь вспыхивали клубы разрывов. Их грохот, перекрывая шум моторов, со всех сторон проникал внутрь.

Враг уже опомнился — город погрузился во тьму, только зарева пожаров мутно проступали сквозь темную пелену.

Самолет повернул на обратный курс.

— Крепко мы их! Знай наших. Теперь можно и назад.

Вдруг снизу, под самым брюхом самолета, что-то затрещало и громыхнуло. Машину подбросило. Слева и справа, ослепив на мгновение людей, разорвались снаряды. Командир резко положил штурвал, и бомбардировщик, скользя на крыло, выскочил из перекрестия прожекторов и нырнул в темноту.

— Осмотреться. Есть ли повреждения, — раздалась команда.

К Бахметьеву подошел штурман, стараясь перекрыть шум, крикнул:

— Компас разнесло вдребезги. Перебит бензопровод третьего двигателя, топливо из второго бака идет за борт, убит стрелок второй пушки.

Вокруг машины, ближе и ближе за клубились разрывы. Бомбардировщик, описав большую дугу, скрылся в густой облачности...

— Товарищ командир, — бортмеханик тронул Бахметьева за плечо, — еще один мотор отказал, остальные тоже барахлят, да и горючего всего ничего.

— Штурман! — позвал капитан.

— Слушаюсь, — лейтенант протиснулся в кабину.

— Где мы сейчас? Наши координаты поточнее?

— Точно сказать не могу, кругом туман, компас разбит, но, очевидно, где-то между Хельсинки и Выборгом.

— Связи нет с остальными?

— Рация повреждена осколками, плоскости и фюзеляж тоже продырявлены.

— Начнем пробивать облачность, — командир повел штурвал от себя. — Спустимся пониже, уточним место.

Самолет послушно и плавно пошел вниз. На высоте шестьсот метров посветлело. Затем машина словно вывалилась из белых ватных облаков. Внизу плескалось море. Бомбардировщик, удерживая небольшую высоту, летел над холодными свинцовыми волнами. Вдали засинел низкий, покрытый лесом, берег.

— Это скорее всего Финляндия, район Хельсинки, — штурман показал на карту.

— Механик, на сколько у нас топлива?

— Минут на пять-десять, не больше.

— Что ж, будем садиться.

— А куда? Кругом одни елки да палки. Как у нас в тайге. — Штурман немного помолчал и добавил: — Глухомань.

— Было бы странным, если бы для нас специально приготовили аэродром. Поищем что-нибудь подходящее.

Самолет уже шел над простирающимся к горизонту сплошным зеленым ковром. По перебоям в двигателях чувствовалось, что они тянут из последних сил и могут отказаться в любой момент.

— Вон впереди вроде площадка. Видите, там. Правее немного! — крикнул штурман.

— Вижу.

Командир стал разворачивать машину.

Бомбардировщик пронесся, чуть ли не касаясь колесами деревьев. Внизу действительно виднелась продолговатая поляна с небольшим синим блюдцем озера у начала опушки.

Самолет немного набрал высоту, сделал круг и по-

шел на снижение. Ниже, еще ниже. Внезапно раздался треск. Машина резко накренилась вправо — концом крыла срезала верхушку сосны, в следующее мгновение последовал удар. Бомбардировщик затрясло, он запрыгал по кочкам и, ломая шасси о торчащие пеньки, плюхнулся на землю. Высоко вверх задралось хвостовое оперение, на какой-то миг оно замерло, потом грузно, со скрежетом опустилось вниз.

Из-под обломков, чихая и отряхиваясь, стали выбираться члены экипажа. Капитан отстегнул ремни, вылез из перекосившейся кабины, прошел немного и сел на ствол поваленной березы. Он достал индивидуальный пакет и попытался перевязать раненную при падении руку.

— Ну как? — спросил он приближающегося штурмана и зубами затянул узел.

— Все живы, товарищ командир. Бортмеханик ногу сломал, и у одного из стрелков стопа раздроблена. Помощь им оказали. Остальные так, ушибами отделались. Что делать будем? — штурман присел на корточки.

Экипаж окружил Бахметьева.

— Вот сейчас и решим. Но прежде всего снять пушки и пулеметы, вынуть из машины боезапас, гранаты, личное оружие, продовольствие. Оттащите все это подалее, вон туда, на бугор. Потом стрелка похороним как положено.

Люди начали выполнять приказание. Через полчаса снаряжение перетащили на небольшой холм. И опять все тесным кольцом обступили своего командира.

— Итак, нас десять. Мы сейчас на вражеской территории, но мы бойцы, в форме и с оружием, значит, будем драться, если противник обнаружит, а в этом я не сомневаюсь, ибо нас, очевидно, давно засекли наблюдатели. Сейчас отходить, тем более с ранеными, мы не можем, на ровном месте нас тотчас уничтожат. Машину взорвем, а сами организуем круговую оборону, закрепимся на этой возвышенности и встретим врага как и положено советским морским летчикам. Ночью, после разведки, попробуем уйти в лес. Есть другие мнения или предложения? Нет? Я так и думал, спасибо, ребята. А теперь за работу, окопы рыть поглубже, на

совесть. Потом их соединим траншеей. Действуйте побыстрее, уже совсем рассвело. Сержант, ты начинай рыть могилу стрелку вон на той площадке.

Капитан стоял, навалившись грудью на еще влажную, только-только начинающую подсыхать стенку окопчика и сквозь белые зонтики багульника, от которых еле-еле веяло нежным, пряным ароматом, смотрел туда, откуда, по его предположению, должен появиться противник. Бахметьев был спокоен. В уме он несколько раз уже перебрал различные варианты и пришел к выводу, что то, что они сделали, единственно правильно. Действительно, в лес не уйдешь: чужая, незнакомая земля, чужие люди, до фронта очень далеко. На открытом месте их действительно быстро перебьют. А здесь оборона, как-никак укрепление и основная их цель — истребить как можно больше фашистов.

Издали донесся надсадный звук движущихся машин.

— Немцы, товарищ капитан! — крикнул кто-то.

— Вижу. Спокойно. Приготовиться к бою и замереть.

Вдали между деревьями, переваливаясь на ухабах проселочной дороги, показались три грузовика, полные солдат. На двух машинах стояли пулеметы. Грузовики выехали на опушку и остановились. Солдаты попрыгали на землю и, совершенно не таясь, двинулись к упавшему самолету.

Гитлеровцы густо окружили разбитый бомбардировщик, некоторые полезли на фюзеляж, в кабину, другие стояли около и о чем-то переговаривались, показывали в разные стороны руками, галдели.

Бахметьев приподнялся на локтях.

— Первая пушка по грузовику с пулеметом справа. Вторая по другому с пулеметом. Всем по фашистской сволочи огонь! — выкрикнул он.

Стрелки знали свое дело. Оба грузовика запылали одновременно. Пулеметные и автоматные очереди косили растерявшегося врага почти в упор. Фашисты заметались и бросились к лесу. Поляна вокруг самолета зачернела убитыми.

— Прекратить огонь! — скомандовал капитан. — Укрыться! — Со стороны леса тотчас затрещали автоматы.

— Господин обер-лейтенант, — перед немецким комендантом участка стоял, еле переводя дыхание, финский солдат, — поручик передает, что недалеко от расположения его роты приблизительно час назад совершил посадку большой советский самолет, скорее всего морской бомбардировщик.

— Почему не доложили сразу?

— Темно. Не было полной уверенности.

— Где это, точнее? — офицер поправил очки.

— Метрах в пятистах от тракта.

— Передайте поручику — пусть отправится туда на грузовиках и окружит место приземления, экипаж захватить живьем. Выполняйте.

— Есть, — солдат отдал честь и выбежал из домика.

Не прошло и часа, как вдали загрохотали выстрелы.

— У черт, я же говорил — живьем, — проворчал офицер и крикнул: — Вилли!

— Я здесь, господин обер-лейтенант, — в дверях появился фельдфебель.

— Собрать роту, всех на машины...

— Есть! — унтер-офицер бросился отдавать приказ.

Два грузовика, до отказа набитые гитлеровцами, покатали по шоссе. Высокие ели стеной стояли по обочинам дороги. Впереди, там, где за темно-зеленым частокотом сосен шумело море, гремели выстрелы, раздавались пулеметные очереди и частое уханье взрывов.

Неожиданно сбоку, из кустов, на тракт выскочил, размахивая руками, егерь.

— Стойте! Стойте! Дальше нельзя. Очень опасно! — кричал он. — Русские простреливают дорогу.

— Где ваш поручик? — комендант открыл дверцу машины.

— Слушаю вас, господин обер-лейтенант. — Из густых зарослей бузины появился молодой финский офицер.

— Что у вас творится? Почему стрельба?

— Большевики окопались на вершине холма и ведут огонь из снятого с самолета оружия. У меня восемь убитых и много раненых.

— Ого, — крикнул комендант и, повернувшись к фельдфебелю, скомандовал:

— Вилли, атакуйте со стороны озера.

Обер-лейтенант прошел к опушке и, прислонившись к дереву, приложил к глазам бинокль. На краю поляны лежал самолет. Метрах в ста — ста пятидесяти от него у озерца возвышался небольшой холм. Офицеру сначала показалось даже, что там никого нет. Высота молчала. Над ней спокойно колыхалась волнами высокая трава, да кое-где были насыпаны кучки свежего желтого песка. Сейчас со всех сторон к холму, сжимая кольцо, приближались цепи немецких и финских солдат.

Внезапно высота ожила. Засветилась вспышками выстрелов. По наступающим ударили очереди автоматических пушек и пулеметов. Солдаты залегли. Тогда из-за укрытий с возвышенности зацокали одиночные короткие хлопки автоматов. Русские метко выбивали одного за другим лежащих на открытом болотистом пространстве солдат.

— Дьявольщина, так же они всех перестреляют. — Комендант опустил бинокль. — Поручик, прикажите людям отойти.

— Надеюсь, теперь вы убедились сами, — начал офицер.

— Помолчите лучше. Да быстрее выполняйте приказ.

Солдаты стали пятиться к лесу. Стрельба с холма прекратилась, защитники его сэкономили боезапас.

— Знаете что, поручик, — обер-лейтенант вынул портсигар и не спеша закурил сигарету, — предложите им сдаться. Сопротивляться просто абсурдно. Пообещайте, что их не расстреляют.

— Вы говорите, предложить им сдаться? У меня никто не знает русского. Да и безрезультатно это, я встречался с большевиками — не сдадутся.

— Хорошо, тогда я сам возглавлю атаку. В центре. А вы ударьте с фланга, от шоссе.

Опять на высоту с воплями и криками, прижав автоматы к животу и поливая свинцом все перед собой, ринулись солдаты. Подпустив атакующих метров на пятьдесят, русские открыли огонь. Гитлеровцы снова отпрянули. На склонах в разных позах среди зарослей вереска валялись трупы. С каждой атакой их становилось все больше и больше.

* * *

— Мишин! — позвал Бахметьев.

— Я здесь, товарищ капитан. — Из ячейки рядом показалась голова стрелка-радиста.

— Проползите-ка по окопчикам, разузнайте, как там дела.

— Есть, — стрелок юркнул в траншею, соединяющую окопы. Мишин скоро вернулся. Лицо его было замазано землей, щека оцарапана.

— Ну что? Как они там?

— Плохо, товарищ капитан. Трое нас живых: вы, я и штурман, он ранен, правда, но говорит, что порядок, дескать.

— А с боезапасом?

— Вот все, — сержант положил в окоп три диска и шесть гранат. — И еще пара обойм к пистолету.

— Давай поделимся по-братски. Кстати, водички у тебя не найдется? Во рту все пересохло.

— Есть. Пейте, — Мишин протянул фляжку. — Все, все пейте, потом я к озеру смотаюсь, еще принесу.

«Будет ли это «потом»? — думал капитан. — Осталось их, боеспособных, двое. Штурман не в счет. Никогда не представлял, что придется вот так, вдали от Родины, ему, морскому летчику, погибать не в небе или море, а как пехотинцу. Вот она, значит, какая работа у пехоты, а ведь посмеивались над ней, матушкой: «Ну ты, инфантерия». Глупо, конечно. Эх, ребят жалко. Но лучше не думать об этом, не раскисать. Пока дышим — мы живы, ну а дальше уж не от нас зависит».

* * *

— Товарищ капитан? — сержант легонько тронул Бахметьева за плечо.

— Ты что? — капитан поднял голову.

Из темноты к нему почти вплотную приблизилось лицо Мишина.

— Штурман умер. Тихо-тихо так отошел, даже сто-на не проронил. А мучился, видно — он же в живот ранен и грудь.

— Чудесный был парень. — Бахметьев помолчал. — Одни мы теперь с тобой. Как, не боишься? Долго-то

тоже не протянем. А умирать не хочется, ох как не хочется. Не страшно тебе?

— Сперва страшновато было. Это точно. А потом увидел, как наши дерутся и гибнут, так вот, честное комсомольское, ничего не боюсь. Возмущение меня взяло, ярость, что ли. Зубами их рвать готов. И страха нет, прямо удивительно.

Мишин хотел что-то сказать, но, очевидно, раздумал, повернулся и уполз в свой окопчик.

Взошла луна. Желтая, словно вырезанная из латуни. Прокричала, укладываясь спать, какая-то птица. В траве совсем рядом робко застрекотал кузнечик, ему ответил другой, третий. Зазвенело. Откуда-то до Бахметьева долетел знакомый до боли в душе горьковатый запах тлеющего сена, так пахло, когда он, еще будучи мальчишкой, выезжал далеко за деревенский выгон пасти лошадей и, подбрасывая в костер охапки сухого курая, наслаждался этим терпким запахом дымка, звонком ночной степи и мерным хрупаньем жующих траву коней.

* * *

С рассветом обер-лейтенант приказал начать решительный штурм.

— Пусть атакуют со всех сторон сразу, не жалейте солдат. Вперед, задавите их, утопите в крови.

В бой ринулось сразу около сотни гитлеровцев.

Чувствовалось, что обороняющихся совсем мало. Ухнуло несколько взрывов, раздалась и тотчас захлебнулась последняя очередь. Капитану показалось, что большое, жаркое, словно расплавленный металл, солнце сорвалось с неба и ринулось ему в глаза. И все исчезло. На подогнувшихся ногах он опустился на дно окопчика. Фашисты ворвались на перепаханную и иссеченную пулями и осколками высоту.

* * *

Перед глазами Мишина на расстоянии не больше двух метров был длинный настил, напоминавший низвергнутый забор из грязных неструганых досок. От затхлого и пыльного воздуха запершило в горле. Мишин попытался привстать, но тут же в изнеможении

откинулся на спину. Тело было точно чужое. Каждое движение вызывало боль. В затылке, будто налитом свинцом, отдавался каждый шорох. Сначала ему показалось, что он один, но потом из сумерек появилось чье-то бледное лицо, и сержант услышал тихий шепот:

— Отошел, кажется, а мы-то думали — не жилец ты. Мишин еле-еле различал склонившуюся над ним фигуру.

— Где я? Как попал сюда?

— Тише. В лагере для военнопленных ты, где же еще. Два дня в сознание не приходил, считали все, отмаялся, ан нет. Живучий, видно, оказался. Сказывали, дружкам твоим всем конец. Может, пить хочешь? На вот, испей.— Худая грязная рука протянула ему банку с водой.

Мишин со стоном приподнял голову и жадно приник к краю консервной банки. Захлебываясь и задыхаясь, он пил и никак не мог напиться.

Вечером, когда он проснулся, барак был полон народа. Слева и справа, в проходах — везде копошились и что-то делали оборванные и изможденные люди. Некоторые, перетряхнув трухлявую вонючую солому, укладывались на нары, другие, придвинувшись к чадящей коптилке, чинили свою одежду или били вшей.

Мишин приподнялся и сел. Сейчас же кто-то рядом произнес.

— Ну чего тебе еще, лежал бы уж.

Это был голос человека, который говорил с ним утром.

— Завтра, если увидят, что встал, ишачить погонят, деревья валить. Не работа — гроб. Уж лучше прикинься, что не можешь, иначе заедят насмерть. Вас, летчиков, да еще морских, здесь ненавидят хуже, чем просто моряков. Лучше бы петлицы спорол, а?

* * *

— Кончай работу, шабаш! — блоковый, размахивая палкой, шел между лежащих штабелями гладких и прямых бревен. — Шевелись, лодыри, строиться на смотр, живо!

Пленные бросали нилы и топоры и строились на покрытой свежей душистой щепой делянке.

— А что это за смотр такой? — спросил Мишин у соседа.

— Раз в месяц бывает. Приезжают хуторяне нашего брата в батраки набирать. Из лагеря высвобождают, под залог значит, к себе домой берут для разной надобности. Хорошо! Там же и бьют меньше, да и живешь сносно, опять же лес, а не вонь барачная. Да и кормят все лучше, чем в лагере.

Заключенных перегнали на вырубленную, пестревшую свежими пеньками, засыпанную хвойным лапником просеку: построили в одну шеренгу. В стороне группой стояло несколько хуторян-финнов. Затем вместе с офицером они пошли вдоль рядов осматривать узников. Все время о чем-то споря с комендантом, они выбирали батраков буквально как лошадей: щупали ноги и руки, заглядывали в рот, заставляли приседать.

Против Мишина остановился беловолосый, высокий и сухопарый финн лет пятидесяти пяти. Он, прищурясь, посмотрел на летчика, сказал офицеру несколько слов и, вынув засаленную записную книжку, что-то в ней отметил.

— Ступай вот с ним, — блоковый вытолкнул сержанта из шеренги. — Радуйся, доходяга. И кому только такая рвань понадобилась? Дистрофик вшивый.

Хозяина, взявшего к себе Мишина, звали Урхо Вайнен. Хутор его был далеко от моря, в самой дремучей чащобе — прямо к изгороди со всех сторон подступал густой девственный лес. Усадьба состояла из двух сколоченных из теса сараев, конюшни и большого рубленого дома, где, кроме Урхо и его жены, жили сын Тойво, портовый рабочий в Хельсинки, который очень редко приезжал на хутор, и молоденькая дочь Лайна. У хозяина была корова, лошадь и десяток свиней. За постройками на выжженном среди чащи участке тянулись огороды. Урхо хотя и плохо, но говорил по-русски. Когда он привел лагерника, была суббота. Все домочадцы собирались в баню: повели и Мишина. Баня стояла на самом берегу маленькой, но глубокой лесной речушки. Внутри все было выскоблено добела. От нагретого дерева шел здоровый, густой и ядреный дух. Старик указал ему на лавку в углу, плеснул водой из ведра на раскаленные, уложенные рядами над очагом камни, от них тотчас повалил клубами белый пар, в нос ударила пряная волна распаренной мяты и березовых листьев.

— Располагайся, одежду сними и сожги в печке. Новую жена принесет.

Потом его сытно накормили, угостили светлым, пахнущим хвоей пивом, и хозяин повел показывать место, где он будет спать. Это был маленький чистый, примыкавший к дому сарайчик, наполовину набитый сеном. Там же хранились грабли, косы, лопаты и другой сельскохозяйственный инвентарь.

— Можешь отдыхать, работы сегодня нет. Огня не зажигай и не кури. — Урхо ушел.

Мишин постелил принесенную с собой холстину, положил голову на набитую душистым сеном подушку, накрылся стареньким одеялом. «Пока все идет уж больно хорошо, — думал он. — Что-то дальше будет. Ничего, оклемаюсь немного, перезимую, а там и убегу». С этими мыслями он и заснул.

* * *

Быстро пролетела вьюжная северная зима. В распадках и просеках уже сошел снег. На проталинах, прогретых солнцем, зазеленела травка, на огородах появились первые всходы. Из чащи потянуло свежим запахом молодой листвы и ароматом хвои. Почти полгода работал Мишин у Вайнена. Он уже вполне сносно говорил по-фински и привык по утрам к неторопливому домовитому голосу хозяина, приходившего его будить.

— Вставай, Юра, пора работать.

За взятого пленного Вайнен платил сто марок ежемесячно.

После лагеря жизнь в лесу показалась действительно настоящим раем. Урхо относился к нему хорошо, никогда не ругался и тем более не бил батрака. В доме быстро привыкли к русскому, часто расспрашивали о жизни в России, хозяйка кормила его за общим столом, как и всех своих, а дочь учила финскому языку.

С наступлением весны сержант все чаще и чаще стал думать о побеге. Правда, где-то в глубине души он очень страдал от того, что своим побегом принесет большие неприятности этим добрым людям. Но что делать — тоска по Родине была сильнее и с каждым днем становилась невыносимей.

Однажды в субботу на хутор приехал Тойво. В этот вечер после праздничной бани и ужина отец и сын

долго о чем-то говорили, заперевшись в дальней комнате дома. Потом позвали хозяйку и дочь. Час спустя сержант видел, как мать и Лайна молча вышли оттуда и прошли к себе.

Утром, чуть свет, старик, как обычно, разбудил Мишина. Ему показалось, что Урхо ведет себя как-то необычно, тем более что и пошли они сразу не на работу, а к стоящей особняком бане. Когда они вошли, там сидел Тойво и с ним какой-то угрюмый, заросший почти до глаз рыжей щетиной человек лет сорока.

— Вот что, Юра, — начал Тойво, — это Пико — лесной гвардеец, по-вашему, по-русски, партизан. Мы знаем, кто ты и как попал в лагерь, и хотим помочь тебе. Мы ненавидим фашистов и шюцкоровцев, как и вы, и боремся за свободу своего народа, которому Ленин дал независимость. Люди помнят это.

Мишин оторопел, он просто не верил своим ушам.

— Не удивляйся, — продолжал Вайнен-младший, — сегодня ты уйдешь с Пико в лес, в отряд Вейкко Пеюсти*. Мы же, как будто ничего не случилось, будем продолжать платить за тебя раз в месяц, как и положено, и сообщать ленсману, что все у нас в порядке. Ну как, согласен? Если нет, то можешь оставаться у нас до конца войны, мы тебя не гоним. Выбирай сам.

Сержант почувствовал, как запершило в горле, на глаза навернулись слезы. Он хотел поблагодарить и сказать что-то хорошее, но только глубоко вздохнул и прислонился к косяку двери.

— Хватит, успокойся, Юра! — Урхо положил руку на его голову. — Сейчас Лайна соберет вещи, и вечером, как только стемнеет, ты уйдешь с Пико. Нам жалко расставаться с тобой, но у каждого есть лишь одна родина. Все будет правильно.

* * *

— Почти два года провел я среди лесных гвардейцев. Это были храбрые и прекрасные люди. Мы жили в землянках в самых дремучих дебрях. Было трудно, терпели и холод и голод, но сражались, нападали на немецкие гарнизоны, взрывали мосты, ставили мины, поджигали

* Вейко Пеюсти — финский коммунист, руководитель партизанского движения в Финляндии и Карелии.

склады. Когда Финляндия вышла из войны, меня отпустили к своим, и вот я у вас. — Мишин раздавил в пепельнице самокрутку.

— А где жил Урхо?

— Хутор Кииска, сорок километров к северу от Хельсинки.

— У вас есть какие-нибудь документы? Может быть, письма?

— В отряде нам не выдавали удостоверений, но у меня остался мой комсомольский билет. Он находился в карманчике, пришитом к внутренней стороне тельника. При ранении скорее всего в спешке не обыскали, а потом мне удалось его спрятать!..

— Покажите, пожалуйста.

Мишин расстегнул куртку, сунул руку под рубашку и вытащил что-то завернутое в кусок материи и протянул майору. Майор развернул сверток. Внутри его лежала маленькая серая книжечка. Вся она была в бурых пятнах, страницы слиплись, чернила расплылись.

— Трудно что-либо разобрать. Чем это вы залили билет?

— Кровью.

— А где сейчас ваши товарищи по борьбе?

— Многие погибли в боях. Остальные, очевидно, разошлись по домам. Пико — комиссар отряда, финский коммунист — сейчас, по-моему, в столице.

— И вы не знаете, как их найти?

— Нет. Да мне это и не нужно: я же тоже пошел домой.

— Дела, брат, — майор посмотрел куда-то вверх. — Как у тебя все просто получается. Пошел домой. Ведь война-то еще не кончилась?

— Вы мне не верите? — Мишин встал.

— Сиди, сиди. А насчет верить или нет, я же пока ничего не сказал.

— Но я пришел к вам сам. Вы понимаете, сам, добровольно.

— Извините меня, но шпионы и диверсанты тоже приходят к нам сами, мы же их не приглашаем.

— Но я-то не шпион, — сержант опять вскочил, — я-то русский, наш.

— Вот что, сейчас вас проводят. Помойтесь, приведите себя в порядок. Мне же нужно срочно уехать и как раз в Хельсинки. Денька через два я вас вызову.

— Значит, все-таки не верите?

— Идите отдыхайте. — Майор нажал кнопку звонка. Утром майор уехал, и его не было целую неделю.

* * *

— Эй, друг! — в дверях стоял часовой. — Майор приехал, тебя кличет, пойдём, что ли?

Мишин почувствовал, как заколотилось в груди сердце.

— Здравствуйте, товарищ сержант, — Винонен вышел из-за стола и, улыбаясь, протянул Мишину руку, — садитесь.

Сержант опустился на стул, с плеч его как будто свалился тяжелый груз. Задергалась щека.

— Здравствуйте, товарищ майор.

— Мы проверили ваши показания, все правда. Совершенно случайно я встретился с Пико. Старик Вайнен и его жена расстреляны фашистами за укрывательство наших раненых бойцов и связь с партизанами — это были достойные люди. Тойво погиб в бою месяца два назад. Кроме того, мы получили ответ из Москвы, из части, в которой вы служили. Ну а эту настойчивую девушку вы, очевидно, знаете?

Мишин вскочил. Справа, у стены, прижав ладони к щекам, стояла Лайна.

— Юра, — она бросилась к сержанту и прижалась к его груди.

— Комсомольский билет, — майор достал из ящика стола документ, — сдадите в музей, когда кончится война. Готовьтесь, вечером попутная машина подбросит вас в Выборг, а оттуда — в Ленинград.

Трещина

У них кончились продукты, осталось лишь несколько кусков сахара да полпачки грузинского чая. На четверых. И все. И неизвестно, когда еще затихнет пурга и на «песок» ледника — крохотную, пятнадцать на пятнадцать шагов площадку — пробьется вертолет, чтобы снять альпинистов. В ветер — не то что в пургу — даже вертолет не может ходить по ущельям, потому что ущелья узкие, вертолет едва протискивается в них, а втиснувшись, прет, почги цепляясь лопастями за скальные выступы, но стоит чуть зашевелиться горному воздуху, как вертолет уже кидает на камни. В этом году был случай, когда Ми-4 с двенадцатью альпинистами летел на «песок» и зацепился винтом за пупырь — всего в шестидесяти метрах от земли. Да, был такой случай. Выше подняться вертолет не может — там уже высота за четыре тысячи метров, разреженный воздух, и лопасти не держат...

Трубицын погасил обмусоленный и начавший жечь пальцы окурок «Примы» о подошву триконя, отвернул бортник шапочки, прислушался. Насонов, гревший руки над плоским синим огнем керогаза, приподнял голову, посмотрел вопросительно на Трубицына. Глаза у него были блестящие, слезящиеся, с красными, обожженными ветром веками.

— Что наострился? Услышал что?

— По-моему, пурга стихает... Тебе не кажется? — Насонов улыбнулся углом рта.

— Не кажется. Такая пурга стихнет в один присест. Как и началась. Это те не паровая машина, что с нуля начинает.

В углу палатки заворочался Солодуха, хрипло откашлялся, приподнимаясь и расстегивая замок спального мешка. Его тень скособочилась на стенке палатки, стала делать какие-то непонятные, странные знаки. Насо-

нов оглянулся — оказывается, Солодуха всего-навсего глотал таблетку тройчатки.

Увидев, что Насонов смотрит на него, Солодуха задрал голову так, что было видно, как по шее ездит бугор кадыка, но пропихнуть в горло сухую таблетку ему не удалось, и он подполз к керогазу прямо в спальном мешке, подставил Насонову спину.

— Постучи, будь добр... застряла где-то... на втором колене.

Потом он перевернулся лицом к огню, протянул Насонову пакетик тройчатки.

— Хочешь пожевать?

Насонов покачал головой, погрозил красным кулаком:

— После того, как ты подавился?

Солодуха хмыкнул, широко раскинул длинные худые руки.

— Мое дело предложить, твое — отказаться. С голодухи еще не то есть будешь.

— А что, если сварить суп из тройчатки?

— Про еду ни слова, — сказал Трубицын.

— А по-моему, про еду, наоборот, надо говорить, — Солодуха вылез из спальника, скатал его и подложил под себя: — Вот если бы кончилась пурга, пришел бы вертолет, то мы завтра были б в Дараут-кургане, в чайхане, лошали бы бараний плов, запивали чаем, заедали мантами...

Все молчали. Подал голос четвертый — Кононов, спавший дотопле и разбуженный громким голосом Солодухи.

— До «песка» еще добраться надо.

— Эт-то верно...

Кононов взялся за грудь, оттянул борт куртки, сделал несколько сильных, глубоких глотков.

— Хорошо, что хоть «горняшка» не треплет, — глядя на него, проговорил Трубицын. — Трепанула бы, что б мы делали?

— Ничего, — Кононов прищурил глаза, где-то в черной хитрой глубине зрачков мелькнул испуг. — И не в таких морях бывали...

Конечно, худо будет, если прижмет горная болезнь — опасная, лихая. Но не должна, на спуске она хватает редко; в исключительных лишь случаях. Новичков в основном

Сквозь придушенный вой ветра донесся выстрел — звучный, сильный, будто в один мах из двух стволов разрядили ружье.

— Ледник лопается. Как из пушки, а?

— Не хотел бы я сейчас оказаться там, — задумчиво произнес Насонов. Он облизал чешуйчатые губы, промакнул их рукавом куртки. На рукаве осталось маленькое темное пятнецо с неровными краями — кровь.

Трубицын порылся в кармане, достал плоскую, с продавленной крышкой баночку вазелина, к которой прилипли крошки сигаретной махры, перекинул через керегаз Насонову.

— Помасли. Не то без губ останешься.

Насонов вытер вазелиновую банку о штаны, подцепил пальцем икряно загустевший от мороза комочек мази, морщась, провел вначале по нижней губе, затем по верхней.

— Недолго музыка играла, недолго дуся танцевал, — сказал Солодуха. — Пора, наверное, и на сон грядущий. И-э-эх, съел бы я сейчас цыпленка табака с чесночным соусом или же пухлый бифштекс с кровцой, а-ах, — он блаженно вытянул ноги, почесал под коленями.

— А может, по чаю вдарить, а? — спросил Кононов. Он стащил с головы шапочку, пятерней взъерошил свалывшиеся в кудельки белые, редющие на темени волосы. Глаза его, голубые и выпуклые, в едва заметных прожилках, сидели низко, прикрытые мощными лобными костями, на гребне которых топорщились щеточкой брови. Трудно было уследить за выражением кононовских глаз — они были то задумчивыми, то жесткими, то хитрыми, то смешливыми, то ехидными, и было непросто определить, что за характер у Коконова.

— Чай — это одно расстройство. Разве это пища — чай?

— А вот когда мы в институте учились, то не боялись, коли кишка кишке начинала шиш показывать. Стипендия была малехонькая, — Солодуха медленно свел две ладони вместе, — всего двести двадцать рублей старыми деньгами. Завтрак — это подтягивание брючного ремня на несколько дырок, обед — тарелка щей и две тарелки хлеба, благо хлеб бесплатный, а ужин — «белая роза» — и на первое и на второе, и на третье, и на десерт. Вы знаете, что такое «белая роза»? А? Нет? «Белая роза» — это чай без заварки и без са-

хара. В Ленинграде, например, «белую розу» «белой ночью» зовут...

— Демократия, кто за водой пойдет? — спросил Кононов. — Давайте сосчитаемся.

Выпало Трубицыну. Он взял котелок и, расшнуровав полог, выбрался из палатки. В первую минуту пурга ослепила его, кинув в глаза горсть жесткого, как песок, снега; Трубицын прикрыл лицо руками, отгораживаясь от ветра, но ветер изменил направление, и по щеке больно прошлась струя снежного крошева. Палатка стояла одна-одинешенька на всем леднике, голая, без привычных снежных сугробов — обдувалась со всех сторон: ветер юзом ходил по леднику, рикошетил от пупырей и выступов, колготился, будто поддавший гуляка, и не утеплял их жильё сугробами. Где-то далеко раздался тонкий и протяжный крик — будто кто звал на помощь. Трубицын вдавил котелок коленом в снег, привстал, прислушался. На леднике, кроме их четверки, людей нет — они последними уходят с ледника. Крик не повторился. Значит, ветер.

Он вдруг вспомнил, как однажды они разбили свой лагерь на каменном холме — ригеле гидрометстанции — это у самого подножия пика Академии наук. Как-то ночью его разбудил сосед, зашептал жарко в ухо:

— Гуль-биаван* кричит. Слышишь?

Гуль-биаваном в киргизских аилах звали пресловутого снежного человека. В тихой ночи крик повторился — горловой, тревожный, сильный, слышимый на добрые полтора десятка километров. Попробовали прикинуть, на какой высоте находился гуль-биаван — оказывается, примерно посреди пика. Когда брали пик, Трубицын все приглядывался, надеясь увидеть следы снежного человека, — не может быть, чтобы он не оставил после себя никаких следов, но нет, не оставил — лишь крестовидные отпечатки уларьих лап. В большом количестве. Странно было на такой высоте встречать птичьи следы — как высоко забрались горные индейки-улары. Возможно, это улары и кричали, возможно, и другое — звуковое смещение, когда звук меняет «колорит» и частоту. И вот тогда такие жуткие крики доносятся с памирских пиков.

* Очень часто произносят «голуб-яван».

А экспедиция Вадима Бекова? Вадим Беков ходил как-то с группой молодых и падких на сенсацию кандидатов наук. Искали гуль-биавана. Конечно, не нашли, и однажды, когда спускались обратно, некий юморист — дежурный повар, встал пораньше, чтобы разогреть кашу, увидел, что выпал белый, еще не замаранный снежок, схватил гитару, наделал следов, присыпал порошей и увел их в скальник, где снега уже не было, потом же с отчаяннейшими воплями побежал будить кандидатов наук.

— Э-э-э, ученые... Пока вы тут дрыхли, гуль-биаван приходил. Все на свете проспали, ученые...

Ошалевшие кандидаты наук повыскакивали из своих мешков, увидели следы и схватились за фотоаппарат. А потом публиковали разные научные статьи об этих гитарных следах. Такое тоже бывает.

Трубицын, продавливая наст коленями, отполз в сторону, с размаху вогнал котелок в снег, зачерпнул, сверху прилепил еще целую шапку. Потом на коленях пополз обратно к палатке.

— Затворяйте за собой дверь, дуся. — Солодуха сделал небрежный жест, откинутая в сторону рука угодила на пламя керогаза, и Солодуха завопил благим матом, стал дуть на пальцы, обиженно причмокивая губами. — Дуся, ты же в обществе. Видишь, до чего довел дядю.

Трубицын водрузил котелок на керогаз, давно нечищенные бока котелка стали оттаивать и дымиться. Керогаз фыркнул, по котелку сползла, шипя, первая снежная слеза.

— Завтра будет погода, — сказал Трубицын. — Пурга вроде слабеет.

— Пошарь-ка в эфире, капиталист, — попросил Солодуха Насонова.

У Насонова был единственный в группе транзистор. Он сунул руку в карман вещмешка, достал старенький, в паутине трещин «Сокол» с привязанными к расколотой пластмассовой спине батарейками.

— Если Москву поймает — послушаем, что умные люди говорят.

— Поймает ли? — усомнился Насонов. — Пурга, горы.

— А ты, дуся, постарайся. Постарайся — поймает.

В эфире было пусто — лишь шорох, треск, завывание, свист, да металлическое щелканье разрядов.

— Нет жизни на земле, — сказал Солодуха.

Вдруг Насонов вскинул руки вверх, делая знак Солодухе, чтобы тот прикусил язык. И они, напряженно вслушиваясь в треск и писк, доносящийся из поковержанного тельца транзистора, услышали вдруг далекий и тихий, и такой знакомый и близкий, что даже мурашки поползли по коже, голос московского диктора, передававшего сводку погоды. Потом голос ушел, растворился в шуме, и, сколько Насонов ни тряс приемник, ни стучал по нему, голос диктора не зазвучал вновь.

— Вот и все... Слышали, что диктор сказал? В Москве влажность воздуха восемьдесят с чем-то процентов, температура — двадцать девять градусов выше нуля... А у нас... — Насонов покрутил пальцами, — а у нас все двадцать девять холода.

— Ну, не двадцать девять, а двадцать четыре.

— Все равно холодно, — сказал Насонов. — В Москву бы, а?

— Оригинально, — проговорил Солодуха.

Насонов досадливо прицыкнул языком, потом пальцем нарисовал один круг в воздухе, за ним второй, и чуть меньше — третий.

— Хоть на девушек полюбоваться. Я уж и забыл, как они выглядят.

— Как и раньше, старик. Надо думать, ничего не изменилось.

— Опять слюни? В горах, дуся, надо говорить о... — Солодуха помолчал секунду, — о вечности, если хочешь. О жизни и смерти, о...

В котелке тем временем гулко забулькала вода, и то, что вскипел чай, было куда важнее для них, чем высокопарные философские истины. О Солодухе тут же забыли, и он, обиженный, отчужденный, обхватил костлявые колени руками, положил на них голову.

— Суета сует, — сказал он.

— Угу, — подтвердил Насонов, осторожно обрывая фольгу от наполовину опустошенной пачки чая. — Ведро воды заменяет сто грамм масла. Это ты сейчас скажешь, я знаю...

Он отсыпал на руку немного чая, потом, подумав, отсыпал еще щепоть.

— Как? — спросил он. — Остальное на завтра? —

Посмотрел на Трубицына: Трубицын был самым хозяйственным, самым умудренным в житейских вопросах в их четверке. — Или все ссылем?

— Оставь на завтра. Вдруг вертолет не придет.

Кононов убавил огонь в керогазе, в палатке сделалось сумеречно, сыро, и всем показалось, что и ветер стал выть громче и враждебнее, и палатку стало сильнее трясти от снеговых ударов. Где-то далеко с грохотом сорвалась лавина, но звук ее был слабым и беспомощным — действительно, лавина грохнулась очень далеко.

— Лавины-то, а? Зачастили. Теперь пойдут нос в хвост, одна за одной, без продыха.

— Сезон наступил, чего же ты хочешь?

— А зачем оставлять заварку на завтра? — вдруг спросил Солодуха. Он достал из кармана цветастый пакетик тройчатки, выбил щелчком очередную пилюлю. — Не оставляй на завтра то, что можно съесть сегодня.

— Чья б кукушка кричала, а твоя бы молчала, — сказал Насонов в рифму, и Кононов приглушенно, будто задохнувшись, хохотнул. Солодуха покрутил головой и, скосив глаза, стал осторожно сдирать с кончика носа черную подмороженную стружку кожи. Потом, сморщившись, приложил к носу платок, произнес спокойно и подчеркнуто равнодушно:

— Вернемся в Москву, за свой стиш получишь гонорар. Двадцать копеек с меня.

— В Москву? Не загадывай. Подержись за дерево.

— Обязательно подержусь, — сказал Солодуха и прикоснулся пальцами к голове Трубицына.

Кононов засмеялся вновь, стер кулаком выкатившуюся из глаз слезку. Трубицын молча опустил плечи — он был абсолютно лишен чувства юмора. Оглядевшись, он увидел, что Насонов сидит в углу палатки, засунув ноги в спальный мешок, свет туда доходит слабый, и в прозрачном полумраке его синеют лоб, и щеки, и руки, намертво обхватившие горячие бока кружки, взгляд же задумчивый, отрешенный.

Попив чаю, погасили керогаз; стало темно, хоть глаз выколи. Насонов вновь включил приемник — все стали вслушиваться в писк и рев эфира; дважды прозвучали голоса дикторов: один женский, высокий и отчетенный, каждая буква отчетливо выговорена, другой — мужской, баритон с так называемым бархатным

оттенком, потом раздалась бурная, дребезжащая мелодия. Но и она пропала. И сколько ни крутил Насонов ручку настройки, сколько ни мучил транзистор-инвалид, ничего больше не смог поймать.

И вновь выл ветер, рвал бока палатки, и ворочался в жарком спальном мешке быстро уснувший Кононов, разговаривая сипатым голосом во сне. Он всегда говорил во сне, поначалу это раздражало, и ему часто накидывали на лицо полотенце, потом примирились, привыкли, и теперь уже на бормотанье Коконова никто не обращал внимания.

Трубицыну же во сне резало глаза — вспыхивал ослепительный, как огонь электросварки, свет. Это блестел, сверкал свежий снег на горном солнце, и он кричал во сне, кричал и не слышал собственного голоса.

Проснулся Трубицын от странной, полной шорохов и возни тишины — ветер утих, и пурга, кажется, кончилась, но еще шебаршился по-мышьиному снег, сползая с голых вершин, — ему не за что держаться; этот тревожный шорох и был странным. Хотелось есть, во рту собрался непроглатываемо-твердый ком клейкой слюны, тупо болел желудок. Он пролежал несколько минут без сна, потом сунул руку в тепло спального мешка, провел по животу: знал по опыту, что боль успокаивается, когда живот погладишь.

Рядом завозился в мешке Насонов, несколько раз зевнул вполголоса, протяжно и сипло, потом послышался треск расстегиваемой «молнии», и Насонов, кряхтя, выбрался из мешка, пополз на четвереньках к выходу.

— Ты куда? — тихо окликнул его Трубицын.

— К ветру в гости.

Он расшнуровал и распахнул полог, в палатку ворвался теснящий дыханье морозный воздух, в треугольнике полога завиднелось небо с крупными и яркими, будто вымытыми, звездами. Устанавливалась хорошая погода. Трубицын сглотнул несколько раз, освобождая горло от слюнного кома, подумал, что боли в желудке голодные. Есть такая паршивая боль: промаешься впроголодь два дня, и желудок начинает нудно ныть, но стоит съесть что-либо или выпить, как боли проходят. Он закрыл глаза и заснул быстро и незаметно для себя — даже спальника не застегнул.

Проснулся от мороза — в прорехе полога все так же виднелись небо и звезды, сам полог, незастегнутый, тя-

желый, будто окаменелый от холода, вяло ворочался в ветре. Трубицын выпростал руку, осторожно нащупал насоновский спальник. Спальник, комком смятый, был пуст. Пуст! Трубицын мгновенно вспотел, вытер лоб тыльной стороной ладони, ощутил, как гулко и учащенно бьется сердце в груди, подпрыгивая к горлу. Потом, стараясь унять дрожь, стал выбираться из мешка, но полурасстегнутая «молния» мешала, и замок, как назло, заело, и он ожесточенно дергал в темноте хомутик — наверное, защемился клочок ткани и не пускал. Трубицын выругался, и словно помогло: замок пошел как по маслу. Пошарив рукой в головах, он нашел мягкий от старости, но еще очень прочный пояс, затянул на груди, щелкнул карабином, затем стал пробираться к выходу.

Ночь была светлой — то ли от низких звезд, то ли от свежего, белее белого, покрывшего ледник снега. Трубицын различил глубокие темные отпечатки триконей — следы Насонова, следы, косо проваленные, неровные — будто пьяный шел и руками в стенку упирался.

Он потерев руками пояс, потом двинулся дальше, ступая ногами след в след, поеживаясь, шмыгая носом от холода и ветра. Прошел еще метров шесть и остановился, прижмурив до боли глаза так, что ни звезд, ни снега не стало видно, потом сел в снег, не ощущая ни колючего холода его, ни резкого, пробивающего ткань пуховой куртки ветра. В полушаге от него следы обрывались широким, овальным, с рваными краями осыпи колодцем.

Насонов упал в трещину, упал в глубокую морозную трещину... Упал в бергшрунд.

Колодец с осыпью — и на краю след.

Трубицын застонал тихо и глухо, качнулся из стороны в сторону, потом повалился лицом вперед и, зарываясь телом в снег, пополз к колодцу, заглянул в его глубокую и жуткую темноту. Прошептал сипло, чувствуя, как каменеет тело от неверия в происшедшее:

— Коля! Как же эт-то, а? Коль-ка!

Он прикусил зубами руку сквозь перчатку, ощутил боль: сон — не сон, сон — не сон... Не веря, что и колодец, и следы, и ночь, и горы, и хитрая, хорошо замаскированная трещина — не сон...

— Вот оно, — еще более осипшим шепотом пробормотал он и замер, прислушиваясь к звуку своего голоса. — Она-а...

А кто она? Или что? Смерть? Небытие? Потусторонняя жизнь?

Он захватил ртом щепоть снега, приподнялся на руках, круто вывернул голову так, что остро, будто током, заломило шею, а перед глазами поплыли оранжевые дымные кольца.

— Насо-онов, — выплюнул он снег и удивился на мгновение: почему не слышит своего голоса?

Трубицын поднялся, взялся рукою за страховочный конец, к которому был привязан, и, бессознательно наматывая его на локоть, двинулся обратно. По мере того как он подходил к палатке, его шаг грузнел, становился тверже и сильнее, отдавался металлическим стуком в голове, а мысль начала работать лихорадочно быстро, воспаленно.

Он вполз в палатку — у изголовья должны быть фонарь, спички. Матюгнувшись, пробрался к своему спальнику, ухватился за штычок ледоруба, затем негнущимися пальцами нащупал фонарик, включил его — волосок лампочки краснел в темноте не ярче папиросного огонька.

Он натянул темляк ледоруба на руку, потом потряс Кононова. Тот высунул из спальника потное лицо с курчавыми от инея волосами, поднес ладонь к глазам.

— Что? — выдохнул он. В провале рта слабо блеснули зубы. Спросил громче: — Ну что?

— Насонов в трещину упал. — Трубицын взмахнул фонарем, прочертил в темноте красное колесо.

— Упал? Как упал? Что за бред?

— Кононов, это не бред. Он отлить пошел без страховки... Вот и... Вставай живей. — Трубицын стиснул кулак, гулко хрястнул им по колену. — Живее! Замерзнет!

Кононов лежа протащил под мышками пояс, кляцнул собачкой карабина, будто мелкашечным затвором, затем постучал ладонью по спальнику Солодухи:

— Подъем, Федор! Тревога, Федор!

Солодуха заворочался во сне, что-то бормоча. Конечно же, Солодуха не привык реагировать на сигнал «тревога», а на слово «подъем» у него выработался отрицательный рефлекс. Кононов неожиданно вскрикнул

визгливо, протяжно, как обычно кричали в детстве, когда надо было уходить от опасности:

— Атас-с, Со-олод!

Солодуха мгновенно вскочил, Кононов чиркнул спичкой, сложив две ладони в ковш, осветил Солодуху. Тот часто моргал припухлыми веками.

— Насонов упал в трещину, — произнес Трубицын и с силой дунул на пламя спички. Пламя прилипло к кононовской ладони и пропало, стало темно.

— Возьми веревку, — сказал Трубицын и на четвереньках попятился к выходу.

Конец веревки захлестнули за ледяной горб — торос, кособокий, с грибом-камнем вместо шапки, к другому концу привязался Трубицын. Работали молча: слышно было лишь густое, запаренное дыхание да тонкое, будто стеклянное, потрескивание льда.

— Вить, — хрипло проговорил Трубицын, поворачивая во рту сухим, вспухшим языком, — ты на первом «спасе», у трещины стоишь, Федор — на втором. Особо не держите, травите свободно. Но если сорвусь — крепитесь. Иначе, — он отвел левую руку в сторону, пошевелил пальцами, — на вашей совести...

Кононов закашлялся, вытер перчаткой рот.

— Федор, ты ближе всех к палатке, пойдти отыщи транзистор. Оторви батарейки, а то фонарь дуба дает...

Солодуха прошел к палатке, скрылся под пологом.

— В Колькином спальнике пошарь. Сверху! — крикнул Трубицын.

Солодуха притащил батарейки, связанные вместе медной крученой проволокой. Трубицын молча оторвал одну, начал вкладывать батарейку на ощупь в корпус фонаря, но неудачно — скреб и скреб железом по железу, не попадая усом-контактом в проржавевший зажим.

— Зараза, — он постучал костяшками пальцев по фонарю, сморщился не то от боли, не то от досады.

Свет стал чуть сильнее, но все равно был слишком слаб.

— Бумага с собой. Спички? Спички тоже с собой, — Трубицын похлопал себя по карманам, потом вогнал ледоруб в кромку наста.

— Поехали...

Он соскользнул в трещину, уперся ногами в стенку. Ледоруб, свешиваясь с руки, гремел где-то внизу, сту-

каясь штычком о комкастые пупыри, и мелкое крошево с шипением уходило на дно трещины. Трубицын, спускаясь, смотрел по привычке вверх — под руками и ногами все равно ничего не видно — черная темнота, а вверху прямо в глаза светил зеленый зазубренный огонь — звезда!

Но вскоре огонь исчез — трещина делала кривой, похожий на латинское «с» поворот, и Трубицын отдохнул несколько секунд, откинувшись на спину и слабо шевеля в пустоте ногами. Стало щипать замерзающие уши, он ожесточенно потер их перчатками, потом отогнул борт шапочки и, прислушиваясь к своему хрипато-му холодному дыханию, двинулся вниз.

Сколько метров он прошел и сколько до поворота? В темноте не угадаешь. «Держись, Колька! Крепись, крепись, крепись!» Он представил на секунду, каково Насонову в горловине трещины, узкой и морозной — наверное, штанами, рукавами уже примерз к стенкам — худо Насонычу.

Как-то, два года назад, он неловко провалился в трещину — мелкую, метра три-четыре всего. Сам проскочил, а рюкзак застрял — так и повис на лямках рюкзака. Пока вызволили ребята, минут пять прошло, закоченел весь, лицо побелело — обморозился.

Сколько же Насоныч сидит в трещине? Трубицын, нащупав острый ледяной выступ, навалился на него грудью, чувствуя, как ребровина выступа больно врежется в живот. Долго так не продержишься. А долго и не надо. Хотя торопиться тоже нельзя — если сорвешься, Насонову ничем не поможешь. Он ощутил под собой такую далекую и такую беспросветно черную глухую пустоту, что ему на мгновение стало не по себе. Он вытащил из кармана записную книжку, вырвал несколько листков бумаги из середины, поджег. Трещина осветилась на несколько метров, заискрилась блестинами, но до дна было далеко, и свет таял в темноте.

В ушах появился странный звон, будто кто-то постоянно трогал пальцами гитарную струну, не давая ей успокоиться. Трубицын перевел дыхание, облизал языком занозистые от засохших струпьев кожи губы.

«Звон этот от голода, — подумал он, — слабею. Быстро как слабею...» Он вдруг вспомнил все разговоры, которые несколько часов назад вели они в палатке, греясь над керогазом, вспомнил, что говорили о еде. «А мне

бы кусок хлеба, кусок сахара, да кружку чая». От таких дум подводит живот.

— Держись, Колька, — пробормотал он вслух. — Держись, старый... В порядке все будет!

От этих слов ему вдруг стало веселее, полегчало на душе и даже сил, кажется, прибавилось...

Трещина начала сужаться — значит, уже горловина, — трещина раскололась воронкой: внизу широкий грот, выход из грота узкий, в несколько ладоней, настоящий ледяной лаз — сквозь него можно проскочить, только падая. Значит, Насонов упал на дно трещины, на скальный пласт. Это плохо. Мог поломаться.

— Коля! Колька! — позвал Трубицын.

Внизу, метрах в семи от него, тяжело, с тонким прихлебыванием вздохнул человек. Насонов!

— Колька! Я сейчас! Я сейчас, Колька, — бессвязно стал повторять Трубицын. — Насоныч, я сейчас...

Повторял-то повторял, но понимал, что через узкую горловину ему в грот не пролезть.

— Сла-а, — донесся снизу слабый голос.

— Я сейчас, Коля, я сейчас. — Трубицын попробовал проползти по горловине дальше, но стенки трещины не пустили, тогда он поднялся на полметра, запалил несколько сложенных вместе листов бумаги. До Насонова рукой подать — метров шесть. Он лежал навзничь на блестящих от ледовой корки, будто мокрых, камнях. Лицо бледное, постаревшее, щека в крови, неподвижно застывшая на груди рука со скрюченными, словно ороговевшими пальцами, тоже испачкана кровью.

Трубицын пошарил рукой вверху — следом за ним должен был спускаться свободный конец веревки.

— Сла-а, я знал, ты... — пробормотал внизу Насонов. — Ты... — он силился что-то сказать, но не договаривал, захлебывался.

Трубицын смотрел на него как замороженный и все шарил над головой, водил пальцами по гладким и скользким, будто стеклянным, стенам трещины. Потом понял, что запасной канат выпустили метрах в трех позади — чтоб не мешал, не путался под ногами. Он уперся ледорубом в стенку наискось, чтобы на ледоруб можно было наступить, как на скамейку, начал подбираться к веревке.

— Не уходи, — услышал он голос.

— Нет-нет, я здесь. Я не уйду.

— Не уходи.

Трубицын громко выругался — размочаленный конец каната болтался очень высоко, до него не три метра, а два раза по три... Но делать нечего, и Трубицын, мелко переступая триконями по одной стенке, спиной упираясь в другую, помогая себе руками, задыхаясь и постоянно вытирая со лба пот, стал пробираться к веревке. Вверху посветил, увидел, что конец медленно раскачивается перед самым носом, теперь даже зубами дотянуться можно.

— Терпи, казак. Я сейчас. Сейчас...

Он трижды дернул за веревку, наверху поняли, стали медленно потравливать.

— Больше, больше, черт возьми, — раздражаясь, выкрикнул Трубицын, теплое дыхание облаком растаяло у самого лица. Он увидел, что рвет из книжки листки уже не чистые, рвет исписанные — какие-то цифры, обрывки имен, телефоны. Собственно, какое это имеет сейчас значение? Никакого. Этими телефонами он заполнит еще пять, десять, сто таких записных книжек. Главное — Колька! Главное — Насоныч! Он притравил конец, понемногу спустил его в горловину.

— Привязаться сможешь? — спросил он, освещая Насонова бумагой. — А?

Тот с трудным хрипом заворочался вниз, рука, что лежала на груди, была сломана и не действовала, второй, целой, он протянул веревку под мышками, скрутил на груди «восьмерку». Откуда только силы взялись? Трубицын следил за каждым его движением, шурился, чувствуя, как в глазах закипает, пузырится широкая радуга, и, не понимая, в чем дело, протирал глаза перчаткой, размазывал слезы по щекам. Веки щипало словно от дыма, и они, чувствовал, набухали, становились толстенными, больными.

— Все, Сла-а, — проговорил Насонов. — Все.

«Главное — протащить Кольку через горловину, главное, чтоб он не застрял, не ударился головой в потолок грота», — подумал Трубицын, но потом сообразил, что с той стороны должен без помех войти в горловину и проскочить эти вот проклятые метры.

— Коля, сейчас поднимать будем тебя. Слышь? Приготовься! — Он поджег оставшиеся листки записной книжки, поджег, не отдирая их от картонки, оклеенной

гладкой тканью. Обложка задымила, как резиновая, и запахла резиной, и вспыхнула ярко, и хлопья пепла, будто снег, взвихрились в воздухе, стали плавно опадать.

— Приготовься, Коля, — повторил Трубицын; ухватившись за узел страховочной веревки, дернул ее трижды — сигнал стоящим «на спасе» — первым должен подняться он, лишь потом втроем они потащат Насонова — так быстрее и надежнее. Он взялся обеими руками за ледоруб и, помогая себе штычком, опираясь на него, как на костыль, двинулся вверх, ощущая, как привычно давит пояс на грудь; Солодуха и Кононов старались — подниматься было легко.

Он еще раз попробовал прикинуть — какова же глубина трещины? Выходило, немалая — метров тридцать пять — тридцать семь. Вот и изгиб, крутой и узкий — похоже, что стал еще уже — Трубицын ткнул ледорубом в черноту — попал острием штычка в лед, твердые морозные осколки брызнули в лицо.

Он уперся ногой в стенку, руки вытянул вперед, изогнулся по-рыбьи — хитрый поворот. Не сразу пройдешь — тут худо Насонову придется. «Ничего, в крайнем случае, подрубим», — успокоил себя Трубицын.

Конечно, можно было подрубить и сейчас, но лучше не рисковать — вдруг отколется крупный кусок и уйдет в грот. Зашибет Насонова.

Он перевернулся на спину, поддел лопаткой ледоруба острый выступ, зацепился за него, подтянулся — увидел, что все так же светит ярко знакомая зеленая звезда, стиснутая створками трещины, — кажется, одна-единственная во всем мире, и светит все так же беззаботно, и подмаргивает ему, мерцая острыми, зазубренными краями...

«Шалишь, — тоскливо подумал он. — Тридцать пять или тридцать семь метров — все едино: глубина страшная, но менее страшная, чем сто метров, чем триста метров и пятьсот. Говорят, на леднике трещины могут быть глубиной до тысячи метров. Хорошо, что только говорят — таких трещин пока что никто не видел».

Он затянулся воздухом — видно, хватил много, потому что запершило в горле. Закашлялся. Напрягся, сдавил грудь пояс, карабин обжег заиндевелой железной дужкой подбородок... Отдышавшись, Трубицын дви-

нулся дальше. После мрачного, черного холода глубины наверху показалось тепло. Он перекинул ногу через край трещины, зацепился триконом за какую-то култыгу и, оттолкнувшись, перекатился по успевшему затвердеть снегу.

— Как? — спросил Кононов. В свете звезд его лицо было зелено-бледным, глаза влажно поблескивали, будто он только что заплакался.

— Жив, — ответил Трубицын. Добавил, отдышавшись: — Горловина узкая, не пустила, метров семь не дошел. Сейчас тянуть будем.

Он развернулся перпендикулярно к трещине, сложил ладони ковшом у рта, крикнул, хотя и не рассчитывал, что Насонов его услышит.

— Коль-ка-а!.. Гото-овсь! — затем вцепился руками в канат, просипел натужно: — Под раз-два-три — рывок!

Потом помедлил немного, словно от паузы что-то зависело, набрал полную грудь воздуха:

— Раз-два-три!

Мягко потянули, Трубицын перебирал канат руками, и, хотя движения были автоматическими, он ощущал каждый бугорок, каждый выступ и каждый ледяной прыщ, встречающийся на пути Насонова, и словно ощущал собственную боль, кривился, дергая щекой. Тащить было тяжело — плохо, что они тащили не побурлацки, без хриплого, облегчающего ритма «раз-два» — веревка по крохам, по миллиметрам вылезала из-за заусенчатого края трещины, с хрумканьем ломая ледяную кромку. Потом веревку потянуло вниз, и Трубицын едва удержался на месте. Чуть не уволокло в трещину. Сердце паровым молотком бухало в висках, располовинивая череп.

Он перевел дыхание, увидел, что из-под перчаток торчат неприкрытые, бурачно красные запястья рук с полопавшейся кожей и застывшей в трещинах черной кровью, и ему стало жаль себя.

Светало — прорезались безлесные, с почти опавшим уже снегом макушки пиков; тихий всклокоченный ледник с торосами — «жандармами», пористыми, обсосанными солнцем; арбузные полосы морены, то расширяющиеся, то рвано оборванные, с обсыпавшимися краями следы лавин.

Веревка опять застряла, и как Трубицын ни протрав-

ливал конец, как ни крутил его кольцами, винтом слева направо, веревка не подавалась. Значит, Насонов заклинился в S-подобном изгибе, значит, без сознания он — если был бы в себе, обязательно тряхнул канат, хоть слабо, но тряхнул, а Трубицын бы уловил подергивание, каким бы немощным оно ни было.

Он оглянулся. Солодуха, придавив веревку коленями, зачерпнул снег и захватывал его теперь губами прямо с ладоней. Глаза полуприкрыты, но веки были такими прозрачными, что темные круглые роговицы виднелись даже сквозь них. Сдал Солодуха. Трубицын махнул ладонью Кононову.

— Конец за страхпупырь закинь. Как бы Насонов второй раз... Гха, гха, — закашлялся Трубицын, стянул с руки перчатку и приложил ее ко рту.

Хорошо, что нет пурги. Как ни хотелось вновь забираться в трещину, но надо было — надо подрубить Насонова, а там, бог даст, они справятся с его болями, вынесут к людям.

Трубицын свесил ноги в трещину, ступил триконом на покатый, без единой зазубрины выступ. Солодуха и Кононов, насторожившись, ждали — Солодуха вдали, у самой палатки, полусогнувшись, Кононов в трех шагах с бессильно опущенными руками. В душе Трубицына было пусто — ни горя, ни печали, ни тревожной думы о том, что ожидает его, Солодуху, Кононова и провалившегося в трещину Насонова — ожидает сегодня, завтра, послезавтра; и даже усталости не было, словно она улетучилась, отделившись от натруженного голодного тела.

Он оттолкнулся рукой от бровки трещины, оцарапал триконом плоскую полированную стенку, оставив длинный птичий след — будто когтями провел. Посыпался колкий снег. Трубицын медленно сползал вниз, видел уже недалеко от себя темный клочок насоновской куртки, зажатый в ледовой щели.

В полуметре от тоннеля-извилины Трубицын вырубил выступ, уперся в него ногами, спиной прижался к припорошенной изморозью стенке. Раздался звук — тонкий и долгий — Трубицын, задержав дыхание, прислушался — похоже, Насонов стонет. Но звук не повторился. Трубицын отколол штычком прозрачную глыбу, осторожно, чтобы не задеть Насонова, сбавил ее в сто-

рону. Глыба послушно, будто живая, откатилась, застряла в узких створках.

Вдруг он почувствовал легкий толчок в спину, будто кто поддел его на ходу, а потом ощутил, как кожа на теле покрывается мелкими колючими пупырышками, пупырышки эти покрывают его с головы до пят, мерзко щекочут лицо.

Случилось самое страшное, что только могло случиться, — ледник двинулся вниз. Сейчас закупориваются старые трещины, вспухают, как пенка на кипящем молоке, и лопаются снеговые потолки бергшрудов... До его слуха донеслось громкое, застывшее на высокой ноте «а-а-а», он узнал голос — это кричал наверху Солодуха. Но Трубицын не думал в этот момент об опасности, не думал о себе — он засуетился, пробуя ледорубом поддеть клок насоновской куртки, потянуть к себе, куртка лопнула, под ней обнажился красно-клетчатый байковый рукав — Насонов поверх свитера, который очень берег, всегда надевал рубаху... В это время Трубицына потянули на веревке вверх, и он стал волчком вертеться на страховочном поясе, царапая ледорубом стенку, а потом ледоруб торчком застрял в трещине, та сжала его, древко ледоруба слабо хряпнуло, переломилось, будто спичка; щепки полетели вниз; затем гулко ухнула металлическая болванка, и в трещине стало тесно. Трубицын чувствовал, как медленно смыкаются створки трещины, будто половинки огромной раковины, и, не веря в смерть — свою, чужую, чью бы то ни было, — запрокинул голову, увидел над собой ослепительное небо и красное блюдо только взошедшего солнца над хребтиной ледолома, увидел широко открытые рты и белые от страха и внутренней боли глаза Солодухи и Кононова, и понял, что Насонова уже не спасти. Ледник скрежетал, словно живой; ухал пушечно, раскалывался лед; змеино шевелилась арбузно-полосатая морена; как солдаты, сбитые очередью, падали торосы-«жандармы».

Потом трещина перестала звенеть и двигаться, но звук не смолк — долго еще грохотал ледник, заставляя содрогаться горы, и куржавились, будто дымом покрытые, лавины...

Трубицын лежал на спине и не мигая смотрел в небо, в расплавленный, полыхающий огнем круглый ком солнца, и лицо его было мокрым от слез и пота, соль

жгла, разъедала глаза, но Трубицын не жмурился, не смыкал век — он не чувствовал боли...

Он потерял счет времени и очнулся, когда над ним склонился Кононов. И Трубицын протер кулаком глаза, потом, не глядя, захватил в руку ком снега, провел им по вискам, щеке, губам. Кононов был бледен, губы вспухли, выделяясь резкой чернотой на лице, глаза — тусклые, без жизни и тепла.

Кононов разлепил губы,дохнул табаком:

— Уходить надо. Насонову уже не поможешь. Ничем. На «песок» уходить... Там вертолет.

Трубицын пошевелил головой, будто у него затекла шея, вяло откинул в сторону снежный катыш, закрыл глаза, и поплыла перед ним цветистая река, вся в красных с желтым проплешинах, и закружилась, словно у пьяного, голова.

— Ты понимаешь, что нам еще жить надо, — Кононов ожесточенно колотил себя по груди и кричал на весь ледник, на все горы, на всю округу какие-то пустые и теперь уже ничего не значащие слова.

Трубицын поелозил затылком по снегу и, когда река перестала цветиться, перестали мельтешить в глазах плешины, сказал тихо:

— Нет.

Он пришел в себя оттого, что Кононов тряс его за отвороты куртки. Трубицын приподнялся на снегу, огляделся. У палатки стояло два рюкзака, на пяточке перед пологом блестел алюминиевым телом керогаз, лежала скатанная в бухту веревка.

— Ты идешь? — спросил Кононов, и по лицу его было видно, что этот вопрос он задавал Трубицыну уже много раз, но Трубицын, отключенный, не слышал вопроса, не реагировал на него, и Кононов терялся, не зная, как вести себя.

— Ты, Кононов, — Трубицын запнулся на слове, пытаясь подобрать определение, кем же является Кононов, закашлялся, сплюнул на снег. — Сволочь. И ты, Солодуха... Ты тоже сволочь. Бросить человека, а?

— Насонова не достать, — тупо пробормотал Кононов, провел рукой по горлу, — и мы в этом не виноваты. А если останемся... Да какой там останемся — нам же нечего есть! Ты понимаешь, есть, жрать нечего! Даже нюхать нечего.

— Уходите, — сказал Трубицын.

— Ладно, Трубицын, — зачастил вдруг Кононов, — мы уйдем, но мы сейчас же пришлем людей за тобой, за Насоновым. Люди придут сюда, Трубицын, придет спасгруппа...

Он поднялся и, пятясь задом, смотрел на Трубицына расширенными глазами. Потом он перешел на шепот, и Трубицын уже не мог расслышать, разобрать его слов.

— Ублюдки, — проговорил он сквозь зубы, затем подполз к трещине, заглянул в узкую пустоту, дышащую мерзлым снегом и льдом.

— Ублюдки, — еще раз повторил он. Мозг работал ясно и четко: Трубицын прикидывал, что можно сделать, чтобы достать из трещины Колькино тело, и горько кривил рот. Выход один — прорубаться к нему. На то, чтобы прорубиться, потребуется недели две-три... Эх, Колька!

Когда он выпрямился над трещиной, то увидел, как по боковой морене, прижатой к отвесной скальной стенке, шагают в связке два человека: впереди высокий и худой, сзади — пониже и поплотнее...

* * *

С тех пор каждый год на леднике появлялись двое в штормовках, триконях, с ледорубами и рюкзаками. Но дальше вертолетной площадки они не ходили. Хотя и пытались. Говорят, не пускают горы. Один раз им дорогу преградила лавина, другой раз — сель. Альпинистские группы, идущие на восхождение, не берут их с собой. Побыв несколько дней на леднике, они возвращаются на «большую землю».

А в этом году не пришли совсем...

Шквал

В ходовой рубке сейнера «Олым» раздался сигнал, похожий на мелодичный звон серебряного колокольчика. Он означал, что капитан Шрамко перевел ручку машинного телеграфа, давая судну ход. Матрос-рулевой Крошкин, которого на «Олыме» все звали просто Крохой, увидел, что стрелка телеграфа перескочила с отметки «стоп» на отметку «самый полный вперед». Такой резкий рывок означал нечто чрезвычайное. Матрос проворно бросился к штурвалу и вцепился в него, точно голодный пес в кинутую ему кость, выжидательно повернув голову в сторону высокой, плечистой фигуры капитана.

— Видишь шлюпку?

— Не-а, потерял, — сказал Кроха и стал напряженно шарить взглядом в сонмище волн, отороченных кипенью белой пены.

— И я потерял. А ведь только что видел, — с этими словами капитан наклонился к картушке компаса и прицелился пеленгатором на ведомую лишь ему одному точку горизонта. — Так держать!

Кроха засек курс и ловко вывел на него кренящееся и зарывающееся носом в волне судно.

Василий Степанович Шрамко опустил вниз осыпаемую водяными брызгами створку окна и высунулся наружу чуть не до пояса, пристально всматриваясь в даль. В рубку ворвался многоголосый рев шторма. Ветер высвистывал в снастях свою тягучую, заунывную мелодию. Тяжелым, глухим набатом отдавались удары волн о нос корабля. После каждой новой волны мелкой барабанной дробью рассыпалась по рубке туча брызг. Слышалось змеиное шипение воды, перекатывающейся по палубе, скрипел такелаж, и чудилось какое-то улюлюканье, завывание. Лязгала зубами-звеньями провисшая в клюзе якорь-цепь. Где-то под деревянным настилом рубочной палубы, а может быть под

штурманским столом, гроыхала, перекатываясь в такт качке, пустая жестяная банка.

«Все время забываю сказать старпому, чтобы нашли и выбросили эту проклятую жестянку», — машинально подумал капитан, вслушиваясь в привычные звуки все заглушающей штормовой многоголосицы. Однако, когда Кроха что есть мочи обрадованно завопил: «Вижу, вижу!» — капитан все же услышал его. Шрамко посмотрел по направлению вытянутой руки рулевого и увидел злополучную шлюпку. Она выскакивала на гребень волны, беспомощно дергалась, задирая то нос, то корму, и снова проваливалась между валами, словно в преисподнюю.

Вскоре полузатопленное утлое суденышко уже плясало под бортом застопорившего ход «Олыма». В шлюпке был человек. Ему бросили с палубы конец троса с гаком. Человек, неуклюже перескакивая через банки, пробрался на нос шлюпки и зацепил гак за железное кольцо. Но гак вдруг сорвался в воду. Пришлось трос вытягивать на палубу и снова подавать на шлюпку.

— Ты что?.. Совсем ошалел, что ли? Как гак заводишь? — кричал боцман Витек человеку. — Сверху, сверху цепляй за кольцо, а не снизу...

Наконец гак был надежно закреплен на шлюпке, и, когда она подскочила на гребне волны вровень с фальшбортом судна, человек, подхваченный руками матросов, перескочил на палубу. Тут же включили лебедку, и шлюпку, через корму которой потоком хлынула вода, втащили носом кверху на сейнер.

С потерпевшего — молодого, худощавого и долговязого парня — ручьями стекала вода. Без всякого здравого смысла, видимо, просто от нервного напряжения он вытягивал из-за спины и старательно выжимал полу своей куртки. У парня был уставший, испуганный и виноватый вид. Его трясло мелкой, едва заметной дрожью.

— Дурья башка! — грубо напустился на него боцман Витек, покончив возиться со шлюпкой. — Гак и то не умеешь завести как следует. А где весло потерял? Молчишь!.. А почему за сеть шлюпку не закрепил?.. Салага! Сколько хлопот всем из-за тебя — и не счесть.

— Ну ладно, боцман, — примиряющим тоном перебил Витька второй помощник капитана Протасов, —

сначала накорми спасенного, напои, а потом ответ держать вели.

— Как хоть звать-то тебя, бедолага? — сменив гнев на милость, спросил боцман.

— Степа-аном, — тихо сказал молодой моряк.

— Ну иди на камбуз...

Судно полным ходом шло в обратном направлении. Капитан Шрамко нервничал. Как всегда в подобные минуты, он стал хмур, раздражителен и резок. Походя отчитал боцмана за слабинку якорь-цепи на брашпиле, старпома — за консервную банку, закатившуюся в какой-то труднодоступный угол судна.

Впрочем, была причина для плохого настроения всей команды. Когда грозила опасность человеку, никто особенно не задумывался о своих неприятностях. Они как бы отошли на второй план — вся воля людей была направлена на спасение незадачливого молодого моряка. А теперь, когда опасность миновала, все стали острее переживать свою беду. Поэтому, очевидно, и боцман Витек, помыслы которого минуту назад были направлены лишь на поиск шлюпки, вдруг раздраженно отчитал спасенного. Неспроста и капитан мрачно насупился. Он перебирал в уме события дня, анализировал свои действия, убеждался, что в сложившейся ситуации никак иначе поступить не мог; и раздражался все больше, понимая, как несуразно все случилось. Какое-то фатальное стечение обстоятельств, в которых для него — капитана! — был запрограммирован лишь один неминуемый план действий. Только этот, и никакой иной!

Василий Степанович то и дело оглядывался назад, на неводную площадку, на которой валялись куски сетного полотна, обрывки тросов, «нитки» пенопласта. Это тоже злило капитана. Наконец он не выдержал и вызвал боцмана.

— Выбросить за борт, — чеканя каждое слово, приказал Шрамко Витьку и махнул рукой в сторону площадки.

— Есть! — ответил Витек и понимающе посмотрел на своего командира.

И оба они — капитан и боцман, давно научившиеся читать мысли друг друга, — поняли, что ничто не будет выброшено, а будет аккуратно сложено и убрано в трюм.

Ветер между тем начал залегать так же неожиданно, как и поднялся. Пенный след от винта уже не размывался сразу же за кормой штормовыми волнами, а тянулся на добрую милю по успокаивающейся поверхности моря. Как будто и ветер, и волны, сыграв свою роковую роль в злой комедии, уходили со сцены. Это внезапное благоприятствование погоды тоже бесило капитана. Он знал, что ничего теперь не поправить, ясно представлял себе, что ждет его впереди, — все до мельчайших подробностей.

* * *

В то утро капитан проснулся рано — в точно назначенный самому себе срок. Только открыл глаза, как тут же раздался свисток переговорной трубы, проведенной с мостика в его каюту. Свистел вахтенный штурман, которому Шрамко накануне вечером, ставя судно в дрейф, приказал разбудить его в 4 часа 30 минут.

— Я уже встал, — сказал капитан в переговорную трубу.

Роль будильника, опередившего вахтенного, видимо, сыграл первый луч солнца, которое только что выглянуло оранжевым краешком из-за бирюзовой черты горизонта. Луч ударил прямо в иллюминатор капитанской каюты.

Когда Василий Степанович поднялся на мостик, его очаровала чистота и тишина в природе. Такой безмятежный покой редко случается у Курильских островов. Океан лежал как зеркало — ни рябинки. На синем небе — ни единого штриха. Воздух, настоящий на пахучем рассоле моря, казалось, можно пить, смакуя губами. В незатуманенной дали скалистый берег острова Парамушир был отчетливо виден. И за 30—40 миль, прислушавшись, можно было уловить ухом вздохи могучего океанского прибоя. В 10—15 кабельтовых к северу также дрейфовал, заглушив двигатели, средний рыболовный траулер. Капитан знал, что это «Нырок», с которым они вчера целый день безрезультатно бороздили воды в поисках рыбы и договорились вместе подождать утренней зорьки. «Да, зорька выдалась что надо, — удовлетворенно сказал про себя капитан, — если здесь есть косяки сельди, они обязательно подни-

мутся к поверхности — и тогда можно будет сделать замет на всплеск».

Едва успел Шрамко об этом подумать, как море прямо под бортом вскипело и ослепительно засеребрилось с тихим шелестом. Всплыл косяк. У капитана даже перехватило дыхание. Рука машинально потянулась к красной кнопке аврального сигнала. Тотчас во всех помещениях сейнера раздались резкие, будоражащие людей звонки. А уже через минуту по палубе загрохали кованые каблуки тяжелых рыбацких сапог. Раздались выкрики: «Готов, готов, готов». Все заняли свои места для замета.

Капитан между тем не спешил. Он давно приучил себя сдерживать рыбацкий пыл. Замет такой сложной снастью, как кошельковый невод километровой длины, требует большого искусства и осторожности. Порывы сети — сутки простоев.

У Василия Степановича была и другая причина осторожничать. Позавчера он получил на плавбазе новый капроновый невод взамен хлопчатобумажного. Эта чудесная снасть занимала на неводной площадке в пять раз меньше места, нежели прежняя, работать с ней команде было намного легче. Например, просушивать ее не требуется, напротив, рекомендуется периодически смачивать капроновый невод из брандспойта. А старый, просмоленный громоздкий невод, бывало, развесишь на палубе, как солнечный денек выдастся, словно шалаш какой идет по морю, а не корабль. Сейнер «Олым» одним из первых оснастили капроновым кошельком. Выдавая его, капитан-директор плавбазы сказал:

— Даем тебе, Степаныч, новый невод как передовику. Не осрамись. И учти, стоит он полмиллиона. Оставишь на камнях — своей новой «Волгой» не рассчитаешься...

И вот первый замет чудесным кошельком. Шрамко волновался. Такое прекрасное утро, такое везенье: рыба под бортом, будто сама на борт просится — это ли не рыбацкое счастье! Но где-то глубоко внутри его смутно копошилось сомнение, тревожное чувство. Василий Степанович по опыту знал, что почти никогда рыба легко не дается: трудный поиск, трудная погоня — иногда лишь хвост или бочок косяка отрубишь. А тут, на тебе, как жаркое на тарелочке. Чем-то все это ему

не нравилось, а вернее, было просто редким и непривычным явлением для тех морей и широт, в которых он долгие годы рыбачил. Именно такой мыслью Шрамко и объяснил свое чувство тревоги.

И поэтому-то он осмотрительно и не торопясь взвешивал все условия предстоящей работы. Дав судну малый ход, чтобы выйти на косяк с наветренной стороны, под береговой бриз, Шрамко включил эхолот. Глубина 140 метров. Значит, вышли на прибрежную плиту океанского ложа, отметил он про себя, ибо за пределами плиты начинаются километровые толщи воды. Глубина достаточна вполне, но все же риск есть. Капитан хорошо знал эти прибрежные места с многочисленными банками, усеянными острыми камнями и скалами, словно пасти зубастых и свирепых китов-касаток. А какой же, однако, замет бывает без риска? Как раз и момент приспел, чтобы начать окручивать косяк, и разглядел капитан в бинокль, что «Нырок» ставные сети выметывает.

— Сеть! — выкрикнул команду Шрамко и дал судну полный ход. Матрос выдернул клин, удерживающий шлюпку за кормой сейнера, а находящийся в шлюпке боцман Витек выбросил в воду обрез бочки с дырчатым днищем. Этот хитроумный тормоз и стягивал с быстро идущего судна невод, один конец которого был закреплен на битинге шлюпки.

Замет проходил безмятежно и весело. Капитану блестяще удалась циркуляция. Судно сделало точно рассчитанный по длине невода круг и застопорило ход, чуть не коснувшись форштевнем своей шлюпки. Из нее боцман Витек ловко забросил на сейнер тонкий бросательный линь, за который матросы быстро вытянули и закрепили концы невода. Рыба оказалась в кольце. Затем лебедкой и брашпилем стянули в узел и подняли из глубины к борту судна нижний, грузовой край невода. Рыба таким образом оказалась в кошеле, выйти из которого ей было невозможно. Она заметалась, вспенивая воду по всей площади круга и радуя команду обещанием богатого улова. Рыбаки не мешкая, стали с одного конца выбирать невод на неводную площадку, медленно, но верно сужая кольцо кошелька. Когда пространство сузится настолько, что в рыбе будет стоять брошенное торчком весло, наподобие того, как стоит ложка в густой каше, тогда сельдь начнут

вычерпывать и опускать в трюм каплером, словно огромным половником.

Но до этого момента еще 2—3 часа напряженного труда по выборке невода. Пока суд да дело, капитан решил связаться по радию с «Нырком». Шрамко включил тонко запищавший приемопередатчик «Урожай».

— «Нырок», «Нырок»! Я — «Олым». Ответьте мне. Прием.

— «Олым», «Олым»! Я — «Нырок». Доброе утро, Степаныч. Я буквально заливаюсь рыбой. Не успел поставить сети — выбираю. В каждой ячее по селедке. Сети идут сплошной шубой из рыбьего меха. Еле лебедка тянет. Как у тебя дела? Прием.

— «Нырок», «Нырок»! Я — «Олым». С наипрекраснейшим утром тебя, Николаич! У меня наверняка дела получше, чем у тебя: я ведь кошельком работаю — более уловистым, чем твои сети. Полон, полон кошель! Думаю, тонн пятьдесят возьму. В трюм не войдет. Залью палубу. Благо погода позволяет. Прием.

— «Олым», «Олым»! Я — «Нырок». Обрати-ка внимание, Степаныч, на зюйд-ост. Сдается, снежный заряд идет. Как думаешь? Прием.

Шрамко посмотрел в указанном направлении. Краешек по-прежнему безмятежного неба посерел, а над самым горизонтом нависла черная полоска. Она на глазах шевелилась и росла, точно живая. Хорошо зная капризы местной природы, капитан понял, что шквала не избежать.

— «Нырок», «Нырок»! Я — «Олым». Накроет, накроет нас заряд. Потянет по касательной к береговой линии. Ничего страшного. Отстоимся. Нужно обернуться спиной — уйти за сети. За сети! Как понял меня? Прием.

— «Олым», «Олым»! Я — «Нырок». Понял, Степаныч, понял. Правильное решение. Я думаю, заряд пройдет быстро. Местное явление, локальное. Прогноз молчал. Работы пока прекращаю. Пропустим черта...

Шрамко приказал приостановить выборку невода. На борту его было пока лишь около 30 метров. Обхватив дополнительными стропами, невод как следует закрепили на судне. Затем капитан стал осторожно, толчками уводить судно с таким расчетом, чтобы оно было с противоположной стороны кошеля, по направлению шквала. Для этого кольцо невода надо было полегонь-

ку развернуть на четверть оборота. Как раз в то время, когда этот нелегкий маневр был завершен, черная, как вороново крыло, туча заслонила солнце. Под тучей, словно борзая на привязи, бежала рябь. Над рябью клубилась водяная пыль. На некоторое время сейнер оказался в тревожном сумеречном беззвучии. Рыбаки ушли с палубы, закрепив все предметы и снасти поштормовому. Рыба перестала всплескивать в неводе, видимо, залегла на дне кошелька, предчувствуя неладное.

Шквал обрушился на судно большими липкими хлопьями снега, перемешанного с дождем и брызгами, срываемыми с вершушек волн. Шторм заголосил во всю мощь своих необъятных легких. Но судно легко выдержало натиск, лишь слегка накренившись: его, как плавучий якорь, надежно удерживало на месте быстро вытянувшееся в длину кольцо невода. Снегопад вскоре прекратился, волны стали более пологими, чем те, которые шли в первых рядах. И, казалось, посветлело.

«Только-то! Баллов шесть-семь, не больше», — облегченно подумал капитан, радуясь тому, что сейнер и невод прекрасно ведут себя и что, вероятно, скоро можно будет продолжить работы.

И тут Шрамко услышал встревоженный голос капитана «Нырка».

— «Олым», «Олым»! Я — «Нырок». Ответьте мне. Прием.

— «Нырок», «Нырок»! Я — «Олым». Прием.

— «Олым», «Олым»! Я — «Нырок». Беда, Степаныч, беда! Матроса в шлюпке унесло: буи привязывал. Я хотел достать его ходом, с сетями — и намотал на винт. Не имею хода! Шлюпку несет на скалы. Как понял меня? Прием.

— «Нырок», «Нырок»! Я — «Олым». Вас понял. Возьму шлюпку, возьму!..

* * *

Не так часто моряку случается видеть, как в аварийных случаях перерубаются топорами туго натянутые канаты и стальные тросы. Шрамко, например, это видел впервые и запомнил на всю жизнь. Толстенные пеньковые канаты перерубались с одного взмаха, точно

тростинки. Обрубленные концы их моментально раскручивались и измочаливались. Капитану даже почудилось, что при ударе топором от каната поднимался легкий дымок. А может быть, это была все та же водяная пыль, осевшая на канате. Стальные тросы распадались после нескольких ударов с хватающим за душу балалаечным звоном.

У невода сейнер надежно удерживало двенадцать тросов. Их перерубили за две-три минуты. Когда производилась эта короткая, но мучительная для всей команды операция, капитан замерил глубину эхолотом. Семьдесят метров.

— Сдрейфовало на банку... — мрачно сказал он боцману Витьку, подошедшему с такелажным топором в руках доложить о выполнении приказа.

Боцман все понял. Ведь если с подтянутыми к борту низами кошелек сидит на глубине 20—30 метров, то в распущенном состоянии вытянется на сто и сядет на грунт.

— ...И рубашки из нашего нового кошелька не выкроить, — скептически продолжил Витек мысль капитана.

Шоединок

Ехали уже больше часа, но всюду, куда ни глянь, — торосы, торосы. Только вдали, слева, возвышался крутой берег. Временами берег исчезал из глаз, терялся, сливался своею белизной с окружающим снегом.

За нартами бесконечно тянулись две широкие колеи, беспорядочно истоптанные собачьими лапами. Нарты, подпрыгивая на ледяных глыбах, скользили легко и споро. Старый коряк Натынковав иногда выкрикивал: «Тах-тах-тах» или «Хак-хак-хак», и собаки послушно сворачивали, объезжали льдины. Потом каюр умолкал, будто дремал или думал о своем, затем снова спохватывался и опять свое: «Хак-хак-хак».

Дмитрий Краснов полулежал, упершись ногами в полоз нарты. От радужных отблесков льдин и однообразной белизны клонило ко сну. Он на минуту закрывал глаза, и тогда ему казалось, что нарта движется назад. Краснов старался не спать, так как надеялся по дороге поохотиться на куропаток.

Скоро собаки свернули к левому берегу. Берег крутой, поросший ольхой и разлапистым кедром. Краснов вытащил из-под поклажи ружье, зарядил его. Куропатки обычно сидели на прибрежных кустах, склевывали сережки с низкорослых березок. Увлечшись кормежкой, птицы близко подпускали собачью нарту.

Стояла тишина, какая бывает только в тундре морозным декабрьским днем. Все словно вымерло, и казалось, ничто не может нарушить эту первозданную тишину.

— Градусов сорок будет? — спросил Краснов каюра.

— Да, если не больше, — подтвердил Натынковав.

Солнце висело низко над горизонтом, будто готовилось свалиться от этой тишины и холода.

«Приедем поздно, Серега спать будет, — Краснов

вспомнил о своем пятилетнем сынишке и улыбнулся в усы. — Растет парень».

Теперь Краснов внимательно осматривал берег, осматривал каждый кустик, искал куропаток. Но птиц он не видел. Нарта по-прежнему прыгала на неровностях.

— Стой! Стой! — Краснов толкнул каюра, когда увидел, как на берегу закачалась ветка кедрача. — Подожди!

Каюр уперся остолом в снег, нарта со скрежетом протянула несколько вперед и остановилась. И тут Краснов вдруг услышал сухой треск выстрела. Над кустом, там, где только что он ожидал увидеть куропатку, повисло облако дыма. А Натынковав, его старый каюр, схватился за грудь и медленно стал падать с нарты.

— Что? Что с тобой? Ранен? — Краснов бросился к каюру и увидел, как под телом Натынковава расплывается красное пятно. Схватил коряка на руки, стал трясти, но глаза старика медленно заволакивались дымкой. Положил каюра на нарту, схватил ружье.

И снова раздался треск, похожий на звук ломаемого стекла. Пуля просвистела возле левого уха, дернула малахай в сторону. Инстинктивно рванулся к нарте. Но собаки, напуганные выстрелом, уже бешено неслись вперед. Неслись так, что только снежный вихрь крутился следом. Они увозили смертельно раненного каюра и оставляли Краснова под пули того, кто прятался на высоком берегу.

«Подстрелит, как куропатку подстрелит!» — кинулся к ближним торосам. Бежал изо всех сил, петляя, всем существом ожидая нового выстрела в спину. Меховая одежда сковывала движения, удушье сдавливало горло, но он бежал. Подбегая к нагромождению льдов, споткнулся и, падая куда-то вниз, больно ударился об острый угол. Замер.

Сердце колотилось так бешено, что Краснову казалось: пробьет грудную клетку. Огляделся. Его обступали мрачные ледяные глыбы. Убежище было надежным. Опершись локтем о выступ льдины, подтянул ружье. Лежал неподвижно, старался отдышаться. Первые минуты страха и растерянности прошли. Он уже обрел способность мыслить и реально оценивать ситуацию.

«Уголовник, видно. Отсидел срок и решил отомстить. — Краснов в щель рассматривал берег. — Эх ты, товарищ Краснов, а еще чекистом себя считаешь. Какого-то уголовного испугался, — упрекал он себя. — Надо успокоиться, взвесить все «за» и «против», а потом действовать. Действовать решительно и смело. Продрог он, видно, а то бы не промазал».

Через минуту Краснов уже искал способ выявить противника. «Старый, но испытанный способ», — снял малахай, который оказался продырявленным с левой стороны, повесил на стволы ружья. Наблюдая за кустами на берегу, стал медленно поднимать его над льдиной.

Долго ждать не пришлось. Не успел он высунуть малахай, как брызги льда осыпали его голову, попали за ворот. Неприятные струйки воды поползли под одежду. Звук выстрела рассыпался дробью в торосах и враз смолк.

«Да... положеньнице», — опустил малахай, надел на голову. Задумался. «Если собаки даже доведут до села Натынковава, а не потеряют по дороге, то пока разберутся — помощь придет только завтра. А до завтра? Что придумать? Эх, Натынковав, Натынковав, мою пулю, видно, получил. Бил-то он с упреждением, да не вовремя собак ты остановил. Да... Ждать надо темноты, а там... Что даст темнота? Наверняка у того нарты...»

Взгляд его упал на ружье, с тревогой ощупал патронташ на поясе. «На месте, — вздох облегчения вырвался из груди. — Жаль, что патроны с мелкой дробью. Но стрелять можно».

Снял патронташ. Чуть задымленные металлические гильзы блеснули желтизной. Бурский патронташ был набит патронами. Тяжесть его была приятна, вселяла уверенность и надежду. Как всякий охотник здешних мест, Краснов всегда имел несколько патронов, заряженных жаканами. Брал их на всякий случай. Медведи или волки встречались нередко. Три таких патрона оказалось в патронташе.

«Теперь посмотрим, кто кого», — подумал Краснов, перезаряжая ружье.

— Начальник, выходи-и! На-чаль-ник!

— ...альник... альник, — подхватили льдины и как-то враз умолкли.

Кричал не русский, кто-то из коряков, чукчей или эвенков. Голос простуженный, хриплый.

«Несладко, видно, и ему там сидеть. Как будто знакомый голос. — Краснов взвел курки и плотнее прижался к льдине. — Где я его слышал?»

— Вы-хо-ди-и! — раздалось снова в кустах.

Сомнения унеслись коротким эхом.

«Рваный... Значит, довелось еще встретиться. Подкараулил-таки».

...1938 год. Небольшой рубленый домик с маленькими тусклыми оконцами. Здесь и милиция и прокуратура. Работников всего четверо. Дмитрий Краснов даже не удивился, когда на экстренном собрании начальник милиции объявил о том, что снова объявился убийца Рваный.

Несколько лет Дмитрий в этих краях. Два года прошло, а даже и ему видно, сколько сделано. Он наблюдал за берегом и считал: иностранные фактории и концессии прикрыли? Прикрыли! Оленеводов в колхозы объединили! Школы, красные яранги открыли! Советы утвердили! А таким, как Рваный, эти преобразования — кость в глотке.

Тогда оперуполномоченный Краснов даже не успел забежать домой, попрощаться с женой и сыном. Рваный, видимо, имел своих людей в селах, которые могли предупредить его об опасности. Сразу же после совещания Краснов велел гнать собак. Лохматые ездовые собаки споро, смешно поднимая задние лапы, мчали нарту.

— Скорей, скорей! — торопил Краснов каюра. Он боялся, чтобы не успели предупредить Рваного о его приезде. Каюр старался.

В село они приехали тогда к вечеру. Единственная улица пустынна, растянулась по берегу реки почти на километр. Пока они ехали, их сопровождал брех собак, которых, видимо, было больше, чем жителей. Быстро темнело, разгуливалась поземка.

Наконец каюр остановил нарту у большого чума. Он молча, кивком головы, показал на шкуры, заменяющие дверь, привязал собак к столбу и пошел за председателем сельсовета.

Рваного Краснов застал врасплох. Тот сидел у огня и смазывал нерповым салом части разобранного винчестера. Вороненый ствол его поблескивал при вспыш-

как горящих головней кедрача. Рядом лежал охотничий нож в деревянных ножнах. Чуть поодаль еще не вскрытая цинковая банка с патронами.

— Встать! Руки! — Краснов поднял наган.

Краснову видеть Рваного раньше не приходилось, но узнал он его сразу. Высокий, широкой кости, лет тридцати пяти, он был страшно изуродован несколько лет назад медведем. Нос у него свернут в сторону, верхняя губа походила на заячью, правого уха не было совсем. Фамилию его забыли, зато прозвище прилипло к нему прочно и навсегда. Женщины пугали своих непослушных ребятишек Рваным, а охотники, уходя на охоту, всегда помнили неудачную встречу его со зверем.

Появление и окрик Краснова были так неожиданны, что Рваный сразу не мог понять, что от него хотят.

— Живо, живо! — торопил Краснов.

Рваный поднялся на ноги.

— Руки, руки вверх! — Краснов ногой отшвырнул нож в угол.

— Придется тебе завтра проехаться со мной в райотдел, — спокойно продолжал оперуполномоченный, когда Рваный поднял руки, — за тобой, говорят, грешки имеются, выяснить надо.

Краснов заметил, как Рваный как-то ссутулился, обмяк. Только на его изуродованном шафрановом лице упрямо выделялись скулы да растрепанные черные как смоль прямые волосы. Казалось, что перед Красновым стоит обреченный, ко всему безучастный человек. Большие сильные руки висели плетью, пальцы мелко-мелко вздрагивали.

— Зачем, однако, с тобой ехать? Уйне ехать. Надо выяснять здесь, — заговорил он вдруг быстро, путая корякские слова с русскими. — Мои двадцать тысяч олешек забирал? Забирал. Деньги не платил? Не платил.

— Олени теперь колхозные, общие, — перебил его Краснов. — А в райотделе сможешь нам найти убийцу. Наверное, не забыл, что Аккет убит?

— Я старого председателя не стрелял, — зло ответил Рваный, — я в тундре был.

— Садись. Председатель придет, подумаем, куда тебя на ночь определить. — Краснов взял лежащий на

шкурах нож, собрал винчестер. — Гэворишь, не стрелял? Ну что ж, проверим.

Председатель сельского Совета Аккет, один из активных коммунистов села, был убит осенью выстрелом в спину. Злоумышленник выследил возвращающегося с охоты председателя и с расстояния нескольких шагов расстрелял его из винчестера. Все поиски убийцы результатов не дали. Мстить ему мог только Рваный за раскулачивание, а он тогда скрылся в тундре.

А теперь Рваный сидел в двух шагах от Краснова. Слабые отблески от жировика играли в его узких, бегающих глазах. Только теперь Краснов заметил на щеках Рваного фиолетовые линии — символ богатства и власти у северных народов.

— Говорят, служил иностранцам, скупал у своих земляков пушнину, оленьи шкуры, спаивал их, забирал себе оленей? — Краснов почти уверовал в то, что именно Рваный мог убить Аккета. — Молчишь?

Ночью разыгралась пурга. Снежные вихри с воем носились по поселку. Ночевал Краснов в небольшой комнатушке нового председателя.

Рваного закрыли в небольшом рубленом складике, что пустовал на берегу реки. А чтобы не замерз, оставили несколько выделанных оленьих шкур. Председатель для верности назначил двух пастухов попеременно сторожить его. Ключ от замка Краснов положил себе в карман.

Проснулся оперуполномоченный от странного звона. Струя холодного со снегом воздуха заполняла комнатушку. Смрадный, удушающий запах чего-то горевшего поднимался с пола. Выхватив из-под шкур, заменяющих ему подушку, наган, Краснов кубарем свалился с нар. Коптя и сильно воняя нерповым жиром, на полу разгорался факел. Краснов кинулся в угол к окну и как раз вовремя — снап выстрела полыхнул в окно. Дважды подряд разрядив свой наган в темный оконный проем и схватив факел, Краснов выскочил на улицу.

Ветер рвал его кухлянку и малахай. Захлебываясь от ветра и утопая в снегу, он бежал к реке. Следом за ним бежали председатель и каюр.

«Ушел... Проворонил... Почему я его не связал», — ругал себя Краснов.

Рваный действительно ушел. Дверь со склада была сорвана, ветер уволок ее далеко в кусты. Сторож с пе-

перезаным горлом лежал здесь же в складе, второго нашли дома. Он спокойно сидел у затухающего огня, курил трубку. О случившемся пастух ничего не знал. Рваного тогда не нашли ни на второй день, ни на третий. С ним ушел один из его пастухов.

В июне пошла на нерест кета. Жители поселка вышли на берег с черпушками. Кета шла дружно, и все жители старались заготовить рыбу не только для себя, но и собакам. Увлечшись, никто не слышал, как хлопнул выстрел. Краснов, ловивший рыбу со всеми, почувствовал, как сильно вдруг обожгло и ударило его в левую руку.

Стреляли с противоположного берега, из кустов. Примятая трава и маленькая гильза — все, что осталось от преступника. Предполагали, что стрелять мог только Рваный, который якобы поклялся убить Краснова. Говорили, что Рваный всю зиму проболел — попала-таки пуля Краснова в зимнюю ночь. Но поймать его опять не удалось. Доносились слухи, что он ушел на Чукотку, даже на Аляску. Толком же никто о нем ничего не знал.

Краснов тогда пролежал два месяца в больнице. Рука его зажила, но из милиции пришлось уйти. Работал он теперь инструктором в райкоме, а про Рваного скоро забыли. И вот он снова напомнил о себе.

...Долго, метр за метром, рассматривал Краснов берег... От холода и ветра по щекам его катилась слеза. Казалось, берег был пустынным, ничто не выдавало присутствие человека. Наконец он заметил черную точку и желтое пятно среди ветвей кедрача. Только теперь Краснов догадался, что черное пятно — вороненый ствол винчестера, а желтое — обветренное лицо Рваного. Потом он увидел белый малахай его, который сливался со снегом.

«Наблюдает, сволочь. Темноты ждаты придется».

Но ждаты было невыносимо. Холод залезал под теплую одежду, мерзли нос и щеки. Краснова успокаивало лишь то, что и Рваный промерз. «Стрельнуть разок. — Прикинул расстояние. — Далековато. Живого надо брать. Обойти и сзади, врасплох. Заметит... Собаки выдадут».

Собак Рваного Краснов не видел, но иногда слышал их тоскливый вой и заунывное поскуливание где-то на горе.

Сколько времени пролежал он во льдах, Краснов не знал, ему казалось — лежит целую вечность. День кончался. Солнце уже скрылось за сопкой, оставив яркочерную полосу на горизонте. Эта полоса бледнела, растворялась в мутном небе и сходила на нет. Пробегала одна поземка, вторая, закудрявила снег у лица Краснова.

...Жаль Натынковава, ни за что пострадал старик... Только живым его надо брать. Брать и судить. Краснов по-прежнему лежал неподвижно. Пальцы на ногах он уже не чувствовал, будто их совсем не было. Болел ушибленный бок, глаза от напряжения устали. Временами кусты на берегу сливались в одну сплошную полосу, и ему казалось, что вся эта темная масса надвигается на него. Непонятная дрожь била все тело. Иногда, забывая об опасности, Краснов поднимал ноги и бил одна о другую — грел, но это помогало плохо. «Быстрее бы уж темнело, — думал Краснов. — Этак и ноги обморозишь».

И тут Краснов увидел Рваного. Рваный поднялся в кустах и, размахивая руками, делал приседания. «Замерз, невтерпех? Теперь темноты уж недолго ждать». Рваный прошел несколько шагов и остановился, вглядываясь в льдины. «Ну, давай, давай ближе», — мысленно торопил Краснов Рваного. Поднял ружье, прицелился. Но Рваный остановился и снова замер. «Трусишь? — Краснов сплюнул и опустил ружье. — Буду живым брать».

Уродливые тени от кустов на берегу все удлинялись и удлинялись, наливаясь чернотой. Скоро Краснов уже не мог найти место, где залег Рваный. И только теперь он понял всю опасность наступающей темноты. Рваный, прячась в тень кустов, мог совсем близко подойти к нему незамеченным.

Левая, раненная два года назад рука совсем одеревенела — пальцы в камусных рукавицах не двигались. Ждать больше было невыносимо и бессмысленно. «Надо что-то делать. Околеешь так». — И Краснов решил.

Зарываясь в снег, он пополз. Полз, лихорадочно работая руками и ногами. Стало теплее. Скоро он оказался за второй, потом за третьей льдиной. Полз в обход. Останавливался, осматривался. Берег по-прежнему казался безлюдным и черным.

«Только бы снова не удрал. А там я тебе ремешком руки стяну и на твоих же собачках в милицию».

Переполз еще одну льдину, полежал минутку и снова пополз. «Главное, вовремя увидеть его». Прислушался. Было тихо. Даже собаки перестали скулить. Пополз снова. Он уже был у самого берега. «Еще рывок, а там кусты, снег мягкий», — подумал Краснов и тут враз ощутил резкий толчок в плечо. Еще не сознавая, что произошло, он увидел маленькую дырочку на кухлянке, и что-то теплое, липкое потекло по руке.

«Подстрелил-таки», — голова наполнялась угаром, словно выкурил сразу несколько самокруток. Темный берег закачался, закружился, и ему стало совсем не холодно...

...Потом Краснов услышал свирепый лай собак. Стая ездовых псов спускалась с берега. Они огромными черными клубками катились прямо на него. Казалось, еще мгновение, и они сомнут, разорвут его.

«Рваный... Рваный уходит, как же?.. — Сознание быстро возвращалось к нему. Голова его еще легко кружилась и падала куда-то в яму. — Опять уйдет, в третий раз, — правая рука подтягивала ружье. А пальцы уже искали спусковые крючки. Стволы поднялись, мушка запрыгала и остановилась на груди сидящего на нарте человека. — Дуплетом надо». Краснов плавно надавил на крючки. Ружье вздрогнуло. Он увидел, как свалился с нарты закутанный во все меховое человек и остался лежать на снегу. А собаки неслись прямо на него.

«Убьют ведь нартой», — Краснов сжался, напрягся, собираясь откатиться с дороги. Но собаки, испугавшись человека, затормозили и уже сворачивали в сторону. Его обдало псиной, снегом. «Замерзну ведь без собак». Он знал, что это единственный его шанс на жизнь. Он вскочил на ноги, прыгнул и, чувствуя приступ головокружения, понял, что упал на нарту. «Только бы не свалиться... Привязаться бы», — работало сознание.

А собаки, застоявшиеся на морозе, с лаем несли нарту по снежному насту. Они увозили Краснова к людям.

А. КОЗАЧИНСКИЙ

ФОНЯ

Уже несколько дней шел дождь — тот самый московский дождик, который льет только над столицей, строго придерживаясь городской черты.

Нигде, кроме Москвы, такого дождя, кажется, не бывает.

Серое небо лежит низко, на уровне пятых этажей. Город живет в полумраке, как при свечах. Под ногами журчит вода. Дождь клубится в воздухе. Но не каплет, не брызжет, не сеет, не моросит. Он невидим. Неизвестно, откуда он берется. Он не падает сверху, а как бы сочится из тротуаров и мостовых и поднимается от земли облаком водяной пыли.

Вода везде. В трамваях пар и слякоть: спички отмокают в карманах; ржавчина забирается под крышки часов; кажется, что в городе не осталось ни одной сухой вещи.

В такой день Москва грязна, зла и неприветлива.

Но только до вечера. Удивительно: невидимый московский дождик настолько же украшает город вечером, насколько омрачает его днем.

Мокрый асфальт удваивает ряды уличных фонарей, отражая их, как река. Огни кажутся желтыми и лишены сияния, будто пар, стоящий над землей, впитал их лучи. Свет, слившийся с водяной пылью, становится плотным и вещественным. Так, собственно, должно было бы выглядеть дождевое облако, освещенное изнутри, в котором поместился город с вереницами автомобилей и толпами гуляющих. Сквозь золотистый туман, наполняющий улицы, автомобили кажутся сверкающими, здания величественными, одежды нарядными, девушки хорошенькими. Злые, промокшие москвичи куда-то исчезают с тротуаров, как будто поворот рубильника, зажегшего фонари, сгоняет с улиц толпу усталых, озабоченных деловых людей и вызывает на

ее место притаившуюся где-то в засаде нарядную и жизнерадостную толпу весельчаков, только и ждавших этого сигнала, чтобы ринуться в театры и рестораны, на свидания и товарищеские пирушки.

Под выходной день толпы весельчаков особенно жадны, шумливы и многолюдны. Между семью и девятью они завладевают всем городом; не остается ни одного билета в кино, ни одного столика в ресторане, ни одного таксомотора, которые не были бы захвачены ими.

Город настроен легкомысленно.

Когда вечерний автобус, мчащийся куда-нибудь на Усачевку, встряхивает на крутом повороте, из разных его углов раздается звон стекла. Свежевыбритые молодые люди бережно везут на коленях продолговатые пакеты в одинаковой обертке, одинаковой формы, в которых, несмотря на различный объем, можно обнаружить нечто вроде фамильного сходства. Все эти свертки из гастронома № 1, мимо которого недавно проезжал автобус. Если толчок особенно силен, пакеты издадут не только звон, но и бульканье. Молодые люди, несомненно, едут пировать.

В эти же часы кучки тщательно выбритых людей скапливаются у входов в метро. Они никуда не едут; они пришли на свидания. Они стоят у колонн плечом к плечу, скромные и щеголеватые, невзрачные и красавцы, юноши и мышинные жеребчики, терпеливо вглядываясь в темноту; время от времени оттуда появляется девушка и со смущенной улыбкой выхватывает кого-нибудь из кучки. Оставшиеся смыкают ряд, как солдаты шеренгу, пробитую ядром. Но не все ожидают снаружи: в верхнем вестибюле стоит такая же кучка — менее пылкие, более зябкие; и еще одна кучка обособляется внизу, в нижнем зале. Внизу совсем тепло; но зато девушка, которую ожидают здесь, может проникнуть к своему возлюбленному, лишь заплатив тридцать копеек за билет.

Если забрести в этот час в тихий московский переулок, остановиться и прислушаться, можно услышать, как верещит какой-нибудь приземистый старый дом. Дом издает неясное комариное жужжанье, поверхность его вибрирует, как крышка рояля: изнутри доносится заглушенный стенами и двойными рамами хаотический контрапункт — смех, голоса, звон посуды, бренчанье

гитары, дружный хор из двух десятков репродукторов и — откуда-нибудь из полуподвала — всепобеждающий лейтмотив шумной вечеринки. Везде гости. И если некоторые окна темны, то, несомненно, только потому, что хозяева ушли в театр или в гости, в другой старый дом, в другой тихий переулок.

Часам к десяти толпа редет, весельчаки исчезают с тротуаров; все уже у цели. На улицах остаются скучные и озябшие люди — обыкновенные прохожие.

В один из таких дождливых ноябрьских вечеров на станции метро у Театральной площади появилась очень странная личность. Побродив по вестибюлю, вошедший присоединился к кучке франтов, сплотившихся на небольшом пространстве между колоннами, против входа. Среди них произошло замешательство, какое можно наблюдать в стае зверей, к которым приблудилось животное чужой породы.

Впрочем, к франтам он примкнул в какой-то мере против собственной воли. Сначала он сделал несколько бессмысленных зигзагов в разных направлениях: сунулся к кассам, потоптался у телефонных автоматов и киоска ТЭЖЭ; попал в людской поток, хлынувший снизу; был им подхвачен, отнесен к выходу и выброшен на постового милиционера, метнулся снова к кассам, где его всосало в клубок очередной, закружило у окошек и выплеснуло на спокойный островок, к франтам.

Вошедший был босяк, и, что удивительнее всего, молодой босяк. Босяки исчезли с наших улиц давно и как-то незаметно. Они еще, кажется, попадались изредка, когда Охотный ряд был замощен булыжником и загорожен церковью, когда милиционеры носили красно-желтые петлицы и мерлушковые кепи, когда по улицам бегали такси «рено», — в те далеко отошедшие годы, которые уже можно назвать советской стариной. Если сейчас на улице встречается каким-то чудом сохранившийся босяк, он привлекает всеобщее внимание, на него оглядываются, как на красивую женщину.

Это был босяк, грязный, жалкий, но не отвратительный, не классический оборванец в бесформенных

лохмотьях, будто растущих прямо из тела, как оперение чудовищной птицы, а босяк, сделавший уступки времени, — поблекший, утративший внешнее великолепие и былую развязность, который в другом месте, в другой толпе, может быть, сошел бы просто за неважно одетого человека. Но в мраморном зале метро, среди сверкающих огней, в шеренге чинных кавалеров он выглядел настоящим бродягой.

Голова его вместе с ушами глубоко ушла в кепку странного и гнусного цвета, какого нет, конечно, в солнечном спектре и какой создан, вероятно, специально для того, чтобы усугублять бедствия людей, гонимых судьбою. Брюки и куртка, наоборот, утратили всякий цвет, вернее приобрели цвет грязи, унесенной из всех трущоб, где приходилось спать бродяге. Поверх двубортной курточки — «твинчика», напоминавшей матросский бушлат, он был подпоясан веревочкой, которая должна была согревать его, прижимая к телу полы куртки. Калоши, надетые на босу ногу, тоже были подвязаны веревочкой. Он озирался кругом, как волк, забежавший на деревенскую улицу. Но это не был взгляд дерзкий и угрожающий; скорее это был взгляд животного, которого часто бьют.

Это был вор — серый, провинциальный вор-неудачник, опустившийся, дошедший до крайности, прибывший в Москву только сегодня поездом с юга. Он приехал, как приезжают десятки тысяч людей из провинции, стремящихся сюда, чтобы учиться, работать, пробиваться вперед; но он собирался здесь воровать.

Последний вор своего городка, он покинул его, теснимый наступающей со всех сторон честностью. Его товарищи либо добровольно оставили свое ремесло, либо покинули город с помощью правосудия. Уцелел он один, может быть, благодаря случаю, может быть, благодаря тому, что, будучи посредственным вором, всегда оставался в тени. С течением времени в городе не только прекратились кражи, но даже вошло в обычай возвращать находки, о чем в местной газете каждый раз сообщалось под заголовком «Честность».

Единственный городской агент угрозыска отлично знал своего единственного вора и при встречах смотрел на него так выразительно, что тот вынужден был прекратить кражи в черте города и лишь изредка поз-

волял себе похитить что-либо в окрестных деревнях. Но и это не обеспечивало спокойствия; он стал опасаться, чтобы кто-нибудь из жителей или его раскаявшихся друзей не впал в соблазн и не совершил какого-либо неблагоприятного действия, за которое, несомненно, пришлось бы расплатиться ему, как единственному вору городка.

В конце концов, не выдержав бремени постоянных опасений за добропорядочность сограждан, он решил покинуть этот город, где, как ему казалось, остановилась жизнь. Он перебрался в соседний, более крупный городок, но сразу же попался на каком-то пустыке и был арестован.

Он был человек темный, почти неграмотный; рабочий и неумелый вор, с тусклой и невыразительной кличкой — Фоня. Воровством он занимался с детства. Однако к преступной жизни его влекла не врожденная порочность, как можно было бы думать, а как раз те черты характера, которые ценятся в других людях: прилежание, послушание и скромность. Послушание заставляло его беспрекословно подчиняться наставлениям родителей, старых рецидивистов; скромность мирила его с бедной и скучной жизнью мелкого вора; отсутствие фантазии и какого-либо представления о другой, не воровской жизни удерживало его от поисков честной дороги. Родителей его выслали, общество профессионалов распалось, и он остался вором-недоучкой, забытым угрозыском, прозябающим в бедности и одиночестве.

Как всякий плохой вор, он не имел специальности; он мог влезть в окно, очистить курятник, забраться в карман, раздеть пьяного, утащить с воза кнут. Он не гнушался даже работой «на цып»: следил за какой-нибудь лавкой и, заметив, что продавец ушел в заднюю комнату, подкрадывался на цыпочках внутрь, хватал с прилавка первый попавшийся предмет — кусок колбасы, мыло или даже просто гирю — и так же тихо, на цыпочках, выходил на улицу. Опытные воры презирали работу «на цып» и если в трудную минуту занимались ею, то никогда не признавались друг другу в этом.

Фоня жил на краю города, у старой, глухой бабки, бывшей самогонщицы; ни с кем не встречался, ни о чем не задумывался, ничего не знал о жизни. К со-

жалению, и в тюрьме благодаря своей незначительности он остался как-то в тени; его не заметили, не занялись им по-настоящему. Он просидел только три недели и не успел вынести из тюрьмы ничего, кроме двух новых стальных зубов и начатков знания игры на домре.

Однако в тюрьме он наслушался разговоров о Москве, и здесь у него зародилась мысль о поездке в столицу. Он выпросил у бабки денег на билет и отправился в дорогу.

Москва его разочаровала: холод, дождь, суета и милиционеры в невиданном количестве. Все, что он мог здесь украсть, было слишком крупно, ценно и доброкачественно. Его глаз и рука не привыкли к предметам, которые его здесь окружали, и плохо повиновались. С самого утра он пытался что-нибудь украсть, но безуспешно. Возможностей было сколько угодно, но он их упускал. В одном магазине какая-то женщина, расплачиваясь у кассы, сама дала подержать ему новый патефон, но, привыкнув к добыче, которую он находил в деревенских сараях, курятниках и погребках, Фоня не решился унести эту вещь. Случайно он попал на большой рынок, где торговали старыми вещами, и почувствовал себя увереннее, но вдруг явственно ощутил, что чья-то рука обшарила его карманы. Он был так испуган и взволнован, что поспешил покинуть рынок, не догадываясь о природе этого чувства, которое было не чем иным, как пробудившимся на секунду инстинктом собственника.

Между тем что-нибудь украсть было совершенно необходимо, ибо от аванса старой бабки не осталось ни гроша и он был голоден. Лишь под вечер ему удалось украсть у мальчика на бульваре игрушку «три свинки» — плоскую коробочку с маленькими свиными тушками под стеклянной крышкой. Но этот предмет был бесполезен...

Фоня ходил по улицам весь день. Он был бродягой и привык к невзгодам; но он был южным бродягой и потому страдал от холода. Невидимый московский дождик промочил его до костей. Он потерял надежду украсть что-либо и уже только мечтал об убежище, где мог бы обсохнуть и согреться.

Так он забрел в метро.

Как только Фоня появился на станции метро, дежурный милиционер устремил на него пристальный взгляд. Он смотрел на него с молчаливой корректностью, свойственной подземным милиционерам, решая, по-видимому, вопрос, совместимо ли пребывание Фони в вестибюле с правилами пользования Московским метрополитеном.

Москвичи знают, что молчаливость отличает милиционеров метро от всех прочих милиционеров — от словоохотливых орудовцев, непрерывно расшаркивающих и козыряющих направо и налево, от голосистых речных милиционеров, бороздящих водные просторы на оглушительно ревущих моторных лодках. Подземные милиционеры не жестикулируют, не свистят. Охрана входа в туннели предрасполагает к созерцательности. Они не кричат, как на реке, не размахивают руками, как на перекрестке. Они стоят и думают о чем-то своем, милицейском, и, если в поле их зрения случается какой-нибудь непорядок, обычно бывает достаточно их неторопливого приближения, чтобы все уладилось само собой.

В течение двух часов милиционер пристально разглядывал Фоню. Пока Фоня находился среди франтов, он превозмогал страх перед этим неподвижным взглядом. Мысль о холоде и дожде приковывала его к месту. Но когда девушки увели всех, кто был вокруг, и он остался наедине с милиционером, то не выдержал и бросился к выходу.

На улице его встретил тот же дождь. Стало еще холоднее. Было около десяти часов вечера. Фоня снова зашагал по улицам, не обращая внимания на витрины магазинов, на неоновые вензеля, на двухэтажные троллейбусы и подметальные машины; равнодушный к чудесам большого города, он ничего не замечал и ничему не удивлялся, хотя ноги его сегодня впервые ступали по асфальту.

Он шел все вперед и вперед, мелкой воровской походочкой, по которой опытные агенты узнают вора за сто шагов, шел, подняв воротник, втянув голову в плечи, согревая руки под мышками, не сворачивая ни направо, ни налево и разглядывая только то, что оказывалось под ногами, — лужи, подворотные тумбы, бордюры тротуаров, трамвайные пу-

ти. Из-под нахлобученной кепки был виден кончик носа и куски посиневших щек. Очарование этого вечера не коснулось его, светящийся туман не золотил одежды, как будто он гасил фонари, мимо которых проходил.

Со всех сторон его окружали те, кого он причислял вместе с огромным большинством человечества к категории «потерпевших». Они были тепло одеты, сыты, довольны и знали, куда идут. Они вышли из домов и шли в дома. Их жизнь была легка. Они никого не боялись. Им никто не угрожал, кроме Фони. Фоня же боялся всех, и все ему угрожали. Самый бедный из них был богаче, чем он; самый несчастный — счастливее; самый ничтожный — значительнее. Но он не думал об этом, не жаловался, не спрашивал себя, почему только он обречен на жизнь, полную страха и лишений; почему среди всей массы спокойных и довольных людей, которых он называл потерпевшими, только на его долю выпал труд такой тяжелой, неблагоприятный и опасный. Подобные мысли не приходили ему в голову. Его ум регистрировал только физические ощущения: замерзли пальцы, промокли ноги, бурлит в животе. Он ничего не знал о причинах своего несчастья; он понимал в них столько же, сколько понимает в случившейся беде дождевой червь, которого окуривают табачным дымом. У него теперь была одна надежда, одно желание: чтобы поскорее погасли огни в окнах, чтобы поскорее пришла испытанная союзница — ночь.

По случаю выставки картин Рембрандта Музей изобразительных искусств охранялся особенно тщательно. Впрочем, и в обычное время никакой злоумышленник — будь то искуснейший взломщик с европейской славой, будь то одухотворенный маньяк, похититель картин, — не смог бы проникнуть сквозь двойную цепь охраны, круглые сутки дежурившей снаружи музея и внутри, сквозь массивные решетки и тяжелые двери, надежно замыкавшие все входы и выходы, и, наконец, сквозь недавно устроенную систему фотоэлементов, от бдительности которых не могла бы ускользнуть и мышь.

В эту ночь на посту наружной охраны дежурил пожилой милиционер Сафронов. Он бодро расхаживал

взад и вперед перед главным фасадом и вдоль боковых крыльев, притопывая, пританцовывая и поллопывая рукавицей о рукавицу — не столько, впрочем, от холода, сколько от хорошего настроения и от избытка сил.

Сафронов был доволен своей жизнью и положением. Он был женат, но бездетен; жалованье, правда, получал маленькое, но зато имел казенное обмундирование и квартиру почти даром. А жена, ткачиха, зарабатывала втрое больше его. Сафронов жил спокойно, чисто, привык к комфорту, к стенным шкафам, к газовой колонке, к диетической столовой; брил бороду ежедневно, а затылок — через день; любил музей; уважал искусства и, закаленный дежурствами на свежем воздухе, не знал болезней. Сегодня он испытывал особое чувство благополучия и довольства жизнью, в основе которого, как это часто бывает, лежал факт совершенно незначительный: новые черные валенки с калошами, полученные утром в цейхгаузе.

Несмотря на ненастье, в добротной зимней одежде ему было ладно и тепло, как в уютном маленьком домике. Под курткой у него был теплый свитер, а поверх шинели — прорезиненная пелеринка. Шерстяные рукавицы хорошо грели руки, а ногам было тепло в новых валенках.

Сафронов был отличный милиционер, исправный и надежный старый кадровик, еще из дореформенных «снегирей», носивших черные шинели с красно-желтыми петлицами. Все двенадцать лет своей службы он охранял музей; по соглашению с дирекцией, высоко ценившей его исполнительность, начальство не откомандировывало его ни на какие другие посты.

Он сжился с музеем; знал в нем каждую вещь, изучил наизусть путеводители. Не раз ему случалось во время дежурств на внутреннем посту, вежливо козыряя, давать экскурсантам разъяснения по поводу того или иного произведения искусства. Впрочем, не все искусства были одинаково близки ему. К живописи Сафронов был равнодушен, так как обладал особым, часто встречающимся устройством зрения, которое мешало ему понимать перспективу и воспринимать глубину на плоскости. Человек, поставленный в профиль,

казался ему лишенным руки, уха, глаза и всех тех частей тела, которые живопись, не будучи искусством объемным, не в состоянии изобразить. Рассматривая картину, он ощущал потребность заглянуть за раму, обойти ее сзади, чтобы найти эти недостающие части тела.

Его любимым искусством была скульптура. Он отлично знал каждое изваяние музея. Особенно ему нравились скульптуры мужественные или, вернее, молодежавшие. Подобно тому как мы усваиваем манеры, интонации и привычки людей, с которыми долго живем, и даже с течением времени становимся похожи на них лицом, Сафронов, проводя значительную часть своей жизни в музее, приобрел многие внешние черты своих любимых скульптур эпохи Ренессанса. Может быть, и случайно, но его густые усы были точной копией усов легендарного короля Артура; может быть, бессознательно, но он часто становился в позу, повторявшую изгиб талии короля Теодориха работы Петра Фишера. Находясь на внутреннем посту, он обыкновенно выбирал место между конными статуями Коллеони и Гаттамелаты и, осененный их могучими силуэтами, расправлял плечи, упирал подбородок в ремень своего шлема и чувствовал себя так, будто стоит с ними в одном карауле.

Это был милиционер, которого не коснулась грубая, грязная сторона жизни. Искусства были ближе к нему, чем преступность. Его рука никогда не прикасалась к плечу злоумышленника. Даже пьяные избегали музея, быстро трезвея в его торжественной тишине.

Двенадцать лет расхаживал Сафронов по этому тротуару, на котором ему была знакома каждая трещина. Как всегда, он заглядывал в слабо освещенные окна полуподвального этажа, где были размещены египетский и греческий отделы. Погруженный в полумрак и тишину, скульптурный отдел, наполненный голыми, бледными, скорченными фигурами, окоченевшими, опрокинутыми навзничь, с оторванными членами, отбитыми головами, напоминал мертвецкую или анатомический театр. Узкоплечий Перикл в шлеме, почти таком же, как у Сафронова, смотрел на него снизу пустыми глазами; дальше замер в изнеможении Лаокоон; Фарнезский бык взвился на дыбы над несчастной Цир-

цей; сплелись в последней схватке разбитые на куски боги и гиганты Пергамского фриза.

Сафронов шагал, оглядывая пустые тротуары и ряды окон, в которых между неподвижными изваяниями иногда мелькала фигура внутреннего сторожа Ивана Ефимовича, и размышлял о разных разностях, в частности, о том, что для того, чтобы постовым милиционерам было тепло, хорошо бы изобрести особые электрические валенки.

Фоня появился перед музеем в тот момент, когда спина Сафронова только что скрылась за углом. Было около двух часов ночи. Погода переменилась. Начало подмораживать, тротуары обледенели, сверху сыпалась снеговая крупа; ветер мел у самой земли. Остановившись перед музеем, Фоня стал оглядываться по сторонам, поворачиваясь всем корпусом, не двигая шеей и не отводя щек от поднятого воротника — как делают это сильно замерзшие люди. Затем он пошел вслед за Сафроновым и минуты через четыре вернулся на то же место, обойдя здание кругом. Потоптавшись на площадке перед входом, он повторил свой маневр. Так он обошел музей несколько раз, не встретившись с Сафроновым. Они двигались по кругу, как две планеты по одной орбите, примерно с равной скоростью, разделенные музеем, поочередно появляясь перед главным фасадом и исчезая за углом, уверенные, что, кроме них, здесь никого нет.

Затем Фоня стал заглядывать в окна первого этажа. Он увидел ряд небольших комнат, неярко освещенных, обставленных на один манер; кое-где стояли кресла, столики, на стенах висели картины. Собак, кроватей со спящими людьми не было. В доме, по-видимому, было мало жильцов. Фоня не раз уже заглядывал этой ночью в окна, но в освещенных комнатах он видел людей, а в темные лезть не решался.

Фоня боялся темноты; не так, как боятся ее дети, а так, как может бояться ее только вор. Это не был невинный страх ребенка, которому мерещатся в темном углу серый волк или баба-яга, и не страх неврастеника, которого одолевают ночные видения. Темнота у себя дома, на улице, в степи, даже в дремучем

лесу не пугала его; его пугала темнота в чужой квартире.

В каждой ночной краже была минута мучительного страха, в течение которой нужно было открыть окно, просунуть голову внутрь и затем погрузиться в угрожающую темноту чужой квартиры, где на каждом шагу ему мерещились невидимые ловушки и опасности: спящие люди, которые могли проснуться; цветочные горшки, которые могли упасть от легкого прикосновения; собаки, которые могли вцепиться в горло и поднять лаем весь дом; и даже игрушечные детские гудки, брошенные на пол, на которые можно было наступить, о чем Фоне рассказывал в тюрьме вор, ставший жертвой подобной случайности, — хозяева, проснувшись от рева рожка, на который вор нажал ногой, должны были отпаивать его валерьянкой.

Иногда Фоне казалось, что из враждебной темноты чужого дома к нему протянется косматая лапа с острыми когтями и схватит его за лицо или что ему на затылок прыгнет притаившийся в углу громадный, тяжелый зверь. Словом, Фоня принадлежал к той категории воров, которые любят влезать в освещенные помещения, хотя на родине, где он почти всегда воровал из темных сараев и овинов, ему редко удавалось следовать этой склонности.

Ночь близилась к концу. У Фони не было выбора; приходилось лезть в какое-нибудь окно, пока не наступило утро. Но страх гнал его от дома к дому, из переулка в переулок.

Музей, окруженный глухими, безлюдными улочками, с окнами, расположенными на удобной высоте, казался Фоне самым доступным, мирным и беззащитным зданием в городе; он был пуст, освещен и одинок; более счастливого стечения обстоятельств нельзя было и желать. Перед ним было большое окно с тяжелой железной решеткой между рамами, украшенной поверх перекладин художественным литьем. По краям ее обрамлял простой геометрический узор — меандр, состоящий из ряда незаконченных, переходящих друг в друга квадратов; середина была занята превосходным растительным орнаментом из листьев, стеблей и усиков аканфа.

Привыкнув мысленно примерять свое тело к различного рода отверстиям, Фоня с одного взгляда убе-

дился, что его голова и рука легко пройдут в один из квадратов нижнего ряда, смежного с меандром, почти свободным от орнамента. По опыту он знал то, чего простительно было не знать художнику, изготавливавшему рисунок решетки: что если в прямоугольное, немного вытянутое отверстие проходят голова и руки, то за ними пройдет и все тело.

Два чугунных лепестка аканфа входили в квадрат из противоположных углов, чтобы уменьшить отверстие и сделать его недоступным для воров. Но диагональное расположение лепестков не могло помешать Фоне, ибо его тело должно было поместиться в квадрате также по диагонали — именно по той, которая оставалась свободной. Он вытащил из кармана «фомку»; замерзшие пальцы негнулись, «фомка» показалась ему теплой. Не теряя ни секунды, он подковырнул ею раму. Рама отошла со звоном и дребезжанием, дергая по фрамуге опущенным шпингалетом.

Сафронов между тем неумолимо приближался к месту преступления; он находился уже в тридцати шагах от Фони, за углом. Но Сафронов ничего не слышал. Ночная тишина не донесла до него звона стекла и дребезжания оконной рамы — тревожного звука, который должен был столько сказать уху милиционера.

Произошла одна из тех мимолетных, неуловимых случайностей, которыми наполнена жизнь, случайностей, проходящих бесследно, но часто незаметно для нас, управляющих ходом событий и судьбой людей; одна из тех незримых мелочей, которые почти всегда лежат в основе того, что мы называем непонятным и что на самом деле является лишь непонятым. Какой следователь не объяснил бы случившегося необыкновенным искусством злоумышленника? А между тем только ничтожная, навсегда утерянная подробность — почти бессознательный жест Сафронова, которого не заметил, не запомнил и не связал с происшедшим он сам, — могла объяснить то, что произошло.

Случилось так, что как раз в тот момент, когда Фоня взламывал окно, Сафронов решил опустить маленькие потайные наушнички, которые имеются под шлемами милиционеров и, не вредя их молодцеватости, согревают уши в морозную погоду. Шуршанье грубой колючей ткани в одном сантиметре от уха Сафронова

прозвучало, как грохот, и заглушило звон рамы, которую Фоня взламывал самым грубым, самым варварским способом, прокладывая себе путь в музей, как в деревенскую конюшню или курятник. Давно оставившее его воровское счастье как будто решило вознаградить за все неудачи.

Опустив наушники, Сафронов пошел в обратном направлении.

Вторая рама легко подалась внутрь, так как шпингалеты даже не были задвинуты — небрежность, легко объяснимая уверенностью в надежности решетки. Бросив «фомку» на землю, Фоня всунул внутрь голову и вытянутую вперед руку; другую руку тесно прижал к боку и, сокращая и выпрямляя тело, движениями ползущей гусеницы стал вдвигаться меж прутьев решетки. Острый чугунный лепесток аканфа царапал спину Фони и грозил затормозить движение, но, пройдя поясницу, так удачно совместился с контурами его тела, что оно ладьей скользнуло вперед. Фоня почти влетел в музей, с трудом удержавшись на подоконнике.

Глуховатый сторож Иван Ефимович был одним из тех преданных делу стариков, которые не только, как говорится, живут своим делом, но и досконально его знают.

Дело, к которому был приставлен Иван Ефимович, была живопись; уже тридцать лет охранял он картинную галерею музея. Его сведения о живописи были обширны, но своеобразны.

Иван Ефимович полагал, что цель искусства заключается в достижении наибольшего сходства с натурой. В этом не было бы ничего необычного, ибо так думает большинство людей. Но Иван Ефимович суживал этот принцип до такой степени, что признавал за каждым художником способность изображать только один какой-нибудь предмет — тот, который, по его мнению, получался наиболее натурально. У Воувермана он одобрял только белых коней, у Терборха — атласные юбки, у Ван дер Вельде — песчаные овраги, у Деннера — морщины стариков и старух, у Ван дер Пуля — пожары, у Ван дер Хейдена — кирпичи на зданиях. В пределах этой узкой классификации, которая почти всегда правильно отражала преобладающую спе-

циальность художника, Иван Ефимович прекрасно ориентировался и обладал массой сведений. Он никогда не спутал бы кирпичей Ван дер Хейдена с атласными юбками Терборха, не смешал бы морщин Деннера с оврагами Ван дер Вельде и не приписал бы белых лошадей Воувермана любителю пожаров Ван дер Пулю.

Иван Ефимович проводил в залах музея целые дни, но не имел возможности рассматривать картины; он обязан был сидеть на стуле и наблюдать за публикой. Изучением живописи он занимался во время ночных дежурств. Надев на нос роговые очки, мягко ступая неподшитыми валеночками, Иван Ефимович расхаживал по опустевшим залам, время от времени задерживаясь у какого-нибудь холста и разглядывая его при неверном электрическом свете.

В эту ночь он чаще чем где-либо останавливался у недавно открытой под позднейшей записью и реставрированной «Форнарины» Джулио Романо. Эта находка взволновала знатоков; Иван Ефимович был также очень заинтересован ею. Подлинные работы лучшего ученика Рафаэля открывают не часто. К тому же «Форнарина» была первой картиной Джулио Романо, которую увидел Иван Ефимович.

Теплые красноватые телесные тона и дымчатые тени, отличающие этого художника, погружали Ивана Ефимовича в задумчивость. Нежная и слегка утомленная кожа, какая бывает у женщин, обязанных своей красотой не только природе, но и различным кремам и притираниям, складки легкой одежды — все это отмечалось и взвешивалось Иваном Ефимовичем с одной целью: найти для незнакомого мастера подобающее место в созданной им системе.

Строгий и задумчивый стоял Иван Ефимович перед «Форнариной», а в это время за четыре зала от него на подоконнике сидел Фоня, прислушивался и озирался по сторонам. Было так тихо, что ухо само рождало призраки звуков; казалось, что где-то раздается шорох перьев по бумаге, что где-то бегают невидимые цыплята, стуча лапками по твердому паркету.

Сквозь дверь, расположенную против подоконника, был виден большой скульптурный зал; налево, в длинной галерее, была размещена вся русская коллекция Рембрандта, привезенная из Эрмитажа. «Блудный

сын» и «Снятие с креста» мерцали против входа. Их сумеречные тона сливались с глубокими тенями полуосвещенного зала; края досок расплывались в темноте. Комната, в которой находился Фоня, была невелика и казалась лучше освещенной. На двух ее стенах расположились маленькие картины голландцев; на третьей висели натюрморты Снейдерса.

Фоня сидел на подоконнике, восхищенный роскошью помещения, удивленный его обширностью и огорченный пустотой. Фоню ободрили необитаемость дома и царящая в нем тишина, но смутила обманувшая его ожидания скудная обстановка. Он соскочил на пол и обошел комнату, прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что встречалось на пути. Освидетельствовал обитую шелком кушетку, два кресла, маленьких голландцев, натюрморты; заглянул в зал Рембрандта, в скульптурный зал; отпрянул оттуда, слегка испуганный неподвижностью белых фигур.

Осмелев, он расхаживал по комнате среди фотоэлементов, не подозревая об опасности, как легкомысленный рыболов-любитель, резвящийся с удочкой на минном поле. Пренебрегая их бдительностью, он останавливался у картин, водил пальцем по золоченым рамам, зевал и даже почесывался. Затем стал шарить по углам, ища подходящей добычи.

Но подходящей добычи не было.

Тогда он снова стал разглядывать натюрморты; никогда еще дичи Снейдерса не угрожал столь жалкий браконьер. Окинул взглядом маленьких голландцев, покосился на полотна Рембрандта. Ничто, казалось, не могло теперь помешать судьбе, которая решила вознести его на высоту, где доселе пребывал лишь «гений» похитителя «Джоконды». Это должно было произойти даже против его воли, помимо его желания. Если бы в этой комнате стояла пара сапог, он, несомненно, унес бы сапоги; это было бы естественно, ибо в его городке никогда не похищали картин и он никогда не слышал, чтобы их продавали с выгодой. Но здесь были только картины; казалось, отсюда нельзя было вынести ничего, кроме картин.

И действительно, Фоня снял со стены «Больную» Метсю, затем жемчужину собрания — «Бокал лимонада» Терборха и еще несколько его картин, среди них — знаменитое «Письмо». Он накладывал их на согнутую

левую руку, как поленья. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора (для чего ему пришлось протянуть руку четыре-пять раз), Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности; сомневаясь в ценности своей добычи, Фоня считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества.

Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам.

Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета — удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка — в закусочной, кино и многих магазинах; распространенность предмета обеспечивала его сбыт.

Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду.

Он был отлично отделан — гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее.

подавив в себе робость, которую вызывала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня

осторожно снял сосуд с костью и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта, Снейдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.

Он благополучно выполз на улицу, вытащил красный сосуд, прикрыл раму и уже сделал шаг от стены, но вдруг увидел милиционера, который появился из-за угла и шел по направлению к нему. Фоня замер, сжался в комок и приник к кусту, росшему под окном.

Искра за искрой летели по проводам из зала маленьких голландцев. Приспособленные к уловлению едва заметных, скользких теней, бдительные фотоэлементы слали вести о небывалом вторжении, призывая к тревоге мощные электрические звонки. Неуклюжая и грубая масса, назойливо маячившая перед их чувствительнейшими органами, которые можно сравнить лишь с тончайшими нервами живых существ, внесла возмущение в их хрупкую электрическую организацию. Целые снопы искр летели в вестибюль к звонкам, извергаемые из сложных приборов видом невежественного, неопрятного существа, которое копошилось, зевало и почесывалось в запретном пространстве. Но первая же искра, пробежав по залам, пронесясь над головой Ивана Ефимовича, остановившись у «Форнарины», проскочила, не добежав до сигнального аппарата, сквозь стенку шнура и соединилась с искрой, мчавшейся рядом, по смежному проводу. Зашипела резина, из провода показалось пламя; вначале едва заметное, оно перебежало на прислоненные к стене плакаты о выставке Рембрандта, ярко вспыхнуло и стало пожирать холст, пропитанный клеевой краской. Дым окутал молчащие звонки, сигнальную доску и столик с телефоном.

Покинув «Форнарину», Иван Ефимович остановился у входа в зал маленьких голландцев; перед тем как войти, он протянул руку к кнопке, незаметно вделанной в дверной косяк, чтобы выключить фотоэлементы в этом ряду залов. Но рука его замерла в воздухе; несколько секунд старик стоял на пороге, устремив неподвижный взгляд внутрь зала, ничего не видя, однако, перед собой — ни грубых мокрых следов на полу, ни

щели плохо притворенного окна, ни груды картин на кресле у стены. Не шевелясь, он втягивал в себя холодный и чистый воздух музея, к которому примешивался едва заметный запах угара.

Иван Ефимович обернулся — легкая дымная спираль, как шарф «Форнарины», разостланный в воздухе, плыла на него; за ней двигалась другая, более плотная; дверь в вестибюль, видимая сквозь несколько залов, была затянута сплошной дымной пеленой.

Иван Ефимович побежал в вестибюль. В сером дыму мелькали языки пламени. Лампа под потолком светила желтым кружочком. Удушливый чад горящей ткани наполнял помещение. Кашляя и задыхаясь, Иван Ефимович нырнул в дым, к стене, где стоял столик с телефоном и висел сигнал пожарной тревоги. Но здесь был главный очаг огня. С трудом ему удалось нащупать телефон; он приложил к уху горячую трубку, но ничего не услышал — из-за волнения, или из-за треска горящего дерева, или потому, что провод был уже охвачен огнем. Тогда он бросил трубку на пол, пробежал, согнувшись, к выходу, распахнул дверь и с криком «Пожар!» выскочил на крыльцо. Спрыгнув на тротуар, он продолжал взывать о помощи пронзительным и жалобным голосом давно не кричавшего, испуганного старика. «Сафронов! Пожар! На помощь!» — кричал Иван Ефимович, перебегая с места на место; и вдруг увидел человека, бегущего к нему со всех ног с огнетушителем в руках.

За минуту до этого Фоня покинул куст, под которым сидел, изнывая от страха, считая себя погибшим, не в силах отвести взгляда от Сафронова, который неторопливо прогуливался перед фасадом взад и вперед, взад и вперед, как будто умышленно не замечая Фони, чтобы продлить его терзания. Каждый раз, когда милиционер приближался к нему, Фоне казалось, что, поравнявшись с кустом, он молча протянет руку и, пошарив в ветках, вытащит его наружу вместе с добычей.

Но вместо этого Сафронов завернул за угол; тогда Фоня вскочил и, обняв красный сосуд, бросился бежать. Он бежал, ничего не видя перед собой, поглощенный мыслью об оставшейся позади опасности.

Крик Ивана Ефимовича едва не сбил его с ног. Он хотел повернуть назад, но вдруг словно искра про-

скочила у него по спине, и, даже не оглядываясь, он понял, что сзади бежит милиционер. Тогда он бросился вперед, в сторону меньшей опасности. Он прижимал добычу к груди, заслоняя ее своим телом от преследователя; а навстречу ему с протянутыми руками бежал Иван Ефимович, выкрикивая непонятные слова: «Давай! Тащи сюда! Бей скорее!»

Фоня почувствовал слабость во всем теле; тяжелый цилиндр выскочил у него из рук и стукнулся узким концом о землю; желтая струя вырвалась из цилиндра, разбилась об асфальт и ударила в валенки Ивана Ефимовича.

— Давай направляй! — закричал Иван Ефимович, подхватил передний конец огнетушителя и потащил его к двери, увлекая за собой Фоню. Руки Фони словно прилипли к цилиндру; он оцепенел, как простейшее насекомое в момент опасности. Парализованный ужасом, ошеломленный неожиданным действием сосуда, он превратился в инертный придаток к огнетушителю и следовал всем движениям старика, утратив всякое понимание происходящего и воспринимая, как единственную реальность, только страшный топот милиционера за своей спиной.

Подбежал Сафронов и ухватился за доньшко. Стиснув между собой Фоню, Сафронов и Иван Ефимович стали поворачивать огнетушитель, утяжеленный вцепившимся в него вором. С трудом помещаясь вдоль его короткого ствола, они направляли струю в огонь, который и сам сник, как только сгорел холст. Лишь голые черные рамы плакатов тлели шипя под струей пеногона, да вонючий дым валил на улицу. Через минуту все было кончено.

Вслед за последними клубами дыма изнутри выскочили два сторожа — из скульптурного отдела и со второго этажа. И когда минута волнения и испуга прошла, все обступили Фоню. Сторожа стали пожимать ему руки, благодарить за быструю помощь. Они убеждали его явиться утром в дирекцию за наградой. А Сафронов, желая выразить Фоне признательность лично от себя, протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. Милиционеры не любят, когда от них убегают. Рука, протянутая для ласки, быстро сжалась: она схватила только воздух. Фоня попятился, провалился в темноту, исчез.

Под утро Фоня вышел на площадь, пустынную в этот ранний час. В центре площади стоял милиционер; он возвышался на ней как обелиск.

Площадь была обширна, как прерия. Фоня был едва различим на ее краю. Но милиционер вынул свисток, издал короткий повелительный свист и поманил Фоню пальцем. Фоня стал медленно приближаться к милиционеру по линии его взгляда, постепенно ускоряя движение, как болид, попавший в сферу земного притяжения.

Иногда он озирался по сторонам, словно желая ухватиться за что-нибудь, чтобы противодействовать влекущей силе. Но ноги несли его вперед, будто подчиняясь манящим движениям обтянутого белой перчаткой пальца, который продолжал сгибаться и разгибаться до тех пор, пока в силу развитой инерции всякое уклонение в сторону уже стало для Фони невозможным.

Достигнув центра площади, Фоня остановился перед милиционером. Это был большой рыжий милиционер; он смотрел на Фоню благосклонно, будто давно ожидая его здесь. Рыжий милиционер спросил о чем-то Фоню. Тот пошарил в карманах, затем развел руками. Тогда, не возобновляя беседы, они двинулись через площадь к цели, ясной для обоих, Фоня впереди, милиционер сзади, соблюдая дистанцию — три шага.

Через пятнадцать минут Фоня был сдан в отделение, как бездокументный. Его усадили на деревянную скамейку в комнате дежурного. Он сейчас же погрузился в дремоту, из которой его вырывали частые телефонные звонки. Просыпаясь, он принимался обдумывать свое положение. Даже натуры, наименее склонные к размышлениям, обычно предаются им в ожидании допроса.

Это не был стройный ход мыслей, а лишь случайное мелькание обрывков воспоминаний, прерываемое припадками дремоты.

Картины прошедшего дня одна за другой проплывали в его полусонном сознании. Рынок, где его пытались обокрасть; женщина с патефоном; молчаливый милиционер в метро; решетка с острым чугунным лестком; пожар — все события этой ночи. Что он пытался украсть? Где? Каким образом потерял свою

добычу? Это осталось для него загадкой. В этом городе все подчинялось особым, неизвестным ему законам, даже кражи. Он чувствовал себя как человек дернувший нечаянно рычаг огромного незнакомого механизма и пораженный его неожиданным действием.

Не было никакой надежды устроиться в этом городе, где нельзя работать «на цып», где простая кража влечет за собой столько необыкновенных, опасных и совершенно непонятных событий. Он вспомнил о родных краях; но картины прежней жизни были серы и холодны; они не были освещены и согреты ни дорогими образами детских лет, ни тоской по родным местам, ни доброй памятью о верных друзьях. Лишь один островок, более уютный и благоустроенный, чем вся его жизнь, возникал иногда на горизонте памяти: тюрьма, где он провел три недели.

— Войдите, — раздался голос

Молоденький сержант по-докторски распахнул перед Фоней дверь кабинета.

Через час Фоня, распаренный от многих стаканов чая, дымя папиросой, заканчивал показания. Он был весел и доволен; так иногда действует на человека неудача, избавляющая его от тягот дальнейшей судьбы. Фоня рассказал обо всех украденных им курах, точно указав масть каждой; сосчитал всех похищенных поросят; подвел итог всем уздечкам, ряднам и кошелькам, добытым на базаре; всем шапкам, снятым с пьяных; сознался даже в похищении «трех свинок» у мальчика на бульваре — и умолчал только о том, что случилось с ним ночью в музее. Не раз возвращался он к одному и тому же поросенку, не раз, дорожа истиной, уточнял число и породу похищенных кур; как бы сожалея, что источник признаний не может быть бесконечным, он повторялся, смаковал подробности, готовый из симпатии к сержанту сознаться в любом количестве любых преступлений. Но о случае в музее он молчал, ибо не считал его преступлением. Его юридические представления были крайне смутны. Что означают понятия «умысел» и «покушение», он не знал и полагал, что власть интересуется только удавшимися преступлениями, пренебрегая теми, которые не могли быть успешно доведены до конца.

Утомленный его откровенностью, сержант наконец закончил протокол; но, прежде чем подписать его, он задал Фоне на всякий случай вопрос, с которым обращались сегодня ко всем задержанным во всех отделениях милиции города Москвы:

— Не вы ли совершили попытку ограбления Музея живописи и скульптуры?

— Нет, — ответил Фоня чистосердечно.

Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура. Он подписался под протоколом и с легким сердцем отправился туда, где ему вставляли зубы и где его учили играть на домре.

Ялта.
Январь 1940 года



**ДОКУМЕНТАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОЧЕРК**



По следам грабителей могил

«Любая археологическая находка — собственность страны, в которой она найдена, и не может быть вывезена из страны без специального на то разрешения»...»

«...Иностранные экспедиции, по приглашению научного учреждения ведущие раскопки на территории данной страны, имеют право вывозить в музеи своей страны лишь дубликаты вещей, хранящихся в местных музеях, или же с разрешения археологических ведомств — отдельные предметы, не представляющие для данной страны, где ведутся археологические раскопки, особой научной ценности...»

«...Кража археологических находок карается законом...» (Из законов по охране исторических памятников.)

«Три кита, на которых сегодня зиждется международная преступность: наркотики, торговля «живым товаром», контрабанда золота и археологических антиквариетов... Борьба с ними необычайно сложна и бесперспективна: в любом из трех случаев мы сталкиваемся с хорошо налаженной и продуманной организацией, в которой дилетантам делать нечего...» (Из беседы ответственного сотрудника Интерпола с корреспондентом «Лайф».)

Это документальный рассказ об одном из трех «китов» подпольного бизнеса — краже и контрабанде археологических сокровищ в разных странах мира, в прошлом и настоящем. Сегодня эта тема все чаще и чаще появляется в ежегодных отчетах Интерпола, беспокоит многие капиталистические страны, страдающие от

набегов «грабителей могил», интересуется мировую общественность, ученых-специалистов, прессу. Еще бы, бесценные археологические сокровища культуры и искусства многих стран мира сегодня расхищаются в Старом и Новом Свете. Каждый день, каждый час! Не только из государственных музеев и частных собраний, они извлекаются из курганов, могильников, археологических раскопов, о существовании которых не подозревают даже археологи. Ведь на раскопки и археологическую разведку отводится, как на «непродуктивную» отрасль науки, до обидного мало средств... И порой ученые приходят слишком поздно.

ВСЕ ЗОЛОТО МИРА

...Антикварное золото... Небольшая загадочная вещь из тусклого желтого металла, который заставлял гореть жадностью глаза не одного поколения авантюристов, кладоискателей, любителей легкой наживы. Откуда оно? Может быть, в течение тысячелетий оно дремало в гробнице фараона, было похищено человеком, который проложил к нему дорогу в толще каменной громады; может, оно украшало голову, грудь и руки ацтекского правителя, было сорвано с него, а затем проделало долгий путь на одном из тяжелых галионов Карла V, прежде чем осесть в сундуке пирата или в подвале севильского банкира. Ничье воображение не в силах представить в точности его долгий тысячелетний путь...

Человечество издавна знало золото. Желтый ковкий металл с мягким блеском, так похожим на свет божественного Солнца, восхищал еще древних. С самой колыбели человеческой культуры, на всем протяжении истории у многих народов мира с поклонением желтому металлу связана борьба, ненависть и кровь. Тусклый блеск золота дьявольским огнем разливался в зрачках людей, пораженных недугом стяжательства. Ибо алчность родилась, как сказал древний философ, на следующий же день после собственности, но золото всего древнее. Власть, могущество, счастье — все мнилось поколениям крезов, мидасов, гобсеков и шейлоков сквозь желтый призрак обретенного богатства. Золото дает все, золото — благо, богатство, счастье. Золото — власте-

лин мира! Так думали и думают многие, кто живет в обществе, где господствует частная собственность, где золото хранится в сейфах банков и до сих пор определяет смысл жизни миллионов людей. «Золото бессмертно, как птица Феникс, — сказал историк-экономист Сафферленд, — и человеку невозможно избавиться от его власти, кроме как разве что бросить на дно моря...» Увы, акваланг, легкие подводные лодки на аккумуляторах и прочий хитроумный реквизит подводных кладоискателей сделали эту истину весьма и весьма относительной.

Задумайтесь над одним интересным фактом, сообщенным историками-экономистами. Если собрать в одно место все золото мира, найденное за последние шесть тысяч лет, получится куб с ребром в... 21 метр. 80 000 тонн золота, казалось бы, «редкого», как считается, металла! А если к этому добавить все золото мира, добытое за прошлые века, — подсчеты приблизительные, то ребро куба вырастет еще на несколько метров. Но есть и другой подсчет, который никто не делал, — некий куб из крови, пролитой при добыче желтого металла, крови египетских и античных рабов, крови индейцев майя, ацтеков, инков... Человечество носит траур по всем исчезнувшим цивилизациям, и золото в судьбах многих из них сыграло трагическую роль!

Посмотрите на старую музейную драгоценность и задайте себе вопрос: откуда пришло это золото? Как начинался «золотой вестерн»? И любой лихо закрученный детектив покажется лишь бледной тенью этой правды о золоте.

«...Вы, которые через долгие годы увидите эти памятники, рассказывающие о том, что я сделала, вы скажете: «Мы не знаем... как они смогли создать целую гору золота». К сожалению, потомкам пришлось на слово верить «первой великой женщине в истории» — древнеегипетской царице Хатшепсут, по велению которой было совершено одно из древнейших документально засвидетельствованных плаваний в Страну благовоний и золота Пунт, расположенную где-то в Восточной Африке (Сомали?). Торжественное послание к потомкам сохранилось на камне в одном из фиванских храмов, как в «капсуле времени», возраст которой три с половиной

тысячи лет. Надпись осталась, само же золото исчезло, растворилось во времени...

Случайное открытие маленькой пирамиды одного из третьеразрядных фараонов Египта, Тутанхамона, поразило мир нагромождением неслыханного, сверкающего богатства. Царица не лгала: золото было. Много золота! Ведь не случайно вавилонский царь с завистью писал одному из египетских фараонов: «Брат мой, золота в твоей стране столько же, сколько песка...»

«Золотой» роман длился тысячелетиями. Древнейшие золотые копи были обнаружены в Индии и Нубии — там этот металл встречался в виде осевших в камнях прекрасных блестящих кусочков или в виде мелких зернышек, перемешанных с песком. В могилах древних жителей Египта и Двуречья были найдены золотые украшения, выкованные из самородного золота или выплавленные из золотого песка уже в IV и III тысячелетиях до нашей эры. Древний Египет в числе других первых цивилизаций планеты «открыл» золото, и 3500 лет назад оно прославило его на весь мир. Тутмос I получал со своих рудников ежегодно, а их в Египте было больше ста, около 40 тонн золота. Много это или мало? Для сравнения скажем, что такого количества драгоценного металла не добывалось в мире вплоть до 1848 года, времени знаменитой калифорнийской «золотой лихорадки».

В самом начале серии великих катастроф, вызванных «презренной жаждой золота», появляется имя лидийского царя Креза. Богат, как Крез! И действительно, царь этого маленького малоазийского царства был настолько богат, что не мог сосчитать всех сокровищ, собранных в столице государства Сардах. Он был так щедр, что отправил в святилище в Дельфах более 3500 килограммов золота. Желтый металл ему некуда было девать, и Крезу первому пришла в голову счастливая идея чеканить монеты со своей горделивой эмблемой — голова льва и голова быка (священных животных) лицом друг к другу. Так появились первые металлические деньги, монеты... Но аппетит приходит во время еды: завоевав всю Малую Азию и захватив ее сокровища, Крез еще более разбогател, возгордился и решил идти дальше — атаковать персов. Послав новые дары самому «правдивому» Дельфийскому оракулу, он испросил

его совета. «Нападай, — ответственвал оракул, — и ты сокрушишь великое царство». Исполненный радости, двинул Крез свое войско на персов. Великая держава, которую он сокрушил, была его собственная страна...

...Проходят два века. Столица огромного Персидского государства в огне. Солдаты Александра волокут по улицам Персеполиса корзины и мешки с золотом. Гуляя среди трупов, Александр — этот юный македонский бог — натывается на ветерана, который, согнувшись под тяжестью, тащит в царскую сокровищницу мешок с деньгами. «Можешь взять себе, с меня достаточно!» — приказывает Александр под восторженный рев и рукоплескания окруживших его солдат.

Итак, золото фараонов, иудейских царей, финикийцев, хеттов, ассирийцев, вавилонян, персов, Крезово золото находит новых хозяев. Его везут в Грецию 20 тысяч мулов и 5 тысяч верблюдов! 1 000 000 килограммов желтого металла, 250 000 «дариков» золота и серебряных монет, по подсчетам древних авторов, — легендарное сокровище всех времен и народов. Крез был отомщен, «его золото», его проклятое золото, с которым он не знал, что делать, кажется, наконец, нашло достойного хозяина. Но и дни Александра были сочтены, у него не осталось времени, чтобы истратить хотя бы малую толику своих богатств.

Часть сокровищ, собранных во время многочисленных походов от Индии до Египта, была истрачена при его жизни. Остатки золота Александра вместе с империей разделили жадные диадохи — полководцы, и желтый металл наводнил Македонию, Грецию, Египет, Малую Азию, Персию, Среднюю Азию — как раз те районы, которые и получили в управление разделившие империю Александра воинственные наследники. Сокровища были вновь пущены в обращение.

Спустя несколько веков вновь завершается «золотой цикл», золото недолго гуляло на свободе — сокровища, по несколько раз переплавленные и принявшие самую различную форму, вновь сконцентрировались в самой горделивой столице древнего мира — Риме. Увы, и римляне не смогли удержать его, если вообще можно удержать золото в одних руках... Они пустили его по ветру, транжируя на те предметы роскоши, без которых уже не могли обойтись. Еще несколько столетий — и изнеженный Рим обеднел окончательно

и не смог больше платить жалованья наемникам-варварам. Наступил упадок, экономический хаос и золото перестало циркулировать в провинциях империи. Одна за другой они умирали, возвращаясь на уровень натурального обмена: мера пшеницы за овцу, овца за медный котел. Ибо золото, как писали философы, — кровь страны, чем медленнее оно циркулирует, тем медленнее становится жизнь. Время шло медленно, и вот возгорается блеск новой мировой державы — Византии. Все золото мира вдруг вновь сконцентрировалось в последней столице бывшей Римской империи — к нему теперь уже добавилось золото африканское, арабское, азиатское... Но и Византия пала, последний «золотой огонь» был потушен сельджуками. В средневековой полуварварской Европе все последующие столетия драгоценный металл был настолько редок, что алхимики принялись искать способы его искусственного получения. Существует мнение, правда оспариваемое большинством специалистов, что алхимики были способны (а может быть, и теперь способны) получать золото и якобы даже существуют монеты и медали, выбитые из «золота алхимиков». Не случайно их секреты привлекли к себе пристальное внимание первых промышленных шпионов, а многие из алхимиков закончили свои дни в подземельях феодальных замков или на виселицах, разукрашенных, как новогодние елки, «виселицах алхимиков». Тем не менее все это привело к рождению динамичнейшей из современных наук — химии. Говорят, что на дверях алхимической лаборатории Беттгера, раскрывшего секрет китайского фарфора и создавшего свой «саксонский фарфор», красовалась загадочно-горделивая надпись: «Наш создатель, бог, пути которого неисповедимы, превратил золотоделателя в горшечника». И будто бы сей известный миру алхимик на самом деле открыл секрет «алхимического золота», в то же время довольно пренебрежительно относясь к «побочным продуктам» своего алхимического творчества, как, например, к фарфору...

Наконец, и Европа решила, что пора начать искать свою «страну золота», ибо крестовые походы за византийским золотом и золотом «неверных» в Святую землю обходились слишком дорого для нищей Европы. На первое время лидерами оказались морские державы Пиренейского полуострова — Испа-

ния и Португалия, ставшие хозяевами этой западной оконечности Европы после продолжительной Реконкисты.

...3 августа 1492 года на поиски «страны золота» — Эльдorado из Испании отплыли три прочные каравеллы под командованием адмирала Колумба. Он отправлялся, чтобы разведать пути через океан в далекую и сказочную Чипанго, Японию, которая в то время и казалась «землей обетованной», покрытой золотом. Будто бы, как сообщал о нем 20—30 лет спустя турецкий корсар, поэт и великий капудан-паша турецкого флота Пири Раис, Колумб имел с собой какую-то книгу времен Александра Македонского с указанием пути в сказочную Индию и Чипанго. «Неверный по имени Коломбо имел ту книгу, в которой он прочел, что за великим морем лежит земля, населенная людьми... где есть много золота...» По преданию, перед тем как взойти на корабль, Колумб обратился к богу со страстной молитвой — помочь найти ему золото. Золота хотела испанская корона, почувствовавшая вкус сокровищ Альгамбры, золота жаждали севильские купцы и банкиры, снаряжавшие каравеллы Колумба, золотом грезили сотни авантюристов, отправлявшиеся на «край света». Так началась, по сути дела, первая в истории Западной Европы «золотая лихорадка», в орбиту которой был включен уже Новый Свет.

...12 марта 1519 года эскадра из одиннадцати испанских кораблей стала на рейде бухты Тобаско. Оглядывая берег в подзорную трубу, капитан эскадры Эрнандо Кортес машинально теребил тонкую золотую цепочку, с которой он никогда не расставался: цепочка-талисман была изготовлена из золота, привезенного Колумбом. Но теперь золотая эстафета находилась в руках не мореплавателя, а конкистадора, привыкшего работать шпагой. Под началом Кортеса 508 испанских солдат, 100 матросов, 13 лошадей, 10 бронзовых пушек и четыре охотничьих сокола. На берегу — одно из могущественнейших государств Нового Света — империя ацтеков. Высадка. Первый бой. Исход его решают «четвероногие люди», кентавры, испанские всадники — их появление обращает индейцев, ранее незнакомых с лошадьми, в паническое бегство. Прежде чем идти на Мехико, столицу империи ацтеков, Кортес приказывает корабли, кроме одного — он оставляет его «для

трусов», посадить на мель. Все с ним, все хотят идти вперед, за золотом. А там как повезет... На мели 11 каравелл, путь к отступлению отрезан. Начинается Великая Конкиста — завоевание Американского материка...

Увидев впервые золото Монтесумы, даже не успев вытереть кровь с клинка, Кортес в восхищении восклицает: «Ни один земной владыка не имеет большего богатства!» И люди Кортеса с ожесточением плавят и переплавляют в слитки желтого металла изделия и драгоценности редкой красоты и изящества, с любовью и большим искусством изготовленные ацтекскими ювелирами. Изделия, которые бы даже в то время в непросвещенной Европе стоили бы гораздо дороже, чем золото, которое пошло на их изготовление. А в наше время многое из того, что переплавили конкистадоры, изготовленное чуть ли не в одном экземпляре, в буквальном смысле слова не имело бы цены...

А на юге, за Панамским перешейком, другой «золотоискатель» — авантюрист Франсиско Писарро, бывший каторжник и ландскнехт — во главе сброда негодяев грабит знаменитую империю Великого Инки Атауальпы.

Золото Америки, награбленное на двух континентах, хлынуло в сундуки севильских банкиров, мадридской знати, в подвалы королевского дворца. Сначала из Мексики, затем — Перу. Тяжелые галионы и каравеллы в течение нескольких лет возили золото ацтеков, майя, инков, чибча-муисков (среди которых, кстати говоря, бытовала легенда о человеке, покрытом золотом, и стране золота — Эльдорадо). Тяжелые, неповоротливые корабли, загруженные настолько, что их появление в Атлантике возродило в ряду других причин и старую профессию — пиратство — и бурю негодования со стороны европейских держав, опоздавших к дележу американского пирога. В конце XVI века примерно только треть грузов, отправляемых морем, не доходила до портов назначения. Это было время, когда черный флаг господствовал на огромных морских просторах Атлантики, Тихого и Индийского океанов, а в руках пиратов, по самым минимальным подсчетам, осталось около 100 тонн золота из числа отправленного только из Америки в Испанию. «Веселый Роджер», зловеще

скалась с черных полотнищ, поднялся на мачтах судов английских, французских, голландских, испанских и прочих пиратов, не помнящих своего родства. Наступила знаменитая, веселая и бесшабашная эпоха пиратства, корсарства, каперства, буканирства в морях, омывающих Старый и Новый Свет...

Пираты даже создали свою «вольную» республику с центром в Порт-Рояле (о. Ямайка), впоследствии погрузившемся на дно Карибского моря. Часть золота, направлявшегося в Европу, осела здесь и на соседних островах, породив множество страшных и забавных легенд о запрятанных кладах и целое направление в авантюрно-приключенческой литературе Западной Европы. До сих пор искатели сокровищ ищут знаменитые клады одного из самых удачливых из «джентльменов удачи» — капитана Кидда, казненного в 1701 году. Пираты, наиболее преуспевшие в своем ремесле, получали титулы дворян, становились губернаторами островов и провинций, членами парламентов, как, например, сэр Френсис Дрейк, корсар ее Величества королевы Елизаветы, активно помогавший английской короне утвердить свое владычество на торговых коммуникациях Атлантики и Тихого океана. Некоторые из пиратских капитанов, как Морган, явились основателями современных династий миллиардеров в США, имена других, совершивших попутно географические открытия, украшают современные карты и атласы...

ОГРАБЛЕННЫЕ ФАРАОНЫ

Если далекий предшественник Рамзеса Великого Тутмос I, правивший лет за триста до него, ежегодно получал со своих разработок до 40 тонн золота в год, а это происходило задолго до открытия нубийского золота, то сколько же желтого металла обрушилось на Египет при Рамзесе Великом. Знаменитый историк — «отец истории» Геродот — оставил нам интересный рассказ о фараоне Рампсините, то есть о Рамзесе II Великом и его сокровищах, о попытках разорить фараона. Его рассказ, записанный во второй книге «Истории» Геродота, сохранился до наших дней.

...Этот царь, по рассказам жрецов, был очень богат, и никто из позднейших царей не мог превзойти его богатством или хоть как-то сравняться с ним. Желая сохранить свои сокровища в безопасном месте, царь повелел построить каменное здание так, чтобы одна стена его примыкала к внешней стене царского двора, а другие стены были бы сплошными, каменными, без окон и дверей. Однако старый архитектор, отец двоих сыновей, схитрил и устроил следующее — он сложил камни так, что один из них было под силу вынуть даже слабому человеку, а перед смертью поделился со своими сыновьями тайной царской сокровищницы: нарисовал план и рассказал, как добратся им до фараонова золота, чтобы стать «казначейми» царских сокровищ. Похоронив отца, сыновья сразу же приступили к делу — пробрались ночью к золоту и унесли часть его. Так они делали несколько раз, и фараон, приходящий любоваться по утрам на свои богатства, с удивлением обнаружил, что кто-то посещает его кладовые, унося часть золота. Однако печати на дверях были целы, а на пыльном полу не было и намека на следы.

Тогда он сделал вот что: приказал наделать капканов и поставить их по всему помещению у сосудов с сокровищами и корзин с драгоценностями. Через какое-то время братья снова пошли в свою «казну», и младший из них попал ногой в капкан. Ничто не помогло, сломался нож, но капкан был намертво закреплен в полу. Тогда младший сказал: «Я пропал, меня не спасти. Оставайся с матерью... Но вначале отрежь мне голову и унеси с собой, чтобы никто не узнал, кто воровал, — иначе казнят мать и тебя». Брату ничего не оставалось, как решиться на это страшное дело...

Утром Рамзес нашел в сокровищнице только обезглавленный труп. Понял он, что противник у него оказался «с головой». По совету жрецов приказал выставить труп вора на городской стене и поставил стражу и соглядатаев, чтобы они хватали всякого, кто вздумает оплакивать покойника. Весь город, взбудораженный сенсационной новостью, пришел смотреть на труп вздернутого за ребро. Но вор и здесь оказался на высоте — ему удалось уже под вечер напоить стражу и увезти труп своего брата.

...В этом месте Геродот делает следующую ремарку, прежде чем перейти к дальнейшему изложению своей детективной истории: «Я-то, впрочем, этому не верю». А речь идет вот о чем. Фараон, рассердившись не на шутку, решил любым путем узнать, кто же этот плут, взявший на себя смелость вступить в единоборство с владыкой Верхнего и Нижнего Египтов. Для этого фараон будто бы отдал свою дочь в публичный дом, приказав ей принимать всех без разбора. Но прежде она должна заставлять каждого, входящего к ней, рассказывать свой самый хитрый, самый дерзкий и нечестный поступок в жизни. А кто расскажет историю об ограблении фараона и о последствиях оно́го, того она схватит за руку и даст знать стражникам, которые будут спрятаны поблизости, — преступник будет пойман... Как было приказано, так было и сделано. Но «казначей» сразу же разгадал хитрый маневр своего противника. Он пришел на свидание к царевне и рассказал ей об ограблении сокровищницы. Царевна подняла крик, схватила грабителя за руку. Увы, когда с факелами и обнаженными мечами в опочивальню ворвалась стража, царевна держала в руках... отрубленную по самое плечо руку. Не теплую, живую руку, а холодную руку мертвеца, которую брат позаимствовал у брата в своей борьбе с фараоном.

Когда Рамзесу сообщили о новой проделке дерзкого грабителя, — тот поразился ловкости и отваге этого человека, обещая ему полную амнистию и... руку своей дочери. Вскоре состоялась свадьба, ибо, как пишет Геродот, фараон полагал, что египтяне умнее всех народов на свете, а этот человек оказался даже умнее египтян, самым умнейшим человеком на свете.

Разумеется, в этом рассказе Геродота переплелись быль и небылица, а точнее всего здесь записана одна из народных египетских сказок, слышимая знаменитым историком во время посещения Египта. Однако, вне всякого сомнения, это один из древнейших легендарно-сказочных детективов, в котором нашли отображение сюжеты ограбления царских сокровищниц, которыми, как правило, являлись их усыпальницы (на это указывает как сама ситуация с «глухой» постройкой, так и роль мертвого тела, расчлененного на части и выносимого наружу).

С глубокой древности на путях, которыми по тем или иным причинам кочевало золото, часть этого драгоценного металла исчезала, растворялась. Слитки, монеты, произведения ювелирного искусства, предметы домашнего обихода, как правило, у каждого народа мира оседали в погребениях: гробницах, курганах, пирамидах, могильниках, всевозможных усыпальницах. Вместе с предметами погребального культа они сопровождали мертвых в потусторонний мир, чтобы и там обеспечить их владельцам безбедное существование. Кто владел золотом на земле — владел им и в загробном мире...

Стремясь оградить захоронения от грабителей могил, фараоны и египетская знать вынуждены были держать мощную службу охраны на западном берегу Нила, где находился некрополь — город мертвых, Долина Царей. Охрана гробниц, таким образом, видимо, стала одной из древнейших функций первой в истории человечества полиции. Не надеясь на стражу, с которой можно было найти общий язык, фараоны стремились всячески сокрыть или затруднить доступ к погребальной камере, наполненной сокровищами. Как правило, вход в склеп закрывался изнутри тяжелым замковым камнем. После совершения погребальной церемонии из-под камня выбивались опоры, и он, съезжая вниз, напрочь замуровывал проход в центральный покой, где стоял гранитный саркофаг с золотой мумией фараона, а в соседних помещениях располагались его сокровища. Такой же огромный камень, спущенный вниз по наклонному ходу в склеп, закрывал вход в коридор. Колодец, по которому спускались люди, после того как замуровывались входы и выходы, засыпался землей и закладывался огромной плитой, не отличающейся от соседних плит. Фараон мог мирно спать под стометровой громадой пирамиды, не доступный ни людям, ни демонам...

Все предосторожности оказались напрасными: царские гробницы и 99 процентов обычных могил знатных людей Египта оказались пустыми, будучи, видимо, ограбленными в глубокой древности. Не помогли охранные надписи, проклинающие воров, каменные глыбы, запутанные лабиринты подземелий, ловушки для грабителей — ямы, которые внезапно разверзались, если тронуть какой-нибудь специальный «рычажный камень»,

или же плиты, вдруг обрушивающиеся на головы незадачливых грабителей, если приходил в действие другой механизм. Археологов ждали огромные... пустые залы, гулкие коридоры, развороченные саркофаги... А может быть, золото фараонов было изъято из гробниц самими жрецами для «государственных нужд»?

Оказалась пустой самая древняя пирамида Египта, ступенчатая усыпальница Джосера, может быть, как предполагают исследователи, ограбленная спустя всего лишь 500 лет после ее постройки. Взломщики двигались в направлении к усыпальнице уже около 4000 лет назад, проделывая исключительно тяжелую работу — при помощи примитивных орудий они пробивали ходы в толще пирамиды и скального основания. В 1821 году немецким археологам достались только позолоченные череп и ступня фараона, да и те утонули при перевозке во время кораблекрушения... Пустыми были могилы самых древних фараонов в Абидосе, вторая по величине пирамида Хефрена, «пирамида ужаса» последнего царя солнечной династии Унаса и многие-многие другие.

Насколько тяжела была профессия «грабителя могил», говорит тот факт, что в составе первых артелей по ограблению пирамид, как сообщают следственные папирусы, находились мастера-профессионалы — каменщики, медники и другие, хорошо знающие устройство пирамид и отлично владеющие материалом и инструментами. Незавидной была доля этих первых «медвежатников» — ведь пробиться сквозь толщу каменного «сейфа», мягко говоря, дело нелегкое даже для наших современников, вооруженных новейшей техникой. Посудите сами, если самый громадный «сейф» Древнего Египта, знаменитую пирамиду Хеопса, строило 100 тысяч человек в течение двадцати лет. И тем не менее гигант древнего мира оказался ограбленным... Нужно не забывать при этом, что грабителям пирамид приходилось действовать в на редкость сложных условиях, работая тайно по ночам, и выносить землю и щебень мешками, корзинами, чтобы никто не обнаружил подкопа. Тот же Геродот вспоминает, что в городе Нине в Ассирии ему пришлось слышать об ограблении царской сокровищницы Сарданапала, находившейся в глубоких подземельях. Там грабители принялись копать туннель от своего дома к царскому дворцу,

землю же, вынимаемую из прокопа, они ночью сбрасывали в реку Тигр, текущую у города. Подобным же образом, видимо, поступали и египетские «медвежатники» — Великий Хапи смывал все следы преступления.

Сенусерт II, затем его преемник Сенусерт III, зная и учитывая печальную судьбу своих ограбленных предшественников, пытаются перехитрить грабителей. Они строят самые «хитрые» в истории Египта пирамиды с удивительно сложной и запутанной системой лабиринтов, подземных переходов, ложных тупиковых ходов и даже со специально устроенной ...фиктивной могилой. Она должна была убедить грабителей в том, что в пирамиде уже кто-то побывал задолго до них. Но все напрасно — битву за золото фараонов выигрывают грабители...

В XI веке до новой эры царь-жрец Херихор приказывает обойти царские усыпальницы, собрать драгоценные мумии и спрятать их в засекреченный тайник у храма Дейр-эль-Бахри. Государственная власть и некогда всемогущее жречество уже не в состоянии были защитить священные мумии от ненасытной алчности «грабителей могил», не верящих ни в бога, ни в черта... Многие из уцелевших фараонов вынуждены были «сменить адрес» — под покровом ночи верные жрецы, руководимые Принцем Запада, доставили их мумии из Долины Царей в специальный тайник, вырубленный в скалах на глубине более 9 метров. Вход в шахту был опечатан и тщательно замаскирован от посторонних глаз. Теперь уже жрецы сами действовали подобно своим противникам — тихо, тайно, под покровом ночи... Трудно сказать, клялись ли они вечно хранить священную тайну, но, как показали открытия нового времени, они крепко держали язык за зубами, потому что перенесенные ими мумии — а всего было перепрятано около 60 саркофагов — пролежали нетронутыми более 3000 лет. А может быть, этих жрецов затем тайно умертвили, дав им испить яду, чтобы о тайне знали лишь один-два человека в государстве. И такое вполне могло произойти, ибо опыт мог научить фараонов, что нельзя доверять особо строителям и архитекторам — ведь у них остаются наследники, которые могут стать «казначейями» царских сокровищниц... Летом 1881 года только был обнаружен тайник с мумиями фа-

раонов — Сети I, Рамзеса II Великого, Аменофиса, Ахмеса, Сезостриса, Рамзеса III и других. Всего исследователи насчитали 36 мумий; складывая их в тайник, жрецы, как в музее, не забыли оставить на каждой из них табличку с именем и указанием, где она была захоронена прежде (выяснилось, например, что Рамзес III трижды путешествовал с места на место).

Любопытно представить себе первых «грабителей могил» — не коронованных завоевателей, а простых людей, избравших в древности такую опасную и рискованную профессию. Нарушить покой фараона, что может быть кощунственнее этого? Какой отчаянной смелостью, изобретательностью и неверием в месть «потусторонних сил» нужно обладать, чтобы решиться на подобный шаг... Англичанин Ричард Пок в 1743 году с ужасом описывал в книге «Картины Востока» Долину Царей. Будто бы все здесь вымерло, ни следов каких-либо поселений, ни дерева, ни травинки, ни дыхания жизни. Спутники англичанина не решались провести ночь в этом унылом месте. Им казалось, что духи прошлого, души усопших фараонов витают в мрачной долине мертвых. А лет через 25 эти же места посетил образованный и просвещенный английский консул в Алжире Джеймс Брук, страстный любитель древностей. Он рассказывал о тех трудностях, которые ему пришлось преодолеть, уговаривая местных гидов сопровождать его в Долину Царей. Охваченные суеверным ужасом, проводники просто-напросто оставили любознательного путешественника одного, когда тот решил переночевать в таинственном месте. Оставшись наедине с грозными тенями, Брук не смог вынести угнетающей тишины долины, и лишь солнце село, как им неожиданно овладело такое чувство страха, что путешественник со всех ног бросился бежать к берегу Нила...

Как ни странно, но первые грабители могил — рабы, рабочие-строители, свободные общинники-крестьяне и другие, решившие таким путем перераспределить богатства фараонов и знати, оказались и первыми... стихийными «атеистами», задолго до Гераклита, Эпикура и Лукреция усвоившими простую истину, что, кроме кар земных, не существует никаких иных «кар небесных». Правда, их «эмпирический» метод отрицания осуждало — мягко говоря! — не одно поколение

фараонов, жрецов, авантюристов-кладоискателей и археологов, ограбленных в равной мере как те, так и другие.

...Фараоны регулярно высекали на стенах гробниц и саркофагов одну охранительную надпись за другой, одно проклятие в адрес возможных грабителей за другим (они звучали примерно так, в современном смысле: «Да пусть у тебя, о нечестивец, отсохнут руки, ослепнут глаза и отнимутся ноги, если ты, безбожник, сейчас же не вылезешь из моей могилы, куда тебя никто не звал...», «Брось, брось, тебе говорят, мою корону, не сдирай позолоту, негодяй, с моего божественного лика...» и т. д. и т. п.); грабители же не менее упорно игнорировали ругань и проклятья по своему адресу и продолжали вскрывать одну пирамиду за другой. Папирусы рассказывают нам о судебных делах против грабителей, говорят о «падении морали», «пренебрежении к порядку и религии» (естественно, по мнению правящего класса Египта). О том, как поступали в те времена с пойманными грабителями могил, мы уже знаем по рассказу Геродота. Немецкий ученый Э. Церен в известной книге «Библейские холмы» дополняет рассказы древних папирусов.

Так, пишет он, в 1952 году экспедиция египетских археологов из департамента службы древностей сделала одно любопытное открытие в пустыне Южной Нубии. Она нашла здесь гигантскую, 20-метровую, статую сфинкса. Громадная фигура внутри оказалась поллой и имела несколько камер. Проникнуть в этот каменный колосс можно было, только поднявшись на высоту около 15 метров по лестнице. Перед глазами изумленных исследователей возникла страшная картина: с потолка камер свисали кожаные петли, в узлах которых сохранились остатки человеческих ног, а пол был покрыт сотнями человеческих черепов. Очевидно, этот колосс с телом льва и головой человека издавна был местом казни. Приговоренных к смерти подвешивали здесь за ноги и выдерживали на горячем солнце до тех пор, пока распадавшееся тело не обрушивалось на пол камеры. Ведь в рассказе Геродота труп грабителя тоже был вывешен на всеобщее обозрение на городской стене (в Египте обычно трупы казненных выставлялись на столбах на стене). Кончали ли здесь в статую свою жизнь в страшных муках «грабители могил»

или же «рабы-сфинксы» — опытные архитекторы и мастера по сооружению гробниц и сложных подземных ходов, тайну которых они должны были похоронить вместе с жизнью в пустом чреве сфинкса? Археологи считают, что это наверняка могли быть как те, так и другие. С тех пор найдено еще пять подобных сфинксов...

Прошли века и тысячелетия... По всему миру еще в древности были разграблены «своими» или «чужими» кладоискателями памятники старины — прекрасные скальные гробницы древних арабов-набатеев Петры в Сирии (причем ограблены, как заметил известный английский альпинист Д. Браун, опытными «мастерами-скалолазами» с использованием специального снаряжения); тогда же, в древности, местные «знатоки» погребений один за другим вскрыли недра большинства золотобильных курганов скифских царей и военачальников, в одном из них — в знаменитом Чертомлыке — был даже найден скелет не успевшего выскочить из-под земляного обвала скифа-грабителя. Старинными топорами и молотами, сквозь пласты вечной мерзлоты, прокладывали дорогу к сокровищам грабители енисейских и алтайских чаатасов... Да разве перечтешь все те места на земном шаре, где еще в древности не поработали бы кирка и заступ «грабителей могил», этих первых стихийных археологов, предшественников современных кладоискателей.

«АНТИКВАРНАЯ ЛИХОРАДКА»

...Италия — Швейцария. Граница. В длинном последней модели «бьюике» двое. Туристы. У машины учтивый таможенник.

— У синьора, конечно, есть документы, разрешающие вывоз этой скульптуры?

— О, все в порядке. Мы купили этого парня во Флоренции. Вот бумага — это этрусский бог, седьмой век до нашей эры, печать.

— Все правильно, синьор... Только... тысяча извинений — это не этрусски, это поздний Рим, причем копия...

— Проклятье! Зачем мне нужен этот Рим?! Сейчас в моде именно этрусски...

И «бьюик» уносит разъяренных туристов в Швейцарию. Таможенный офицер смотрит им вслед: «Когда-нибудь они увезут в своих чемоданах Колизей...»

Читатель, наверное, обратил внимание на последнюю фразу разъяренного туриста: «Сейчас в моде именно этрусски...» Ну конечно, одураченному «знатоку» всучили что ни на есть «подлинного этруска». Смешно? Конечно. Но веселые итальянцы, да и не только они, мрачнеют, когда речь заходит о художественных сокровищах их стран. Еще бы, бесценные художественные наследия многих стран мира в Старом и Новом Свете расхищаются сегодня направо и налево. Каждый день, каждый час! Из музеев, частных собраний, археологических раскопов, о которых порой не знают сами археологи. Причина? Мода. Мода на различные археологические антикварии обрушилась на Европу, США, другие капиталистические страны. Вряд ли когда-нибудь древние ваятели, ремесленники и ювелиры думали, что их произведения будут не только предметами преклонения, но и жертвами прихотливой моды. А уж если мода на туфли на платформе и этрусских богов, египетских скарабеев и индейские расписные сосуды, то не сомневайтесь — будут и туфли и антикварии. Туфлями завалит магазины предприимчивый фабрикант, а откуда появятся этрусски и прочие древние раритеты — это никого не интересует. Разве что только полицию...

Еще один разговор, может быть, записанный сотрудниками Интерпола в одном из небольших уютных швейцарских городков.

— Обратите внимание на этот золотой кувшинчик, мадемуазель, это не просто кувшин, ему по крайней мере около двух тысяч лет. Он неплохо украсит вашу квартиру.

— Месье хочет сделать дорогой подарок своей даме? Могу предложить уникальное украшение. Эта золотая брошь, возможно, принадлежала ацтекской принцессе. Очень ценная вещь, месье, поверьте... и очень редкая...возможно, в одном экземпляре.

Господин Гобе, хозяин небольшой антикварной лавки — как известно, в такой-то и можно найти «настоя-

щую вещь» — не может пожаловаться на отсутствие покупателей. В интервью с зашедшим на огонек древнего светильника журналистом он изложил суть сегодняшнего «антикварного бума».

Стандартизация жизни, массовая культура, поточное производство предметов широкого потребления и многое-многое другое, что делает современную жизнь, скажем, среднего француза неотличимой от жизни среднего англичанина, шведа, американца, приводит к желанию «быть непохожим на соседа», отличаться от него чем-то «своим», ему одному присущим. Это так же, как, например, женщины не хотят носить одни и те же платья, пальто, туфли, а предпочитают одеваться у своих мастеров, в маленьких частных фирмах с ограниченным «тиражом» продукции. Не случайно элита предпочитает отличаться от «толпы» своей непохожестью на нее, поэтому она одевается у Диора... Не правда ли? Помните, какой скандал произошел на одном из кинофестивалей, когда две кинозвезды появились по какой-то досадной случайности в одинаковых платьях «от Диора»? Парад не состоялся, они готовы были испепелить друг друга на месте...

Моду задают женщины, особенно дамы света. Они вдруг захотели носить украшения, принадлежавшие чуть ли не Клеопатре, есть из посуды, которой пользовались древние кельты или греки. Полная гарантия, что второй такой вещи вы не найдете. И чем древнее вещь, чем она уникальнее, тем больше она ценится, тем больше на нее спрос. «Чем древнее — тем дороже!» — вот лозунг спроса и предложения на «черном рынке». Конечно, и здесь не следует впадать в крайности, иначе грубый палеолитический топор будет стоить дороже изящной этрусской вазы. Вещь должна быть древней и в то же время «модной», в чем-то «современной», близкой к нашим эстетическим вкусам... В лавке господина Гобе есть вещи, которые с успехом могли бы занять почетное место в лучшем археологическом собрании мира. Поэтому дело у одного из многих швейцарских антикварных коммерсантов поставлено на широкую ногу, и клиентура у него самая высокопоставленная.

— Я торгую только уникальными вещами, — хвастает господин Гобе, — и подделок не найдете у меня в магазине, хотя такие магазинчики есть у нас... для

тех, кто победнее и кому подлинник не по карману. К наиболее редким и ценным вещам, вазам, украшениям, посуде я прилагаю акт экспертизы, подтверждающий происхождение вещи, с указанием века и культуры. Экспертиза выполняется порой очень авторитетными специалистами-археологами, естественно, не бесплатно... (Обратите внимание, читатель, на эту последнюю фразу, — мы еще вернемся к «научной экспертизе» археологических сокровищ.)

Г-н Гобе, правда, не приоткрыл многие тайны своей профессии, о которых мы намерены рассказать далее. Например, о том, что швейцарские антикварные дельцы никогда не назовут вам место, где найдена та или иная вещь, человека, который ее ему доставил. По обоюдному соглашению они предпочитают молчать, когда не в меру любознательные сотрудники Интерпола пытаются пополнить свою историческую эрудицию, разглядывая золотой перстень Клеопатры или ночной горшок римского патриция, сделанный из золота. Впрочем, это еще раз подтверждает известную истину: бизнес — всегда дело темное и не любит огласки.

Антикварный бизнес... Это странное на первый взгляд ремесло, как мы уже отмечали, существовало всегда; были годы, когда оно затихало (мир увлекался «чистым модерном»), а затем возрождалось снова. Сегодняшний «антикварный бум» начался более десяти лет тому назад и был вызван целым рядом археологических открытий в Старом и Новом Свете. На интересе к археологии, истории, на сенсационности загадок древнего мира сыграли дельцы. Предметы старины, которые когда-то интересовали лишь узкую группу ценителей, сегодня стали товаром широкого потребления. Крупные универсальные магазины Брюсселя, Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка создали у себя антикварные отделы. Но «антикварная индустрия» очень специфична по своему исходному «сырью». Машина времени, чтобы оптом вывозить древности в XX век, не создана, и страсть к старине переросла в агрессию, в открытый грабеж сокровищ.

...Две с половиной тысячи лет тому назад в этих местах, только чуть севернее, на территории современной Австрии, существовало небольшое, но известное всему миру процветающее местечко Гальштат, давшее название целой археологической культуре. Жители

Гальштата всего-навсего торговали... солью, самым редким и желанным товаром доисторического экспорта-импорта, и их богатству мог бы позавидовать легендарный Крез. В погребениях гальштатских «солевладельцев» было найдено огромное количество ценных предметов, буквально как в антикварных лавках Швейцарии наших дней, собранных со всего света. Здесь были: закаленная испанская бронза, «булат древности», египетские стеклянные браслеты и бусы, изящная африканская резьба по слоновой кости, балтийский янтарь, этрусские золотые и серебряные украшения, средиземноморские и индийские раковины, аравийские кованые и накладные изделия из серебра — в общем, все то, что мог производить любопытного и модного тогдашний «цивилизованный мир». Соль очень ценилась в древности... Маленькое поселение на краю света приобрело международное значение, стало интернациональным, если смотреть на него с учетом археологических находок.

Мы позволили здесь небольшой исторический экскурс не потому, что хотели сказать, будто все богатства гальштатских «солепромышленников» осели в антикварных лавках Швейцарии (действительно, там их можно встретить), а потому что хотели провести параллель между Гальштатом тех лет и Швейцарией наших дней. Почему сегодня Швейцария считается одной из первых стран в антикварном бизнесе?

Удобное географическое положение — близость к древним центрам цивилизации: Греции, Риму, южному Средиземноморью; статус «открытой страны»; удобные пути сообщения — десятки авиалиний и железных дорог; наплыв состоятельных туристов, к тому же еще охваченных благородной страстью к «седой старине»; труднопроходимые, но с точки зрения контрабандистов, наоборот, легкопроходимые границы; ну и, что ли, «антикварные традиции» сделали Швейцарию международным центром в торговле редкими, а порой и уникальными произведениями культуры и искусства всех времен и народов. Это хорошо знает специальный отдел Интерпола (официальное название его — Международная организация криминальной полиции; штаб-квартира Интерпола находится в Сент-Клу, близ Парижа), занимающийся розысками похищенных сокровищ. Если

ограблен какой-либо музей мира, богатое частное собрание или же из рук пограничников и таможенников выскользнули ловкие контрабандисты, по сведениям полиции проявлявшие нездоровый интерес к «археологии», по совету сотрудников Интерпола за теми или иными антикварными магазинами Женевы, Цюриха, Базеля, Берна или Лозанны сразу же устанавливается неусыпная слежка швейцарской полиции. Иногда это приносит плоды... В большинстве же случаев швейцарские антиквары разводят руками: «Нет, не видели... Не было... Что вы, как можно?!»

У антикварного бизнеса солидные клиенты!

Известный итальянский искусствовед Аннабелла Росси несколько лет назад посетила нью-йоркские музеи «Метрополитен» и другие. Среди экспонатов она вдруг обнаружила произведения итальянских мастеров. Увидев ее недоумение, американский коллега объяснил синьоре Росси:

— Видите ли, произведения искусства всегда скапливались там, где деньги. А у нас деньги были всегда... Что вам еще сказать? Видимо, так было и так будет. Взгляните хотя бы на эту уникальную диадему, — продолжал словоохотливый бакалавр изящных искусств. — На ней написано: «Фонд Роджера, 1959 год». Что это значит? То, что она была куплена за деньги из частного фонда. Кем и у кого? О, на этот вопрос ответить трудно...

Кто же эти люди и где они работают на «антикварную лихорадку», на женевских, лондонских, парижских, амстердамских, нью-йоркских и прочих «любителей древностей»? Об этом рассказала в журнале «Сьянс э вуаяж» французская журналистка Клод Малуа.

ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ УАКЕРО

...Он даже симпатичен, этот человек, избравший своей профессией столь экзотическое и опасное ремесло кладоискателя, «грабителя могил». Подвижное, загорелое лицо покрыто густой сетью морщин («Солнце. Проклятое солнце!» — улыбается он), голубые с прищуром глаза. Его имя Робер Вернье. Чувствовалось, этот человек с дипломом археолога, полученным в университете в Дордоне, совсем недавно вернулся в Париж.

— Что вы делаете в Париже?

— Продаю то, что я там нашел. Мои покупатели — это спекулянты, прежде всего антиквары. Я их знаю, они — меня.

Там — это Бокас дель Торо, район на границе Панама и Коста-Рики, где под сплошным покровом тропических джунглей одни лишь ядовитые гады, ягуары и оцелоты.

— Как вы могли жить и раскапывать могилы в том зеленом аду, где человек быстро погибает? Особенно белый...

— Вопрос привычки.

— В Сан-Хозе мне говорил о вас Луис Хартман.

...Старик Хартман. Вероятно, мало через чьи руки проходило столько золота, сколько через его. В свое время он продавал его килограммами, как другие продают мясо. Глядя на этого человека, можно сразу было увидеть в нем настоящего авантюриста: стальной блеск глаз, нездешний загар, которому позавидовали бы модницы на Лазурном берегу, решительное и волевое лицо человека, не признающего компромиссов и полумер. Человек-волк, как его зовут многие из коллег по ремеслу. Десять его сыновей — точная копия отца. Они тоже профессионалы.

— На всем свете существует всего 10—15 человек, которые знают о Бокас дель Торо.

— Вы думаете вернуться туда?

— Разумеется.

Рано или поздно, так же как и два его приятеля-«могильщика» — Федерико и Фаустино, отправившихся на поиски сокровищ, — один погиб от укуса страшной жарараки, другого разорвал ягуар, — этот человек найдет свою смерть в Бокас дель Торо.

— Вы заявляете властям о найденных вами сокровищах?

Он посмотрел на меня с изумлением:

— Насколько я знаю, такие люди, как я, не состоят в списках налогоплательщиков.

Проходить каждый день по двенадцать часов, часто сутками находиться без еды, спать на земле под дождем или в давящей тишине тропической ночи, которую неожиданно разрывает рев ягуара... Неужели все это нужно, чтобы стать богатым?

Робер поднялся, подошел к темному, красного дерева бюро, вытащил небольшую картонную коробку и раскрыл ее.

— Смотрите.

Перед моими глазами калейдоскоп украшений, золотых крабов, сосудиков, разрисованных орнаментами из птиц, змей, пауков, ящериц — будто вся фауна сельвы собралась на них, — фигурки, кольца, резные драгоценные камни. Находки, которые сделали бы честь любому археологическому музею мира и которые, увы, теперь я точно знаю, уже навсегда потеряны для археологии, истории и искусства. Вряд ли знали индейские жрецы и полководцы, что их украшения будут красоваться на груди какой-нибудь богатой баварской бюргерши или голливудской кинозвезды... От такого количества золота зарябило в глазах. Даже на неискушенный взгляд, стоимость этой коллекции исчислялась в несколько тысяч долларов.

— Теперь вы понимаете меня? — спросил хозяин сокровища, чтобы как-то разрядить тягостное молчание и оправдать себя.

— Вы фотографируете раскопки?

— Конечно, некоторые мои тщеславные или недоверчивые клиенты требуют «вещественных доказательств». Боятся подделки...

В его словах прозвучала насмешка над ними.

— Вот одна из фотографий. Правда, для того чтобы ее сделать, я бы мог не ездить так далеко.

Лопата в руке, грязная сырая рубаша, баскский берет на голове — по словам хозяина, он лучше всего защищает от солнца, — обросший, постаревший... Да, сомнений быть не могло, снимок сделан в Бокас дель Торо.

— Сколько европейцев занимаются вашим ремеслом?

— По-моему, в наших краях — я один. По крайней мере, — тут он криво усмехнулся, — мне бы так хотелось.

— У вас есть сын, не думаете ли вы, что и он когда-нибудь займется вашим ремеслом?

— Рано. Ему всего двенадцать лет, а уакеро — так у нас зовут людей моего дела: «уака» — «могила», значит — «могильщик», — вовсе уж не такая легкая про-

фессия. Но она сделает из мальчика мужчину... Впрочем, ему надо учиться. Наша профессия требует немалых знаний в истории, археологии, этнографии.

— Давно вы стали уакеро?

— С 1955 года. Тогда мне было 27 лет... Я путешествовал по Центральной Америке, делая пометки в блокноте, я хотел написать книгу. Именно тогда я понял, в чем мое призвание. Добывать золото!

Это слово витало в воздухе, когда я разговаривал с индейцами под Копаном, Паленке, Ушмалем, повсюду... Оно и здесь, в этой комнате, в каждом ее углу, в большой картонной коробке с драгоценностями.

— В каждой ли могиле вы находите золото?

— Нет. Бывает, что иной раз работаешь неделями, как вол, и ничего не находишь. В прошлом году, например, я работал в компании двух сыновей старого Хартмана. Открыли две могилы: в своей они нашли много утвари и украшений, даже золотого орла весом в полкилограмма. Это было великолепное украшение стоимостью не менее пяти тысяч долларов. Я же ничего не нашел...

— Очевидно, в таких случаях удачу и неудачу вы делите поровну, не правда ли?

— Никогда! Наш девиз — каждый за себя. Кооперирование — политическое слово, и его не существует в словаре уакерос... Правда, через несколько дней повезло и мне.

Что поражает в подобных людях — это жажда золота, ради которого они готовы на все: переносить любые лишения, рисковать своим здоровьем, своей и чужой жизнью. Золото их опьяняет, дает им силы на новые поиски. Золото — их жизнь, их кумир.

— Есть ли еще районы в Центральной Америке, где существуют древние захоронения?

— Да, район Чирики, но он легко доступен, и большинство могил там уже разграблено. Конечно, можно найти что-либо, но это даже не оправдывает затрат на дорогу. Слишком много развелось в последнее время любителей легкой наживы. К тому же мода на всякую антикварную дребедень требует все больше и больше товаров.

Робер редко отправляется на поиски археологических сокровищ с компаньонами, чаще всего он работает один — ждет, когда подрастет сын.

— Так проще, не нужно заботиться, если кого-то укусила змея... К тому же каждый компаньон — конкурент, а в джунглях, вы сами понимаете, к добру это не приводит... Слышали, наверное, о Кинтана-Роо?

...В тех местах каждый день гремят выстрелы, ночью перестрелка затихает: противники меняют позиции, отдыхают, при свете «летучих мышей» изучают карту местности, на которой им придется водить друг друга за нос, продолжая итальянскую игру в полицейских и воров. Местность эта называется Кинтана-Роо, и ее вряд ли найдешь на карте Мексики. Южный отдаленный пограничный район знаменит не только своими «сухими» джунглями, кишачими змеями и коварными американскими «эль тигрес» — ягуарами. Он еще знаменит и своими овальными холмами с каменными квадратными плитами на вершине: под каждой из них — свеженький, не разграбленный клад, целое состояние.

«Кинтана-Роо объявлена на осадном положении, и туда введены войска», — сообщала несколько лет назад американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн».

Эта информация была не только экзотической страничкой из жизни южномексиканской сельвы, она явилась и сигналом для «грабителей могил»: прежде чем разбогатеть — вооружайтесь. Ведь путь сюда начинался в США (Флорида), морем через Мексиканский залив и заканчивался ночной высадкой где-нибудь на пустынном побережье Юкатана, в стороне от маршрутов кораблей мексиканской береговой охраны. Но этот долгий, опасный и утомительный маршрут только для новичков, на последние деньги купивших «билет в ад». Более опытные асы археологической контрабанды не станут подвергать себя подобному риску, они предпочитают другой маршрут, более короткий и безопасный — воздухом...

Как заявил директор Национального института археологии и истории Мексики доктор Эусебио Давалос, комментируя «события в Кинтано-Роо», «для защиты наших многочисленных археологических объектов понадобилось бы, по крайней мере, по охраннику на каждый район. Но некоторые из них расположены в таких густых джунглях и настолько обширны, что

для их охраны необходимо несколько человек. В нашем распоряжении сейчас только тысяча человек, которых мы можем использовать для охраны самых ценных объектов». И гремят выстрелы в Кинтана-Роо...

Вообще, Южноамериканский материк — удивительная страна, «страна чудес и беззакония», как часто шутят сами латиноамериканцы. Большинство стран, покорно пристегнутые к североамериканской колеснице, разрешают белым «гринго» делать в своей стране все, что им вздумается. Можно, например, вывозить из Венесуэлы и Перу золото чибча-муисков и инков, с Юкатана — какого-нибудь каменного Тлалока, распиленного на части, — удобней в транспортировке. Удивительный, экзотический континент!

Потом выясняется, например, что за последние десять лет из Мексики нелегально вывезены археологические сокровища на сумму более чем в 10 миллионов долларов, а из 12 тысяч «официально зарегистрированных» памятников в стране сохранилось лишь несколько сот, остальные растворились, исчезли в сельве... Например, лет десять назад из Веракруса была похищена древняя скульптура майя весом в... полторы тонны. «Обычно скульптуры распиливают на части, — говорил журналистам полицейский комиссар этого района, — затем на небольших самолетах с секретных или частных аэродромов переправляют в США или же через границу в соседний Британский Гондурас».

Теперь о туристах. Легальным путем Мексику ежегодно посещает более ста тысяч туристов из США. Таможни работают вовсю, особенно выпускающие из страны: в багаже американцев можно встретить все — от золотого украшения ацтекского вождя до пронумерованного каменного блочка, который, если его сложить с десятком других таких же, вдруг оскалится застывшей улыбкой древнего майяского божка. «Сувенир, сеньор, всего лишь сувенир, — улыбнется турист, — поднял под Копаном, знаете, такая старая-престарая пирамида... Номер? Что номер? А... поставил для памяти, не забыть бы, где нашел камешек...» «Нашествие туристов, — пишет мексиканская газета «Сигло вейнте», — можно сравнить с эпидемией чумы. Самые опасные из них не те, что путешествуют от скуки. Гораздо хуже так называемые «туристы от науки», совер-

шающие настоящие набеги на мексиканскую археологию».

Большой соблазн для туристов всего света — древние руины священного и всемирно известного города майя Чичен-Ицы, находящегося в ста километрах от столицы мексиканского штата Юкатан. Здешние развалины, помимо чисто архитектурной красоты, до сих пор не утратили своей свежести, храня очарование тайны и экзотики. Побывать здесь и вернуться с пустыми руками — зачем же ехать тогда в Мексику? Чичен-Ица, Мачу-Пикчу, Вилкабамба... Экзотические названия, красивые, как песни! Одни города умирали от старости, другие погибали в войнах, третьи загадочно были покинуты обитателями... Спустя века сюда снова пришли люди: одни для того, чтобы исследовать, другие — чтобы грабить.

Перу. Пустынная местность между Кито и Куско усеяна десятками и тысячами ям, похожих на норы неуклюжих южноамериканских броненосцев. Это следы уакерос. Поколения людей, начиная от первых испанцев и португальцев, искали и ищут здесь золото инков, запрятанное от алчных конкистадоров. Вряд ли среди жителей Перу найдется человек, который бы не слышал о спрятанных и вновь найденных сокровищах. Еще бы, об этом каждый день пишут перуанские газеты, в которых, например, можно прочесть такие объявления: «Полиция города Куско ищет вора, присвоившего ценные археологические находки, обнаруженные в руинах древнего города инков, раскопки которого производятся близ деревни Вилкабамба...»

Грабителя Вилкабамбы, как потом сообщали газеты, задержали, им оказался американский «археолог» Джин Савой. Этот «гробокопатель» без разрешения властей принялся за раскопки Вилкабамбы и отправил в Куско несколько ящиков с находками. Однако по пути в город ящики... исчезли. Вслед за этим попытался скрыться и «археолог». При аресте выяснилось, что Джин Савой не впервые занимается археологическим бизнесом, он и ранее был уличен в подобных же махинациях, например в краже одной редкой коллекции золотых и серебряных инкских предметов культуры. Возмущенные перуанские археологи потребовали заключения авантюриста в тюрьму...

«Ла лус дель оро! — Свет золота, сеньор!» — шеп-

чут суеверные индейцы, показывая заезжему туристу на зеленоватый, светящийся столб, застывший на одном месте, где-нибудь в горах. «Огни св. Эльма» — явление довольно распространенное в Кордильерах, но они пугают только местных жителей. «Где золото — там и дьявол, сеньор!» — скажут перуанцы. Менее щепетильного «гробокопателя» — европейца или американца это не испугает. «Он копает по ночам, — с ужасом будут говорить о нем индейцы, — он дружит с самим дьяволом...»

«Ла лус дель оро» — и тысячи авантюристов отправятся хоть на край света за золотом, пойдут даже в девственные леса Гвианы, Венесуэлы, Бразилии. Легенды, которыми богат этот край, рассказывают о десятках покинутых городов с несметными сокровищами под руинами. Вспомним дерзкое открытие Великой реки Ориноко современником и соотечественником Шекспира, поэтом, авантюристом и путешественником — Уолтером Рэли. Его позвала легенда об Эльдорадо, о которой грезилась вся Европа. Рэли так и не увидел «золотого человека», пудрившего свое меднокожее тело тончайшим золотым порошком... «Красный город» с золотыми стенами грезился измученному полковнику Фоссету, ступившему на «тропу легенд» и так с нее не свернувшему — он погибает где-то в гропических джунглях бразильского штата Мату-Гросу, не найдя сказочных городов и памятников древних цивилизаций... Француз Мофре, укушенный бушмейстером, лепетал в бреду о «чудесном, белом видении» — городе, где золото, как речной песок, лежит желто-красными грудками... Совсем недавно вновь золотой мираж повис над сельвой.

В небольшой амазонский городок Белем вышел из сельвы старик-индеец. Был он наг, худ и изможден. Его накормили, бросили пучок волшебной коки, чтобы он забыл о перенесенных страданиях, и старик принялся рассказывать, сплевывая густую коричневую слюну.

...Его племя жило неподалеку от каких-то древних развалин. Люди занимались охотой, рыбной ловлей, собирали дикую маниоку, коренья, плоды. Однажды на опушку лесной поляны, где стояло селение, вышли двое изможденных от голода «карибе» — белых. Их, беспомощных, приняли, обласкали, разрешили жить в селе-

нии, пока не окрепнут. Когда пришельцы набрались сил, стали помогать индейцам и поглядывать на дочерей племени, им разрешили уйти. Перед самым уходом один из них увидел, что грузила на сети имеют какой-то неестественно тусклый желтый цвет. «Что это, откуда?!» — хрипло спросил он. Индеец молча кивнул в сторону развалин. А ночью пришельцы исчезли... Ах, если бы лучшие следопыты племени не показали бы им дорогу, если бы они отправились вслед за ними...

Через несколько месяцев, ночью, раздались выстрелы, разрывы гранат, и хижины селения запылали как свечи. Людей, выскакивающих на ярко освещенную площадь, расстреливали из автоматов. Уцелел один старик, среди шайки негодяев он узнал тех двух белых, которых так неосмотрительно приняли его соплеменники. Старик сказал, что с наступлением утра белые отправились с лопатами к развалинам и могилам. Они искали золото, и лишние свидетели, хозяева этой земли, им были ни к чему!

Бразильский священник В. Вебер, настоятель Анчиетской миссии в Диамантино, «Алмазном городке» в штате Мату-Гросу, заявил корреспондентам «Жорнал до Бразил», что он просит правительство послать федеральные войска в штат Мату-Гросу, чтобы прекратить, как он выразился, «кампанию геноцида и уничтожения» индейцев этих районов, которую проводят здесь кладоискатели и сборщики каучука. Священник ссылался и на уже рассказанную выше историю о старике индейце из погибшего племени и приводил новые факты.

Так, например, в треугольнике, образуемом реками Санг и Аринос, около 800 индейцев племени тапанахума окружены белыми, и им угрожает полное истребление. Племя это имеет несчастье жить на территории, где, как предполагают кладоискатели, есть много богатых и неисследованных могил. Священник развернул «национальную кампанию в защиту индейцев» и обвинил правительство и церковь в том, что они закрывают намеренно глаза на эти безобразия. «Очевидно, — говорит Вебер, — в шайках грабителей есть люди, имеющие отношение к правительственным кругам». «Ла лус дель оро, сеньоры!»

ГЕОГРАФИЯ ГРАБЕЖА

Но покинем этот «дикий запад», где еще сильны традиции славного конкистадорства, пересечем Атлантический океан и вернемся в добрый, либеральный, уважающий закон и порядок Старый Свет — родину Кортеса и Писарро.

Племя искателей сокровищ неистребимо. Имя им — легион! Ищут на всех континентах, в горах, лесах, под водой. Если составить каталог тех мест, где копали или копают сегодняшние «грабители могил», получится прелюбопытная картина, больше похожая на ежегодный криминальный отчет Интерпола.

Ливия. Летом 1962 года группа американских офицеров с военной базы, неподалеку от Триполи (база сейчас ликвидирована), в свободное от службы время предавалась «археологическим раскопкам». Самодельным «гробокопателям» повезло — они нашли золотую статую Афродиты. Американцы и не подумали отдавать свою находку в национальный музей страны. Они расплавили единственную в своем роде скульптуру и поделили золото между участниками «экспедиции», видимо, принимая во внимание законы США, согласно которым любой клад полностью принадлежит тому, кто его нашел. Правда, закон этот имеет силу только на территории США...

Йемен. Реакционные имамы, правившие страной до сентября 1962 года, за бесценок продавали лицензии на раскопки городов древнего Сабейского царства всевозможным авантюристам. Официально считалось, что «настоящая культура» пришла в Йемен только с принятием мусульманства. Все остальное — «от лукавого», пусть его себе забирают «неверные»... Подобный взгляд на историю привел к тому, что из страны исчезли подлинные шедевры древних минейских и сабейских мастеров, зато полы местных гостиниц и караван-сараяв мостились плитами с древними сабейскими письменами. Республиканское правительство отменило «культурную революцию» имамов и взяло под охрану все памятники старины — за ними следит впервые созданный в стране департамент древностей.

Иордания. До сих пор в стране продолжается охота за кумранскими рукописями, находимыми в пещерах

Вади-Кумран. За искателями свитков департамент по делам древностей и местная полиция ведет постоянное наблюдение. Но найденные рукописи тем не менее уплывают из страны, как это случилось с четырьмя первыми свитками, вывезенными в США.

Турция. Генеральный консул США в Стамбуле Коллинз вместе с женой был задержан полицией во время раскопок в районе Сиде на юге Турции. Когда «любителю археологии» напомнили, что для ведения раскопок необходимо иметь соответствующее разрешение, Коллинз с раздражением ответил: он-де генеральный консул в стране и «может делать все, что захочет». В то время, когда Коллинз препирался с задержавшими его полицейскими, его жена попыталась незаметно выбросить из своей сумки найденные старинные монеты. Виновные не понесли наказания...

Греция. Из тюрьмы города Амфиссы выпущен англичанин миллионер Джильберт Коллина Дэвис, приговоренный местным судом к 14 месяцам тюремного заключения и штрафу в 72 фунта стерлингов. Этот «страстный поклонник древностей», как называли Дэвиса сочувствующие ему журналисты, обвинялся в том, что вместе с женой, сыном и дочерью совершил нападение на береговую стражу, когда пограничники остановили его яхту, на которой он нелегально вывозил из страны археологические древности.

Сицилия. Местная мафия централизует у себя на родине ограбление могил. Выяснилось, что археологические сокровища Сицилии оказались намного богаче многих знаменитых «археологических клондайков» Италии. «Мафиозо», мало просвещенные в новой для них отрасли, узнали об этом из отчета одного итальянского археолога, много лет проработавшего на острове. Он считает перспективными районами прибрежную полосу и некоторые внутренние части острова, где «нет ни одного квадратного метра земли, который не таил бы в себе остатков античных городов, древнейших реликвий со следами островной цивилизации, процветавшей еще до появления на острове древних греков...» Местная мафия полна решимости не допустить на остров чужаков-грабителей, патриотически отстаивая право на разработку сокровищ за собой. Как сообщил журналистам из местных газет один из отцов-мафиозо, сокровища должны принадлежать народу...

Франция. Телефонный звонок из Парижа известил итальянца синьора Леричи, возглавляющего в стране «фонд Леричи», что в одном из антикварных магазинов города выставлена для продажи фреска, обнаруженная в этрусской могиле и уже занесенная в каталоги археологических памятников мира. Итальянцы только развели руками и сместили с поста начальника полиции того района, где была обнаружена и украдена фреска.

Италия. «Несколько лет тому назад, — рассказывал корреспонденту миланского журнала «Абичи» д-р Моретти, инспектор археологического надзора в Риме и Этрурии, — мы попытались провести через европейский парламент в Страсбурге решение о международном признании итальянского закона об охране древностей. Однако только Греция поддержала нас. Франция оказала прохладную поддержку. Скандинавские страны выступили против, а Швейцария даже не явилась на заседание, чтобы принять участие в подготовительной конференции».

В этих сухих газетных отчетах, показывающих своего рода «географию антикварного бизнеса», сообщалось лишь об отдельных случаях похищения археологических сокровищ — своего рода работа кладоискателей-одиночек, действующих на свой страх и риск. Но все дороги, как известно, ведут в Рим, простите... в Швейцарию. Именно здесь собрались организации, скупающие «продукты» подпольных раскопок во всех частях мира. Отсюда в обратном порядке по крупнейшим антикварным магазинам мира расходятся каталоги и приглашения на цюрихский или базельский аукционы.

По поручению дельцов, диктующих свою волю на аукционах лондонских «Кристи» и «Сотби», Базеля, Цюриха, Люцерна, Парижа, Нью-Йорка, Брюсселя, Амстердама, Рима, эти подпольные организации устанавливают контакты с такими же подпольными «археологами», наподобие уакеро Вернье, через хорошо налаженную сеть местных «корреспондентов», связанных непосредственно с «производством». Скупщики на местах располагают крупными суммами в долларах и в местной валюте «для туземцев», имеют сеть платных агентов и «наводчиков», в их руках неограниченные суммы денег, быстрый транспорт, склады, шпионы, следящие и за полицией, и за «гробокопателями», — и здесь есть кон-

куренты, которые способны из-под носа увести любую, достойную того редкость.

Самое удивительное, что боссы из «центра» могут лично отдавать распоряжение о раскопках в той или иной стране, той или иной археологической культуры — рынок и мода диктуют! — как если бы у них были полномочия официальных археологических ведомств. Есть же еще более странные «перекупщики древностей», которые продают содержимое могил, что называется, «на корню», еще до их раскопок, так сказать, в «нераспакованном виде». Риск, безусловно, есть, «кот в мешке» может оказаться исключительно редкой породы... Другие из них специализируются на подделках археологических антиквариетов и даже на подделках целых... археологических раскопов.

Например, торговцы древностями скупают в какой-либо стране все керамическое старье, безотносительно к эпохе и времени, и, припорошив их «древней пылью», продают неискушенным поклонникам старины за двойную цену. Либо, наладив контакты с керамической мастерской, наскоро производят что ни на есть «доподлинные» сосуды и вазы. Любимый трюк жуликов — «эффект участия» самого покупателя в раскопках, здесь уже доверие обеспечивается полностью: ведь добыл-то своими руками. «Эффект участия» заключается в том, что подделки закапываются в уже разграбленное погребение, которое потом покупает «на корню» взволнованный профан, заплативший за него большие деньги, чтобы самому открыть «только что найденную» могилу. Рассказывают, в Италии одному иностранцу «продали» за миллион лир подобный памятник. Раскапывал он могилу, конечно же, под покровом ночи, при свете фонаря. Дрожа от возбуждения, кладоискатель аккуратно складывал свои «находки»: несколько таинственных костей, черные обломки этрусской керамики, несколько кусочков греческой вазы и, наконец, ...бронзовый бюст Наполеона! Говорят, ему «подложили Наполеона» конкуренты, чтобы засыпать своих соперников, не поделившихся с ними деньгами за раскопки.

Однако в серьезном бизнесе этого не происходит. Здесь специализация дошла до того, что некоторые антикварные боссы захватили через спекулянтов целые археологические районы и даже сдают отдельные участки в аренду опытным кладоискателям. Естественно,

официальные лица, если они не подкуплены, ничего не знают о подобных «государствах в государстве»... Вряд ли такие детали знает и хозяин антикварной лавочки господин Гобе. Интерпол потратил много времени и сил, чтобы как-то восстановить звенья антикварного бизнеса, да и то «семь восьмых» этого айсберга осталось под водой

«ЧЕЛОВЕК С СЕВЕРА ПОКУПАЕТ ТУФЛИ»

...Этого человека несколько раз выдворяли из страны, но он всегда находил способ вернуться в благословенную «Антика Этруриа». Возвращался, несмотря на то, что его фотографии были в карманах любого полицейского от Ломбардии до Сицилии, а его накладные усы, парики, фальшивые паспорта составляли целую коллекцию в полицейском управлении Рима. Но его никогда не ловили с поличным! Боже упаси, границу он пересекал без всяких там дорогих этрусских ваз, уникальных скульптур или редких монет. С одной только чековой книжкой...

«Персона нон грата» приезжала в какой-нибудь итальянский город — это мог быть и другой город мира, куда есть за чем ехать, — занимала скромный номер в гостинице с телефоном, и прикрепленные к нему агенты местной полиции целыми днями подслушивали странные разговоры, которые этот человек вел с десятками своих клиентов. Речь шла о «домашних туфлях», «дынях», «луковицах» и тому подобной белиберде. Правда, эти вещи почему-то оценивались в сотнях тысячах, а иногда и в миллионах итальянских лир. Даже непосвященному это могло бы показаться странным: не идет ли здесь речь о туфлях самого папы или знаменитого Пелле? Но полиция хорошо знает живописный жаргон итальянских скупщиков древностей. «Туфли», например, надо понимать как редкое украшение из терракоты, «дыню» — как чашу или сосуд, связка «луковиц» означает дюжину старинных монет...

После этого «человек с Севера» — его кодовое наименование в картотеке полицейского управления в Риме — переезжал в другой город или же улетал в Швейцарию, а итальянская полиция начинала готовиться к крупным операциям, ибо знала: за мелочью он не при-

езжал. «Человек с Севера»... Полиция многих стран мира, страдающих от деятельности «антикварных контрабандистов», с удовольствием упрятала бы его за решетку — но он не пойман с поличным! А не пойман — не вор, как гласит древнее юридическое правило...

Интерпол знает о его деятельности, правда, очень мало для того, чтобы применить против него «международные санкции», хотя в сером шестиэтажном здании в Сен-Клу в картотеке более чем на 70 тысяч международных преступников есть и его карточка, однако он еще не попал в число 10 тысяч самых опасных из них. Да и как можно выдать международный ордер на арест этого человека, если известен только адрес, где он живет (Швейцария, Женева), и национальность — американец. Даже в спокойной Швейцарии этот человек живет под другим именем и меняет паспорта «с легкостью невероятной», когда отправляется в свои многочисленные зарубежные вояжи. Впрочем, поговаривают, что этот человек — из окружения могущественного «антикварного босса» Швейцарии Хайнрика Каана, но на этот счет у Интерпола есть свои сомнения — кажется, Каан находится в подчинении у американца. К этому выводу Интерпол пришел после одной из выставок античной культуры, организованной Х. Кааном в Базеле и Цюрихе, где «антикварный босс» якобы выступал на вторых ролях администратора. Любопытно, что каталог традиционного цюрихского аукциона древностей рассылается во многие страны мира, даже в те страны, откуда только что были похищены памятники старины — хотите, выкупайте! Каково же было удивление итальянских археологов и искусствоведов, когда они опознали «свои» археологические находки. Это были предметы, выкраденные из десятков подпольных раскопок, о которых только на аукционе узнали специалисты, — в Селинунте, Чирвитери, Вульчи, Гроссето, Тарквинии, Апулии. Рядом с каждым «антикварным объектом» стояла астрономическая цена... За несколько месяцев до этого «человека с Севера» видели в названных провинциях Италии. Сообщалось далее, что связи «антикварных боссов» охватывают не только близлежащие страны, но и давно уже стали международными.

Организованная преступность, как известно, бич «свободного мира». Не избежала организации и торгов-

ля и похищение археологических древностей. Еще бы, ведь даже в Древнем Египте, более трех тысяч лет назад, «добрые компаньоны» были организованы в шайки грабителей, связанных с властями общими коммерческими интересами. Чего же ждать от нашего просвещенного XX века — прогресс нельзя остановить даже в таком преступном ремесле, как разграбление исторических сокровищ. Кстати говоря, родина организованной преступности в области «гробокопательства» — Египет и здесь стоит не на последнем месте, только теперь, может быть, подчиняясь своему «швейцарскому центру». Летом 1965 года в стране была раскрыта хорошо организованная и технически оснащенная шайка «грабителей могил», связанная с крупными антикварными дельцами Западной Европы и Америки. «Шайка орудовала, — докладывал президенту Насеру шеф полиции, — в обширном районе от Саккара до Гизе». Она была обнаружена совершенно случайно, и за ней была установлена слежка. Полиция провела огромную работу, обыскав все дома в радиусе 20 километров от «эпицентра» «гробокопательства». Для опознания и экспертизы ценностей полиция пригласила цвет египетских археологов и многих специалистов из-за рубежа. У знаменитого некрополя в Саккара ученые увидели три грузовика, груженных древностями. Пораженным археологам и служащим департамента древностей полицейские продемонстрировали сотни статуй и статуэток из дерева, гранита и бронзы, баснословной ценности погребальные принадлежности, ритуальные наряды царей и цариц Древнего Египта, драгоценности эпохи Птолемеев, редчайшие монеты. И самое ценное — деревянную маску, по всей вероятности воспроизводящую лицо знаменитого фараона Хеопса и связанную с его пирамидой.

Улыбнулась удача полиции и в самой Италии. Выследив некоторые связи «человека с Севера», совершавшего очередное турне по стране накануне цюрихского аукциона, итальянская полиция наткнулась на один из тайников швейцарского антиквара в какой-то пещере близ Витербо. Из тайника было извлечено около 40 ценнейших предметов — этрусских ваз, различных украшений, скульптур и других археологических находок, относящихся к IV—III векам до нашей эры, — они так и не попали в Швейцарию к открытию аукциона.

Среди конфискованных вещей, очень заинтересовавших итальянских археологов, были обнаружены голубое ожерелье, бусинки которого перемежаются женскими масками; украшенный крылатыми фигурками бронзовый сосуд на трех ножках в виде львиных лап; женская бронзовая статуэтка; ваза со сценами ожесточенной борьбы между животными; сосуд в греческом стиле с фигурками, изображающими сцены из мифологии; бронзовые зеркала, пряжки, чашки, блюда и другие ценные предметы античного времени.

При этом полиция выяснила, что на всей территории древней Этрурии на «северных антикваров» систематически работает бесчисленное множество «могилокопателей», а в Чирвитери этим практически занимается в свободное от сельскохозяйственных занятий время все трудоспособное население района. Местные жители хвалились, что умеют обнаруживать места захоронений по цвету покрывающей их травы. Они знают, где находится вход и каково внутреннее расположение камер склепа. Они, так сказать, потомственные «археологи», от отца к сыну передающие свое ремесло. Еще бы, ведь подпольные раскопки в Италии ведутся по крайней мере на протяжении последних двух тысяч лет... Подлинными археологами как раз и являются эти «тайные археологи», учитывая мизерность средств, отпускаемых правительством на раскопки. Подсчитано, что в Италии из всех обнаруженных археологических ценностей 95 процентов было найдено как раз ими и лишь 5 процентов явились результатом официальных раскопок. Вот почему теперь уже никого не удивляет тот факт, что довольно часто археолог, проникая в древнее захоронение, как правило, обнаруживает, что кто-то побывал здесь уже до него — или в древности, или теперь.

В вечной игре в полицейских и воров, как правило, чаще выигрывают воры, нежели полицейские, — иначе вряд ли существовала бы преступность. Этому закону направленной случайности подвержено и ремесло «грабителей могил», о чем красноречиво свидетельствует недавний случай с известным английским археологом Джеймсом Меллаартом, ставшим знаменитым после открытия в Малой Азии самого древнего города планеты — Чатал-Уйюка, прославившего имя этого иссле-

дователя. А вся история, кстати говоря, чистейший детектив*, началась очень уж просто и буднично.

В экспрессе Стамбул — Измир Меллаарт обратил внимание на свою спутницу, милостивую девушку, вошедшую на одной из остановок в его купе. Его привлекло не красивое лицо девушки, говорившей, как отметил профессор, с легким американским акцентом, а массивный золотой браслет на ее правой руке. Он был явно очень древним, и от него «пахло тысячелетиями». Меллаарт давно мечтал извлечь такое сокровище из земли. Так началось первое действие драмы, которую поставил очень опытный и хитроумный режиссер. Определенное место в ней отводилось и девушке, и древнему браслету — приманке, на которую должен был клюнуть маститый ученый, и самому ученому, игравшему главную роль в спектакле, который затем произошел.

Профессор привстал со своего места и представился. Девушка с американским акцентом и не пыталась разыграть удивление, она хорошо знала, кто перед ней, — случайная встреча в поезде была далеко не «случайной». Видимо, с легкой руки Агаты Кристи, трасса Багдадского (Восточного) экспресса, частью которой является линия Стамбул — Измир, стала для Меллаарта началом его собственного, пережитого им детектива. Одним словом, они познакомились, и спутница сказала, что браслет — семейная реликвия, бабушкино наследство, передающееся из поколения в поколение. Еще спутница сказала, что у них дома «кое-что от бабушки» сохранилось в сундучке, подобное этому браслету. Естественно, загоревшийся от волнения Меллаарт сразу же упрямил девушку, жившую в Измире, взять его с собой, чтобы посмотреть семейные реликвии.

Поезд останавливается в Измире, девушка перемигивается с «таксистом», который только ее и ждал, машина долго колесит по извилистым, узким улочкам турецкого города и останавливается где-то на окраине у одноэтажного дома. Началось второе действие детектива: профессору показали сундук с драгоценностями. Осторожно перебирал он древние украшения, фигурки людей, посуду. Вот гравированное изображение парус-

* Подробнее об этом см. в журнале «Техника—молодежи», 1973, № 4, статью Г. Малиничева «Нераскопанная Троя» и комментарий Г. Еремина.

ной лодки — неведомый, праисторический тип корабля; вот массивное кольцо с двумя камнями — рубин и смарагд, а вот ритуальный сосуд с геометрическим орнаментом или ритуальный светильник в виде идола с птицами, а вот...

У Меллаарта закружилась голова — все предметы относились к неизвестной археологам мира цивилизации, причем очень древней, существовавшей не позднее III тысячелетия до новой эры. «Позвольте мне все это заснять на пленку. Вы даже не представляете, какая это ценность для мировой науки!» — «Нет, нельзя! Это запрещено... Но вы можете все это изучить на месте, зарисовать в блокнот, если пожелаете. Только никуда нельзя выходить. Таково наше единственное условие». Профессор давно уже понял, что нет здесь никакой «бабушки», а что он попал в расставленные сети какой-то очень сильной и опытной организации профессионалов грабителей сокровищ... Но чувство ученого, прикоснувшегося к волнующей тайне, оказалось сильнее осторожности и отвращения. Меллаарт согласился.

...Это было подобие домашнего ареста с тем лишь отличием, что узник мог в любую минуту покинуть свое узилище. Но его не торопили, приносили пищу, давали возможность сделать научное описание коллекции, зарисовать находки. Однако очень неохотно отвечали на вопросы. Но Меллаарт уже о многом догадался сам — так знаток по голосу определяет редкую породу птицы, даже если он ее не видел никогда. Все вещи были взяты из какого-то неизвестного могильника, в котором были погребены правитель и его жена, включая и любимую собаку царской четы. Кроме того, речь шла о развитой земледельческой державе, о городах с ремесленниками и купцами, со сложившейся культурной и исторической традицией — каким совершенством обладали произведения древних мастеров! Но где место этой культуры на исторической карте мира? Это не греки, не египтяне, не хетты, хотя есть и сходные черты... «И впрямь нераскопанная Троя! — с восторгом подумал Меллаарт. — Но где искать? В Анатолии открыта едва лишь сотая часть того, что скрывает эта древняя земля...»

Из очень тонких и осторожных расспросов ученый уяснил, что находка сделана в местности Дорак, где-

то на берегу Мраморного моря. Вероятно, именно здесь существовала «нераскопанная Троя» — какое-то загадочное, весьма развитое государство, достигшее расцвета в начале III тысячелетия до новой эры, торговавшее с соседними городами Малой Азии, Египтом, Критом... Прошла неделя полудобровольного заточения Меллаарта. Ночью профессора бесцеремонно выводят на темную улицу, сажают в такси и оставляют одного. Спектакль закончен: в последний вечер с записок Меллаарта была сделана копия, с его слов зафиксированы данные о примерной стоимости таинственных сокровищ, о примерной хронологии находок...

А затем в прессе замелькали слова «провокация», «ловушка», «гангстеры», «разбазаривание исторических реликвий», «судьба сокровищ царей из Дорака» и т. п. «Режиссер» спектакля мог радоваться: таинственность всего случившегося, нервный тон прессы, оттенок криминального романа в комментариях журналистов — все это стало превосходной рекламой. Почва для соответствующей распродажи была подготовлена... А последний, заключительный акт спектакля разыгрался спустя десять лет после «открытия»: на «черном рынке» в США вдруг появились следы золотых вещей, описанных Меллаартом. Продавцы скрылись за вереницей подставных лиц, покупатели проявляли тоже известную осторожность — боясь подделки вещей из скандальной коллекции, они обратились к экспертам. «Им около 45 веков», — заключили специалисты после ряда специальных физико-химических анализов... Сделка состоялась, и сокровища уплыли в неизвестном направлении — за прошедшие годы их цена возросла примерно в десять раз. При этом оценщики ссылались на авторитет Меллаарта, у которого грабителям удалось таким криминальным путем получить экспертизу. Мсье Гобе был прав, говоря о специалистах, к услугам которых прибегают антикварные дельцы — любым способом, какой окажется удобнее.

ЗА ЗОЛОТОМ НА ДНО

«Золото бессмертно, как птица Феникс, и человеку невозможно избавиться от его власти, кроме как разве что бросить на дно моря», — говорили мы в первой

части нашего рассказа о «грабителях могил». Однако так ли это? Опустимся вслед за золотом на морское дно.

...В миле от острова Большая Багама, вблизи полуострова Флориды, по соседству со страной, ныне оптом и в розницу скупающей сокровища древности, аквалангисты поисковой группы обнаружили под водой старинный испанский галион. Это было одно из тех судов, на которых испанские конкистадоры вывозили награбленные сокровища с Американского материка. На затонувшем корабле находилось золота и серебра на сумму в 20 миллионов долларов. Весть о знаменитой и столь богатой находке сразу же попала на страницы американской печати...

И вот чары Желтого дьявола начали действовать. Золото, награбленное одними хищниками и пролежавшее в воде более четырехсот лет, не потеряло своего блеска, и он привлек стаю других, сегодняшних, хищников. Избавиться от власти золота, даже брошенного на дно моря, им не удалось.

Во время одного из очередных спусков под воду аквалангисты поисковой группы нос к носу столкнулись с... гангстерами. Последние тоже были в аквалангах и не хуже водолазов владели кортиками, на сей раз предназначенными отнюдь не для того, чтобы вспарывать брюхо акулам или сражаться с барракудами. Потомки «джентльменов удачи» сразу же пошли на abordаж испанского галиона и попытались сорвать с аквалангистов-первооткрывателей маски и отогнать их от судна, начиненного деньгами. Первооткрыватели оказались не из робкого десятка, они стоили своих кровожадных соперников. Под водой началась битва на кортиках — традиционном оружии ближнего боя у пиратов. Исход ее решился, когда один из аквалангистов, защищая сокровища, «призвал» на помощь... акул. Вынырнув на поверхность, он набросал в море, где лежало судно, протухшей рыбы, оставшейся с вечера. Победителями оказались акулы, приплывшие на запах. Ловцы испанского золота еле унесли ноги — их подобрал полицейский катер, вызванный с берега на подмогу...

Сегодня благодаря аквалангу появился уже новый тип археологов — людей, которые чувствуют себя в равной степени уверенно как на суше, так и в воде. В мрачных глубинах священных колодцев Центральной Аме-

рики они находят кремневые ножи, которыми вскрывали грудь у жертв богу Солнца, глиняную посуду, фигурки идолов, бронзовые колокольчики, редкие украшения и драгоценности девушек, бросаемых в священные колодцы. В озерах Южной Африки они разыскивают реликвии доисторических эпох, в пещерах Англии, Франции, Италии, затопленных морем, они находят дохристианские реликвии и древнейшие в мире наскальные фрески. Однако самые богатые сокровища лежат на дне Средиземного моря — на его берегах с незапамятных времен селились египтяне, пеласгийцы, карийцы, этруски, финикийцы, греки и римляне, а их корабли на протяжении многих тысячелетий, может быть, с позднего неолита и ранней бронзы, бороздили воды Средиземного моря и находили в нем свою последнюю гавань, свой посмертный приют. Но вот сообщение газеты «Фигаро», которое несколько охладит нашу уверенность в светлом завтрашнем дне подводной археологии, вернее, в результатах подводных исследований.

...Солнце медленно садится в воды Коринфского залива. На волне покачиваются две яхты. К той, что ближе к берегу, подходит полицейский катер. Это «Гёрл пэт», бросившая якорь под сенью британского флага. «Кто вы?» — следует традиционный вопрос пограничной стражи. Молчание. Полицейские поднимаются на борт. На «Девчушке» — пятнадцать человек: французы, испанцы. Кроме того, три амфоры, множество обломков, имеющих археологическую ценность, и... снаряжение для подводного плавания. Пока идет разборательство на первой яхте, вторая — «Джабула» быстро снимается с якоря. Ее начинают преследовать, по рации с берега вызывают вертолет, но наступает ночь. Наутро следующего дня «Джабулу» обнаруживают в бухточке близ Эгиона, яхта принадлежит англичанину — миллионеру Дэвису, на ней жена, сын и дочь Дэвиса. Полиции приходится брать «Джабулу» на abordаж — семья отчаянно сопротивляется и бьет полицейских, когда те пытаются взойти на борт судна. В конце концов экипаж приводят в порт и судят в Амфиссе, приговаривая к тюремному заключению за кражу археологических ценностей, за нападение на пограничников...

Через несколько дней после этого греческий пост обращает внимание на необычные маневры яхты «Ви-

гамо», пытающейся ночью подойти к мысу Сунион. При приближении полицейских она исчезает во мраке, однако пассажиры грузовичка, которые, казалось, ждали встречи с яхтой, задержаны. Утром заставили «сдаться» и яхтсменов. Ими оказались два француза-аквалангиста, а на борту «Вигамо» были припрятаны амфоры. Одним словом, подводные грабители не редкость у берегов Греции. А во Франции? Множество «охотников за амфорами» безнаказанно орудует между Тулоном и Пор-Бу, как и у берегов Эллады.

Кто эти люди? Кустари-одиночки или участники организации, действующей наряду с подводными археологами, но с иными целями? В районах Марселя промышленляют небольшие группы одиночек-любителей. У них вы всегда можете приобрести амфору (может быть, настоящую!) стоимостью от 500 и 1000 франков, в зависимости от размера и сохранности. В нескольких кабельтовых от мыса Таят, между Тулоном и известным курортом Сен-Тропезом, недавно было обнаружено скопление археологических ценностей. Чтобы защитить их от посягательства грабителей, участок огородили противолодочными сетями, предоставленными для этой цели военно-морским флотом. Это сплетение очень массивных стальных колец, сквозь которые легко проходят волны, не помогло. Грабители «подводных могил» преодолели препятствие при помощи специальных щипцов, снабженных на конце небольшим зарядом. Он достаточен, чтобы прорвать сеть, и слишком мал, чтобы причинить вред ныряльщику... Как установило следствие, подобные «взрывные щипцы» приняты на вооружение во флоте для подводных диверсантов, «людей-лягушек», проникающих во вражеские порты, огороженные противолодочными сетями. Таким образом, военно-морской флот Средиземноморья на стороне полиции и... грабителей.

Техника идет вперед, не стоит на месте. С каждым годом улучшается конструкция аквалангов, используются новые газовые смеси для дыхания на больших глубинах. Также непрерывно совершенствуются методы и средства подводных раскопок. Уже давно вошли в практику пропеллерные самодвижущиеся подводные «сани», с помощью которых археологи обследуют дно моря со значительно большей скоростью, чем обычные аквалангисты. В 1966 году, впервые в истории археологии, фран-

цузские ученые из «центра Кусто» использовали в «мире безмолвия» небольшую подводную лодку для археологических исследований. Даже при первом же пробном погружении она нашла у берегов Турции затонувший византийский корабль — примерно полторы тысячи лет назад он направлялся из Босфора к берегам Колхиды... Но мало кто в то время обратил внимание на заметку, промелькнувшую в некоторых газетах Италии и Швейцарии, — «Контрабанда под водой»: «Озеро Лугано расположено на границе Италии и Швейцарии. Недавно пограничники выловили здесь миниатюрную подводную лодку для двух человек — по желанию в ней может находиться и один пассажир. Лодку-малютку, специально сделанную для этого, применили швейцарские контрабандисты для перевозки 2 тысяч пакетов сигарет».

Таким образом, не все потеряно: растет оснащение «законных» подводных археологов — не отстают от них и подводные «грабители могил». Игра в полицейских и воров продолжается уже под водой... Интересно, появятся ли в будущем космические «грабители могил», скажем, где-нибудь на Марсе? В фантастике, например, они уже появились и плотно окопались в нескольких ближайших галактиках, продолжая свое вечное и древнее ремесло, родившееся на Земле. Ибо пока вечно золото, вечны и легенды о нем! А еще не открытый космос — это все та же Земля, и каждый понимает ее в меру своей доброты или испорченности.

...За истекшие пять тысячелетий на нашей планете велось 14 515 только отмеченных историками больших и малых войн. Армии завоевателей, следуя древнему принципу «добыча — победителю», грабили и уничтожали. В огне пожарищ погибли тысячи городов и десятки цивилизаций с бесценными сокровищами человеческого гения. Нашествия и переселения народов, походы «выдающихся» полководцев и бесконечные войны менее талантливых для истории все равно, если гибли ее памятники, исчезали целые народы и цивилизации, не успевшие сказать своего слова, — следы их только-только начинают проступать на «дневной поверхности» археологических раскопов, ничем не защищенных от алчных взоров «грабителей могил».

Форум, Палатин, Акрополь были добычей каменщиков...

Храм Гигантов в Агригенте пошел на постройку дамбы...

Арабские халифы и турецкие султаны превратили пирамиды в каменоломни.

Ни следа не осталось от знаменитого Фаросского маяка, последние его 30 метров из 120—155 первоначальных были разобраны халифами Египта на сооружение крепости...

Из бронзы пантеона Адриана турки отливали пушки...

Парфенон был превращен турками в пороховой склад и взорвался от венецианского ядра...

А это только часть из числа «чудес света» — самых выдающихся памятников всех времен и народов. Атил-ла, Чингисхан, Тамерлан и многие другие — они тащили из подлунного мира все, что могли увезти их кони, унести воины...

Тимур-Ленг, Тамерлан, этот Железный Хромец в свою столицу Самарканд свез пленных мастеров всех завоеванных народов. И они сделали ему сказочные дворцы Шехерезады... Из Бруссы, например, города в Малой Азии, он притащил на верблюдах бронзовые двери, украшенные золотом и эмалью, с изображениями апостолов Петра и Павла. Двери эти — настолько высокие, что в них можно было въехать на лошади верхом, — он приделал к... войлочной юрте своей любимой жены...

Наполеон ограбил многие европейские столицы, музеи и соборы, как ограбил он частично и египетские пирамиды, чтобы облагодетельствовать лишь одну страну, один народ и наполнить Лувр мировыми шедеврами...

Гитлер и Геринг вывозили в Германию все лучшее, что было создано народами «неполноценных рас», что ценного хранилось в музеях и частных собраниях Европы. Притом в масштабах, которые не снились Батыю и Тамерлану: только из одной Франции фашисты вывезли 138 вагонов с картинами, и в Мюнхене к концу войны скопилось до 80 тысяч произведений искусства — среди них положна Боттичелли, Тициана, Рубенса, Пуссена. Многие картины до сих пор скрыты в хранилищах Западной Германии. Какое дело боннским чиновникам

до международных конвенций по охране художественных сокровищ!

Советский Союз, спасший мир от «коричневой чумы», историю древних и современных цивилизаций, вместе с ними спас и бесценные сокровища музеев мира. Советский Союз вернул побежденному немецкому народу Дрезденскую галерею (беспрецедентный случай в истории отношений победителя с побежденным!), продемонстрировал образец новых, истинно гуманных отношений к вечному и прекрасному... Человечество носит траур по всем исчезнувшим цивилизациям, и придет время, когда будут созданы единые музеи этих цивилизаций. На той земле, где они рождались и умирали!

Содержание

ПОВЕСТИ

В. Рыбин
ПЯТЬ ЗОРЬ ВОЙНЫ — 5

В. Прокофьев
«ЗАВЕЩАНИЕ» ПЕТРА ВЕЛИКОГО — 63

Н. Коротеев
КРЫЛО ТАЙФУНА — 120

В. Караханов
ВСТРЕЧА С «ПОЛОСАТЫМ» — 181

М. Демиденко
ДНЕВНИК ПРОЙДОХИ КЕ — 244

Джон Лаффин
ФОТОГРАФИЯ МАДАМ ВОНГ — 339
Перевод Г. Гаева

РАССКАЗЫ

Б. Воробьев
ПРОРЫВ — 345

И. Подколзин
ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ТРИ ГОДА — 363

В. Поволяев
ТРЕЩИНА — 384

Ю. Юша
ШКВАЛ — 404

А. В. Иванов
ПОЕДИНОК — 413

А. Козачинский
ФОНЯ — 422

Г. Босов
ПО СЛЕДАМ ГРАБИТЕЛЕЙ МОГИЛ
(документально-художественный очерк) — 447

**Приключения, 75. Сборник. Художник В. Кара-
П75 бут. М., «Молодая гвардия», 1975.**

496 с. с ил. (Стрела).

На обороте тит. л. сост.: Г. Еремин, худ. В. Карабут.

Традиционный молодогвардейский сборник «Приключения-75» открывает повесть В. Рыбина «Пять зорь войны», рассказывающая об успешном отражении фашистов в первые дни войны в устье Дуная. Военной теме посвящены и «Завещание». Петра Великого» В. Прокофьева, «Прорыв» Б. Воробьева. «Полет длиною в три года» И. Подколзина. Новая повесть Н. Коротеева «Крыло тайфуна» рассказывает о борьбе с браконьерами в Сибири. Об охране общественного порядка повествуют произведения В. Караханова «Встреча с «Полосатым» и А. В. Иванова «Поединок». «Трещина» В. Поволяева, и «Шквал» Ю. Юши говорят о моральной ответственности каждого советского человека за судьбу другого. Повесть М. Демиденко рассказывает о действиях местной мафии в Индокитае. Раздел рассказов включает один из старых рассказов Александра Козачинского «Фоня». Новое в нашем сборнике — художественно-документальный очерк Г. Босова «По следам грабителей могил».

P2

П $\frac{70302-130}{078(02)-75}$ 171-75

**Сборник
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 75.**

**Редактор А. Лобанова
Оформление художника Ю. Баженова
Художественный редактор Б. Федотов
Технический редактор Г. Прохорова**

Сдано в набор 11/XI 1974 г. Подписано к печати 29/IV 1975 г. А08119. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 15,5 (усл. 26,04). Уч.-изд. л. 27. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 12 к. Т. П. 1975 г. № 171. Заказ 2098.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.

Scan Kreyder - 10.07.2017
STERLITAMAK

